

ISSN 2311-911X

QR.URFU.RU



QUAESTIO ROSSICA

2014 • № 1

Журнал основан в 2013 г.
Выходит 3 раза в год

Established in 2013
Published three times a year

Учредитель – Уральский федераль-
ный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина
620000, Россия, Екатеринбург,
пр. Ленина, 51

Founded by Ural Federal University
named after the first President
of Russia B. N. Yeltsin
51, Lenin Ave., 620000, Yekaterinburg,
Russia

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-56174 от 15.11.2013

Journal Registration Certificate
PI № FS77-56174 as of 15.11.2013

«Quaestio Rossica» – рецензируемый научный журнал, сферой интересов которого являются исследования в области культуры, искусства, истории, археологии, лингвистики и литературы России. Задача журнала – расширить представления о российском гуманитарном дискурсе в пространстве мировой науки. Приоритет отдается публикациям, в которых исследуются новые исторические и литературные источники, выполняются требования академизма и научной объективности, историко-графической полноты и полемической направленности. К публикации принимаются статьи на русском, английском, немецком и французском языках. Полнотекстовая версия журнала находится в свободном доступе на сайте журнала и размещается на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки. Более полная информация о журнале и правила оформления статей размещены на сайте: <http://qr.urfu.ru>

“Quaestio Rossica” is a peer-reviewed academic journal focusing on the study of Russia’s culture, art, history, archaeology, literature and linguistics. The journal aims to broaden the idea of Russian studies within discourse in the humanities to encompass an international community of scholars. Priority is given to articles that consider new historical and literary sources, that observe rules of academic writing and objectivity, and that are characterized not only by their critical approach but also their historiographic completeness. The journal publishes articles in Russian, English, German and French. A full-text version of the journal is available free-of-charge on the journal’s website and is published in the database of the Russian Science Citation Index of the Russian Universal Scientific Electronic Library. For more information on the journal and about article submissions, please consult the journal’s website: <http://qr.urfu.ru>

Редакционная коллегия журнала

Главный редактор
проф. Ф.-Д. Лиштенан (Франция)
Ответственные редакторы:
по историческим наукам
проф. Д. А. Редин (Россия)
по культурологии и филологии
проф. Л. С. Соболева (Россия)
Куратор отдела рецензий
проф. М. А. Литовская (Россия)
Ответственный секретарь
доц. Р. Т. Ганиев (Россия)

Члены редколлегии

проф. В. В. Абашев (Россия)
проф. В. А. Аракчеев (Россия)
проф. Е. Л. Березович (Россия)
PhD. М. Бинне (США)
к. и. н. К. Д. Бугров (Россия)
проф. Е. М. Главацкая (Россия)
д. и. н. А. Горак (Польша)
к. и. н. Ю. В. Запарий (Россия)
к. иск. М. В. Капкан (Россия)
PhD. А. В. Келлер (Россия)
проф. Н. А. Купина (Россия)
проф. О. Л. Лейбович (Россия)
PhD. Йордан Люцканов (Болгария)
д. и. н. И. В. Побережников (Россия)
проф. Д. О. Серов (Россия)
PhD. М. Тиссье (Франция)
PhD. Г. Робертс (Франция)
проф. Е. К. Созина (Россия)

Перевод и редактирование

к. ф. н. Т. С. Кузнецова
к. ф. н. А. А. Макарова
Е. Г. Галицына
С. Баррет

Journal Editorial Board

Editor-in-Chief
Prof. F.-D. Liechtenhan (France)
Section Editors:
History Studies
Prof. Dmitry Redin (Russia)
Culture Studies and Philology
Prof. Larisa Soboleva (Russia)
Reviews Section Editor
Prof. Maria Litovskaya (Russia)
Executive Secretary Associate
Dr. Rustam Ganiyev (Russia)

Editorial board

Prof. Vladimir Abashev (Russia)
Prof. Vladimir Arakcheev (Russia)
Prof. Elena Berezovich (Russia)
PhD. Matthew Binney (USA)
Dr. Konstantin Bugrov (Russia)
Prof. Elena Glavatskaya (Russia)
Dr. Artur Górak (Poland)
Dr. Julia Zapariy (Russia)
Dr. Maria Kapkan (Russia)
PhD. Andrey Keller (Russia)
Prof. Natalia Kupina (Russia)
Prof. Oleg Leybovich (Russia)
PhD. Jordan Lyutskanov (Bulgaria)
Dr. Igor' Poberezhnikov (Russia)
Prof. Dmitry Serov (Russia)
PhD. Michel Tissier (France)
PhD. Graham H. Roberts (France)
Prof. Elena Sozina (Russia)

Editorial Assistants

Dr. Tatiana Kouznetsova
Dr. Anna Makarova
Elena Galitsyna
Sara Jo. Barrett

Редакционный совет

проф. Е. В. Анисимов (Россия)
д. и. н. Е. Т. Артемов (Россия)
проф. С. Бертолисси (Италия)
проф. П. Бушкович (США)
проф. Б. М. Гаспаров (США)
чл.-корр. РАН А. В. Головнев (Россия)
проф. И. Н. Данилевский (Россия)
проф. Ч. Даннинг (США)
проф. Е. И. Дергачева-Скоп (Россия)
проф. А. Л. Зорин (Великобритания)
проф. Т. Н. Красавченко (Россия)
проф. С. Л. Кропотов (Россия)
проф. Д. Майклсон (США)
проф. А. Мустайоки (Финляндия)
д. и. н. С. А. Нефедов (Россия)
проф. М. Перри (Великобритания)
проф. В. Я. Петрухин (Россия)
проф. Р. Г. Пихоя (Россия)
д. и. н. Я. Садовский (Польша)
проф. Д. Свак (Венгрия)
проф. Н. А. Фатеева (Россия)

•

Издательство Уральского университета
Россия, 620000,
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, оф. 260
E-mail: qr@urfu.ru

•

Формат 70x100/16. Тираж 500 экз.

•

Отпечатано в типографии Издательско-
полиграфического центра УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru

Editorial Council

Prof. Evgeniy Anisimov (Russia)
Dr. Evgeniy Artemov (Russia)
Prof. Sergio Bertolissi (Italy)
Prof. Paul Bushkovitch (USA)
Prof. Boris Gasparov (USA)
Dr. Andrey Golovnev (Russia)
Prof. Igor Danilevsky (Russia)
Prof. Chester Dunning (USA)
Prof. Elena Dergacheva-Skop (Russia)
Prof. Andrey Zorin (UK)
Prof. Tatiana Krasavchenko (Russia)
Prof. Sergey Kropotov (Russia)
Prof. Gerald Michaelson (USA)
Prof. Arto Mustajoki (Finland)
Dr. Sergey Nefedov (Russia)
Prof. Maureen Perrie (UK)
Prof. Vladimir Petrukhin (Russia)
Prof. Rudolf Pihoya (Russia)
Dr. hab. Yakub Sadovski (Poland)
Prof. Gyula Szvák (Hungary)
Prof. Natalia Fateyeva (Russia)

•

Ural University Press
Office 260, Lenin Ave.,
620000, Yekaterinburg, Russia
E-mail: qr@urfu.ru

•

Format 70x100/16. Circulation 500 cop.

•

Publisher – Ural Federal University
Publishing Centre
4, Turgenev St., 620000 Yekaterinburg, Russia
Phone: +7 343 350 56 64, +7 343 350 90 13
Fax: +7 343 358 93 06
E-mail: press-urfu@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Vox redactoris

Память о войне: документы и образы (англ. и рус.) 7	Memory of the War: Documents and Images 7
--	--

Scientia et vita

<i>Arto Mustajoki</i> . Мой путь к изучению русского языка и пониманию русской души . . 19	<i>Arto Mustajoki</i> . My Way towards Mastery of the Russian Language and Understanding of the Russian Soul 19
<i>Gertrud Pickhan</i> . Mein Russland. Anfänge, Themen und Bilder. Моя Россия. Темы и образы (нем. и рус.) 35	<i>Gertrud Pickhan</i> . My Russia: Themes and Images 35

Problema voluminis

Война в памяти культуры	War in Cultural Memory
<i>Marie-Pierre Rey</i> . Les Cosaques dans les yeux des Français, à l'heure de la Campagne de 1814: Contribution à une histoire des images et des représentations en temps de guerre . 55	<i>Marie-Pierre Rey</i> . The Cossacks through the Eyes of the French during the Campaign of 1814: Contribution of the War Times to the History of Images and Representations. . . 55
<i>Vladimir Zemtsov</i> . Новые французские документы о Бородинском сражении. . . . 69	<i>Vladimir Zemtsov</i> . New French Documents on the Battle of Borodino 69
<i>Olga Porshneva</i> . The Image of the German Enemy as Perceived by Russian Army soldiers during World War I 79	<i>Olga Porshneva</i> . The Image of the German Enemy as Perceived by Russian Army soldiers during World War I 79
<i>Georg Wurzer</i> . Die literarische Verarbeitung des Kriegserlebnisses Edwin Erich Dwingers 94	<i>Georg Wurzer</i> . The Literary Interpretation of Edwin Erich Dwinger's War Experience 94
<i>Hannes Leidinger</i> . Визуализация Восточного фронта Первой мировой войны. 112	<i>Hannes Leidinger</i> . Visualization of the Eastern Front in Austro- Hungarian World War I propaganda 112
<i>Nikolai Baranov</i> . Современная германская историография Первой мировой войны 129	<i>Nikolai Baranov</i> . Modern German Historiography of World War I . . 129
<i>Reinhard Nachtigall</i> . Военнопленные в России в эпоху Первой мировой войны 142	<i>Reinhard Nachtigall</i> . Prisoners of War in Russia during World War I 142
<i>Vladimir Motrevich, Alexandr Smykalin</i> . World War I Prisoners of War Graves in the Urals: Modern State 157	<i>Vladimir Motrevich, Alexandr Smykalin</i> . World War I Prisoners of War Graves in the Urals: Modern State 157

<i>Елена Приказчикова. Советские и немецкие стереотипы воинского поведения летчиков-истребителей</i> 163	<i>Elena Prikazchikova. Soviet and German Stereotypes of Military Behavior of Fighter Pilots</i> 163
--	--

Disputatio

<i>Chester Dunning. Were Muscovy and Castile the First Fiscal-Military States?</i> 191	<i>Chester Dunning. Were Muscovy and Castile the First Fiscal-Military States?</i> 191
<i>Irina Dergacheva. Commemorative Literary Monuments in Ancient Russia</i> 198	<i>Irina Dergacheva. Commemorative Literary Monuments in Ancient Russia</i> 198
<i>Andreas Keller. Der deutsch-russische Unternehmer Andreas Knauf: Der Praktiker im Ural</i> 206	<i>Andreas Keller. The German-Russian Entrepreneur Andreas Knauf: A Practical Man in the Urals</i> . . . 206

Hereditas: nomina et scholae

<i>Dmitry Serov. Dramatic Destiny of Nikolay Voskresensky, a Russian Law Historian</i> 221	<i>Dmitry Serov. Dramatic Destiny of Nikolay Voskresensky, a Russian Law Historian</i> 221
<i>Дюла Свак. Будапештская школа руссиеведения: итоги и перспективы</i> 241	<i>Gyula Szvák. The Budapest School of Russian Studies: Results and Prospects</i> 241

Dialogus

<i>Владимир Бабинцев, Константин Бугров. «Русский дневник» П. Паскаля: война и революция в России глазами французского военного специалиста</i> 263	<i>Vladimir Babintsev, Konstantin Bugrov. P. Pascal's Russian Diary: War and Revolution in Russia through the Eyes of a French Military Expert</i> 263
---	--

Miscellanea

<i>Елена Главацкая. «В полку все благополучно...»: история миссионерской походной церкви</i> 279	<i>Elena Glavatskaya. "The Regiment is doing fine ...": The History of the Missionary Church Tent</i> 279
--	---

Critica

<i>Владимир Земцов. Александр Благословенный: взгляд с берегов Сены</i> 287	<i>Vladimir Zemtsov. Alexander the Blessed: A View from the Seine</i> 287
<i>Сергей Смирнов. Русские солдаты Квантунской армии: миф о «русских самураях»</i> 296	<i>Sergei Smirnov. Russian Soldiers of the Kwantung Army: a Myth of Russian Samurais</i> . . . 296
<i>Сокращения</i> 302	<i>Abbreviations</i> 302

VOX REDACTORIS

MEMORY OF THE WAR: DOCUMENTS AND IMAGES

Dear colleagues and readers, Please allow us to present the first issue of *Quaestio Rossica* for 2014, in which we continue to publish research in the humanities. We are grateful to all the readers who sent in their comments on the previous issue and hope to keep meeting your expectations henceforth. Every time period is unique for researchers; however, there seems to be a hidden magic behind ‘anniversary’ dates. Perhaps, it is because anniversaries function somewhat similar to lenses: just as convex lenses focus light, anniversaries focus our memory. They also magnify the subject, or do they, in fact, exaggerate it? They clarify our ideas about the subject, or do they, in fact, distort those ideas? While peering intensely into something, while plunging our whole being either in the past or in existing objects, events, and images, do we not infuse them with values that are not inherent to them?

How can one avoid this risk of aberration? How can one find a golden mean between “sobriety vs fantasy”, using Immanuel Wallerstein’s expression?¹ Perhaps first and foremost, one must not be afraid of risk. Otherwise, the temptation of a postmodern critical consciousness suggests that we should close our eyes, not peer and not listen too closely because everything we see and hear is a mirage. It is nothing but a game performed by our consciousness and subconsciousness. However, we should avoid such an attitude. While allowing ourselves to fall prisoners to anniversary dates, and deciding to pick up this lens, we have ventured into one of the themes revealed by the dates, the theme of war, but we have committed ourselves to presenting documents, large-scale comparisons, and a variety of sources.

This year, two events of military history seem to define the main thematic trends. Two hundred years ago, in the spring of 1814, the allied forces led by the Russian Emperor Alexander I entered Paris, ending the epoch of Napoleon and marshalling a new world order. A hundred years ago, in the summer of 1914, the First World War began, the war that brought irrevocable changes to the world and consequently compelled people to bid farewell to an illusory belief in the triumph of human genius, a belief encouraged by the fruits of scientific and technological progress. Without a doubt, those were very different wars, and not merely in terms of weapons, tactics and

¹ This is how the scientist formulated the main task for an analytic who tries to comprehend the contemporary condition and perspectives of world development: “It is rather the proper combination of sobriety and fantasy that we must look for” [Валлерстайн, с. 167]. We must think this sort of approach productive for any researcher in humanities, including the historian.

strategy of military action. They were and are different in the perceptions of the mass consciousness as well as professional memory. Even though they have been thoroughly contemplated, variously described in textbooks, repeatedly interpreted in the contexts of various cultural backgrounds, and in the process have become subjects of art either in literature, painting, or cinema, these two wars still require our attention, independently or as examples of war in general.

Any war emerges as a whole universe for people involved and their descendants. Drawing a human into its destructive vortex, the war creates a condition which Russian historian Igor Narskiy very accurately described as 'life inside the catastrophe'. Equally, soldiers and civilians, whose dwellings and destinies are ruined by war, are forced to live inside the 'catastrophe of war', the environment generally not fit for life.

How is this life arranged; what practices does a 'person in war' come up with; how is the image of the enemy formed; what do survivors carry on and leave for the next generations; and how does physical and mental adaptation happen after the war ends? All these questions – asked not from the position of classic military history, but rather from the viewpoint of 'anthropologizing' history – have formed the core of this issue, making up the contents of the "Problema voluminis" section.

Following in chronological order, the first section opens with two articles by renowned experts in the history of the Napoleonic Wars. Marie-Pierre Rey, Professor at the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, introduces us to the world of Paris in the spring of 1814, when the inhabitants of the capital of France had been expecting with awe and terror the arrival of the barbaric Russian troops. Their encounter and side-by-side living continued from several months, up to several years. The focus of the article is the mutual impressions of the participants in that contact; however varied, they appear equally destructive for the stereotypes of subsequent perceptions.

The Russian historian Vladimir Zemtsov refers to one of his favorite themes, the Battle of Borodino, commenting on a new series of French sources on this great battle, published in 2012. Both articles coincide in describing the final stage of the Napoleonic wars through the perceptions of their contemporaries, which is achieved via the analysis of a hefty amount of authentic documents.

The articles devoted to World War I offer developments in the interpretation of this drama, which has overshadowed the beginning of the twentieth century. Olga Porshneva refers directly to the situation of the war years in her text, revealing the mechanisms of the evolution of the image of the German enemy in the consciousness of Russian soldiers. Hannes Leidinger's article, based on video and photographic materials from the Austrian archives, describes a similar process, the formation of an image in the mass consciousness, this time across the front line. Dr. Leidinger focuses on the methods in which visual imagery influenced the mass ideas of Austro-Hungarian subjects about the Eastern Front.

Reinhard Nachtigall dedicates his study, involving a wide spectrum of sources, to the destinies of German prisoners in different countries, including Russia. Vladimir Motrevich and Alexander Smykalin summarize many years of fieldwork on uncovering the burials of prisoners in the Urals and Siberia from the armies of the Triple Alliance, suggesting strategies for rethinking those memorials.

Three more articles are devoted to various forms of representing war in the memory of subsequent generations. Nikolai Baranov refers to professional historical sources and suggests an analysis of productive historical trends in studying the phenomenon of war in contemporary German historiography. Georg Wurzer studies the novels of Edwin Erich Dwinger, an influential German writer, whose experience in Russian captivity at the beginning of the 20th century has suddenly come to be in demand during the Second World War. His novels are outlining a new aspect of the European war drama for the Russian reader, complementing the classics of Remarque.

The only article from the “War block” of this issue, concerning chronologically different events, i. e., WWII, is by Elena Prikazchikova. However, the Editors have found it both relevant and useful to publish this article here. Dedicated to the stereotypes of the warriors’ behavior of the Soviet and German pilots, this study is based on unique materials from diaries and memoirs of the elite in both armies. It certainly gives food for thought about the evolution of the consciousness of the professional military in the dynamics of the one-and-a-half-century history of the late modern and contemporary period in Europe.

However, as we have announced in the previous issue, the core theme of this volume is by no means limiting. In the section titled “*Scientia et vita*” we continue publishing our colleagues’ essays about their unique journeys into the world of Russian history and culture. The feedback on our previous publications of that sort proved that the chosen angle is in demand and interesting for the readers. This can hardly be surprising because the essays’ authors create a unique series of historical sources that are emotional, sincere, and, in the best meaning of this word, subjective. Their relevance is not limited by notorious ‘actuality’; they are destined to serve future generations of humanitarians by relying on emotion as well as personal and professional reflexivity. In this issue, the stories of ‘their Russia’ are shared by the German historian, Gertrud Pickhan, and the outstanding Suomi linguist and philologist, Arto Mustajoki.

Another section of the issue, “*Hereditas: nomina et scholae*”, is, in the opinion of the editorial board, destined for a long life. It opens with an article by Dmitry Serov who tells a story about the dramatic fate of a gifted scholar and an unfairly underestimated Soviet historian, Nikolay Voskresenskiy. This biographical essay is not just another biography; an intense introduction of materials and a masterfully constructed exposition allow the reader to see a wide panorama of the complex and tragic processes, which was characteristic of the Russian historical milieu in pre-

and postwar years. Along with the main character in Serov's text, as if in a play, several personages act, often violating their roles, creating heroes and anti-heroes; their characters are unfolded, their routines exposed, and in the process, the reader faces latent professional contradictions and human actions that made up the fabric of scientific life in Leningrad in the 1930s and 1940s.

A detailed essay by one of the leading Hungarian historians of Russia, Gyula Szvák, reconstructs the development of Russian studies both in history and philology in Hungary at the turn of the 20th-21st centuries. With unimpeachable knowledge, Professor Gyula Szvák, one of the main organizers and inspirations of modern Hungarian Russian studies, describes the unique atmosphere of intense and fruitful intellectual life happening within the Budapest School of Russian Studies, centered around Eötvös Loránd University (ELTE) in Budapest. Broad scientific interests in this circle, which range from the history of Russian-Hungarian relations in the 9th-10th centuries A.D. to the painful issues of the post-Soviet period, as well as noteworthy publishing productivity of our Hungarian colleagues, both in Budapest and in other universities in Hungary, suggest that their contribution to the global field of Russian Studies is certainly formidable.

The "Disputatio" section of this volume suggests thematic diversity, beginning with an article by Chester Dunning, devoted to the disputed issue of the foundations of early modern states, the so called "fiscal-military states." In his renowned polemical style, the distinguished American historian provides a comparative analysis of the realities of the Moscow State (Muscovy) and the Kingdom of Castile in the 16th century. Without commenting on the contents of the article, we welcome the approach of the author, who aims to broaden the European historical context by overcoming the artificial notion of 'European' as intentionally 'Western European,' created and nurtured by the tradition of historical writing in the 19th century. This approach highlights the productivity of engaging in a comparative study of European periphery, both in the West and in the East of the subcontinent.

Developing the theme of the evolution and continuity of the cultural process in the late Middle Ages and early modernity, Irina Dergacheva's article on ancient Russian Synodicons adds to this section. Their development emphasizes authors' interventions that in fact define the trajectory of collective memory. The section ends with Andreas Keller's article on Andreas Knauf, the Urals manufacturer of German origin. This article is a follow-up to research published in the previous issue of *Quaestio Rossica*; this part is illustrated with unique watercolors of the beginning of the 19th century, depicting everyday life of German artisans who by a twist of fate ended up in the heart of industrial Urals.

The "Dialogus" section, where we publish interviews with authors of new research, sometimes in preliminary stages of publication, offers a dialogue between Konstantin Bugrov, the Editorial Board member of *Quaestio Rossica*, and Professor Vladimir Babintsev, Dean of the Faculty of

History at Ural Federal University, who is known for his celebrated Russian translations of the classics of modern French historiography, including Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie and Pierre Chaunu. In this case, the focus of the talk settles on new work by Babintsev: a translation, replete with commentary, of the authentic historical source, the first volume of the *Russian Diary* by Pierre Pascal, a member of the French military mission in Russia during the First World War. Babintsev studies the context of analyzing the author's biography, the peculiarities of everyday life in wartime and the revolutionary situation in Russia.

This issue ends with two reviews: one by Vladimir Zemtsov, who highly appraises an undoubtedly professional book, *Alexander I* by Marie-Pierre Rey, and one by Sergei Smirnov about a monograph by E.V. Yakovkin, *Russian soldiers of the Kwantung Army*, which is, in his view, not sufficiently polished.

Editorial Board
Translated by Anna Dergacheva

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: ДОКУМЕНТЫ И ОБРАЗЫ

Уважаемые коллеги и читатели журнала. Перед вами первый номер *Quaestio Rossica* за 2014 год, где мы продолжаем публиковать результаты гуманитарных изысканий. Мы благодарны всем читателям, приславшим свои отзывы о предыдущем номере, и надеемся не обмануть ваши ожидания.

Любое время уникально для исследователя, но есть скрытая магия круглых дат. Наверное, потому, что круглые даты чем-то напоминают линзы: как эти выпуклые стекла фокусируют свет, так и юбилеи фокусируют нашу память. А еще увеличивают предмет – или преувеличивают? А еще проясняют наши представления о нем – или искажают? Ведь напряженно всматриваясь во что-то, погружаясь всем своим существом – в прошлые ли, в настоящие ли предметы, события, образы – не придаем ли мы им значения, им не присущие?

Что можно противопоставить этому риску аберрации? Как найти золотую середину между «трезвостью и фантазией», пользуясь образным выражением Иммануила Валлерстайна²? Наверное, в первую очередь, надо не бояться рисков. Ведь в противном случае, соблазн постмодернистских рефлексий подскажет нам: закрой глаза, не всматривайся, не вслушивайся; все, что ты увидишь и услышишь – это

² Именно так определил ученый главную задачу аналитика, пытающегося понять современное состояние и перспективы мирового развития: «То, что мы должны отыскать – скорее правильное сочетание трезвости и фантазии» [Валлерстайн, с. 167]. Полагаем, такой подход продуктивен для любого исследователя-гуманитария, в том числе историка.

мираж, игры твоего собственного сознания и подсознания. Но, как говорится, это не наш выбор. Позволив себе плениться очередными круглыми датами, взяв в руки эту линзу, мы рискнули обратиться к одной из тем, подсказанной датами – к теме войны, взяв за основу многообразие документальных источников и интерес к масштабным сопоставлениям.

В этом году два события военной истории определяют тематические тренды. 200 лет назад, весной 1814 г., союзные войска во главе с российским императором Александром I вошли в Париж, положив конец эпохе Наполеона и возвестив начало нового миропорядка. А 100 лет назад, летом 1914 г., началась Первая мировая война, после которой мир бесповоротно стал другим, навсегда распрощавшись с иллюзорной верой в торжество человеческого гения, вооруженного плодами научно-технического прогресса. Без сомнения, это очень разные войны, не только с точки зрения вооружений, тактики и стратегии военных действий. Они разные по восприятию в сегодняшнем массовом сознании и профессиональной памяти. Осмысленные и неоднократно проинтерпретированные в контекстах различных культурных традиций, по-разному поданные в учебниках, ставшие достоянием художественных произведений: в литературе, живописи, кинематографе, – две эти войны по-прежнему требуют нашего внимания – и сами по себе, и как примеры войны вообще.

Любая война – это целая вселенная для вовлеченных в нее людей и их потомков. Затягивая в свой разрушающий крутоворот человека, война формирует то состояние, которое российский историк Игорь Нарский очень точно назвал «жизнью в катастрофе». Жить в катастрофе войны – среде, в общем-то, для жизни не приспособленной, приходится и солдату, и мирным людям, по чьим жилищам и судьбам проходит война. Как устраивается эта жизнь, к каким практикам приходится прибегать «человеку в войне», как формируется образ врага, что носят в себе пережившие войну, что оставляют они тем, кто приходит за ними, как происходит преодоление войны – физическое и ментальное – после того, как война заканчивается? Все эти вопросы, главным образом заданные не с позиций классической военной истории, а скорее, с позиций истории антропологизирующей, сформировали ядро очередного номера нашего журнала, составив содержание рубрики «*Problema voluminis*».

Повинуясь хронологической последовательности, рубрику открывают две статьи известных специалистов по истории наполеоновских войн. Профессор университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна Мари-Пьер Рей вводит нас в мир Парижа весны 1814 г., когда жители столицы Франции, с трепетом и ужасом ожидавшие прихода варварских русских войск, столкнулись с ними воочию и прожили бок о бок достаточно долго – от нескольких месяцев до нескольких лет. В фокусе повествования – взаимные впечатления сторон от этого кон-

такта; впечатления разные, но однозначно разрушающие стереотипы последующего восприятия. Российский историк Владимир Земцов обращается к одной из любимых своих тем – Бородинскому сражению, комментируя комплекс новых, опубликованных в 2012 г. французских источников об этом великом сражении. Обе статьи роднит, по меньшей мере, то, что заключительный этап наполеоновских войн подается авторами через восприятие событий их современниками, что достигается благодаря анализу значительного пласта аутентичных документов.

Статьи, посвященные Первой мировой войне, раскрывают перед читателем несколько пластов осмысления этой драмы, знаменовавшей начало XX в. Непосредственно к ситуации военных лет отсылают в своих текстах Ольга Поршнева, раскрывающая механизмы формирования образа немца как врага в массовом сознании русских солдат; Ханнес Лейдингер, чья статья на основании кино- и фотодокументов из австрийских архивов повествует, по сути, о сходном процессе – формировании образа противника в массовом сознании, только по другую сторону линии фронта. Следует отметить, что доктор Лейдингер концентрирует свое внимание на визуальных способах воздействия на массовые представления подданных Австро-Венгрии о Восточном фронте.

Судьбам немецких военнопленных в различных странах, в том числе в России, на основании большого круга источников посвящает свое исследование Райнхард Нахтигаль. Многолетние полевые изыскания захоронений пленных солдат армий Тройственного союза в Урало-Сибирском регионе, соединенные с мыслями о современной судьбе мемориалов, представлены в статье Владимира Мотревича и Александра Смыкалина.

Еще три статьи посвящены различным формам интерпретаций войны в памяти последующих поколений. Николай Баранов обращается к профессиональным студиям и предлагает анализ продуктивных историко-культурных направлений изучения феномена войны в современной германской историографии. Георг Вурцер открывает художественный мир романов Эриха Двингера, известного немецкого писателя, чей опыт русского плена начала века оказался востребованным во времена Второй мировой войны. Его романы очерчивают новый (для российского читателя) аспект европейских военных драм, дополняющий классику Ремарка.

Единственная статья «военного блока», хронологически относящаяся к другим событиям – Второй мировой войне, – принадлежит перу Елены Приказчиковой. Тем не менее, редколлегия сочла уместным и полезным публикацию статьи в этом номере. Посвященная стереотипам воинского поведения, характерным для советских и немецких летчиков-истребителей, основанная на дневниках и мемуарах элиты вооруженных сил воюющих армий, статья дает богатую пищу для рассуждений об эволюции сознания профессиональных военных

в динамике полуторавековой истории войн позднего Нового и Новейшего времени на европейском континенте.

Тем не менее, как анонсировалось в предыдущем номере, основная тематика очередного тома не исчерпывает его содержания. В рубрике «*Scientia et vita*» мы продолжаем публиковать эссе наших коллег, в которых они рассказывают о собственном пути в мир русской истории и культуры. Отклики на первые публикации такого рода показали, что найденный ракурс оказался чрезвычайно востребованным и интересным для читателей. Наверное, это неудивительно: ведь авторы эссе создают уникальный корпус исторических источников, эмоциональных и искренних, субъективных в самом положительном смысле этого слова, чье значение не исчерпывается пресловутой «актуальностью», но затрагивая чувства и побуждая к личностной и профессиональной рефлексии современников, будет служить многим поколениям последующих гуманитариев. В этом выпуске журнала историями о «своей России» делятся немецкий историк Гертруда Пикхан и выдающийся финский лингвист и филолог Арто Мустайоки.

Еще одна рубрика – «*Hereditas: nomina et scholae*», которой, по мнению редколлегии, уготована долгая жизнь, открывается статьей Дмитрия Серова о драматической профессиональной судьбе яркого и явно недооцененного советского историка права Николая Воскресенского. Этот очерк – не просто биография одного из... Благодаря насыщенному материалу и мастерски построенному изложению, читатель получает возможность увидеть широкую панораму сложных и, порой, трагических процессов, характерных для российской исторической науки предвоенных и послевоенных лет. Наряду с главным героем в повествовании, как в спектакле, действуют, нарушая свои амплуа, антигерои и герои второго плана; разворачиваются характеры, раскрываются будни, внутрицеховые противоречия и человеческие поступки, составлявшие ткань научной жизни Ленинграда 1930–1940-х гг.

Обстоятельный очерк одного из ведущих венгерских историков-русистов Дюлы Свака реконструирует картину развития русских исследований – и в области истории, и в области филологии – в Венгрии на рубеже XX–XXI вв. Профессор Дюла Свак, едва ли не главный организатор и вдохновитель современной венгерской русистики, с несомненным знанием предмета и основательностью описывает уникальную атмосферу напряженной и плодотворной интеллектуальной жизни, сформировавшей на сегодняшний день феномен будапештской школы русистики, сконцентрированной вокруг Центра русистики Университета им. Лоранда Этвёша. Широта научных интересов (от истории русско-венгерских отношений в IX–X вв. до злободневных проблем постсоветского периода) и публикационная продуктивность венгерских коллег, как в Будапеште, так и в других университетах Венгрии, позволяет говорить о их весомом вкладе в мировую русистику.

Тематическим разнообразием отличается рубрика «Disputatio», которая начинается статьей Честера Даннига, посвященной дискуссионному вопросу о становлении государств раннего Нового времени, так называемых *fiscal-military states*. В свойственной ему полемической манере, известный американский историк проводит сравнительный анализ реалий Московского государства (Московии) и Кастильского королевства XVI в. Не комментируя содержания статьи, хочется приветствовать сам подход автора, направленный на исследование широкого европейского исторического контекста, на преодоление искусственного, культивированного традицией историописания XIX в., понимания *европейского* как явно или интенционно *западноевропейского*; подчеркивающий продуктивность компаративного изучения европейской периферии как на западе, так и на востоке субконтинента. Как бы развивая тему эволюции и континуальности реалий культурного процесса позднего Средневековья и Нового времени, рубрику продолжает статья Ирины Дергачевой о древнерусских Синодиках. В их истории выделяются яркие страницы авторского вмешательства, по сути формирующие направление коллективной памяти. Завершает раздел статья Андрея Келлера об уральском промышленнике немецкого происхождения Андрее Кнауфе, продолжающая исследование, опубликованное в предыдущем номере; данная часть иллюстрирована уникальными акварелями начала XIX в., показывающими быт немецких мастеровых, оказавшихся, волею судьбы, в самом сердце горнозаводского Урала.

В рубрике «Dialogus», где публикуются интервью с авторами новых, иногда еще только подготовленных к печати научных трудов, представлена беседа члена редколлегии нашего журнала Константина Бугрова с профессором, деканом исторического факультета УрФУ Владимиром Бабинцевым, известным своими блестящими переводами на русский язык трудов классиков французской историографии новейшего времени, в том числе Жака Ле Гоффа, Эммануэля Ле Руа Ладюри, Пьера Шоню. В данном случае в центре внимания собеседников – разговор о новой работе В. Бабинцева: переводе и комментировании аутентичного исторического источника, первого тома «Русского дневника» Пьера Паскаля, члена французской военной миссии в России времен Первой мировой войны в контексте непростой биографии автора, особенностей военного быта и революционной обстановки в России.

Завершается журнал рецензией Вл. Земцова, высоко оценивающего бесспорно профессиональную книгу М.-П. Рэй об Александре I, и отзывом Сергея Смирнова о недостаточно профессиональной, по его мнению, монографии Е. В. Яковкина «Русские солдаты Квантунской армии».

Редколлегия

Валлерстайн И. После либерализма : пер. с англ. / под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М. : Едиториал УРСС, 2003. 256 с. [Vallerstajn I. Posle liberalizma : per. s angl. / pod red. B. Yu. Kagarlitskogo. M. : Editorial URSS, 2003. 256 s.]



Scientia
et vita



Scientia
et vita

**МОЙ ПУТЬ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ПОНИМАНИЮ РУССКОЙ ДУШИ**

**MY WAY TOWARDS MASTERY OF THE RUSSIAN
LANGUAGE AND UNDERSTANDING
OF THE RUSSIAN SOUL**

В статье обсуждается проблема личного постижения и научного исследования русского языка как иностранного. Яркие факты научной биографии известного финского ученого проецируются на обширное поле современной русистики. Обсуждаются связанные с акцентологией, морфологией, функциональным синтаксисом, лингвокультурологией, корпусной лингвистикой, активными языковыми процессами эвристические методы анализа и систематизации языкового материала. Рассуждения автора о собственных научных поисках и обретениях включены в контекст реального времени и переплетаются с проблемами образования, этики, политики, культуры и международных контактов.

Ключевые слова: русский язык; акцентология; МАПРЯЛ.

The article examines the personal comprehension and scholarly research of Russian as a foreign language. Facts of the renowned scholar's biography are projected onto the vast field of modern Russian studies. The article studies the heuristic methods of analysis and systematization of language material connected with accentology, morphology, functional syntax, cultural linguistics, corpus linguistics, and current linguistic processes. The author describes his own scholarly pursuit and findings, including them into the context of the present, and connecting them with the issues of education, ethics, politics, culture and international contacts.

Keywords: International Association of Teachers of Russian Language and Literature (МАПРЯЛ), Russian language, accentology.

Я сто раз отвечал на вопрос, почему я стал изучать русский язык. Русские, спрашивая это, ждут ответа вроде: «Полюбил Пушкина», «Заинтересовался русской культурой». Когда они слышат мой ответ, я вижу на их лицах разочарование, удивление... В конце концов они не знают, как отнестись к тому, что именно было для меня стимулом к

изучению русского языка. Дело в том, что я стал заниматься русским языком из чувства протеста против своих родителей. Мы жили в то время в поселке, где мой отец был лютеранским священником, а мать учительницей в школе. Поселок находился в западной части центральной Финляндии в районе, где в те времена никто не знал русского языка и практически все ненавидели русских. В целом я был послушным ребенком, но потом, окончив школу, подумал, что надо сделать что-то против воли родителей. Поэтому я отпустил бороду и стал изучать русский язык. Родители никогда прямо не ругали меня за мой выбор, но я знал, что было особенно негативным: люди в поселке (и приходе) думали, что сын священника стал коммунистом. Последнее было единственным рациональным объяснением моего стремления изучить русский. Как знак своего рода оправдания странного выбора сына мать посетила Ленинград, чтобы посмотреть, как юный стажер живет там за железным занавесом (так в Финляндии принято было говорить).

Я с раннего детства интересовался языком. Еще в дошкольном возрасте подсчитывал количество тех или иных букв в разных типах финского текста. Вообще любил делать разного рода статистические



подсчеты. Меня интриговал, например, вопрос: какая фамилия самая распространенная в телефонной книге. В школе у меня был длинный курс немецкого языка, так что естественным было поступление после окончания школы на германское отделение Хельсинкского университета. Одновременно я пошел на начальный курс русского языка. Сначала русский давался мне с трудом, так что пришлось повторить начальный курс. Финские университеты отличаются достаточно свободной системой изучения разных предметов. Кроме главного предмета (немецкого) и дополнительного (русского), я изучал общее языкознание, журналистику, а также эстетику и мировую литературу.

Дипломную работу я написал по-немецки. Она была посвящена порядку слов в придаточных предложениях (Nebensatz). Позже я сообразил, что тема хорошо сочеталась с моим личным научным пафосом: я безоговорочно принял главный принцип научной деятельности – к тому, что пишут авторитеты, нужно относиться скептически и критически. Во всех немецких грамматиках отмечается, что глагол стоит в Nebensatz на последнем месте. По моим наблюдениям, это было неверно. Изучая языковой материал, делая статистические выкладки, я получил результаты, подтверждающую мою гипотезу. Работал самостоятельно, ни разу не показывая свой текст руководителю. Работа была принята, но оценка была не из самых лучших.

Важным стимулом для моего лингвистического мышления были занятия по общему языкознанию. Они велись молодыми финскими

занятия по общему языкознанию. Они велись молодыми финскими

преподавателями, которые только что вернулись после стажировки или докторантуры в Америке и с энтузиазмом рассказывали о последних веяниях западной лингвистики. Я и сам интересовался разными теоретическими подходами. В просеминарии по русскому языку я сделал доклад об аппликативной грамматике Шаумяна. Преподавательница ничего в этом не смыслила, что, впрочем, не помешало ей разрешить мне выступить на такую тему.

В то время у нас работали советские преподаватели. На меня произвели большое впечатление лекции Бориса Гаспарова. Читая лекции, он ходил перед нами туда и сюда, одновременно размышляя о своих новых лингвистических концепциях. Получалось, что мы, посредственные финские студенты, были первыми свидетелями формулирования новых идей знаменитого ученого. Каждый год в Хельсинки приезжали (по указу Москвы) сначала пятеро, позднее – трое советских преподавателей. Среди них были такие известные лингвисты и литературоведы, как Е. А. Земская, Н. А. Купина, С. Г. Исаков, А. А. Кретов и мн. др. С начала девяностых годов мы стали сами выбирать преподавателей – носителей языка – на конкурсной основе. Более двадцати лет у нас работал Л. Бирюлин, который вышел на пенсию в 2011 г. На пост Бирюлина после конкурса был выбран М. Копотев. Продолжают работать русисты Е. Протасова и Г. Обатнин.

Вернусь к описанию своего пути к русскому языку. После окончания германского отделения Хельсинкского университета я планировал поступить в аспирантуру по немецкому языку, но в том же 1971 г. мне представилась возможность поехать на двухгодичную стажировку в Ленинград. Это время сделало из меня русиста. Я научился говорить по-русски, познакомился с российской лингвистической традицией, ходил на первые уроки знакомства с русской культурой, русским бытом и впервые ощутил нечто, что называют загадочной русской душой. Университет устраивал туристические поездки в Среднюю Азию, Баку, Ригу. Способствовал процессу понимания русских людей и спорт. Я играл в баскетбол за команду филфака и университета, и первые жаргонные слова и известные всем русские жесты я выучил в раздевалке.

Однажды один финский знакомый спросил, хочу ли я узнать, что обо мне пишут в архиве КГБ – там работал его русский друг. Через пару недель он мне все рассказал. Там, действительно, были данные обо мне, в частности, о том, что я привожу из Финляндии русским студентам пластинки с западной рок-музыкой («Black Sabbath», «Led Zepplin», «Deep Purple»). Я хорошо помню, что почувствовал в этот момент. Как ни странно, моим первым чувством было облегчение: ведь нечего бояться, если все фиксируется правильно. Мне было легко догадаться, кто доносил эти сведения в КГБ. Как раз о пластинках я рассказывал студентке, изучающей финский язык. Она коротко познакомилась с финскими стажерами, живо интересовалась нашими делами. Когда через тридцать лет я узнал, что Медведев увлекался и все еще увлекается

рок-музыкой, мне пришла в голову безумная мысль: а вдруг он слушал какую-нибудь из привезенных мною пластинок?

После первой осени ленинградской стажировки родственники подарили мне на рождество финский перевод известной книги Хедрика Смита «The Russians» и заставили ответить на вопрос, прав Смит или нет. Мне всегда не нравились черно-белые мнения о Советском Союзе. Я соблюдал речевую стратегию, целью которой было сглаживание взглядов: тем, кто видел там только недостатки и ужасы, я рассказывал о положительных фактах, а тех, кто восхищался Советским Союзом (они тоже были в студенческих кругах), я просвещал, убеждая, что многое обстоит не так, как они думают.

Вернувшись в Хельсинки, я довел до конца мою учебу по русскому языку и поступил в аспирантуру. Тема диссертации отражала сложившийся личный интерес к статистическим методам. Я старался создать модель частотной грамматики, которая не только описывает строй языка, но и фиксирует встречаемость разных грамматических категорий. Существует два типа частотности: лексическая частотность (сколько каких лексем в языке) и текстуальная (синтагматическая) частотность (как часто слова с определенными свойствами встречаются в речи). В то время электронных корпусов еще не существовало. Кроме теоретических рассуждений, я представил сделанные вручную подсчеты употребительности существительных.

Помню одно интересное событие тех лет. Когда я учился в докторантуре, мне приходилось часто сопровождать наших русских гостей. Встречал их на вокзале, помогал ходить по Хельсинки, заполнять необходимые анкеты. С точки зрения знания языка и русского лингвистического мира, это было весьма полезное занятие. Одним из гостей был академик Федот Петрович Филин (имя и отчество я, естественно, должен был запомнить). Он остановился вдалеке от центра города в гостинице университета. Когда я однажды утром ехал с ним на такси в университет, шофер, услышав русскую речь, заинтересовался гостем. Используя меня в качестве переводчика, они начали обсуждать войну. Оказалось, что воевали они одновременно на одном и том же фронте, – конечно, по разные стороны. Скрупулезно они уточняли место, где шли бои. В конце концов, один спросил: «Вы помните танк, который горел у дороги?», а другой ответил: «Да, помню». Они могли бы застрелить друг друга, а сейчас сидят в одном такси: один – шофер, другой – пассажир. Когда мы доехали до Сенатской площади, шофер тоже вышел из машины. Бывшие враги сердечно обнялись и выразили обоюдное желание, чтобы никогда больше не было войны между нашими народами.

Когда я потом рассказывал русским коллегам эту историю о Филине, я заметил на лицах слушателей настороженное выражение. Один коллега потом объяснил, в чем дело: «Мы его не любили». Я ничего об этом, конечно, не мог знать. Филин был другом профессора Вахроса, и я просто делал то, о чем меня просили. Лишь постепенно я понял,

что в русской культуре еще более, чем в других культурах, наблюдается разделение людей на две категории: есть «наши», т. е. хорошие, и «другие», или «они», которые опасны или, по крайней мере, сомнительны. Мне, иностранному русисту, участвовать в такой игре было невозможно, к тому же просто не хотелось это делать. Прекрасно понимаю, что, особенно в советское время, поступки некоторых ученых были в такой мере некрасивыми, что они заслужили пренебрежение и даже ненависть своих коллег. Но неуважение к коллегам иногда вызывается и менее значимыми причинами: москвичи не уважают коллег из провинции; ученые, работающие в институтах Академии наук, игнорируют исследования коллег, работающих в университетах, и т. д.

Тема докторской диссертации объединила мой личный интерес к количественным методам и типичное для иностранцев увлечение языковыми явлениями, трудными для них самих. Многие мои коллеги писали диссертации о русских или, шире, славянских видах, я же выбрал для исследования другую проблему, на мой взгляд, не менее сложную: подвижность русского ударения [Мустайоки, 1980]. Хотел выяснить, можно ли каким-то образом облегчить путь иностранных студентов к усвоению типов ударения русских существительных. Называл цель исследования обязательным «минимумом», по терминологии прикладной лингвистики того времени. Тем самым создал свою систему нотации типов ударения. По юношеской наивности думал, что весь мир будет в дальнейшем использовать результаты моей диссертации при составлении новых учебных пособий. Думается, исследователь не может не верить в уникальность своих результатов и выводов. Но несмотря на то, что моя нотация типов ударения «намного лучше», как мне казалось, чем соответствующие нотации Зализняка, Федяниной и Редькина, и несмотря на то, что я смог найти многие закономерности в определении места ударения, никто, кроме меня, не использовал эти находки при составлении учебных пособий.

Сравнительно быстро после защиты докторской диссертации в Хельсинкском университете открылась вакансия профессора русского языка и литературы. Мой предшественник профессор Игорь Вахрос считал меня недостаточно компетентным для того, чтобы занять эту должность. Сам он представлял поколение ученых, которые были настоящими филологами, являясь знатоками как современного языка и истории языка, так и литературы. Мои исследования касались только современного русского языка. В то время в Финляндии существовала практика, согласно которой можно было получить продление срока подачи заявки на профессию на один год для того, чтобы пополнить список публикаций. Я воспользовался этой возможностью и написал за это время монографию о выборе падежа в отрицательных предложениях [Mustajoki, 1985]. Других серьезных кандидатов на пост профессора русского языка и литературы не было из-за «смутного времени». Двое из трех иностранных рецензентов признали меня компетентным для замещения должности профессо-

ра, считая, что от кандидата на должность нельзя требовать знаний и публикаций одновременно и по языку, и по литературе. Так меня назначили профессором. Было мне 33 года.

Ученых, в том числе лингвистов, можно разделить на две категории в зависимости от широты тематики, которой они занимаются. Некоторые ученые проникают все глубже и глубже в одно явление и в конце концов знают об этом явлении больше всех в мире. А другие ученые путешествуют по разным сферам лингвистики, останавливаясь то на одной станции, то на другой. Среди известных русистов первый тип представляет Александр Бондарко, а второй тип – Татьяна Николаева. Очень уважаю обоих ученых, но по своей натуре я ближе к той идеологии, которую представляет Татьяна Михайловна. Типы ударения я оставил почти сразу после защиты диссертации, к падежу дополнения в отрицательных предложениях я вернулся в другой монографии [Mustajoki, Heino], но методология была в ней теперь совсем иная (в первый раз – эксперимент; во второй раз – анализ языкового материала).

Многие годы моим верным спутником была и все еще остается теория функционального синтаксиса. Со студентами я рассматривал русский язык с точки зрения семантических категорий еще в восьмидесятых годах. Потом написал монографию на эту тему на финском языке, в 1993 г. опубликовал проблемную статью в журнале «Вопросы языкознания» под заголовком «Возможна ли грамматика на семантической основе» [Мустайоки, 1997]. Монография «Теория функционального синтаксиса» вышла в 2006 г. [Мустайоки, 2006], а сейчас мы готовим к печати «Функциональный синтаксис русского языка» и его сокращенную версию для иностранных студентов на английском языке.

Научные интересы часто возникают на основе практических нужд. Одна из потребностей любого ученого – выбрать нужную методологию. Когда исследуешь язык, не можешь не думать о том, как получить информацию о нем. Лингвистическая методология волнует меня до такой степени, что я написал несколько статей о том, какова роль экспериментов и описательного анализа языкового материала в лингвистике. Другой пример: когда пишешь учебные пособия, непременно начинаешь думать о минимизации дидактического материала и целей обучения – это темы некоторых моих работ. В процессе непосредственного речевого общения с русскими постоянно сталкиваешься с различиями в коммуникативном поведении и картине мира. После таких наблюдений теория межкультурной коммуникации становится естественным объектом научных интересов.

Переключение с одной темы на другую содержит, конечно, риск поверхностного знания. Опасность дилетантизма действительно есть, когда пишешь о вещах, относительно которых не знаешь научной литературы, созданной мировым коллективом ученых. Оправдываю свой интерес к разным вопросам двумя обстоятельствами. Во-первых, я заметил, что в серьезных, сверхглубоких научных трудах можно найти лакуны в использованной научной литературе: важные

с точки зрения тематики работы могут отсутствовать, а те, которые отмечаются, не всегда корректно интерпретируются. Во-вторых, мне кажется, что знакомство с разными явлениями (а также с разными языками) расширяет кругозор исследователя, что нельзя считать недостатком для ученого.

Такого рода оправдание было мне необходимо при создании теории функционального синтаксиса. Сама идея «активной грамматики», в терминологии Л. В. Щербы, заманчива и важна, потому что она отражает роль говорящего в коммуникации. Однако при применении этого подхода исследователь непременно сталкивается с двумя принципиальными проблемами (или вызовами, как сейчас принято говорить). Первая из них – расплывчатость и неопределенность семантических категорий, на которых основывается описание языка. Из-за этого создатель теории вечно сомневается в объективности предложенной классификации, он никогда не может быть удовлетворен ею до конца. Вторая проблема связана с неизбежным чувством недостаточности, неполноты: составляя целостную систему семантических категорий, исследователь должен быть специалистом по всем лингвистическим вопросам. Разработанная мною модель функционального синтаксиса [Мустайоки, 2006] основывается на более чем 40 семантических категориях (состояние, существование, аспектуальность, побуждение, определенность / неопределенность, авторизация и др.). О каждой из них написаны фундаментальные научные монографии. Конечно, я стремился ознакомиться с основной литературой по всем темам, но признаю, что в мире можно найти немало лингвистов, которые знают каждое языковое явление по отдельности глубже меня.

Можно задаться вопросом, почему я хотел написать теорию функционального синтаксиса один, а не создал исследовательский коллектив. Ответ прост: я полагал, что последовательность – более важная характеристика теории, чем детальная характеристика отдельных языковых явлений. Соавторство как способ создания научных и практических трудов мне не чуждо. Напротив, у меня есть большой опыт сотрудничества со многими коллегами. Из работающих в Хельсинки коллег у меня несколько работ по межкультурной коммуникации и русско-финским коммуникативным различиям с Екатериной Протасовой [Мустайоки, Протасова, 2003; 2004а; 2004б и др.], по корпусной лингвистике – с Михаилом Копотевым [Копотев, Мустайоки], книга по падежу дополнения написана совместно с Ханнесом Хейно [Mustajoki, Heino], книга о статистике грамматических категорий – с Эвой Илола [Ilola, Mustajoki], некоторые статьи – совместно с Ольгой Пуссинен [Мустайоки, Пуссинен, 2006; 2008]. Из российских коллег я писал совместные работы, в частности, с Ириной Вепревой по модным словам и авторефлексии говорящего [Мустайоки, Вепрева] и с Татьяной Стексовой по «коллективным субъектам» типа *политика, экономика, наука* [Мустайоки, Стексова].

Собственно говоря, для работы в соавторстве у меня бывает две причины: потребность выйти за границы собственной компетентности и недостаток времени (идей намного больше, чем времени для их осуществления). Книга «Этика в повседневной деятельности ученого» [Clarkeburn, Mustajoki] – хороший пример объединения знаний и опыта двух человек. Мой соавтор (она же и моя племянница) – доктор Эдинбургского университета, защитившая диссертацию по этике в биологических науках. К ее глубоким знаниям по теории научной этики я мог добавить свой опыт, приобретенный в качестве университетского и научного администратора. В целом книга отличается от других соответствующих изданий двумя свойствами. Во-первых, в ней не определяются точные границы этически приемлемых и этически неприемлемых поступков, а даются инструменты для обсуждения сложных ситуаций, в которых нет одного-единственного правильного решения. Во-вторых, книга затрагивает не только этику исследовательской деятельности, но и другие ситуации, с которыми ученый сталкивается в своей повседневной работе: рецензирование трудов других ученых, работа в качестве научного руководителя докторских диссертаций, выбор специалистов на разные должности, интеракция с обществом, в частности, с представителями СМИ.

Два направления моей научной деятельности следует прокомментировать особо. Первое из них – корпусная лингвистика. Я уже говорил о своем интересе к количественным методам. В диссертации по типам ударения существительных и в монографии по падежу дополнения в отрицательных предложениях я практически использовал корпусные методы, хотя изучение языкового материала в то время так еще не называлось. Позже знакомство с базой данных «Интегрум» сделало меня настоящим «корпусником». В гуманитарных науках научная инфраструктура редко является значимой с точки зрения возможностей исследования, но в данном случае это так. «Интегрум» оказался настоящей сокровищницей для изучения русского языка.

Вся история с «Интегрумом» началась достаточно необычно. В один прекрасный день 1997 г., сидя в кабинете проректора университета, получаю от Министерства торговли любопытное письмо, в котором нам предлагают сделать приобретения в рамках программы компенсации долгов Советского Союза Финляндии (sic!). Сразу улавливаю прекрасный шанс: кроме закупки аппаратуры и технических приборов, можно предложить пополнить коллекцию знаменитой Хельсинкской Славянской библиотеки. Поскольку речь идет о массовых заказах, прошу сумму как можно более значительную, предлагая потратить на это один миллион евро. Через два года, уже не являясь проректором, получаю большой конверт, внутри которого другой черный конверт с грифом «Секретно» и предварительный договор о приобретении базы данных «Интегрум» для Хельсинкского университета. Когда университетская библиотека вела переговоры о доставке книг и журналов, стало известно о существовании базы дан-

ных «Интегрум». Мы сразу поняли ее исследовательскую ценность. Предложение о приобретении «Интегрума» прошло, и таким образом мы получили его бесплатно. Позже, когда Россия решила выплатить долги наличными деньгами, Финляндия купила для университетов универсальную лицензию на использование этой базы данных.

Самая важная для лингвиста часть «Интегрума» – коллекция современных газет и журналов. В общей сложности их больше 3000. База данных пополняется каждый день, так что в ней можно найти и самые свежие номера изданий. «Интегрум» не лингвистический корпус в буквальном смысле этого термина: он содержит только тексты. Однако его ценность – это огромный массив свежего языкового материала (в целом около 50 миллиардов слов, т. е. на порядок больше, чем в Национальном корпусе русского языка), а также удобная для пользователя многосторонняя и быстрая система поиска слов. Нашим первым тестом для использования Интегрума была так называемая стихийная конструкция русского языка типа *Лодку унесло ветром*. Предыдущие исследования, посвященные данной теме, основывались на анализе 20–30 примеров – вручную найти их было трудно. После тщательных рассуждений мы придумали способ поиска предложений этих конструкций, используя «Интегрум». После нашей «детективной» работы был составлен список, насчитывающий 2500 конструкций. На основе такого представительного количества примеров мы смогли осуществить более детализированный анализ данной конструкции, чем это раньше удавалось другим исследователям. В течение года наша работа была самой читаемой статьей журнала «Russian Linguistics» [Мустайоки, Копотев, 2005].

«Интегрум» помогает также реализовать мою идею о степени объективности рекомендаций, содержащихся в грамматиках и словарях. Два примера. Многие русские грамматикеры пишут, что так называемый второй родительный падеж существительных мужского рода устарел и/или употребляется только в разговорной речи. Анализ свыше 20 000 примеров показал, что второй родительный на -у действительно стал неупотребительным в контекстах типа *стакан чая/чаю*. Однако во многих других случаях он встречается даже чаще, чем форма с окончанием на -а. Особенно сильно его частотность повышается в конструкциях типа *Народу было много*. Другой пример связан с экспансией приставки *по-*. В текстах можно обнаружить сотни глаголов с этой приставкой, не отмеченных в словарях. Самым частотным из них оказался глагол *почувствовать*.

С помощью «Интегрума» можно выяснить, какую роль носители языка приписывают таким понятиям, как *наука, религия, экономика, политика, искусство* и т. д. Спрашивается, что может делать наука, а что религия? Интересно, что когда в таких контекстах авторы пишут о «возможностях» науки, всегда имеются в виду науки негуманитарные. Относительно науки отмечают, что она способна делать, а что нет. В отличие от этого, отмечают, что религия способна только де-

лать что-то, а о том, чего она не сможет сделать, не пишут. Очевидно, наука все еще развивается, а религия уже достигла своей вершины.

В последние годы я стал исследовать причины коммуникативных неудач. У меня было три стимула для этого. Во-первых, как лингвист я считаю своим долгом изучать самую серьезную мировую проблему – почему люди не понимают друг друга. Во-вторых, теория функционального синтаксиса является надежной основой для интерпретации этого явления. В-третьих, мне импонировало парадоксальное наблюдение, сделанное еще в 1993 г. О. П. Ермаковой и Е. А. Земской: коммуникативные неудачи являются такими же частыми в повседневном разговоре носителей одного языка, как и при их общении с иностранцами [Ермакова, Земская]. Я прочитал много литературы по этому вопросу, в том числе работы западных психолингвистов, которые проводили эксперименты по поводу эгоцентричной настроенности человеческого мозга, систематизировал конкретные примеры, создал модель, очертил понятия, с помощью которых можно проанализировать причины коммуникативных неудач, описать коммуникативные риски, опубликовал работы по данной проблеме на русском, английском, финском языках. Для того чтобы объяснить верное наблюдение, сделанное Ермаковой и Земской, я ввел термины «реципиент-дизайн» (учет слушателя) и «иллюзия общего ментального мира».

Когда принимаешься за какую-либо научную тему, не думаешь, откуда она появилась, и только потом, когда просят писать «воспоминания о научной деятельности», останавливаешься на таком вопросе. Приведу еще один пример. Разновидностями русского языка я заинтересовался, когда читал и слышал рассуждения о том, какому английскому языку нужно обучать школьников и студентов. На этот якобы простой вопрос нет однозначного ответа, поскольку самым распространенным языком в мире является не тот английский язык, с которым сталкиваешься в аудиториях и учебниках, а английский язык в качестве лингва франка (*English as a lingua franca*), который существенно отличается от «настоящих» английских стандартных языков и диалектов. Нужно ли считать ошибкой не соответствующую кодифицированным нормам фразу ученика, которую можно услышать во всех уголках мира из уст неносителей языка, свободно владеющих английским языком? Вторым стимулом для написания статьи о разновидностях языка [Мустайоки, 2013] послужила оригинальная и, на мой взгляд, смелая статья Ю. Н. Караулова, написанная на эту тему в 1991 г. [Караулов].

Одно из тематических направлений моей научной деятельности пришло извне. Исследователи-русисты (в широком смысле этого слова) образовали консорциум для участия в конкурсе на мегапроекты в рамках программы Центров превосходства (*Centre of Excellence*) и пригласили меня участвовать в ней. Общая тематика центра – модернизация России (официально *Choices of Russian Modernisation*). Двух-

ступенчатый конкурс был суровым. Его участники – коллективы ученых, представители разных национальностей, школ и направлений (всего 146) – представили обширные планы исследования; их интервьюировали группы международных экспертов. Только каждому десятому претенденту дали грант на шесть лет. В целом в рамках центра работает человек 50. Большинство из них – социологи, политологи, экономисты; я единственный лингвист, есть также один философ и несколько культурологов. Руководжу кластером, который называется «Культурные и философские интерпретации русской модернизации». После двух лет работы мы все еще спорим, что такое «модернизация».

У ученых, как у всех людей, есть свои симпатии в отношении коллег, работающих в той же области. Мне нравятся исследователи, которые пишут конкретно и четко. В эту категорию входят, в частности, Юрий Апресян, Игорь Мельчук, Елена Падучева, Владимир Плунгян, Екатерина Рахилина и мн. др. Я высоко ценю работы Нины Арутюновой, Татьяны Николаевой, Галины Золотовой, Майи Всеволодовой, Алексея Шмелева, Веры Подлеской. Мне посчастливилось встречаться с ними лично – и не один раз. Очень многое дали мне эти контакты. Помню, одна русская коллега упрекала меня в том, что не цитирую работы В. В. Виноградова. Мне, конечно, знакомы его фундаментальные труды, я уважаю его деятельность, знаю также, что большое количество блестящих русистов – его ученики. Тем не менее, не могу найти в его работах четко сформулированные положения для цитирования. Прошу прощения за этот свой недостаток.

Академия Финляндии награждает каждый год одного ученого за научную смелость. Я бы хотел назвать нескольких кандидатов-русистов на премию Академии. Первый кандидат – уже покойная Елена Андреевна Земская. Она пионер изучения нестандартного русского языка [Земская]. У лингвистов часто наблюдается привязанность к норме. В шутку называю такой подход «юридическим». Юристы же сначала составляют законы, т. е. определяют, что правильно, что неправильно, а потом толкуют жизнь сквозь призму созданной ими конструкции. Елена Андреевна интересовалась тем, как люди используют язык в живом общении. Она подчеркивала и первичность устной речи.

Другой смелый, на мой взгляд, русист – Максим Кронгауз. Он относится к изменениям в современном русском рационально, анализируя их с научной строгостью, без сильных эмоций [Кронгауз]. Подобный подход непросто. Он встречает сопротивление в разных странах. Особенно сложно сохранить такую позицию в России.

Оригинальный и смелый проект разрабатывается в Санкт-Петербурге. Название проекта – «Один речевой день». Авторы стремятся показать, как люди «по-настоящему» говорят. Это, на мой взгляд, является непосредственной задачей лингвистов. Устная повседневная речь отражает тот язык, который носители языка слышат от своих родителей – подлинный родной язык.

Хочу назвать и Бориса Нормана, ученого-шалуна, который интересуется возможными проявлениями русского языка, (в частности, он изучает надписи в маршрутных такси), и Иосифа Стернина, который создает на основе подлинных речевых материалов стройную теорию коммуникативного поведения в разных культурах. Читая труды нерусских русистов, с удовольствием знакомлюсь с новыми исследованиями Ренаты Ратмайр и Даниэля Вайсса. Есть сильные русисты и в самой Финляндии. Кроме тех, которые уже были отмечены, хотелось бы назвать, например, Ханну Томмолу, Марию Лейнонен, Ахти Никунласси и Марьятту Ванхала-Анишевски. Финские русисты публикуют серию научных трудов под общим заглавием «*Slavica Helsingiensia*». В серии выходят как диссертации-монографии, так и сборники статей. Все книги доступны, распространяются бесплатно (электронная версия – по адресу www.helsinki.fi/slavicahelsingiensia).

Должен назвать еще одного крупного русского лингвиста, многосторонности которого могу только удивляться. Это Андрей Зализняк. Грамматический словарь [Зализняк], используемая в нем система подачи морфологических типов русских слов долгое время были (и все еще являются) для меня самым авторитетным руководством, опорой моих лингвистических рассуждений. С уважением отношусь к его фундаментальным историческим исследованиям и находкам, анализу берестяных грамот. С Зализняком я впервые повстречался лично. Моя первая статья в «Вопросах языкознания» касалась типов ударения в русских именах существительных. Когда получил верстку статьи для проверки, редактор журнала написал: «По техническим причинам мы должны были внести в текст некоторые мелкие изменения». При этом единственным местом, где текст был исправлен, была фраза «...здесь А. А. Зализняк явно ошибается». Сразу понял, что для молодого финского русиста такая фраза была непозволительной.

Конечно, проще было бы изучать свой родной язык. С другой стороны, когда исследуешь язык неродной, можно освободиться от оков нормативного отношения к родному языку. В особенности это касается изучения узуса, употребления языка. Факты беспристрастно говорят сами за себя. Иногда можно найти и такие явления, на которые носители языка не обращают внимания или которые не воспринимают как специфические. Независимо друг от друга мы с Ханну Томмолы заметили, что русские произносят в словах типа *чешский* призвук *p* перед *ш*. Русские коллеги этому не верили, пока это не было доказано нами экспериментально.

Когда ученый занимается неродным для себя языком в стране, в которой язык является также предметом школьного и вузовского обучения, он не может не интересоваться проблемами преподавания. С самого начала своей профессиональной деятельности я участвовал в составлении словарей, грамматик, учебных курсов, компьютерных программ, телевизионных курсов. Моим первым учителем в этом деле была Ольга Даниловна Митрофанова. С ней мы составили учебник

«Раз два три» для проведения одноименного телевизионного курса [Mitrofanova, Mustajoki; Mustajoki, Mitrofanova]. Он стал самым популярным учебником по русскому языку в Финляндии. Другой телевизионный курс, «Капуста», получил Европейскую премию «Erasmus» за лучшую учебную программу [Мустайоки, 1981]. Последняя моя книга «Легкое прикосновение к русскому языку» [Mustajoki, 2012] была рискованной затеей. Я старался писать о русском языке для тех пяти миллионов финнов, которые (еще) не знают русского, писать так, чтобы они заинтересовались языком. Стиль изложения был не слишком серьезным, напоминая фельетон или блог. Очевидно, замысел оказался результативным, поскольку первое издание было распродано за месяц, а книга получила государственную премию.

Волею судеб я стал участвовать в деятельности МАПРЯЛ. Был сначала рядовым членом президиума, потом занимал должность «казначей», был выбран первым нерусским генеральным секретарем, а потом еще вице-президентом. Многие западные коллеги, особенно в восьмидесятые и девяностые годы, спрашивали, как я могу работать в такой пропагандистской ненаучной организации. Этот же вопрос не раз задавал я себе. Публично выступил на эту тему на закрытии конгресса в Москве в 1990 г. Для себя оправдывал свое участие по-разному. Конечно, распространение русского языка, его изучение в разных странах мира – главная задача МАПРЯЛ. У меня, профессора русского языка, нет принципиальных возражений, если речь идет только о языке, а не о политической или идеологической демагогии.

МАПРЯЛ – единственная международная организация, которая объединяет русистов мира. Жаль, что не все ученые-русисты участвуют в ее деятельности, но это их личный выбор. Мне МАПРЯЛ предоставила возможность встречаться с яркими учеными и преподавателями русского языка. Это президенты организации Михаил Борисович Храпченко, Виталий Григорьевич Костомаров и Людмила Алексеевна Вербицкая, которые должны были руководить работой ассоциации, как это положено в стране, где у подобных организаций еще нет полной свободы. МАПРЯЛ – это и прекрасные русисты-энтузиасты, такие как Элеонора Сулейменова, Рафаэль Тирадо Гусман, Дэн Давидсон, Татьяна Млечко, Давид Гоциридзе, Аксиния Красовски, Сесилия Оде и многие, многие другие. Непосредственные контакты с ними позволяют мне составить представление не только о том, как обстоит дело с русским языком в мире, но и вообще о том, как в данный момент люди живут, о чем думают в разных уголках нашей планеты.

Работа на разных административных должностях (проректором университета, председателем правления Академии Финляндии, членом Финляндского Госкомитета по науке и инновациям) заставила меня думать о месте гуманитарных наук в общем поле исследовательской деятельности, о том, как мы можем оправдать свое существова-

ние с учетом того, что зарплаты нам выдает государство, используя деньги налогоплательщиков. Мы часто жалуемся, что результативность нашей работы измеряют мерками, которые созданы для точных наук и плохо применимы к анализу работы филологов. В связи с этим мне довелось познакомиться с разными параметрами успешности и рейтингами, а также выявить индикаторы, спроецированные на специфику гуманитарных наук. Люблю использовать в этом деле схемы, графики и другие визуальные средства, демонстрирующие пути влияния науки на общество и жизнь людей.

Меня, носителя финского языка, немного раздражает частое повторение тургеневского выражения о «великом и могучем» русском языке. Все языки для своих носителей «великие и могучие» в том смысле, что они могут служить для выражения великих мыслей. На любом языке можно выражать и самые банальные, наглые и пошлые мнения и взгляды, унижать и оскорблять людей. Дело не в языке, а в людях, которые на нем говорят.

Я забросил немецкий язык, перешел к изучению языка русского. Думаю, что сделал правильный выбор. Знакомство с русским языком и с людьми, говорящими на нем, дало и, надеюсь, в будущем еще даст большое количество ярких впечатлений, расширит мой кругозор до такой степени, которая не была бы возможной без него. Не зная русского языка, я был бы совсем другим человеком. Мой путь к русскому языку и пониманию русской души продолжается.

Ермакова О. П., Земская Е. А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М.: Наука, 1993. С. 30–64. [Ermakova O. P., Zemskaya E. A. K postroeniyu tipologii kommunikativnykh neudach (na materiale estestvennogo russkogo dialoga) // Russkij yazyk v ego funktsionirovanii. Kommunikativno-pragmaticheskij aspekt. M.: Nauka, 1993. S. 30–64.]

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М.: Рус. яз., 1977. 880 с. [Zaliznyak A. A. Grammaticheskij slovar' russkogo yazyka. Slovoizmenenie. M.: Rus. yaz., 1977. 880 s.]

Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М.: Рус. яз., 1987. [Zemskaya E. A. Russkaya razgovornaya rech': lingvisticheskij analiz i problemy obucheniya. M.: Rus. yaz., 1987.]

Караулов Ю. Н. О состоянии русского языка современности (Докл. на конф. «Рус. яз. и современность. Пробл. и перспективы развития русистики» и материалы почт. дискус.). М.: [б. и.], 1991. 65 с. [Karaulov Yu. N. O sostoyanii russkogo yazyka sovremennosti (Dokl. na konf. «Rus. yaz. i sovremennost'. Probl. i perspektivy razvitiya rusistiki» i materialy poch. diskus.). M.: [b. i.], 1991. 65 s.]

Копотев М., Мустайоки А. Современная корпусная русистика // Инструментарий русистики: корпусные подходы / редкол.: А. Мустайоки, М. В. Копотев, Л. А. Бирюлин, Е. Ю. Протасова. Хельсинки, 2008. Slavica Helsingiensia 34. С. 7–24. [Kopotev M., Mustajoki A. Sovremennaya korpusnaya rusistika // Instrumentarij rusistiki: korpusnye podkhody / redkol.: A. Mustajoki, M. V. Kopotev, L. A. Biryulin, E. YU. Protasova. Helsinki, 2008. (Slavica Helsingiensia 34). S. 7–24.]

Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Языки славянских культур, 2009. 232 с. [Krongauz M. A. Russkij yazyk na grani nervnogo sryva. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2009. 232 s.]

Мустайоки А. Типы ударения имен существительных в современном русском литературном языке и их минимизация в учебных целях. Doct. diss. Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 26. Helsinki, 1980. 386 s. [Mustajoki A. Tipu udareniya imen suschestvitel'nykh v sovremennom russkom literaturnom yazyke i ikh minimizatsiya v uchebnykh tselyakh. Doct. diss. Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 26. Helsinki, 1980. 386 s.]

Мустайоки А. Курс русского языка на финском телевидении и радио // Рус. яз. за рубежом. 1981. № 2. С. 123–126. [Mustajoki A. Kurs russkogo yazyka na finskom televide-nii i radio // Russkij yazyk za rubezhom. 1981. N 2. S. 123–126.]

Мустайоки А. Возможна ли грамматика на семантической основе // Вопр. языкознания. 1997. № 3. С. 15–25. [Mustajoki A. Vozmozhna li grammatika na semantiche-skoj osnove // Voпр. yazykoznaniya. 1997. N 3. S. 15–25.]

Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам. М. : Языки славянских культур, 2006. 510 с. [Mustajoki A. Teo-riya funktsional'nogo sintaksisa: ot semanticheskikh struktur k yazykovym sredstvam. M. : Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2006. 510 s.]

Мустайоки А. Разновидности русского языка: анализ и классификация // Вопр. языкознания. 2013. № 5. С. 3–27. [Mustajoki A. Raznovidnosti russkogo yazyka: analiz i klassifikatsiya // Voпр. yazykoznaniya. 2013. N 5. S. 3–27.]

Мустайоки А., Вепрева И. Т. Какое оно, модное слово: к вопросу о параметрах языковой моды // Рус. яз. за рубежом. 2006. № 2. С. 45–63. [Mustajoki A., Vepreva I. T. Kakoe ono, modnoe slovo: k voprosu o parametrah yazykovoy mody // Russkij yazyk za rubezhom. 2006. N 2. S. 45–63.]

Мустайоки А., Копотев М. Лодку унесло ветром: условия и контексты употребления русской «стихийной» конструкции // Russian Linguistics. 2005. № 1. С. 1–38. [Mustajoki A., Kopotev M. Lodku uneslo vetrom: usloviya i konteksty upotrebleniya russkoj «stikhijnoj» konstruktсии // Russian Linguistics. 2005. N 1. S. 1–38.]

Мустайоки А., Протасова Е. «Мы» и «они»: русские и финны о финнах и русских // Мир русского слова. 2003. № 2. С. 56–63. [Mustajoki A., Protasova E. «My» i «oni»: russkie i finny o finnakh i russkikh // Mir russkogo slova. 2003. N 2. S. 56–63.]

Мустайоки А., Протасова Е. Быть русским и говорить по-русски // Русскоязычный человек в иноязычном окружении / ред. А. Мустайоки, Е. Протасова. Helsinki : [б. и.], 2004a. (Slavica Helsingiensia 24). С. 5–12. [Mustajoki A., Protasova E. Byt' russkim i govori't' po-russki // Russkojazychnyj chelovek v inoyazychnom okruzenii / red. A. Mustajoki, E. Protasova. Helsinki : [b. i.], 2004a. (Slavica Helsingiensia 24). S. 5–12.]

Мустайоки А., Протасова Е. Миф, доля истины или чистая правда: представления русских о финнах в свете рассказов и анекдотов // Русское и финское коммуникативное поведение. Вып. 20. Воронеж : Истоки, 2004б. С. 62–95. [Mustajoki A., Protasova E. Mif, dolya istiny ili chistaya pravda: predstavleniya russkikh o finnakh v svete rasskazov i anekdotov // Russkoe i finskoe kommunikativnoe povedenie. Vyp. 20. Voronezh : Istoki, 2004b. S. 62–95.]

Мустайоки А., Пуссинен О. Об экспансии глагольной приставки ПО- в современном русском языке // Инструментарий русистики: корпусные подходы / редкол.: А. Мустайоки, М. В. Копотев, Л. А. Бирюлин, Е. Ю. Протасова. Хельсинки : [б. и.], 2008. (Slavica Helsingiensia 34). С. 247–275. [Mustajoki A., Pussinen O. Ob ekspansii glagol'noj pristavki PO- v sovremennom russkom yazyke // Instrumentarij rusistiki: korpusnye podkhody / redkol.: A. Mustajoki, M. V. Kopotev, L. A. Biryulin, E. Yu. Protasova. Helsinki : [b. i.], 2008. (Slavica Helsingiensia 34). S. 247–275.]

Мустайоки А., Пуссинен О. Почему народу много, или новые наблюдения над употреблением второго родительного падежа в современном русском языке. // Integrum: точные методы и гуманитарные науки / ред.-сост. Г. Никипорец-Такигава. М. : Летний сад, 2006. С. 50–75. [Mustajoki A., Pussinen O. Pochemu narodu mnogo, ili novye nablyudeniya nad upotrebleniem vtorogo roditel'nogo padezha v sovremennom russkom yazyke // Integrum: tochnye metody i humanitarnye nauki / red.-sost. G. Nikiporets-Takigava. M. : Letnij sad, 2006. S. 50–75.]

Мустайоки А., Стексова Т. И. Наблюдения над нестандартными Субъектами: что могут делать наука, политика и экономика? // Сиб. филол. журн. 2008. № 2. С. 193–209. [Mustajoki A., Steksova T. I. Nablyudeniya nad nestandardnymi Sub'ektami: chto mogut delat' nauka, politika i ekonomika? // Sibirskij filologicheskij zhurnal. 2008. N 2. S. 193–209.]

Clarkeburn H., Mustajoki A. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere : Vastapaino, 2007. 320 s.

Iloa E., Mustajoki A. Report on Russian Morphology as it Appears in Zaliznjak's Grammatical Dictionary. Helsinki, 1989. (Slavica Helsingiensia 7). 235 p.

Mitrofanova O., Mustajoki A. Raz, dva, tri 1–2. Harjoituskirja. Jyväskylä : Gummerus, 1974–1975. 96 s., 136 s.

Mustajoki A. Падеж дополнения при отрицании в русском языке: поиски новых методологических приемов в изучении старой проблемы. Helsinki, 1985. (Slavica Helsingiensia 2). 188 s.

Mustajoki A. Kevyt kosketus venäjän kieleen. Helsinki : Gaudeamus, 2012. 275 s.

Mustajoki A., Mitrofanova O. Raz, dva, tri 1–3. Oppikirja. Jyväskylä : Gummerus, 1974–1976. 184 s., 173 s., 206 s.

Mustajoki A., Heino H. Case Selection for the Direct Object in Russian Negative Clauses. Part II: Report on a Statistical Analysis. Helsinki : [s. n.], 1991. (Slavica Helsingiensia 9). 249 s.

The article was submitted on 19.01.2014

Арто Мустайоки, проф.
Финляндия
Хельсинкский университет
arto.mustajoki@helsinki.fi

Arto Mustajoki, prof.
Finland
University of Helsinki
arto.mustajoki@helsinki.fi

MEIN RUSSLAND. ANFÄNGE, THEMEN UND BILDER

MY RUSSIA: THEMES AND IMAGES

Professor Gertrud Pickhan, a historian from Berlin, speaks about how she first showed interest in Russia in her youth when she enrolled on a course of Russian in Dortmund. Besides getting acquainted with classical Russian literature, she also had cultural contacts, and trips to Russia, where she discovered Russian painters, especially Levitan and Repin that have been the driving force of her scholarly interest ever since. She has a wide range of research interests. Except for painting and the history of Pskov, she studies freethinking marginals and creative personalities in a totalitarian state.

Keywords: Russia; Germany; Eastern-European history; history of Russian culture; impressionism; realism in art; Berlin; Dortmund; Moscow; Pskov; visual history; Pax Mongolica; Levitan, Repin.

Schon lange ist es unter EthnologInnen üblich, selbstreflexiv die eigenen Prägungen und individuellen und sozialisationsbedingten Zugänge zum ausgewählten Forschungsfeld offen zu legen. In der Geschichtswissenschaft wird diese Praxis bislang kaum angewandt, obwohl gerade die Beschäftigung mit der Geschichte des östlichen Europa immer auch zahlreiche vorwissenschaftliche Implikationen hat. So ist die Vorstellung einer Rückständigkeit des Ostens im Vergleich zur Zivilisation und Demokratie westlicher Prägung nach wie vor weit verbreitet. Erst das Konzept der multiple modernities erlaubt es, die osteuropäische Geschichte nicht als negative Projektion westlicher Überlegenheitsgefühle zu sehen, was nicht heißt, die Verwerfungen und menschenverachtenden Praktiken, die der Geschichte Russlands immanent sind, auszublenden. Konzentriert man sich jedoch nur auf sie, entsteht ein Narrativ, das den Menschen und ihren historischen Lebenswelten nicht gerecht wird.

Ausgangspunkt: Dortmund (1973–1974)

Wodurch wird Forschungsinteresse geweckt? Diese Frage wird noch viel zu selten gestellt, obwohl sie nicht nur Einsichten in die individuellen Voraussetzungen liefert, sondern auch generationsspezifische Sichtweisen erhellen kann. Ein Blick zurück in die 1970er Jahre in einer Stadt im tiefen

Westen der Bundesrepublik: Dortmund. Als Arbeiterstadt war Dortmund traditionell sozialdemokratisch geprägt und nahm daher die Impulse der „Neuen Ostpolitik“ unter Willy Brandt bereitwillig auf. Insbesondere die Rheinisch-Westfälische Auslandsgesellschaft (heute: Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen) legte ein großes Engagement und viel Kreativität an den Tag bei dem Versuch, den DortmunderInnen die Welt hinter dem Eisernen Vorhang näher zu bringen. Eine wichtige Voraussetzung für ein besseres Kennenlernen ist immer eine gemeinsame Sprache, und so organisierte die Auslandsgesellschaft fakultative Russisch-Kurse für Dortmunder GymnasiastInnen. Da ich mich für Sprachen interessierte und im Englischen und Französischen schon recht fit war, entschied ich mich, einen solchen Kurs zu besuchen. Meine Eltern, beide VolksschullehrerInnen und Angehörige der Kriegsgeneration (Jahrgang 1917 und 1922), hatten nichts dagegen, obwohl der Antikommunismus und Vorbehalte gegenüber dem „Ostblock“ in bürgerlichen Kreisen Westdeutschlands weit verbreitet waren. Sprachlich brachte mich der Russischkurs allerdings nicht viel weiter, da unser Lehrer ein tschechischer Emigrant war, der 1968 aus Prag geflohen war und daher keine große Motivation zeigte, uns die Schönheiten der russischen Sprache und Kultur zu offenbaren. Doch schmälerte dies nicht meine Begeisterung für die russische Literatur, insbesondere Anton Chekhov, die ich zumindest in deutscher Übersetzung lesen konnte.

Auch ließ sich die Dortmunder Auslandsgesellschaft noch viel mehr einfallen, um den DortmunderInnen ein facettenreiches Bild der Großmacht im Osten zu zeigen. 1957 hatte man damit begonnen, Auslandskulturtage mit Länderschwerpunkten zu organisieren. Den Anfang machte Schweden, das erste Land des „Ostblocks“ war 1971 die Volksrepublik Ungarn. 1973 war es dann so weit: „Die Sowjetunion. Auslandskulturtage der Stadt Dortmund 14–25 Mai 73“ (II. 1). Zum Vokabellernen und Grammatikpauken kam nun das Beste, was die offizielle sowjetische Kultur der Brezhnev-Zeit zu bieten hatte. Das Programm der Veranstaltungen im Rahmen dieser Auslandskulturtage umfasst 37 Seiten und reicht vom Auftritt des Bolschoi-Ballets im Dortmunder Stadttheater bis zu russischen Kochkursen im Hotel Römischer Kaiser. Zum festliche Auftakt, der in Verbindung mit der Eröffnung der Ausstellung „Der Weltraum für den Frieden“ im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhalle stattfand, erschienen neben dem Dortmunder Bürgermeister Günter Samtlebe und dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrheinwestfalen (beide SPD) auch der Botschafter der UdSSR Valentin Falin, der bereits vor seinem Antritt als Botschafter in Bonn 1971 in Moskau an der Ausarbeitung des Moskauer Vertrags zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland mitgewirkt hatte. Falin eroberte mit seinem Charme und seinem Humor, die ihn ganz anders wirken ließen als die Vertreter der Sowjetmacht, die man aus dem Fernsehen kannte, die Herzen der DortmunderInnen, unvergesslich ist ein sprachlicher Lapsus, mit dem sich Falin zum „Herrenschirm“ statt zum „Schirmherrn“ erklärte.

Gleich am ersten Abend der Auslandskulturtage erlebte ich eine Vorstellung, die für mich der absolute Höhepunkt war: Maja Plisetskajas Ballett

„Anna Karenina“ im Großen Haus der Städtischen Bühnen Dortmund. Ich war hingerissen und zutiefst beglückt. Das war große Kunst auf der Höhe der Zeit und dennoch in der Tradition der russischen Kultur, die ich aus Tolstojs Romanen und Chekhovs Erzählungen kannte. Die Begeisterungsfähigkeit eines Teenagers trug gewiss zu dem tiefen Eindruck bei, den diese Vorstellung bei mir hinterließ. Ganz anders reagierten freilich die Studienrätinnen meines als eher konservativ eingeschätzten Dortmunder Gymnasiums. Die harmlose Vorstellung des Staatlichen Puppentheaters Moskau unter der Leitung von Sergej Obraztsov in der Aula des Gymnasiums diente aus ihrer Sicht ausschließlich der kommunistischen Unterwanderung der Dortmunder Kinder und Jugendlichen. Ähnlich ablehnend verhielten sich unsere Lehrerinnen auch 1974, als wir Schülerinnen Prag als Ziel der großen Klassenreise in der Unterprima auswählten. Als Grund für die Ablehnung wurde angeführt, dass in Prag hinter jeder Ecke „ein schöner Mann aus Moskau“ lauere, der nur auf Dortmunder Gymnasiastinnen wartete – und bei uns Teenagern bis zum Abitur ein geflügeltes Wort blieb. Gemeinsam mit meiner Mutter machte ich dann im Herbst 1974 eine Busreise nach Prag, wo die Nachwehen von 1968 immer noch zu spüren waren.

Ich erinnere nicht mehr genau, welche Veranstaltungen noch von mir besucht wurden. Das Angebot war groß und bunt. So enthielt das Programm unter anderem einen Vortrag der sowjetischen Kulturministerin Ekaterina Furceva (im Programm: „des sowjetischen Kulturministers“!) über die „Entwicklung der Kultur in der UdSSR und die kulturellen Auslandsbeziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland“, Aufführungen des Staatlichen Russischen Gesangs- und Tanzensemble Pjatnickij, Kranzniederlegungen der sowjetischen Delegation an den Gedenkstätten für die Opfer des Zweiten Weltkriegs in Dortmund, Vorträge zur russischen und sowjetischen Literatur und zur Erwachsenenbildung in der UdSSR, Kunstturnen sowjetischer Spitzensportler, unter ihnen Olga Korbut, und verschiedene Begegnungen sowjetischer und Dortmunder BürgerInnen. Krönender Abschluss war ein Ball der Nationen in der Dortmunder Wetsfalahalle, bei dem neben dem WDR-Tanzorchester auch das Staatliche Tanzorchester der SSR Armenien spielte – der Westdeutsche Rundfunk übertrug die Veranstaltung live im Radio.

Woran ich mich jedoch erinnere, ist, dass die Auslandskulturtage Sowjetunion in Dortmund auf großes Interesse stießen, selbst bei meinem Vater, der als junger Soldat am Russlandfeldzug der Deutschen Wehrmacht teilgenommen hatte. Über seine Erfahrungen sprach er nur höchst selten, manchmal tauchte der „Russki“ in seiner Sprache auf. Trotz aller Verdrängungsmechanismen erwähnte er mitunter, in russischer Kriegsgefangenschaft besser behandelt worden zu sein als in britischer. Heute bedauere ich zutiefst, dass ich meinen Vater, der 1995 verstarb, nicht nach seinen Erlebnissen im Krieg gefragt habe. Dass sie ihn in seiner Psyche tief beschädigt hatten, konnte ich nur ahnen. Ich las in jener Zeit jedoch mit großer Aufmerksamkeit die zutiefst menschlichen und berührenden Erzählungen Heinrich Bölls (wie mein Vater 1917 geboren),

in denen dieser seine Kriegserlebnisse literarisch verarbeitete. Dass Böll in Russland gelesen und verehrt wurde, war mir bewusst und verstärkte noch mein Interesse an seinen Werken. Das Interview, das Klaus Bednarz 1979 mit Heinrich Böll und Lev Kopelev in Moskau führte und das unter dem Titel „Es gibt keinen Hass mehr...“ im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, gehört für mich bis heute zu den Sternstunden des Fernsehen.

In den Osterferien 1974 reiste ich dann in ganz anderer Absicht als mein Vater oder Heinrich Böll als Soldaten zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher aus dem Russischkurs nach Moskau und Leningrad. Finanziert wurde diese Reise ebenfalls von der Rheinisch-Westfälischen Auslandsgesellschaft. Es war die erste große Reise, die ich ohne meine Eltern unternahm (die Zeiten ändern sich). Es müssen 8–10 Tage gewesen sein, in denen wir vom Büro für internationalen Jugendtourismus „Sputnik“ betreut wurden. „Sputnik“ hatte in Moskau und Leningrad auch Begegnungen mit russischen Jugendgruppen organisiert, die jedoch aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse kaum Gespräche ermöglichten. Das touristische Programm war beeindruckend – es hatte nach meiner Erinnerung zuvor auch ein Vorbereitungsprogramm in Dortmund gegeben. An nachhaltigsten erinnere ich jedoch eine frühabendliche Fahrt mit dem Bus über einen der großen Moskauer Prospekte. Etwas ermüdet von den Besichtigungen fiel mein Blick plötzlich auf die vielen erleuchteten Fenster hinter den grauen Mietshausfassaden, und auf einmal verspürte ich eine große Sehnsucht danach zu erfahren, was die Menschen hinter den Fassaden bewegt, was sie in ihren Wohnungen tun, welche Freuden und Sorgen sie haben. Und vielleicht – es mag sentimental klingen – war es dieser Moment der wichtigste Auslöser dafür, dass ich mich ein Jahr später entschied, ein Studium der Slawistik und der Osteuropäischen Geschichte aufzunehmen. Der Wunsch, hinter die Fassaden zu blicken und den Menschen wirklich zu begegnen erfüllte sich 1985, als ich als DFG-Stipendiatin im Rahmen meines Dissertationsvorhabens zur mittelalterlichen Stadtrepublik Pskov eine halbes Jahr in Moskau lebte und arbeitete [Pickhan, 1992]. Es war der Beginn der Perestrojka-Zeit, doch das ist schon ein anderes Kapitel.

Festzuhalten ist: Ich verdanke mein Interesse für Russland, seine Geschichte und Kultur Willy Brandt, der Neuen Ostpolitik und der Rheinisch-Westfälischen Auslandsgesellschaft in Dortmund. Auch einige andere OsteuropaexpertInnen, so z.B. mein Kollege Klaus Segbers, Professor für Politikwissenschaft am Osteuropainstitut der Freien Universität (Jg. 1954), erhielten die ersten Impulse für ihr Russland-Interesse in Dortmund. Hier tut sich aus meiner Sicht ein interessantes Forschungsfeld auf, das nach milieu- und generationsspezifischen Ursachen für die Beschäftigung mit Osteuropa fragt. Wohl kaum mehr beantworten lässt sich die Frage, die mir in den Sinn kommt, wenn ich die alten Fotos von 1974 anschau (Il. 2). Westdeutsche Jugendliche mit Schlaghosen, die sich recht selbstbewusst und lässig auf Moskauer Straßen der Kamera präsentieren – wie haben wir wohl auf Moskauerinnen und Moskauer gewirkt?

Es gibt jedoch noch etwas anderes, das mich aus der Gegenwart in das Moskau des Jahres 1974 zurückführt. Damals sah ich zum ersten Mal bei dem obligatorischen Besuch in der Tret'jakov-Galerie die Gemälde Isaak Levitans, die für mich seither zu einem wichtigem Bezugspunkt und seit einiger Zeit auch zu einem Forschungsgegenstand geworden sind. Jedes Mal, wenn ich mich in der russischen Metropole aufhalte, zieht es mich in einem einer Wallfahrt gleichenden Gang in den Saal mit den Werken Isaak Levitans. Wahrnehmung und Wirkung dieser Kunstprodukte des späten 19. Jahrhunderts erzeugen bei jedem Museumsbesuch dieselbe Erfahrung: Während außerhalb des Museums das Leben einer Millionenstadt pulsiert, das durch Hektik, Lärm und vorwärts drängende Menschenmassen im unterirdischen Metro-System gekennzeichnet ist, verdichtet sich oft nach mehrstündigen kontemplativen Betrachtungen der Landschaftsbilder Levitans mein „in Russland Sein“, und ich erlebe eine Visualisierung der Essenz meines Russland-Bildes. Ich begeben mich auf eine Zeitreise und in die Gegenwelt des Bildprogramms eines Malers und versuche die Rückkehr in die andere, oft brutale Wirklichkeit des Metropolen-Alltags so lange wie möglich hinauszögern. Diese vorwissenschaftliche, subjektive Wahrnehmung ist jedoch keinesfalls nur meine individuelle Empfindung; sie ist wie jede Kunstrezeption kulturell kodiert. Eine ganz ähnliche Sinngebung erfolgte z.B. 2007 bei einer großen Ausstellung mit Gemälden aus der Tret'jakov-Galerie, die in der Kunsthalle Bonn gezeigt wurden. Auch hier fehlte Levitan nicht. Wie bereits der Titel der Bonner Ausstellung „Russlands Seele“ suggeriert, versprachen die Kuratoren ihren deutschen Besuchern „einen tiefen Einblick in Russlands Seele“. Dieses plakative Leitmotiv kann von postmodernen Kunstexperten als ironische Brechung eines gängigen Stereotyps verstanden werden. Im Katalog wurde die sinnstiftende Aufladung der Bilder als Ausdruck einer russischen Seele jedoch nicht in Frage gestellt.

Visual History oder „Geschichte zerfällt in Bilder, nicht in Geschichten“ (W. Benjamin)

2007 wurde ich eingeladen, mich mit einem Vortrag an einer Ringvorlesung zu beteiligen, die neue Perspektiven in den jüdischen Studien präsentieren sollte. Die osteuropäisch-jüdische Geschichte gehört zu meinen wichtigsten Arbeitsschwerpunkten, seit ich mich in meiner Habilitationsschrift der Geschichte des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbunds „Bund“ in Polen 1918–1939 gewidmet habe [Pickhan, 2001]. Auch dieses Forschungsinteresse geht zurück auf die 1970er Jahre und den Kniefall Willy Brandts vor dem Mahnmahl des Warschauer Ghettos 1970, der zweifellos für mich zu den prägendsten politischen Ereignissen gehörte und mein Interesse für die von den Nazis grausam zerstörten osteuropäisch-jüdischen Lebenswelten weckte. Es begleitet mich nun schon seit über 40 Jahren.

Als ich 2007 über ein Thema für die Potsdamer Ringvorlesung nachdachte, fiel mir Isaak Levitan ein. Inspiriert durch ein Buch meines israelischen Kollegen Ezra Mendelsohn über den polnisch-jüdischen Maler Maurycy Gottlieb, „Painting a people“ [Mendelsohn], begann ich mich nun auch wissenschaftlich mit Isaak Levitan zu beschäftigen. Ein erstes Ergebnis war die Veröffentlichung meines Vortrags, in dem ich drei jüdische Maler – Isaak Levitan, Maurycy Gottlieb und Max Liebermann – in vergleichender Perspektive in ihren unterschiedlichen historischen Kontexten – Russländisches Reich, Galizien, Preußen/Deutschland – untersuchte [Pickhan, 2008, S. 247–264]. In einem nächsten Schritt untersuchte dann ich die Rezeption eines einzigen Gemäldes Levitans, „Über der ewigen Ruhe“ von seiner Entstehungszeit bis in die späte Sowjetzeit [Pickhan, 2011; Il. 3]. 2012 erschien ein Aufsatz, in welchem ich die Nachrufe untersuchte, die nach Levitans Tod im Sommer 1900 in der russischen Presse und Publizistik erschienen [Pickhan, 2012, S. 591–616].

Erst kürzlich vollendete ich einen weiteren Beitrag, der Levitans zeitgenössische Rezeption im deutschsprachigen Raum, insbesondere durch Rainer Maria Rilke, in den Blick nimmt und im kommenden Jahr in einem Sammelband zu den russisch-deutschen Kulturbeziehungen erscheinen soll. Es sind dies alles Vorstudien für ein Buch, in dem es nicht um Leben und Werk Levitans, sondern um seine Rezeption durch Zeitgenossen und Nachwelt gehen soll. Insbesondere interessiert mich die Frage, für wen, wann und warum Levitans jüdische Herkunft von Bedeutung war – oder nicht.

Ezra Mendelsohn und Isaak Levitan lenkten mein Forschungsinteresse auf die Visual History. Als ich 2007 wieder einmal in Moskau war und meinen rituellen Gang durch die Tret’jakovka machte, kam mir zum ersten Mal bei der Betrachtung der Gemälde des 19. Jahrhunderts der Gedanke, dass sich in ihnen alle großen Themen dieser Zeit widerspiegeln und man die Geschichte des 19. Jahrhunderts auch mit ihren Bildern als Quellen erzählen kann. Diese Erkenntnis setzte ich dann um in einer Vorlesung über die russische Geschichte des 19. Jahrhunderts im Spiegel der Malerei, die mir und den Studierenden viel Freude bereitete. Diese Vorlesung ist auch Grundlage für ein weiteres Buch, das ich plane. Auch dazu entstand bereits eine Vorstudie, in der ich den berühmten „Aufstand der Vierzehn“ und die Revolte St. Petersburger Kunststudenten gegen die Universitätsobrigkeit untersuchte [Pickhan, 2011, S. 171–184].

Grundmuster meiner Forschungen

Wenn ich nach Generallinien in meinen bisherigen Forschungen zur osteuropäischen Geschichte suche, so lassen sie sich unter drei Gesichtspunkten zusammenfassen. Zum einen geht es immer wieder um Emanzipations- und Selbstermächtigungsprozesse. Das beginnt in meiner Dissertation mit der selbstverwalteten Pskover Stadtrepublik [Pickhan,

1992], die wie Novgorod als Gegenmodell zum Moskauer Zentralismus gelten kann, und führte mich dann in meiner Habilitationsschrift zum Jüdischen Arbeiterbund in Polen, der den Angehörigen einer ethnisch und sozial ausgegrenzten Minderheit neues Selbstbewusstsein gab und ein frühes Konzept des modernen Multikulturalismus entwarf. Emanzipationsgeschichten sind auch der „Aufstand der Vierzehn“, der zum einem Nucleus für das spätere Erfolgsmodell der Peredvizhniki wurde, und die Geschichte des Jazz hinter dem Eisernen Vorhang, wo sich vornehmlich junge Menschen von den vorgegebenen Kulturformen abwandten und ihre eigene, ganz andere Musik machten. Letzteres war Gegenstand eines von mir geleiteten und von der VW-Stiftung geförderten Forschungsprojekts¹. Gleichzeitig entstand auch in Zusammenarbeit mit dem Musikjournalisten Maximilian Preisler eine Biographie des Jazzmusiker Eddie Rosner, der seine Laufbahn im Berlin der späten 1920er Jahre begann, während des Krieges dann in der Sowjetunion zu einem Superstar aufstieg, selbst im Gulag noch Jazz machte und am Ende seines Lebens verarmt in seiner Geburtsstadt Berlin verstarb [Pickhan, Preisler].

Pskov, Jazz und Juden – dabei geht es um ein weiteres Grundthema: Außenseiter und „beautiful losers“, die für mich viel interessanter sind als die großen Sieger und Helden der Geschichte. Die selbstverwaltete Stadtrepublik Pskov wurde schließlich vom Moskauer Großfürsten in sein zentralistisch regiertes Reich integriert, der „Bund“ als Massenbewegung ging im Holocaust unter. Der Jazz war auch im „Ostblock“ nie wirklich „mainstream“, und dennoch nahmen seine Anhänger auch Repressionen in Kauf, um sich die schwarze Musik Amerikas anzueignen. Die osteuropäisch-jüdischen MigrantInnen im Berlin der Weimarer Zeit, denen ein weiteres größeres Forschungsprojekt gewidmet war, blieben ebenfalls diskriminiert und aus der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt und bildeten dennoch einen facettenreichen und höchst kreativen Mikrokosmos². Ihm entstammte auch Eddie Rosner, der so für mich zu einer Klammer zwischen beiden Projekten – über den Jazz und die osteuropäisch-jüdischen MigrantInnen in Berlin – wurde.

Und schließlich ist es für mich auch zu einem Grundanliegen geworden, das Rückständigkeitsparadigma in der russischen bzw. osteuropäischen Geschichte zu hinterfragen. Diese beginnt bereits im Mittelalter: Noch immer wird das „Tatarenjoch“ häufig als Grund für eine postulierte Rückständigkeit Russlands angesehen, die sich demnach bis in die Gegenwart fortsetzte. Jedoch scheinen neuere Forschungen plausibler, nach denen die mittelalterlich Rus' nach 1240 keinesfalls isoliert und auf sich selbst bzw. den asiatischen Despotismus zurückgeworfen war. Vielmehr war sie eingebunden in gewinnbringende „Pax Mongolica“ und ein großräumiges Handels- und Kommunikationsnetz [Pickhan, 2009, S. 113–137]. Damit ist bereits dem vielfach angenommenen Ursprung einer russischen Rückständigkeit im Mittelalter der Boden entzogen. Und blickt man ins 19. Jahrhundert, genauer in das Jahr 1863, so wird deutlich, dass

¹ URL: <http://www.oei.fu-berlin.de/projekte/jazz/index.html>

² URL: <http://www.oei.fu-berlin.de/projekte/charlottengrad-scheunenviertel/index.html>

die 14 St. Petersburger Kunststudenten mit ihrem Bruch mit der Akademie einen Schritt vollzogen, den Künstler in Deutschland und Österreich mit den Sezessionsbewegungen der 1890er Jahre erst 30 Jahre später vollzogen.

„Let us learn about the Russia...that gave rise to this painting“

Auch der wohl berühmteste russische Maler des 19. Jahrhunderts Ilja Repin erhielt seine wichtigsten Prägungen im Umfeld der rebellischen jungen Künstler, mit einem der Vierzehn, Ivan Kramskoj, war Repin eng befreundet. „Auf der Suche nach Russland“ – so lautete der Titel einer Repin-Ausstellung, die 2003 in der Berliner Nationalgalerie zu sehen war. Mit der „Kreuzprozession im Gouvernement Kursk“, die bei der 11. Wanderausstellung 1883 zu sehen war, gelang Repin ein ebenso monumentales wie differenziertes Kaleidoskop der russischen Gesellschaft seiner Zeit. Bis heute zieht dieses Gemälde nicht nur die vielen Besucher und Besucherinnen der Tret'jakov-Galerie in seinen Bann, sondern vermag auch einen amerikanischen Kunsthistoriker und Experten für die französische Malerei des 19. Jahrhunderts im fernen Texas zu begeistern. Zu Recht plädiert Richard R. Bretell dafür, die Werke der Wanderer zunächst einmal als Kunst und erst in einem zweiten Schritt als russisch anzusehen. Er weist daraufhin, dass die russischen Maler sowohl durch ihre Einbindung in einen nationalen Kontext wie auch durch ihre antiautoritäre Haltung Teil einer gesamteuropäischen Avantgarde-Bewegung waren:

„Realism, for the Russians, was part of a general European movement rather than an isolated response to Russian social and aesthetic conditions... Unlike the Impressionists and the various groups in France, they were well organized, made money, and succeeded in their aims of promoting Russian art throughout the country“ [Bretell, p. 53].

Die Bewegung, die 1863 mit dem „Aufstand der Vierzehn“ ihren Anfang nahm, macht somit deutlich, dass Russland kulturell und intellektuell keineswegs rückständig, sondern auf der Höhe der Zeit war. Dass die Maler in ihren Bildern das russische Leben gleichermaßen priesen und kritisierten, wie Bretell pointiert formuliert, vermittelt wohl kein Gemälde so anschaulich wie Repins Kreuzprozession. In der sich vorwärts bewegenden Masse sehen wir eine Gruppe traditionell gekleideter Bauern, einfache Frauen mit Kopftuch, Schulkinder mit ihrem streng und unfreundlich blickenden Lehrer, einen wohlgenährten Geistlichen mit einem vermutlich durch Alkoholkonsum geröteten Gesicht, eine matronenhafte Gutsbesitzerin, die die Ikone trägt, Uniformierte, die in die Menge prügeln. Die einzig beseelte Gestalt ist ein behinderter, schlecht gekleideter Junge. Mit Ausnahme der beiden ärmlich aussehenden, verängstigten Pilgerinnen hinter ihm scheint er der einzige zu sein, für den die religiösen Dimensionen dieses Ereignisses bedeutungsvoll sind, und es ist offensichtlich, dass diesem diskriminierten Außenseiter die ganze Sympathie des Malers gilt. Meisterlich versteht es Repin, den Betrachten-

den gleichsam eine teilnehmende Beobachtung der Prozession zu ermöglichen. Es sei noch einmal Richard R. Bretell zitiert:

„In this painting, a Russian Realist, who flirted with the work of Manet and the Impressionists while working in Paris, returned to Russia and encapsulated the entire nation – its history, its political system, its religions and ideologies, its successes and failures – in a single canvas. Let us learn about the Russia – and the Realism – that gave rise to this painting” [Bretell, p. 59].

Das Russland kennenzulernen, das dieses Gemälde entstehen ließ, welches die gesamte Nation einschließt, und es zugleich als integralen Bestandteil der europäischen Geschichte zu sehen – dieses Anliegen eines Kunsthistorikers im fernen Texas deckt sich mit meinem Blick auf die russische und osteuropäische Geschichte. Und ich freue mich schon jetzt auf meinen nächsten Besuch in der Tret'jakov-Galerie.

Гертруд Пикхан

МОЯ РОССИЯ: ТЕМЫ И ОБРАЗЫ

Берлинский историк, профессор Гертруд Пикхан, наглядно показывает, что интерес к России у нее пробудился еще в юношеские годы, когда она стала посещать курс русского языка в Дортмунде. Помимо знакомства с русской классической литературой, это были культурные контакты, поездки в Россию, где она открыла для себя русскую живопись, особенно творчество Левитана и Репина, любовь к которым движет ее исследовательским интересом и по сей день. Круг ее научных интересов широк. Она исследует не только русскую живопись историю Пскова, но и феномен свободно мыслящих маргиналов и творческих личностей в условиях тоталитарного государства.

Ключевые слова: Россия и Германия; восточноевропейская история; история русской культуры; импрессионизм; реализм в искусстве; Берлин; Дортмунд; Москва; Псков; визуальная история; Рах Mongolica; Левитан; Репин.

Обычное дело для этнологов заниматься рефлексией относительно своих личностных предпосылок и подхода к теме своего исследования как обусловленного характером собственной социализации.

В исторических дисциплинах этот метод до сих пор почти не применялся, хотя именно исследования истории Восточной Европы предполагают множество вненаучных предпосылок. Так, до сих пор широко распространено мнение об отсталости Восточной Европы по сравнению с цивилизацией и демократией западного образца. С одной стороны, именно концепция *multiple modernities*¹ позволяет рассматривать историю Восточной Европы без негативной проекции

¹ Здесь и далее терминология автора статьи дается в оригинале.

чувства превосходства западного человека. С другой стороны, это не значит, что «темные стороны» истории и унижающие человеческое достоинство практики, характерные для русской истории, обязательно должны быть проигнорированы. Но не стоит сосредотачиваться именно на этих негативных сторонах, т. к. это может привести к появлению текстов, неадекватно отражающих людей и их исторически сложившиеся жизненные миры.

Точка отсчета: Дортмунд (1973–1974)

Где причина появления исследовательского интереса? Этот вопрос ставится еще слишком редко. А ведь именно он позволяет выявить не только личностные предпосылки, но и понять взгляды и представления, характерные для различных поколений. Оглядываясь назад, в 1970-е гг., на город, находящийся на крайнем западе Федеративной республики, – Дортмунд. Большинству жителей Дортмунда как города промышленного была издавна свойственна социал-демократическая ориентация. Именно поэтому импульсы «новой восточной политики» во время правления федерального канцлера Вилли Брандта были с готовностью поддержаны. Особую активность и находчивость в этом проявляло Международное общество Рейн-Вестфалии², старавшееся сделать для жителей Дортмунда мир, находящийся за железным занавесом, более открытым. Важной предпосылкой для близкого знакомства является знание языка. Поэтому общество организовало курсы русского языка для учеников гимназий города. Живо интересуясь иностранными языками и уверенно владея английским и французским, я решила пойти на такой курс. Мои родители, оба учителя средней школы и представители военного поколения (годы рождения 1917 и 1922), ничего не имели против, хотя и не были полностью свободны от антикоммунизма и предубеждений относительно «восточного блока», так распространенных среди бюргерских слоев населения Западной Германии. Посещение курсов русского языка не принесло ожидаемых результатов. Да это и не удивительно. Ведь наш учитель был чешским эмигрантом, вынужденным покинуть Прагу после событий 1968 г., и поэтому не испытывал особого желания открыть нам красоту русского языка и культуры. Это обстоятельство ни в коей мере не уменьшило мое восхищение русской литературой, в особенности произведениями Антона Чехова, которого я могла читать хотя бы в немецком переводе.

Дортмундское Международное общество также не стояло на месте и искало новые возможности, чтобы показать более дифференцированную картину супердержавы на Востоке Европы. С 1957 г. стали организовываться зарубежные дни культуры, посвященные определенной

² Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.v.

стране. Начало положила Швеция и первой страной «восточного блока» стала в 1971 г. Венгерская Народная Республика. Наконец, в 1973 г. у нас в гостях был Советский Союз: «СССР. Зарубежные дни культуры города Дортмунда 14–25 мая 73» (см. ил. 1). В дополнение к заучиванию слов и зубрежке грамматики я получила все лучшее, что могла предложить официальная советская культура эпохи Брежнева. Программа содержала 37 страниц и простиралась от выступления балета Большого театра в Городском театре Дортмунда до курсов русской кухни в отеле «Римский император»³. На торжественном открытии, приуроченном также к открытию выставки «Космос – миру», в Золотом зале дортмундского манежа «Вестфалия» присутствовали мэр города Дортмунда Гюнтер Замтлебе, министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хайнц Кюн (оба представители Социал-демократической партии Германии), а также посол СССР Валентин Фалин, внесший, еще до своего назначения в Бонн в 1971 г., вклад в разработку Московского договора между СССР и Федеративной Республикой Германия. Фалин завоевал симпатии жителей Дортмунда своим шармом и юмором в отличие от советских функционеров, известных из показов по телевидению. Запомнился курьезный ляпсус, когда он объявил себя «мужским зонтом» вместо «патрона» дней культуры⁴.

Вечером того же дня я стала свидетелем незабываемого события. В балете «Анна Каренина» на большой сцене Городского театра Дортмунда я впервые увидела Майю Плисецкую, испытала чувства восторга и необыкновенного счастья. Это было великое искусство на вершине своего времени, в лучших традициях русской культуры, знакомых мне из романов Толстого и рассказов Чехова. Чуткая способность девочки-подростка к восприятию сыграла здесь не последнюю роль. Спектакль оставил в моей душе глубокое впечатление. Этого нельзя сказать об учительницах нашей гимназии, слывшей консервативной. Безобидное представление Государственного кукольного театра города Москвы под руководством Сергея Образцова в актовом зале гимназии служило, по их мнению, исключительно коммунистической инфильтрации детей и юношества города. Схожее отрицательное отношение со стороны учительниц наблюдалось и в 1974 г., когда ученицы старших классов объявили о своем желании выбрать целью своего путешествия Прагу в рамках поездки группы школьников. Причиной отказа послужило утверждение, что в Праге за каждым углом дома прячется «красивый мужчина из Москвы», который только того и ждет, чтобы туда приехали гимназистки из Дортмунда. Это выражение стало в нашей гимназии крылатым. Вместе со своей матерью я совершила, наконец, в том же 1974 г., автобусную поездку в Прагу, где еще чувствовалась боль 1968 г. Я не помню, какие еще мероприятия я посещала. Программа была обширной и разнообразной: доклад советского министра культуры Екатерины Фурцевой (в программе «советский министр культу-

³ Hotel Römischer Kaiser.

⁴ «Herrenschirm» вместо «Schirmherr».

ры» мужского рода!)⁵ «Развитие культуры в СССР и культурные связи с Федеративной Республикой Германия», выступления русского народного хора им. М. Е. Пятницкого, возложение советской делегацией венков к мемориалу, посвященному памяти жертв Второй мировой войны в Дортмунде, доклады о русской и советской литературе и об образовании взрослых в Советском Союзе, выступления лучших советских спортсменов-гимнастов, в том числе и Ольги Корбут, различные встречи советских граждан с жителями города. В заключение в манеже «Вестфалия» состоялся Бал народов, в котором участвовал оркестр западно-немецкого телевидения (Westdeutscher Rundfunk) вместе с Государственным оркестром Армянской ССР – немецкое телевидение вело прямую трансляцию по радио.

Помнится, Дни культуры Советского Союза нашли живой отклик у жителей Дортмунда, даже у моего отца, воевавшего юным солдатом в России в рядах немецкого вермахта. Об этом времени он вспоминал очень редко. Иногда в его речи мелькал «Russki». Несмотря на старания забыть прошлое, он порой замечал среди прочего, что в русском плену с ним обходились лучше, чем в британском. Сегодня я очень сожалею, что не расспросила своего отца, умершего в 1995 г., поподробнее о его военных воспоминаниях. Я могла только предполагать, насколько глубоко его занимали мысли о прошлом. И все же именно в то время я с большим интересом прочитала человеческие и проникновенные рассказы Генриха Бёлля (того же года рождения, что и мой отец – 1917), в которых он поведал о своем военном опыте. Что в России Бёлля читали и читали, мне было известно, и только подогревало мой интерес к нему и его произведениям. Интервью Клауса Беднарца с ним и Львом Копелевым в 1979 г. в Москве, называвшееся «Нет больше ненависти...», является лично для меня звездным часом немецкого телевидения.

На Пасху 1974 г. я поехала с группой молодежи в Москву и Ленинград. Только с совсем другими намерениями, чем мой отец или Генрих Бёль во время войны, бывшие солдатами на Восточном фронте. Поездку финансировало Международное общество Рейн-Вестфалия. Это была первая продолжительная поездка, которую я предприняла без моих родителей. Восемь или десять дней нас сопровождали сотрудники туристического агентства международного молодежного туризма «Спутник». Оно организовало встречи с русскими молодежными группами в Москве и Ленинграде, диалог с которыми не смог состояться в том объеме, как я того хотела, из-за отсутствия общего языка, который мы бы понимали. Программа поездки, разработкой которой мы начали заниматься еще в Дортмунде, оказалась очень насыщенной. Больше всего мне запомнилась поездка на автобусе ранним вечером по одному из широких проспектов Москвы. Уже изряд-

⁵ В немецком языке, в отличие от русского, при обозначении профессии употребляются соответственно мужской и женский род, что является отчасти результатом гендерного поворота в гуманитарных науках, начиная с 1950-х гг.

но утомившись от массы впечатлений, я вдруг обратила внимание на множество светящихся окон в серых многоквартирных домах. В это мгновение меня охватило сильное желание узнать, как живут люди за стенами этих домов, чем они занимаются, что их радует и какие заботы волнуют. Возможно, это прозвучит несколько сентиментально, но это был именно тот момент, когда я твердо решила заняться после окончания гимназии изучением славистики и восточноевропейской истории. Мое желание заглянуть за фасады домов и познакомиться с советскими людьми исполнилось в 1985 г., когда я, получив стипендию Немецкого научно-исследовательского общества⁶, в рамках написания своей диссертации из истории средневековой Псковской воеводской республики полгода жила и работала в Москве [Pickhan, 1992]. Это было время начала перестройки.

Хочется сказать, что своим интересом к России, ее истории и культуре я обязана Вилли Брандту, его новой восточной политике и Международному обществу Рейн-Вестфалия в Дортмунде. Можно назвать имена и других экспертов по Восточной Европе, получивших свои первые импульсы в Дортмунде. Это, например, мой коллега Клаус Зегберс, профессор политологии института Восточной Европы Свободного университета (год рождения – 1954). Здесь, в университете, на мой взгляд, в настоящее время формируется интересное исследовательское направление, ставящее своей задачей более подробно изучить поколенческие и социальные причины, мотивирующие немецких ученых заниматься исследованием Восточной Европы. И все же, рассматривая старые фотографии той поездки, мне, возможно, никогда не удастся ответить на вопрос, что же думали о нас тогда москвичи, в далеком 1974 г., увидевшие уверенную в себе молодежь из Западной Германии, раскованную, одетую в брюки-клеш (ил. 2).

Есть еще одно важное для меня воспоминание, уносящее меня в тот далекий 1974 г. в Москве. Это посещение Третьяковской галереи, где я впервые увидела картину Исаака Левитана «Над вечным покоем», приковывающую с тех пор мое внимание и являющуюся с недавнего времени моим исследовательским объектом (ил. 3). Каждый раз, приезжая в столицу, я совершаю паломничество в зал с картинами Левитана. Восприятие этих произведений конца XIX в. и их воздействие на меня производят всегда один и тот же эффект: в то время как за стенами музея пульсирует жизнь многомиллионного мегаполиса, в шуме машин, в спешке огромного количества людей в переходах и поездах метро, во мне созревает после многочасового созерцания картин некий образ, формируется некое чувство, которое я называю «моей Россией». В этих картинах я погружаюсь в нее, совершая путешествие во времени, проникаю в сокровенное пространство художника, его жизненный мир, пытаюсь прочесть его код и как можно дольше отодвигаю возвращение в такую порой жестокую действительность столичной повседневности. Тем не менее, это вненаучное,

⁶ DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft.

субъективное восприятие не является исключительно частным фактом моей созерцательности; оно, как и всякое восприятие, является культурно закодированным. Похожая мысль возникла у меня при посещении большой выставки картин из Третьяковской галереи в 2007 г., проходившей в манеже в Бонне. На ней, конечно же, присутствовали картины Левитана. Как видно из плакатного названия «*Душа России*», кураторы выставки обещали дать немецким посетителям возможность «заглянуть в русскую душу». Использование известного стереотипа в лейтмотиве выставки экспертами от искусства времени постмодерна могло быть понято как иронический вызов, нарушение стиля, хотя эта тема никак не обыгрывалась в каталоге.

Visual History, или «История распадается на образы, не на историйки» (В. Беньямин)

В 2007 г. я получила приглашение прочитать доклад на тему о новых перспективах исследования еврейской истории. История восточноевропейского еврейства является основной областью моих исследований с тех пор, как я посвятила свою докторскую диссертацию теме Всеобщего еврейского рабочего союза (БУНД) в Польше 1918–1939 гг. [Pickhan, 2001]. Возникновение моего интереса к этой теме также берет свое начало в 1970-х гг. и связано с Вилли Брандтом, с тем моментом, когда он встал на колени перед мемориалом Варшавского гетто в 1970 г. Это без сомнения было для меня самым впечатляющим политическим событием и повлияло на пробуждение моего интереса к судьбе уничтоженных нацистами жизненных миров восточноевропейских евреев. Этой темой я занимаюсь вот уже более 40 лет.

Когда я размышляла на тему моего доклада в 2007 г. в Потсдаме, мне вспомнился Исаак Левитан. При этом для меня было важным исследование моей израильской коллеги Эзры Мендельсон, посвященное еврейскому художнику польского происхождения Маурициу Готтлибу [Mendelsohn]. После его прочтения я занялась научными исследованиями об Исааке Левитане. Их первым результатом стало опубликование моего доклада, в котором я сравнила трех еврейских художников – Исаака Левитана, Мауриция Готтлиба и Макса Либерманна – в различных контекстах и из разных перспектив: Российская империя, Галиция и Пруссия/Германия [Pickhan, 2008, S. 247–264]. Следующим моим шагом было сосредоточение на одной единственной картине Левитана «Вечный покой» – со времени ее написания до позднего советского периода [Pickhan, 2011]. В 2012 г. появилась статья, в которой я исследовала некрологи, опубликованные в газетах летом 1900 г. после смерти Левитана [Pickhan, 2012, S. 591–616].

Совсем недавно я написала еще одну статью о прижизненной ре-цепции Левитана в немецкоязычном пространстве, в особенности

Райнером Мария Рильке, которая должна выйти в 2014 г. в сборнике, посвященном российско-немецким культурным связям. Все эти публикации являются результатом подготовительных исследований, которые должны вылиться в отдельную книгу, в которой речь пойдет не о жизни и творчестве Левитана, но об их рецепции современниками и последующими поколениями. Особенно меня интересует вопрос, для кого, когда и почему еврейское происхождение Левитана имело значение или нет.

Эзра Мендельсон и Исаак Левитан обратили мое внимание на Visual History. Когда в 2007 г. я вновь посетила Третьяковскую галерею, мне подумалось при рассмотрении картин XIX в., что в них представлена вся история России, все важные темы того времени. Произведения художников могут быть историческим источником. Эту мысль я реализовала позже в лекции по русской истории XIX в. на примере произведений живописи, доставившей мне и моим слушателям большое удовольствие. Эта лекция послужит основой к написанию еще одной моей книги. В нее войдет и эпизод знаменитого «восстания четырнадцати» против академизма, связанный с неповиновением студентов Академии художеств, не желавших писать картины в рамках канона официальной живописи [Pickhan, 2011, S. 171–184].

Основные аспекты моих исследований

Первым из трех основных аспектов моих исследований являются процессы эмансипации и самоуполномочивания. Эту тему я начала разрабатывать, занимаясь Псковской вечевой республикой, которая подобно Великому Новгороду представляла модель, противоположную московскому централизму [Pickhan, 1992]. Свое продолжение этот исследовательский аспект нашел в разработке темы Всеобщего еврейского рабочего союза, сообщавшего его участникам – изолированному в обществе национальному и социальному меньшинству – новое самосознание и дававшего им раннюю концепцию современной мультикультурности. К процессам эмансипации относится и «восстание четырнадцати», ставших ядром позднего движения Товарищества передвижников, а также история джаза за «железным занавесом», служившего для молодого поколения в условиях господствующих культурных форм символом творческой свободы⁷. Последняя тема была разработана в рамках проекта, профинансированного фондом «Фольксваген». В то же время сложилось тесное сотрудничество с музыкальным журналистом Максимилианом Прайслером в рамках исследования биографии джазового музыканта Эдди Рознера, начинавшего свою карьеру в Берлине конца 1920-х гг., ставшего суперзвездой в Советском Союзе

⁷ Подробнее об исследовательском проекте: <http://www.oei.fu-berlin.de/projekte/jazz/index.html>.

во время войны, игравшего джаз, даже попав в ГУЛАГ, и закончившего свою жизнь в своем родном Берлине [Pickhan, Preisler].

Псков, джаз и евреи. При этом нельзя забывать еще одну область моих исследовательских интересов: отщепенцы и «прекрасные неудачники», которые мне более интересны, чем великие победители и герои в истории. Псковская городская республика была присоединена великими князьями к Московскому государству, управлявшемуся по строго централизованным принципам. БУНД исчез в бездне Холокоста. Джаз никогда не был в Восточном блоке музыкальным стилем, популярным среди широких кругов слушателей. И все же, ради того, чтобы играть «черную музыку» Америки, ее адепты готовы были подвергать себя репрессиям.

Восточноевропейские еврейские эмигранты в Берлине времен Веймарской республики – еще один большой исследовательский проект прошлых лет – также оставались изгоями, изолированными в обществе. Несмотря на это, они смогли создать богатую нюансами и в высшей степени творческую среду – свой микрокосмос⁸. Из него вышел Эдди Рознер, образовавший своеобразное связующее звено обоих проектов – о джазе и еврейской эмиграции Берлина.

В конечном итоге, считаю своей прямой обязанностью проведение критического анализа парадигмы отсталости в русской и восточноевропейской истории. Она берет свое начало уже в Средние века. И сегодня можно часто услышать мнение, что «татарское иго» отбросило Россию назад и послужило причиной ее затянувшейся отсталости, чувствуемой, якобы, по сей день. Напротив, новые исследования ясно показывают, что средневековая Русь ни в коем случае не была изолирована после 1240 г. и тем более не была отброшена к азиатскому деспотизму. Русь была включена в «Pax Mongolia» и в обширную торговую и коммуникационную сеть [Pickhan, 2009, S. 113–137]. Тем самым исчезает всякое основание для предположений об истоках некоей отсталости России, берущей свое начало в Средневековье. Если же взглянуть на XIX в., а именно на 1863 г., то мы увидим, что 14 петербургских студентов порвали с академизмом гораздо раньше, чем это сделали художники Германии и Австрии в ходе движения эмансипации 1890-х гг. («Sezession»), т. е. три десятилетия спустя.

«Let us learn about the Russia... that gave rise to this painting»⁹

Пожалуй, самый знаменитый русский художник XIX в., Илья Репин, сформировался как профессионал в среде молодых бунтарей в искусстве. С Иваном Крамским, одним из лидеров Движения четырнадцати, Репина связывала тесная дружба. «В поисках России» –

⁸ URL: <http://www.oei.fu-berlin.de/projekte/charlottengrad-scheunenviertel/index.html>

⁹ «Давайте изучать Россию... тогда мы сможем подняться до понимания ее живописи».

так называлась выставка работ И. Е. Репина, показанная в 2003 г. в Берлинской национальной галерее. Там же была выставлена картина «Крестный ход в Курской губернии», впервые показанная на 11-й передвижной выставке в 1883 г. В ней художнику удалось создать монументальный и в то же время дифференцированный калейдоскоп российского общества того времени. Картина, находящаяся сегодня в Третьяковской галерее, завораживает зрителя, втягивая его в свое гравитационное поле. Под его влиянием находится и американский исследователь истории искусства, эксперт по французской живописи XIX в. в далеком Техасе. Ричард Р. Бретелл (Richard R. Bretell) призывает рассматривать искусство передвижников прежде всего как искусство и уже потом как «русское». Он обращает наше внимание на то, что русские художники, как за счет обращения к национальным истокам, так и ввиду их восстания против авторитетов, должны рассматриваться в контексте общеевропейского движения авангарда: «Realism, for the Russians, was part of a general European movement rather than an isolated response to Russian social and aesthetic conditions... Unlike the Impressionists and the various groups in France, they were well organized, made money, and succeeded in their aims of promoting Russian art throughout the country» [Bretell, p. 53]¹⁰.

Художественное движение, берущее свое начало в 1863 г. как «восстание четырнадцати», показывает, что Россию в культурном и интеллектуальном плане ни в коем случае нельзя назвать отсталой, напротив – она была на высоте своего времени. Художники в своих картинах восхищаются русской жизнью и в то же время критикуют ее, как метко сформулировал Бретелл. Картина Репина «Крестный ход» наглядно показывает это. В движущейся процессии видны традиционно одетые крестьяне, простые женщины в платках, школьники со своим строгим учителем, упитанный священник с красным лицом (возможно, от злоупотребления спиртным), сытая помещица, несущая икону, стражи порядка, избивающие нарушивших строй. Единственное одухотворенное лицо у горбатого нищего с костылем. За исключением двух бедно одетых испуганных паломниц, идущих за ним, он, возможно, единственный, движущим мотивом которого является религиозность. Очевидно, что именно ему художник отдает свои симпатии. Репин мастерски вовлекает зрителя в движение картины, позволяя ему, заморожено принять участие в процессии. Пр процитируем еще раз Ричарда Бретелла: «In this painting, a Russian Realist, who flirted with the work of Manet and the Impressionists while working in Paris, returned to Russia and encapsulated the entire nation – its history, its political system, its religions

¹⁰ «Русский реализм был частью общеевропейского движения, а не изолированным ответом на российскую действительность и в рамках национальной эстетики... В отличие от импрессионистов и различных групп во Франции, они были прекрасно организованы и финансово успешны, преуспели в достижении своих целей по поддержанию русского искусства по всей стране».

and ideologies, its successes and failures – in a single canvas. Let us learn about the Russia – and the Realism – that gave rise to this painting» [Bretell, p. 59]¹¹.

Узнать Россию, создавшую в своих недрах этот шедевр, представляющий из себя квинтэссенцию всей нации, видя в этой картине в то же время неотъемлемую часть европейской культуры – именно такой взгляд на русскую и восточноевропейскую историю объединяет меня с историком искусства из Техаса. В остальном же – меня радует мысль о возможности вновь посетить Третьяковскую галерею.

Bretell R. R. The Wanderers and the European Avant-Garde // The Wanderers. Masters of 19th Century Russian Painting / ed. E. K. Valkenier. Dallas : Dallas Museum of Art, 1991. P. 49–59.

Mendelsohn E. Painting a People. Maurycy Gottlieb and Jewish Art. Hanover ; London : Brandeis Univ. Press, 2002. 279 p.

Pickhan G. Gospodin Pskov. Entstehung und Entwicklung eines städtischen Herrschaftszentrums in Altrußland. Berlin, 1992. (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Bd. 47).

Pickhan G. „Gegen den Strom“. Der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund („Bund“) in Polen 1918–1939. Stuttgart ; München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001. (Schriften des Simon-Dubnow-Instituts Leipzig. Bd. 1).

Pickhan G. Levitan-Liebermann-Gottlieb. Drei jüdische Maler in ihrem historischen Kontext // Osteuropa 5. 2008. 8–10. S. 247–264.

Pickhan G. Von der Kiever Rus' zum Moskauer Reich. Transkulturelle Verflechtungen in Osteuropa 1240–1533 // Die Welt 1250–1500 / hg. T. Ertl, M. Limberger. Wien, 2009. (Reihe Globalgeschichte. Die Welt 1000–2000). S. 113–137.

Pickhan G. „Aufstand der Vierzehn“. 1863 als Schlüsseljahr für die bildende Kunst in Russland // Schlüsseljahre. Zentrale Konstellationen der mittel- und osteuropäischen Geschichte. Festschrift für Helmut Altrichter zum 65. Geburtstag / hg. von M. Stadelmann, L. Antipow. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2011a. S. 171–184.

Pickhan G. „Über der ewigen Ruhe“. Zur Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte einer russischen Stimmungslandschaft [Электронный ресурс] // Zeitenblicke 10. 2011b. Nr. 2. URL: http://www.zeitenblicke.de/2011/2/Pickhan/index_html (дата обращения: 30.04.2011).

Pickhan G. „Lewithanisierende Rußlandsucher“. Isaak Levitan und die zeitgenössische Rezeption seines Werkes // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 60. 2012. S. 591–616.

Pickhan G., Preisler M. Von Hitler vertrieben, von Stalin verfolgt. Der Jazzmusiker Edie Rosner. Berlin ; Brandenburg : Be.bra, 2010.

Translated by Andreas Keller

The article was submitted on 28.01.2014

Гертруд Пикхан, проф.
Германия
Свободный университет Берлина
pickhan@zedat.fu-berlin.de

Gertrud Pickhan, prof.
Germany
Free University of Berlin
pickhan@zedat.fu-berlin.de

¹¹ «В этой картине русский реалист, увлекавшийся работами Мане и импрессионистов, работая в Париже, запечатлел весь народ – со своей историей, политической системой, религией и идеями, успехами и неудачами. Давайте узнаем Россию и реализм, породивший эту картину».



Problema
voluminis

Война в памяти культуры



**Problema
voluminis**

War in Cultural Memory

УДК 94(470)“1812” + 94(44)“1814” +
929.731 Александр I

Marie-Pierre Rey

**LES COSAQUES DANS LES YEUX DES FRANÇAIS,
A L'HEURE DE LA CAMPAGNE DE 1814: CONTRIBUTION
A UNE HISTOIRE DES IMAGES ET DES REPRESENTATIONS
EN TEMPS DE GUERRE**

**THE COSSACKS THROUGH THE EYES OF THE FRENCH
DURING THE CAMPAIGN OF 1814: CONTRIBUTION
OF THE WAR TIMES TO THE HISTORY**

Based on public archives (from the French police) as well as on private sources (diaries and *correspondences*), this article analyzes the images and discourses triggered by the presence of Cossacks in the allied army during the French campaign, in the Spring 1814.

The analysis shows that hostile representations did not appear in 1814, but rather go back to a collective imaginary that emerged at the end of the 18th century and was reinforced by Napoleonic propaganda and the sore memory of the 1812 campaign. In the Spring 1814, during the invasion, the violence attributed to the Cossacks reactivated these hostile stereotypes: portrayed as monsters, Cossacks embody barbarity and absolute devil; they are unanimously rejected out of the civilized and Christian world. Yet, step by step, the occupation, and the associated direct, concrete contacts that it generates, progressively contribute to notable evolution of the images, as can be seen in many private sources: that Cossack officers belong to the civilized world becomes a certainty, and simple soldiers, perceived as picturesque and exotic, are no longer a source of fear.

Key words: 1814; Alexandre I; Cossacks; Napoleon; Paris; Propaganda; Russia.

В статье на основе государственных архивов (дела французской полиции) и частных источников (дневники и переписка) рассматриваются образы и дискурсы, вызванные присутствием казаков в Союзной армии во время Французской кампании весной 1814 г.

Проведенный анализ показывает, что изображение казаков как враждебной силы уходит корнями к коллективному образу, который возник еще в конце XVIII в. и укрепился вследствие наполеоновской пропаганды, а также негативных воспоминаний о кампании 1812 г. Казакам приписывалась особая жестокость, и эти враждебные

стереотипы оживились весной 1814 г. во время вступления союзных войск в Париж. Казаки изображаются как чудовища, олицетворяющие варварство и абсолютное зло; они изгоняются повсеместно из цивилизованного христианского мира. Однако постепенно оккупация и присущие ей непосредственные реальные контакты способствуют значительной эволюции образов, что заметно из многих частных источников. Принадлежность казачьих офицеров к цивилизованному миру становится несомненной, и простые солдаты, в облике которых видится колорит и экзотика, перестают быть источником страхов.

Ключевые слова: 1814 г.; Александр I; казаки; Наполеон; Париж; пропаганда; Россия.

Le 31 mars 1814, vers midi, l'empereur de Russie entre dans Paris à la tête de 60 000 soldats russes, autrichiens et prussiens, sur les 200 000 que comptent alors les forces de la coalition et pendant près de cinq heures, l'impressionnant cortège se déploie dans les rues de la capitale française. A l'issue du défilé, les régiments de grenadiers, la garde impériale et les régiments de cavalerie cosaque de la garde (hommes de troupe comme officiers) ont l'autorisation de stationner dans Paris. Pour ce qui concerne les autres régiments, seuls les officiers d'un grade élevé bénéficient de billets spéciaux leur accordant ce même privilège.

A l'égard de ceux de ses hommes qui séjourneront à Paris jusqu'à 2 juin, date à laquelle, trois jours après la signature du premier traité de Paris du 30 mai, Alexandre I^{er} s'embarque pour l'Angleterre, le monarque russe se montre intransigeant. Deux, il exige une conduite irréprochable et par oukases, prévoit de lourds châtiments, voire la peine de mort à l'encontre de ceux qui contreviendraient aux ordres reçus: c'est qu'il s'agit pour lui en faisant acte de clémence et de paix, d'imposer à ses contemporains tant l'image d'un souverain magnanime et généreux que celle d'un empire civilisé, appartenant de plein droit au continent européen¹. L'enjeu, à la fois politique, géopolitique et psychologique, revêt donc une importance majeure et il est à la hauteur des images hostiles véhiculées depuis des années par la propagande napoléonienne.

Cette dernière en effet n'a eu de cesse de dépeindre l'empire des tsars comme un empire asiatique et barbare et son armée, comme une cohorte de sauvages dominés par des « nuées de cosaques ». Toutefois, si cette image a pris un essor particulier avec la propagande napoléonienne, elle n'est pas née avec l'épopée impériale car dès la fin du XVIII^{ème} siècle, les cosaques ont en France une épouvantable réputation². Cruels, ces êtres « mi-hommes-mi bêtes »³, barbares, « bouffeurs de chandelles » et mangeurs de petits enfants, incarnent aux yeux de l'opinion française toute l'arriération dans laquelle s'attarde alors l'empire des tsars.

¹ Sur le règne d'Alexandre I^{er}, voir la biographie que je lui ai consacrée [Rey, 2009; 2013a].

² Cf. la belle étude de Galina Kabakova [Kabakova].

³ Cf. les lettres de Pierre Dardenne [Dardenne].

Que deviennent ces représentations au cours de la guerre de 1814? Et plus particulièrement, quel fut l'impact de la « rencontre forcée » entre Russes et Français qui se déroule au printemps 1814 en matière d'images mutuelles et de représentations? Pour répondre à ces questions, on s'intéressera tout d'abord aux représentations qui sont forgées au fil de l'invasion c'est-à-dire durant les trois premiers mois de campagne. On en viendra ensuite à l'état d'esprit de la population à la veille de la bataille de Paris⁴ et au choc qu'a représenté l'entrée des troupes coalisées dans la capitale française. Enfin dans un dernier temps, on verra ce qu'il en a été de l'évolution de ces images à l'heure de l'occupation de Paris⁵.

I. Des cosaques mi-hommes, mi-bêtes: la résurgence d'images anciennes

Surprise par la masse des effectifs coalisés qui pénètrent en territoire français à la fin décembre 1813 et au tout début de janvier 1814, l'armée napoléonienne est très vite contrainte à un repli qui laisse les civils démunis aux prises avec l'ennemi⁶. Et bien que la plupart des villes et des villages occupés n'opposent aucune résistance à l'avancée de ce dernier, des violences et des exactions, perpétrées par des unités cosaques contribuent aussitôt à la résurgence d'images anciennes.

De ces représentations angoissées et hostiles, la presse officielle⁷ se fait largement l'écho. Mais il en va de même des correspondances privées.

Ainsi, à la fin janvier, Pierre Dardenne, professeur au lycée de Chaumont, ville dans laquelle les souverains alliés viennent d'entrer, oppose, dans les lettres qu'il adressera à son ami pharmacien vivant dans le sud-ouest de la France tout au long de la campagne de France, la figure plutôt affable du tsar Alexandre et celle, particulièrement repoussante, de sa « nuée de cosaques, qui vont tout ravageant » (Lettre du 31 janvier 1814) [Dardenne, p. 18].

Dans son courrier du 30 janvier, Dardenne se livre à une description très détaillée des unités cosaques qui occupent la ville. Son tableau s'attarde longuement sur leur aspect physique, leur accoutrement grossier et leur allure « grotesque ». « Déguisés » ou « déguenillés » plus qu'habillés, vêtus de peaux d'ours ou de mouton qui accentuent encore leur sauvage apparence, ils sont décrits comme des animaux plus que comme des hommes et comme des « canailles », amateurs de rapines en tout genre.

«Assurément, mon cher ami, vous n'avez jamais vu de cosaques ou Kosaques. N'en ayez pas de regret; ce n'est pas un animal bien intéressant,

⁴ Pour une histoire précise de cette bataille, voir [Mir].

⁵ Sur cette occupation voir en particulier [Hantraye; Rey, 2013b].

⁶ Sur la campagne de France, la bibliographie est très importante. Voir tout particulièrement, parmi les ouvrages les plus récents [Безотосный, 2010; 2012; Boudon; Leggiere; Lentz].

⁷ Cf. par exemple les différents articles parus dans le Journal de l'Empire, tout au long du mois de janvier 1814.

quoique, par droit de conquête, il habite les environs de la mer d'Azof (sic), sur les rives de l'antique Tanais⁸. Figurez-vous des hommes généralement d'assez mauvaise mine, de taille médiocre, barbus comme des chèvres et laids comme des singes. Leur habit est une espèce de robe, faite à peu près comme une soutane de prêtre, croisée sur le devant et retenue sur les reins par une ceinture. Chez les plus aisés, ce vêtement est de drap bleu et la ceinture est rouge. Les uns ont sur la tête un bonnet haut et cylindrique, les autres un chapeau rond à forme plate et à larges bords, semblable à celui de nos Auvergnats qui courent le monde pour avoir le plaisir de raccommo-der les ustensiles de nos cuisines. Plusieurs ont pour habits des peaux de mouton grossièrement assemblées, dont ils mettent la laine en dedans pour se garantir du froid; d'autres, pour compléter ce grotesque ajustement, mettent sur leurs épaules un large manteau de peau d'ours, à peu près comme on représente Hercule couvert de dépouilles du lion de Némée, ce qui leur donne une vraie tournure de coupe-jarrets. En général ils sont assez déguenillés.

Ils vont tous à cheval ou sur des charriots. Leurs chevaux m'ont paru vigoureux et bons coureurs, quoique maigres et mal faits ; ils ont presque tous en courant le nez au vent. La selle est très haute et laisse un grand vide sur le dos du cheval: c'est dans cette cachette que les cosaques serrent ordinairement leur butin. Cette selle ainsi élevée leur donne un air si singulier que je ne saurais vous le bien exprimer. Ils ne se servent pas d'éperons ; ils frappent leurs chevaux avec une espèce de fouet: ils portent une lance ou pique grossièrement travaillée, de 8 à 10 pieds de long, dont ils se servent, dit-on, avec une adresse extrême. Ils n'ont point d'uniforme, et leurs habits sont de différentes couleurs, souvent déchirés ou rapetassés. C'est vraiment la canaille de la Russie que ces cosaques. Et ce sont les conquérants de la France! A quel degré de l'avisement nous sommes réduits! » (Lettre du 30 janvier 1814) [Dardenne, p. 15–16].

Plus loin, soucieux de livrer à son correspondant des informations exactes, Dardenne précise, fort d'un savoir sans nul doute tout nouvellement acquis: « Il y a des cosaques que l'on appelle réguliers; ils sont enrégimentés et un peu moins hideux que ceux dont je viens de vous entretenir, quoique appartenant à la même nation: on les a soumis à un peu de discipline militaire, au lieu que les premiers sont complètement indépendants et grands voleurs de leur métier: leur naturel les porte tellement à la rapine, que quand ils ne peuvent plus piller l'ennemi ils volent leurs officiers et se volent les uns les autres. Il en est passé par ici un très grand nombre: on n'a pas eu dans la ville trop à se plaindre, sans doute par crainte de la *schlague*; car c'est à coups de bâton qu'on réprime leur appétit rapace ; mais dans les campagnes ils se montrent insolents et pillards; on ne parle que de leurs dévastations et de leurs brigandages; c'est à faire pitié » [Ibid., p. 16–17].

Pillards, voleurs, les cosaques, selon Dardenne, aiment à perpétrer des violences et des crimes totalement gratuits, ce qui fait d'eux des monstres. Et pour appuyer ses dires, Dardenne rapporte à la date du 5 février, que des villageois ont été victimes de cette soldatesque qui n'épargne ni femmes ni

⁸ Ancien nom du Don.

enfants: « ... Dans un village voisin, le désordre a été si insupportable que les paysans, poussés au désespoir, ont pris le parti de l'abandonner et de chercher un refuge dans une vaste forêt, avec leurs femmes, leurs enfants, quelques bestiaux et quelques vivres qu'ils ont parvenus à soustraire à la rapacité de la soldatesque. Après y être demeurés plusieurs jours, le froid est devenu si violent <...> que quelques-uns ont été sur le point de périr de misère. Ils se sont alors vus forcés de rentrer dans leurs foyers ; mais à moitié chemin ils ont été dépouillés entièrement de tout par une troupe effrénée de cosaques, qui ont ajouté au pillage les plus indignes traitements. <...> Dans un autre hameau, une femme grosse⁹ a été tuée d'un coup de pied russe et son mari, ayant voulu la défendre, a été grièvement blessé en recevant une cruelle bastonnade!! » (Lettre du 5 février 1814) [Dardenne, p. 25].

Or, de fait, ces violences répétées sont attestées et à cette même date du 5 février, déjà informé du mauvais comportement des unités cosaques, Alexandre I^{er} s'adresse à l'ataman Matveï Platov pour condamner fermement ces agissements et « déplorer que même certains généraux et colonels pillent les maisons et les fermes françaises » [РГВИА, ф. 846, оп. 16, д. 3399, л. 120, lettre d'Alexandre I^{er} à l'ataman Matveï Platov, (24 janvier) 5 février 1814]. Pour l'empereur de Russie, cette conduite est non seulement inadmissible sur le plan moral mais elle est également stratégiquement dangereuse, car susceptible de provoquer un soulèvement des campagnes françaises. D'où la nécessité, martelée par Alexandre I^{er} et ses proches, d'épargner les civils. Mais ils peinent à se faire entendre; et, de l'aveu même de son aide de camp Alexandre Mikhaïlovksi-Danilevski [Михайловский-Данилевский, с. 29] la discipline restera un problème tout au long du conflit, ancrant encore plus profondément dans les esprits, l'image d'une soldatesque barbare et incontrôlable se livrant au pillage et aux destructions par nécessité – il leur faut trouver du bois pour se chauffer, par habitude – le pillage ferait intrinsèquement partie du mode de vie des cosaques – ou par désœuvrement. Dardenne relève ainsi: « Pendant que l'infanterie russe défilait si prestement à travers nos murs, des cosaques, qui sont au bivouac sur nos promenades, s'amusaient à piller et à démolir quelques maisons des faubourgs. Un de mes amis a eu tout son linge et ses meubles et ses portes enlevés. Ils ne lui ont laissé que les habits qu'il avait sur le corps. Ils sont occupés maintenant à jeter les murs de la maison par terre, afin d'en brûler les solives et les poutres. Chaque bivouac a ainsi au milieu de son feu une ou deux poutres de travers, dont la flamme claire et vive s'élève vers le ciel comme celle d'un holocauste. Une victime manque. Qui sait si Messieurs les cosaques ne s'enhardiront pas jusqu'à prendre quelqu'un de nous pour compléter le sacrifice? Tous les jours on voit ou l'on apprend que quelques maisons ont été ainsi saccagées et démolies: c'est l'excès de la licence soldatesque <...> Chacun craint le sort des faubourgs, quand il n'y aura plus rien à piller et à brûler. Dieux! Qui nous délivrera d'un tel brigandage? » [Dardenne, p. 41-42].

Dans ses lettres, le professeur en vient à établir une sorte d'« échelle » des mauvais comportements observés au printemps 1814: au sommet, il

⁹ Ce qui veut dire enceinte.

place les cosaques irréguliers, maîtres en rapines, en pillages et en violence de tout genre, suivis des soldats prussiens, particulièrement brutaux et arrogants à l'égard de la population ; viennent ensuite les cosaques réguliers et enfin les soldats autrichiens, au comportement nettement plus humain. Ce témoignage recoupe l'analyse de V. Lecomte-Wallet qui, étudiant l'invasion de février-avril 1814 dans la région de Laon, confirme que « les plus dangereux étaient les cosaques qui constituaient la cavalerie irrégulière russe » ; durant les combats, « de nombreux villages furent détruits complètement, comme Athies, Corbeny » [Lecomte-Wallet, p. 92, cité in: Breuillard, p. 68] ; l'historien précise que le danger était tel que pour se protéger des envahisseurs, « les habitants se réfugiaient dans les galeries des carrières de Colligis, d'une longueur de 20 kilomètres », où « chaque village se vit attribuer un segment de souterrain » [Ibid., p. 69]. Ainsi, dans les régions les plus exposées, la peur de l'occupant et la nécessité de s'en prémunir suscitent la mise en place de stratégies collectives de défense.

Écrit au printemps 1814, le *Tableau historique des atrocités commises par les Cosaques en France* [Tableau] dresse une litanie d'horreurs imputées tant aux cosaques irréguliers de l'armée impériale qu'aux cosaques de l'ataman Platov durant les deux premiers mois de l'invasion. Sans doute le petit opuscule n'échappe-t-il pas à l'exagération du genre puisqu'il s'agit de galvaniser la population autour de la figure de Napoléon sauveur ; le texte s'achève en effet par ces mots : « Achevons ce triste tableau. Notre Auguste Empereur va bientôt purger et délivrer la France de tous ces monstres du Nord » [Ibid., p. 7].

Mais les forfaits et exactions reprochés aux cosaques restent une réalité de grande ampleur et leurs déprédations donnent le vertige ; une lettre¹⁰ reproduite dans la brochure atteste : « L'ennemi a tout ravagé, tout enlevé ou tout anéanti. Il ne reste de votre château que les murailles ; glaces, meubles, tableaux, marbres, lambris, portes, fenêtres, contre-vents, volets, tout est détruit, à l'exception de votre magnifique galerie de tableaux, qui a été enlevée tout entière. Vous n'avez plus ni grains, ni fourrages, ni bestiaux, ni chevaux ; vos quatorze cents mérinos ont été égorgés ou emmenés. (...) J'ai été totalement dépouillé comme tant d'autres ; je n'ai que les vêtements qui sont sur mon corps. J'ai absolument tout perdu » [Tableau, p. 2].

Une semblable spirale de violence a caractérisé l'entrée des cosaques dans Montmirail début février. Aux dires d'un habitant de la petite ville : « Les cosaques prirent aussi quinze des notables, les mirent nus et leur donnèrent à chacun cinquante coups de knout. Ils déshabillèrent les hommes et les femmes. Moi-même, j'ai été volé par un chef à qui mes habits et mes bottes convenaient. En majeure partie, les filles et les femmes ont été violées même dans la rue. Il y en eut qui se sont jetées par la fenêtre pour se soustraire aux outrages. Des pères eurent les mains coupées à coup de sabre en voulant retirer leurs filles des mains de ces brutaux » [cité par Thiry, p. 160].

¹⁰ Lettre adressée à M. Andryane de la Chapelle, à Paris par M. de Vanlay, greffier du tribunal de Nogent, 22 février 1814.

Quant à l'historien Henry Houssaye, au terme d'une étude fondée sur des archives locales françaises, il offre dans son ouvrage une comptabilité particulièrement macabre des forfaits accomplis, détaillant la nature des tortures barbares infligées aux civils : hommes frappés à coups de sabre et contraints d'assister aux viols de leurs épouses et de leurs filles, enfants brûlés vifs, prêtres exécutés [Houssaye, p. 50-53], tout atteste la sauvagerie d'une « engeance cosaque » aux mœurs aussi cruelles et primitives que celles des Huns. Irrespectueux de la morale chrétienne comme du code de la guerre, les cosaques, incarnation du mal absolu, sont dépeints comme totalement étrangers au genre humain et a fortiori à la civilisation chrétienne.

Répétées, ces violences suscitent dès le mois de février d'abord des frémissements de révolte, puis des mouvements d'insurrection de plus en plus ouverts attestés dès le début du mois de mars (Lettre du 2 mars 1814) [Dardenne, p. 50]. Et de fait, les actes de résistance paysans, tant redoutés par Alexandre I^{er} qui a sans nul doute en tête à ce moment la mémoire de la guerre des paysans russes soulevés deux ans plus tôt contre Napoléon, se multiplient : certains fermiers, comme à Géraudot dans l'Aube, feindront d'être accueillants à l'égard des cosaques pour mieux les assassiner et en dissimuler les corps, une fois les hommes complètement ivres. D'autres prennent les armes, dressent des embuscades et s'en prennent aux traînards ainsi qu'aux soldats isolés. Mais, ce faisant, ils se livrent à des exactions aussi terribles que celles qu'ils dénoncent : « Au soir de la bataille de Craonne, [le 7 mars 1814], les Russes ayant essayé d'enfermer des femmes et des enfants dans les grottes du voisinage, les paysans ramassèrent des armes sur le champ de bataille, et se mirent à massacrer les blessés; quelques-uns jetèrent sur eux de la paille enflammée, afin de les rôtir vivants encore. On vit des agonisants, ne pouvant plus parler, attirer à eux quelques brins de cette paille, et en faire sur la neige des croix qu'ils montraient à leurs bourreaux, pour les dénoncer à Dieu ou implorer leur pitié » [Cf. Pingaud, p. 392].

Cette dernière allusion à la croix vaut d'être soulignée : c'est lorsqu'ils sont à leur tour l'objet de violences sauvages que la foi chrétienne des bourreaux, devenus victimes, est mentionnée dans les sources.

Comme on le voit à la lecture de ces différentes sources, les cosaques, bras armé et – bien mal contrôlé – du pouvoir impérial, apparaissent dans les sources françaises de 1814 comme étrangers à toute civilisation : barbares semant la violence et la peur, pillant et violant sans vergogne, ils font figure d'héritiers directs des hordes sauvages de Gengis Khan et se trouvent rejetés à l'extérieur de la chrétienté, voire de l'humanité.

Toutefois, au gré de la cohabitation forcée qui s'installe entre occupants et occupés, il arrive que l'image des cosaques, ou tout au moins celle des officiers cosaques, s'améliore substantiellement comme en témoignent les lettres de Dardenne : alors que les Prussiens ne trouvent toujours pas grâce à ses yeux, les cosaques au contraire gagnent en humanité au fil des jours et en les côtoyant, Dardenne se fait de plus en plus indulgent à leur égard : il leur reconnaît une certaine gentillesse, un respect d'autrui ; à la date du 4 mars, il écrit ainsi : « Je loge un officier russe d'une politesse rare : il est

plus content de moi que je ne le suis de l'avoir pour hôte: il prétend que je le nourris trop bien, que je lui donne de trop bon vin; il est satisfait de tous mes soins: vive l'optimisme. C'est le fils d'un hetman de cosaque qui est à la suite d'Alexandre, et qui m'a par plusieurs fois remercié des *bontés* que j'avais pour son fils » (Lettre du 4 mars 1814) [Dardenne, p. 54].

Dardenne s'extasie aussi devant la beauté des offices et des chants religieux. Mais il s'indigne du traitement très dur imposé par l'officier cosaque au simple soldat qui le sert [Ibid., p. 56]: et nul doute que dans ce jugement politique, l'héritage des lumières et l'esprit de 89 qui a prôné la naissance d'une armée nationale constituée d'hommes libres et non de soldats taillables et corvéables au gré des caprices de leurs officiers, joue ici un rôle clef.

A l'entrée des troupes coalisées dans Paris, que deviennent ces représentations?

II. Les « hordes sauvages » entrent dans Paris!

Tout au long de la campagne de France et plus encore à partir du mois de février, les Parisiens assistent dans l'inquiétude à l'avancée des troupes coalisées vers la capitale. Dans son journal autographe qui constitue une très belle source pour sonder le moral de la population parisienne, la jeune Amélie de Bohm¹¹, alors âgée de 16 ans, se fait l'écho de l'angoisse qui gagne la ville alors que l'invasion se profile. A la date du 7 février, elle confie: « On est très inquiet parce que l'on attend les ennemis d'ici à quelques jours. J'espère pourtant qu'ils ne feront aucun mal et qu'ils entreront dans la ville sans piller. Il est dix heures, j'attends mon maître d'allemand » [Journal autographe d'Amélie de Bohm, p. 47].

Et quatre jours plus tard, le 11, la jeune fille de mentionner la frayeur qui l'a saisie à l'annonce, finalement démentie, de l'arrivée des cosaques dans Paris:

« J'étais auprès de maman à lire lorsque tout à coup nous entendons un deux, trois... coups de canon. J'ai d'abord cru que c'était les cosaques qui entraient dans la ville, mais j'ai appris ensuite que l'empereur avait remporté une victoire sur les ennemis et que c'était cela que l'on annonçait. Je me suis donc rassurée et j'ai fini la journée aussi tranquillement que je l'avais commencée » [Ibid., 11 février 1814, p. 49].

Au fil des semaines, de plus en plus conscients de la vulnérabilité d'une capitale qui n'a ni murailles solides ni troupes en nombre pour la défendre, les Parisiens doutent de la capacité du pouvoir en place à s'opposer à la déferlante des coalisés et leur angoisse s'accroît d'autant plus que partout dans la ville, des gravures mettent en scène la sauvagerie des cosaques: « Des gravures coloriées au-dessous desquelles était écrit "Cosaques" et qui

¹¹ Née en 1798, elle était la fille de Victoire de Girardin et de Chrétien André Guillaume de Bohm; elle épousera par la suite le baron de Baye et sera connue comme baronne de Baye.

représentaient des monstres hideux, vêtus de la manière la plus bizarre et commettant toute sorte d'excès, furent mises en vente chez les marchands de gravures et chez les libraires. Il était évident, qu'en faisant ces dessins, les artistes n'avaient consulté que leur imagination » [Journal de Thomas Richard Underwood, p. 133].

Chacun s'attend à une vague déferlante de violences et les rapports de police et du contre-espionnage français reprennent cette même idée, accréditant eux aussi la thèse de la vengeance à venir: « Paris sera anéanti si l'ennemi y entre. C'est une chose que les généraux ennemis ont promise à leurs soldats qui frémissent de joie en parlant de Paris. Aucune puissance humaine n'arrêterait le pillage et l'incendie. Je suis fixé là-dessus par tous les détails que j'ai recueillis des conversations des généraux ennemis et des propos des soldats » [Rapport à Rovigo].

Gagnés par la panique, certains envoient femmes et enfants en Normandie, en Touraine, ou plus loin encore, dans les départements de l'Ouest ; d'autres emballent leurs effets les plus précieux pour les expédier en zone moins exposée. Quant à Vivant Denon, le directeur du musée Napoléon (c'est-à-dire le Louvre), redoutant que les coalisés ne s'emparent des chefs d'œuvres de son musée, à l'instar de Napoléon au fil de ses campagnes, il entend lui aussi de mettre à l'abri certains de ses trésors.

Grandissante au fil des jours, l'angoisse collective atteint son paroxysme le 31 mars au matin alors que la ville a signé sa capitulation au petit jour.

Face au cortège qui arrive par les faubourgs et entre dans Paris par la porte Saint Martin, la population se montre d'abord apeurée et silencieuse : « Il n'y avait aucun cri de joie » [Михайловский-Данилевский, с. 41] observera sobrement Alexandre Mikhaïlovski-Danilevski. C'est qu'incrédule devant l'événement, désemparée, la foule semble en état de sidération. Mais peu à peu, à la stupéfaction des Parisiens, c'est par des saluts et des sourires affables que les souverains répondent aux appréhensions et, alors que le cortège atteint la place de la Madeleine, le soulagement de la population, à la hauteur des angoisses initiales, se mue en enthousiasme collectif; bientôt les langues se délient et la glace se rompt. Dans un premier temps, devant ces Russes qui s'adressent à eux dans leur langue, les Parisiens croient avoir à faire avec des émigrés; puis, réalisant qu'ils ont bel et bien affaire à des Russes aux visées pacifiques, leur sentiment de gratitude éclate en cris de joie [Там же, с. 41-42].

Dans son journal, Pierre-François-Léon Fontaine, un des architectes de Napoléon, s'étonnera lui aussi de l'atmosphère paisible voire bon enfant qui régnait à l'entrée des « hordes sauvages » de l'armée ennemie: « J'étais bien loin de penser qu'une armée victorieuse, composée de vingt peuples et d'un grand nombre de hordes sauvages à qui l'on avait promis le pillage, s'emparerait de Paris sans violence, sans commettre le moindre excès. Qui pourrait croire qu'un aussi grand événement aurait l'apparence d'une fête et troublerait à peine l'ordre public? » [Journal de Pierre-François-Léon Fontaine, cité par Simond].

On le voit ici: c'est donc un étonnement encore mêlé de crainte qui domine les esprits parisiens devant la bonne conduite des « hordes sauvages » à leur entrée dans Paris. Cette bonne conduite, plutôt surprenante compte tenu des exactions perpétrées au fil des trois premiers mois de la campagne, était-elle appelée à perdurer? Et pouvait-on attendre un comportement respectueux et pacifique de la part de ces occupations? Ces questions sont alors dans toutes les têtes et chacun hésite à se prononcer. Mais en réalité, en dépit de ces préventions hostiles c'est à une forme de cohabitation plutôt bon enfant que l'on va assister, à Paris, entre occupés et occupants.

III. Les cosaques à Paris, un séjour marqué au sceau de l'exotisme: le « pittoresque » se substitue au « grotesque »

Dès son entrée dans la capitale, Alexandre nomme gouverneur général de la ville, le baron Fabian Osten-Sacken; pour l'assister dans sa tâche, trois commandants de places, l'un représentant l'Autriche, le second la Prusse, et le troisième, la Russie sont désignés et à chacun d'entre eux, il revient la tâche d'assurer l'ordre et la sécurité dans quatre arrondissements. Dès sa nomination, Osten-Sacken a à cœur de multiplier les déclarations rassurantes à l'égard de la population: « Le gouverneur-général de Paris, baron Sacken, défend expressément que personne dans cette ville puisse être inquiété, offensé et molesté par qui que ce soit, pour fait d'opinion publique et pour les signes extérieurs qui pourraient être portés » [cité in: Journal de Thomas Richard Underwood].

Les officiers auxquels il est distribué des billets de logement doivent impérativement sous peine de lourdes sanctions habiter aux adresses indiquées sur leurs bons et l'usage des transports publics est lui aussi règlementé. Et pour ne pas déstabiliser l'économie et la vie locales, on interdit aux cosaques, grands amateurs de poissons, de pêcher dans les étangs privés, interdiction qui ne sera pas toujours respectée: en avril 1814, une unité cosaque s'étant installée près du château de Fontainebleau, tous les étangs de la région se retrouveront, en quelques jours, totalement vidés de leurs carpes [Безотосный, Иткина, с. 68].

Ces mesures de surveillance seront efficaces et de l'avis des Parisiens eux-mêmes, elles contribuent à instaurer un climat plutôt pacifique entre occupants et occupés. Toutefois, préjugés hostiles et préventions restent solides à l'égard des cosaques et le bivouac des hommes de troupe aux Champs Elysées et au Champ de Mars, pourtant décidé pour limiter les contacts et par là les motifs de friction entre civils et militaires, ne semble pas de tout repos: de nombreuses réclamations sont ainsi déposées auprès des services de la préfecture de police à l'encontre de cosaques coupables d'avoir abattu des arbres ou d'avoir arraché et brûlé des planchers pour se chauffer et faire leur cuisine! Au contraire de leurs officiers plu-

tôt bon francophones et bien éduqués qui fréquentent les salons mondains, les loges maçonniques et les cercles politiques et qui, ce faisant, affichent des valeurs et un mode de vie assez proche des élites françaises, les hommes de troupe, en revanche, perçus comme frustrés et mal dégrossis, constituent un repoussoir pour ces mêmes élites, peu ouvertes à cette cohabitation forcée. En avril 1814, Louis de Rochechouart, un émigré français choisi comme commandant de place pour l'empire russe, reçoit une lettre de la duchesse de Rovigo à qui l'on a imposé d'héberger plusieurs dizaines de simples cosaques. Indignée, elle l'alerte sur les préjudices iniques qu'elle subit en recueillant chez elle des hommes aussi grossiers. Et le commandant de place, en galant homme, de substituer aussitôt à la troupe, un bel aide de camp, beaucoup plus « acceptable » [Rochechouart].

Durant leur séjour, les « cosaques » russes n'en finissent pas de surprendre et d'effrayer la population. Leur haute stature, leurs imposantes moustaches, leurs yeux étirés et leur peau légèrement cuivrée, et plus encore leur tenue vestimentaire – des pantalons bouffants et des toques fourrées en forme de shako – ainsi que leurs armes, de longues lances de plus de trois mètres et des sabres toujours hors du fourreau, tout dans leur allure paraît des plus exotiques. Mais c'est leur comportement qui surprend le plus, voire qui fascine les Parisiens. Car durant leur temps libre, les hommes se divertissent en chantant, en dansant et en ingurgitant d'impressionnants volumes d'alcool; ils baignent leurs chevaux dans la Seine et n'hésitent pas à s'y baigner aussi, souvent torsés nus, choquant ainsi la morale et la pudibonderie des Parisiens!

Jusqu'à leur départ début juin, les cosaques irréguliers, aux mœurs particulièrement rudes, continueront de faire figure de voleurs éhontés, hirsutes et repoussants. A la date du 2 avril, Madame de Marigny note dans son journal qu'« on a fusillé des cosaques qui avaient volé des harengs »; deux jours plus tard, elle ajoute qu'[ils] sont de vrais brigands. Ils dévastent encore actuellement les environs de Paris » [Journal inédit de Madame de Marigny, p. 62–63.]. Et la sœur de Chateaubriand de se livrer à une description aussi haute en couleurs qu'acérée: « ...les Cosaques font horreur: la plupart ont des espèces de redingote qui ressemblent pour la couleur et pour la forme à la robe d'un capucin; les uns sont ceints d'une corde, les autres d'un mouchoir, quelques uns ont des ceintures de cuir; ils sont mal chaussés, ont sur la tête des bonnets sales et plats, ils exhalent une odeur puante; la vermine les dévore. Au reste, ils sont grands et robustes. Ma femme de chambre en a vu voler des œufs, il en avait pris cinq dans sa main. Tous les crimes leur sont familiers. On ferme les yeux sur leur conduite » [Ibid., p. 63].

Amateurs de rapine et de trafics en tout genre, les cosaques irréguliers vendent en plein Paris ce qu'ils ont volé en province, et de l'avis de nombreux témoins, leur campement ressemble chaque jour davantage à un bazar oriental. Mais s'ils se livrent à des trafics, à l'heure où Paris subit une crise économique consécutive à la guerre, les hommes de l'empereur,

généreusement rétribués pour leurs victoires, dépensent aussi sans compter, attisant la convoitise de vendeurs des rues, de marchands ambulants et autres: « Tout ce désordre avait cependant un caractère très pittoresque. Les Français se promenaient au milieu des Cosaques, sans que ceux-ci y missent aucun obstacle, et même sans qu'ils parussent y faire attention. Un grand nombre de marchands leur vendaient des oranges, des pommes, des harengs, du pain, du vin, de l'eau-de-vie, de la petite bière. <...> A tout moment, il s'élevait des discussions sur la valeur relative des monnaies russes et des monnaies françaises. Ces discussions, par suite de la bonhomie et de l'indifférence des cosaques, se terminaient toujours à l'avantage des marchands: les efforts que ceux-ci faisaient pour les duper, n'avaient d'autres résultats que d'exciter la bonne humeur des Cosaques et de les faire rire » [Journal de Thomas Richard Underwood, p. 324–325].

Arpentant les cafés, les bons restaurants et les maisons de jeux, découvrant dans les maisons galantes du Palais Royal les plaisirs interdits de la « nouvelle Babylone », les cosaques se montrent généreux, voire prodigues! Et peu à peu leur bonhomie s'impose à la population parisienne. Cette bonhomie, voire cette naïveté finit même par leur valoir les suffrages des Parisiens attirés par le pittoresque de leurs mœurs et bientôt c'est en famille que l'on se rendra le dimanche, visiter les bivouacs!

Certes, jusqu'au début juin la présence russe s'accompagnera de rixes, de bagarres et de duels dont les archives françaises se font l'écho: les rapports de police du printemps 1814 font état de rixes voire de duels, pourtant interdits, entre occupants et soldats français nostalgiques de l'Empire. Le 4 mai, sur les Champs Elysées même, trois duels ont lieu entre officiers français et russes, à l'issue desquels un Français et deux Russes sont mortellement blessés [Bulletin du 4 mai 1814]. Deux jours plus tard, un bulletin de police signale: « Aujourd'hui comme hier, il y a eu un nombre de querelles infini entre les militaires français et les militaires étrangers » [Idem].

Les sources russes reflètent elles aussi la fréquence des disputes et des duels avec les « napoléonistes »: Boris Uxkull, officier d'origine estonienne alors âgé de 21 ans, raconte dans son journal: « ...Les napoléonistes nous taquinaient l'autre jour dans un café, où bientôt s'engagea une lutte aussi formidable que comique, car nous combattîmes avec chaises et chandeliers, bouteilles et assiettes. Tout a été saccagé dans ce pauvre hôtel et il en résulta plusieurs duels, dont un me regarda de près et fut funeste, car le Prussien qui était mon second, après que j'eus couché mon adversaire, se battit avec son second et fut tué raide mort! Mais tout cela se passa en sourdine, à l'insu des autorités » [Uxkull].

Toutefois, en dépit de ces incidents, la cohabitation somme toute plutôt bonhomme avec les cosaques aboutira à l'émergence d'une image plus apaisée et moins terrible que celle qui a précédé leur arrivée. Et bien des années plus tard, Victor Hugo, âgé de 12 ans lors de l'entrée des cosaques dans Paris, pourra ainsi écrire: « les Cosaques ne ressemblaient aucunement à leurs images; ils n'avaient pas de colliers d'oreilles humaines; ils ne volaient pas les montres et

ils ne mettaient pas le feu aux maisons; ils étaient doux et polis; ils avaient un profond respect de Paris qui était pour eux une ville sainte » [Hugo].

Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М. : Вече, 2010. [Bezotosnyj V. M. Napoleonskie vojny. M. : Veche, 2010.]

Безотосный В. М. Все сражения русской армии 1804–1814. Россия против Наполеона. М. : Эксмо, 2012. [Bezotosnyj V. M. Vse srazheniya russkoj armii 1804–1814. Rossiya protiv Napoleona. M. : Eksmo, 2012.]

Безотосный В. М., Иткина Е. И. Казаки в Париже в 1814 году = Les cosaques a Paris, en 1814. М. : Кучково поле, 2007. [Bezotosnyj V. M., Itkina E. I. Kazaki v Parizhe v 1814 godu = Les cosaques a Paris, en 1814. M. : Kuchkovo pole, 2007.]

Михайловский-Данилевский А. И. Мемуары, 1814–1815. СПб. : Изд-во РНБ, 2001 (Рукописные памятники. Вып. 6). [Mikhajlovskij-Danilevskij A. I. Memuary, 1814–1815. SPb. : Izd-vo RNB, 2001 (Rukopisnye pamyatniki. Vyp. 6).]

РГВИА. Ф. 846. [RGVIA. F. 846.]

Boudon J.-O. Napoléon et la campagne de France. Paris : Armand Colin, 2013.

Breuilleard J. Les Russes envahisseurs et occupants en France (1814–1818) // Slavica Occitania, Toulouse. 8. 1999. P. 67–113. URL: <http://w3.slavica-occitania.univ-tlse2.fr/pdf/articles/8/106.pdf>

Bulletin du 4 mai 1814 // Archives du ministère français des Affaires étrangères, Mémoires et Documents. Vol. 336 (22 avril–30 juin 1814, Bulletins sur l'état des esprits en France).

Dardenne P. Le récit d'un civil dans la campagne de France de 1814. Les « Lettres historiques » de Pierre Dardenne (1768–1857) / éd. J. Hantraye. Paris : CTHS. 2008 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France. Vol. 44).

Hantraye J. Les Cosaques aux Champs Elysées, l'occupation de la France après la chute de Napoléon. Paris : Éditions Belin, 2005.

Houssaye H. 1814. Paris : Perrin, 1888.

Hugo A. Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Paris : Nelson éditeurs, 1863. Vol. I (1802–1818).

Journal autographe d'Amélie de Bohm, 7 février 1814. Collections de la Bibliothèque Historique de Paris, Département des Manuscrits, cote 8 FG MS 000 13 P. 47.

Journal de Thomas Richard Underwood, Journal d'un prisonnier anglais // Journal inédit de Madame de Marigny, présentation et notes de Jacques Ladreit de Lacharrière. Paris : E. Paul, 1907.

Journal inédit de Madame de Marigny // Journal inédit de Madame de Marigny, présentation et notes de Jacques Ladreit de Lacharrière. Paris : E. Paul, 1907.

Kabakova G. Mangeur de chandelles : l'image du Cosaque au XIXe siècle // Philologiques IV. Transfert culturel triangulaire : France, Allemagne, Russie / éd. K. Dmitrieva, – M. Espagne. Paris : Maison des Sciences de l'Homme, 1996. P. 207–230.

Lecomte-Wallet V. L'invasion de février-avril 1814 dans le Laonnois // Mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. T. 8. 1961–1962.

Leggiere M. V. The Fall of Napoleon, The Allied Invasion of France, 1813–1814. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2007.

Lentz T. Nouvelle histoire du Premier Empire. Tome 2: L'effondrement du système napoléonien, 1810–1814. Paris : Fayard, 2004.

Lieven D. Russia against Napoleon, the Battle for Europe, 1807 to 1814. New York : Penguin, 2010.

Mir J.-P. 30 mars 1814, la Bataille de Paris. Paris : Archives et culture, 2004.

Pingaud L. Les Français en Russie et les Russes en France. Paris : Perrin, 1886.

Rapport à Rovigo d'un commissaire général de police envoyé en mission, La Ferté sous Jouarre, 8 mars 1814 // Houssaye H. 1814. Paris : Perrin, 1888. P. 449.

Rey M.-P. Alexandre 1^{er}, le tsar qui vainquit Napoléon. Paris : Flammarion, 2009, 2013a.

Rey M.-P. 1814, un tsar à Paris. Paris : Flammarion, 2013b.

Rochechouart L.-V.-L. de. Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration par le général comte de Rochechouart, mémoires inédits publiés par son fils. 2e éd. Paris : Plon, 1892.

Simond C. Paris de 1800 à 1900, d'après les estampes et les mémoires du temps. T. I. 1800–1830, Le Consulat, Le Premier Empire, La Restauration, collection la vie parisienne à travers le XIX^{ème} siècle. Paris : Plon ; Nourrit et C^{ie}, 1900.

Tableau historique des atrocités commises par les Cosaques en France, (anonyme). Paris : Imprimerie d'Aubry, 1814.

Thiry J. La campagne de France. Paris : Berger-Levrault, 1946.

Uxkull B. Amours parisiennes et campagnes en Russie, journal d'un vainqueur de Napoléon, 1812–1819. Paris, Fayard, édité par Jürgen-Detlev von Uexhüll, 1965.

The article was submitted on 12.01.2014

Marie-Pierre Rey, prof.
France, University of Paris I –
Panthéon Sorbonne
mariepierre.rey@gmail.com

Мари-Пьер Рей, проф.
Франция, Университет Париж 1 –
Пантеон Сорбонна
mariepierre.rey@gmail.com

УДК 930,253 + 94(44)“1812” +
94(44)“18”(093)

Владимир Земцов

НОВЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ДОКУМЕНТЫ О БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ

NEW FRENCH DOCUMENTS ON THE BATTLE OF BORODINO

Предлагается обзор документов, опубликованных в 2012 г. французскими историками в 12-м томе «Общей корреспонденции Наполеона Бонапарта» применительно к Бородинскому сражению. Выявляется степень новизны этих материалов, проанализировано их влияние на бытующие в исторической науке представления о генеральном сражении войны 1812 г. Автор приходит к выводу, что изданные в 2012 г. письма Наполеона не меняют сформировавшейся в историографии в последнее десятилетие общей картины в отношении подготовки Великой армии к битве при Москве-реке, участия в нем, а также последствий этого сражения. Документы, главным образом, подтверждают и уточняют общие и частные моменты применительно к действиям французской армии и ее главнокомандующего в начале сентября 1812 г.

Ключевые слова: Русская кампания Наполеона; Бородинское сражение; битва при Москве-реке; Наполеон; «Общая корреспонденция Наполеона Бонапарта».

The author reviews documents published by French historians in volume 12 of *Napoléon Bonaparte, Correspondance générale* and relates these to the Battle of Borodino. In the process the author seeks to determine the degree of importance of these documents and analyze their influence upon existing ideas of the decisive battle of the Patriotic War of 1812. The author concludes that the letters of Napoleon published in the aforementioned book do not substantively change historians' general understanding, formed over the past decade, of the French Grande Armée's preparations for the battle of the Moscow River or its consequences. The documents mainly demonstrate or specify some general or particular information in relation to the French Army and its leader's actions in the beginning of September 1812.

Keywords: Napoleon's Invasion of Russia, battle of Borodino, battle at the Moscow River, Napoleon, *Napoléon Bonaparte. Correspondance générale*

В 2012 г. Фонд Наполеона выпустил 12-й том «Общей корреспонденции Наполеона Бонапарта» за 1812 г. [*Napoléon Bonaparte*]. Небольшой коллектив исследователей под руководством Тьерри Ленца, директора Фонда Наполеона, провел огромную работу по выявлению, редактированию и подготовке к печати документов, не изданных ранее, в том чис-

ле в 23-м и 24-м томах «Корреспонденции» 1868 г. [Napoléon I]. Основная масса впервые публикуемых материалов была обнаружена в фондах Исторической службы Министерства обороны Франции (Service historiques de la Défense. Département de l'armée de Terre). В «Общую корреспонденцию...» включено 83 документа, относящихся к периоду с 1 по 13 сентября 1812 г., т. е. с кануна Бородинского сражения и до вступления Великой армии в Москву, тогда как в «Корреспонденции» 1868 г. их было 43. Однако часть документов, вошедших в «Общую корреспонденцию...», но отсутствующих в «Корреспонденции» 1868 г., все же прежде уже выходила в свет благодаря трудам А. Шюке [Chuquet, 1911; 1912a; 1912b], А. Дю Касса [Du Casse] и изданию писем Наполеона к императрице Марии-Луизе [Lettres]. Предлагаем обзор ряда не введенных ранее в научный оборот документов, имеющих отношение к подготовке, ходу и последствиям сражения при Москве-реке.

Напомним, утром 1 сентября 1812 г., будучи в Величево, Наполеон, сообразуясь с обстановкой, принимает решение о подготовке армии к генеральному сражению. Авангард Неаполитанского короля И. Мюрата подходил в это время к Гжатску. «Il est probable que dans peu de jours j'aurai une bataille»¹, — написал он министру иностранных дел Ю. Б. Маре, герцогу Бассано [Napoléon I, p. 195]. Этот документ, опубликованный в 1-м издании «Корреспонденции» был известен и ранее. В «Общей корреспонденции...» 2012 г. имеется еще одно письмо для Маре. В нем император указывает своему министру иностранных дел на неоправданно алармистские настроения генерал-губернатора Литвы Т. Ван Гогендорпа (при выявлении некой «колонны врага» в 20 лье от Минска он сразу решил изменить направление движения конвоев и войск, которые следовали из Вильно в Минск)². В заключение император потребовал, чтобы женщин, в особенности жен генерал-адъютантов, при армии не было [Napoléon Bonaparte, p. 1067]. Вызвано это было тем, что, как явствует из письма, отправленного Наполеоном начальнику Главного штаба Л. А. Бертье в те же утренние часы 1 сентября, император получил сведения о прибытии к Гогендорпу в Вильно жены. Наполеон настаивал на немедленном ее возвращении во Францию³ [Ibid., p. 1065].

Малоизвестным прежде было и письмо, адресованное Бертье из Величево. В нем Наполеон предлагал произвести некоторую перегруппировку частей, находившихся в Данциге и Кенигсберге. Командиру 11-го корпуса П. Ф. Ш. Ожеро предписывалось обеспечить отправку к армии всех маршевых частей и подразделений [Napoléon Bonaparte, p. 1064–1065]. Наконец, из Величево Наполеон написал еще одно послание, публикуемое впервые, к Ж. Ж. Р. Камбасересу, архиканцлеру Империи, с требованием сообщать не о мелких происшествиях и незначительных новостях, как, например, о появлении императрицы в воскресенье в парке Сен-Клу, но о том, что, собственно, происходит во французской столице [Ibid., p. 1065].

¹ «Возможно, в течение нескольких дней у меня будет сражение» (здесь и далее перевод мой. — В. З.).

² Наполеон тогда же отправляет письмо начальнику Главного штаба Бертье, предлагая изгнать этот алармистский дух, исходящий от Гогендорпа, который ставит под удар всю систему коммуникаций Великой армии [Napoléon Bonaparte, p. 1064].

³ Этот документ ранее был опубликован А. Шюке [Chuquet, 1912b, p. 408].

Тем же утром, 1 сентября, на рассвете, Наполеон в экипаже выехал из Величево вслед за войсками в направлении Гжатска. В 10 часов утра, в десяти верстах от города, он пересел в седло [Caulaincourt, p. 418, Note 1]. Вероятно, где-то в это время к императору доставили двух пленных: казака (под ним была убита лошадь) и негра (он занимался мародерством в какой-то деревне под Гжатском и заявил, что является поваром атамана Платова). Пленные подтвердили известия о прибытии к русским войскам М. И. Кутузова, который сменил М. Б. Барклая де Толли. На основании этого Наполеон еще более утвердился во мнении о неизбежности генерального сражения в ближайшее время.

В два часа дня император въехал в Гжатск, направился вперед и рекогносцировал ближайшие окрестности, а к девяти вечера возвратился в город [Caulaincourt, p. 418; Larrey, p. 39]. Все свидетельствовало о предстоящем сражении.

Рано утром 2 сентября, задолго до рассвета, Наполеон возобновил работу. Помимо уже известных его приказов, отданных в этот день на предмет подготовки к сражению, в «Общей корреспонденции...» имеется два новых документа. Один из них — письмо военному министру А. Ж. Г. Кларку — указывает на то, что Наполеона «не отпускали» события в Испании. Именно 2 сентября, в Гжатске, он получил предварительные известия о неудачах маршала О. Ф. Л. Мармона при Арапилах 22 июня и, ожидая прибытия к армии адъютанта маршала с более обстоятельным рассказом [Napoléon I, № 19175], сразу же озаботился «информационным обеспечением» произошедшего. Это подтверждает еще одно письмо Кларку, опубликованное в 2012 г. Кларку поручалось подготовить для публикации в «Монитере» взвешенное сообщение, которое, оповещая публику о неудачах в Испании, не должно было вызывать у нее серьезных опасений за будущее [Napoléon Bonaparte, p. 1072].

Письмо Наполеона, относящееся ко 2 сентября и опубликованное ранее только А. Дю Кассом⁴ [Du Casse, p. 464–465], помечено четырьмя часами утра и адресовано Е. Богарнэ, командиру 4-го армейского корпуса. В нем император предлагал Богарнэ использовать «сегодняшний день» для концентрации войск, предписывал сделать рекогносцировку в направлении Твери, где было замечено некое скопление крестьян, и установить, чем они вооружены, ружьями или пиками. «Tout annonce que nous sommes près d'une grande bataille»⁵, — подчеркивалось в письме. «Le general Pino ne devrait pas tarder à vous rejoindre»⁶. Далее Наполеон сообщал, что один из адъютантов Богарнэ и один из офицеров его штаба были взяты в плен на пути в его, командира 4-го корпуса, главную квартиру, о чем Бертье его оповестил, и потребовал выяснить, в какой именно деревне офицеры попали в плен. «Je suppose que vous aurez fait brûler ce village»⁷, — писал он⁸ [Napoléon Bonaparte, p. 1073].

⁴ Благодарим А. И. Попова, указавшего нам на первую публикацию этого письма.

⁵ «Все говорит о том, что мы накануне большого сражения».

⁶ «Генерал Пино [15-я пехотная дивизия] не должна мешкать с присоединением к вам». Дивизия так и не успеет к генеральной баталии и присоединится к основным силам только 8 сентября.

⁷ «Я полагаю, вы должны сжечь эту деревню».

⁸ А. И. Попов полагает, что речь идет о двух офицерах дивизии Д. Пино.

3 сентября Наполеон, все еще пребывая в Гжатске, продолжал энергично готовиться к сражению. В три часа утра он определяет порядок движения войск на день [Ibid., p. 1074]. Документ, в котором этот приказ зафиксирован, отсутствует в издании 1868 г., однако опубликован А. Шюке в 1912 г. [Chuquet, 1912b, p. 411], по нему и воспроизведен в «Общей корреспонденции...».

Наряду с этим, в 2012 г. увидели свет четыре ранее совершенно неизвестных письма Наполеона, продиктованных 3 сентября. Это короткое послание Бертье, в котором император предлагал тому приказать губернатору Витебска А. Ф. М. Шарпантье отправить полк гвардейских фланкеров в Смоленск [Napoléon Bonaparte, p. 1076]. Более пространное письмо начальнику Главного штаба, обязывающее его организовать небольшое депо для обессиленных солдат 1-го, 3-го и 4-го армейских корпусов и разместить их в каменных домах; одновременно Бертье должен был отослать в Смоленск приказы, предписывавшие собрать всех отставших солдат и сформировать из них маршевый батальон [Ibid.]. Краткое письмо Камбасересу, в нем император сообщал, что в России наступила осень, как будто уже 15 октября. «Это наилучшее время года для войны, так как риги полны и земля покрыта всякого рода добром. Менее чем за пятьдесят лет культура этой страны сделала особый прогресс» [Ibid.]. И наконец, Наполеон предложил Маре написать князю К. Ф. Шварценбергу, командующему австрийским вспомогательным корпусом, и поставить его в известность о следующем: А. П. Тормасов, командующий 3-й Обсервационной армией, не пойдет на Киев или в каком-либо подобном направлении, а двинется на Москву. «Faites-lui Schwarzenberg connaître que le général Dombrowski est vis-à-vis Bobrouisk»⁹, – требовал император. Кроме того, Маре должен рекомендовать генерал-губернатору Литвы Гогендорпу разрушить укрепления Борисова и сообщить в Константинополь о том, что Смоленск взят и армия приближается к Москве [Ibid., p. 1077].

Тогда же Наполеон отправил Маре еще одно письмо, которое, начиная с 1925 г., публиковалось, по крайней мере, трижды, однако не было введено в научный оборот. В нем император требовал сообщить Д. Прадту, резиденту в Варшаве, о своем неудовольствии по поводу странного случая, связанного с проездом через Великое герцогство Варшавское некоего русского курьера, и, судя по тону письма, был взбешен тем, что граф А. М. Ф. Сен-Марсан, французский посол в Берлине, подписывает паспорта для русских курьеров. В связи с этим Маре был обязан разослать циркуляр, предписывающий расценивать выдачу паспорта русскому курьеру или любому другому вражескому агенту не иначе как преступление [Ibid., p. 1078].

Следующее, не публиковавшееся ранее письмо, относится, к сожалению, только к 8 сентября. Оно адресовано Камбасересу и имеет пометку «Бородино» (!). С такой надписью известно еще только одно

⁹ «Дайте ему знать [Шварценбергу], что генерал Домбровский — перед Бобруйском».

письмо — императрице Марии-Луизе, отправленное также 8 сентября. Приведем послание Камбасересу полностью:

«Mon cousin, il y a eu hier une grande bataille à Borodino. L'ennemi avait à peu près 120 000 hommes, commandés par Koutouzov, Barclay de Tolly et Bagration. La bataille a été fort chaude, à 2 heures après midi, la victoire s'est déclarée pour nous. Nous avons pris 60 pièces de canon et fait 4 à 5 000 prisonniers, dont plusieurs généraux. On évalue la perte de l'ennemi à une trentaine de mille homes, la nôtre peut être évaluée à 10 000 tués ou blessés. Le general Montbrun a été tué à la tête d'une division de cavalerie; ayant envoyé le general Caulaincourt, mon gouverneur des pages, pour le remplacer, ce dernier a été tué dans la batterie qu'il venait d'enlever. Le roi de Naples, le vice-roi, le prince de Neuchâtel, tous les maréchaux se portent bien. Ma Garde n'a pas dû donner, de sorte que l'infanterie et la cavalerie de la Vieille et Petite Garde n'ont pas perdu un seul home; l'artillerie de la Garde, qui a donné toute la journée, a perdu quelques homes. Nous sommes à la poursuite de l'ennemi. Ma santé est très bonne; pourtant je suis excessivement enrhumé, d'avoir monté à cheval plusieurs fois les nuits; la tente d'ailleurs commence à être fraîche la nuit, je vais monter à cheval. Vous recevrez un bulletin par le prochain courier. Nansouty a été blessé, mais légèrement. Rapp a eu de légères confusions, il n'y a pas eu d'autres personnes de ma maison de blessés. Le bruit a couru que le prince d'Eckmühl avait été tué, son cheval ayant été tué sous lui; il n'a pas eu de mal.

Nous n'avons pas pris de drapeaux parce que les Russes ont pris le parti, au moment du combat, de les envoyer à la réserve, et de ne plus en avoir. Vous sentez que tous ces détails sont pour vous»¹⁰ [Napoléon Bonaparte, p. 1080].

8 сентября в 4 часа пополудни Наполеон покинул поле боя под Бородино и в сопровождении Старой гвардии и штаба двинулся по Большому тракту по направлению к Можайску. Ночь с 8 на 9 сентября он провел в Кукарино, в двух верстах от Можайска, в город въехал 9 сентября в середине дня. Каменный купеческий дом (он сохранился до наших дней) возле спуска с крутой горы, на которой высился не-

¹⁰ «Мой кузен, здесь произошла большая баталия при Бородино. У врага имелось примерно 120 000 человек, под командованием Кутузова, Барклая де Толли и Багратиона. Сражение очень жаркое, в 2 часа пополудни победа была за нами. Мы взяли 60 орудий и от 4 до 5 000 пленных, среди которых много генералов. По оценкам потери неприятеля до 30 тысяч человек, а наши можно оценивать в 10 000 убитых и раненых. Генерал Монбрен пал во главе кавалерийской дивизии. Генерал Коленкур, мой начальник пажей, посланный его заменить, в свою очередь, был убит на батарее, которую он овладел. Неаполитанский король, вице-король, князь Невшательский, все маршалы действовали хорошо. Моя гвардия не участвовала, так что ни пехота, ни кавалерия Старой и Молодой гвардии не потеряли ни одного человека. Мы преследуем врага. Здоровье мое хорошее; однако, у меня сильный насморк, пришлось ночами много раз садиться на лошадь; в палатке по ночам становилось свежо, и я садился на лошадь. Вы получите бюллетень с ближайшим курьером. Нансути ранен, но легко. Рapp получил легкую контузию, среди другого персонала моей Квартиры раненых нет. Прошел слух, что принц Экмюльский убит; но под ним была убита лошадь, а он не пострадал.

Мы не взяли знамен, поскольку русские приняли меры и в ходе сражения отправили их в тыл и более не возвращали. Вы понимаете, что все эти детали предназначены [только] для вас». Письмо помечено по неподписанному отпуску. Имеется пометка, сделанная А. Фэнном: «Sa Majesté, mon-tant à cheval, ordonne que cette lettre parte sans sa signature» («Его величество, сев на лошадь, распорядился, чтобы это письмо осталось без подписи»).

достроенный Никольский собор, был немедленно приспособлен под Главную квартиру. Наскоро устроившись, император возобновил работу кабинета. Совсем потеряв голос из-за ларингита, он прибегнул к перу и, скрипя им, быстро покрывал листы бумаги своими каракулями. Секретари Наполеона К. Ф. Меневаль и А. Ж. Ф. Фэн, начальник топографического кабинета генерал Л. Бакле д'Альб, барон Ш. Менье, полковник Депонтон и даже министр-государственный секретарь П. Дарю и Бертье были задействованы для расшифровки наполеоновских набросков и составления чистовых текстов. К периоду 9–12 сентября, пока Наполеон находился в Можайске, относится немало его приказов. Среди только что опубликованных – 14, отсутствовавших в издании 1868 г. – 18 (4 приказа публиковались после 1868 г. в разных изданиях).

Приказы и письма от 9 сентября посвящены в основном перспективам восполнения потерь, понесенных в сражении, и подготовке к новому бою. От Бертье требуется выяснить, сколько повозок из 408, вышедших из Смоленска, везут заряды для двенадцати-, восьми- и трехфунтовых пушек, для гаубиц, пехоты, и сопоставить количество ожидавшихся зарядов с израсходованными в сражении [Napoléon Bonaparte, p. 1081–1082]. Начальник Главного штаба должен представить сведения, какие маршевые подразделения вышли из Ковно и где они находятся на сегодняшний, 9 сентября, день, а также о состоянии всех гарнизонов и депо в Литве и Смоленской провинции [Ibid., p. 1082]. Гогендорпу надлежит отправлять в Смоленск все войска, маршевые батальоны, пехотинцев и конных кавалеристов из депо, артиллерийские заряды, находящиеся в Ковно, Вильно, да и повсюду в Литве, для восполнения потерь армии, понесенных в сражении¹¹ [Ibid., p. 1083].

Министру иностранных дел Маре Наполеон написал: «Monsieur le duc de Bassano, je suis fort enrhumé. J'espère que cela passera demain. Nous avons ici froid. Le mois d'octobre ne dure que trois jours, nous sommes en novembre. La perte des Russes à la bataille de la Moskova est énorme. C'est le champ de bataille le plus beau que j'aie encore vu, il y a 2 000 Français et 12 000 Russes sans aucune exagération»¹². Наполеон предложил Маре собрать все возможное подкрепление. «Мы расстреляли 60 тыс. орудийных снарядов и нуждаемся в их восполнении; сделайте для этого, что сможете», — отметил он. И далее: «Mon avant-garde est à 15 lieues de Moscou. Notre perte est de 9 000 hommes; celle de l'ennemi est de 30 à 40 000. Il avait depuis Smolensk et Vitebsk recruté tous ses cadres avec

¹¹ Это письмо ранее было опубликовано в: [Brottonne, p. 284].

¹² «Месяц герцог де Бассано, я сильно простужен. Надеюсь, завтра пройдет. Здесь очень холодно. Октябрь длился не более трех дней, мы сейчас в ноябре. Потери русских в сражении при Москве-реке огромны. Это поле битвы — самое прекрасное из тех, которые мне еще доведется увидеть; без преувеличения — 2 тысячи французов на 12 тысяч русских».

la reserve; cette reserve est actuellement finie»¹³ [Ibid., p. 1083]. Заключительная фраза, без сомнения, относилась к русской армии.

Камбасересу Наполеон написал в тот день следующее: «Mon cousin, j'ai reçu votre letter du 24 août. Tout va bien ici. Vous verrez par le bulletin que la perte de Russes est énorme. Je suis fort enrhumé. Le mois d'octobre [sic] n'a duré ici que trios jours; nous sommes en novembre. Quel climat! Il y a huit jours nous avons 27 degrés de chaleur; il gèle aujourd'hui»¹⁴ [Napoléon Bonaparte, p. 1082].

10 сентября Наполеон все еще находился в Можайске. В издании 2012 г. помещены десять писем и записок¹⁵, относящихся к этому дню, которые никогда не публиковались. «Il fait froid ici, — написал Наполеон Камбасересу. — J'ai gardé aujourd'hui la chamber). Ma santé du reste est bonne. Le bulletin vous aura mis au fait de tout»¹⁶ [Ibid., p. 1090].

В письме Кларку император предложил произвести 100 выстрелов из пушки Дома инвалидов, объявив тем самым о победе на Москвевреке (la victoire de la Moskova). То же следовало сделать на побережье (sur la côte) и на Пиренеях (aux Pyrénées) [Ibid.]. Все остальные впервые опубликованные письма адресованы Бертье. Так, начальник Главного штаба должен был отправить приказ Богарнэ, который двигался севернее Большого тракта, оставить гарнизон в Рузе, а также «не утруждать себя» переводом перехваченных русских писем, а пересылать их сразу в Главную квартиру и Главный штаб, где их будет удобнее переводить. В этом же приказе главному интенданту М. Дюма предписывалось отрядить повозки, дабы доставить 500 тыс. рационов водки, муки, сухарей и т. д. [Ibid., p. 1087] (в тексте не сказано, куда именно, но, по мнению А. И. Попова, речь идет о Рузе).

Бертье получил еще один приказ по вопросу обеспечения продовольствием группы войск на полоцком направлении. Ему необходимо было потребовать от Гогендорпа, генерал-губернатора Литвы, от Дюма, а также от ординатера в Вильно обеспечить каждодневное поступление из Ковно в Полоцк 50 квинталов риса и 20 тыс. рационов сухарей; из Вильно в Полоцк 200 квинталов муки; из Глубокого в Полоцк 100 квинталов муки; из Видзы в Полоцк 100 квинталов муки. Это, по мнению Наполеона, позволило бы ежедневно поставлять в корпус Л. Гувьон Сен-Сира 400 квинталов муки (или 36 000 рационов), 20 тыс. рационов сухарей и 50 тыс. рационов риса [Napoléon Bonaparte, p. 1087–1088].

¹³ «Мой авангард в 15 лье от Москвы. Наши потери — 9 тыс. человек; потери неприятеля от 30 до 40 тыс. После Смоленска и Витебска были собраны все кадровые и резервные части; это последние реальные резервы». Это письмо публиковалось в трех малотиражных изданиях в 1925, 1952 и 1970 гг.

¹⁴ «Мой кузен, я получил ваше письмо от 24 августа. Здесь все идет хорошо. Вы узнаете из бюллетеней, что потери русских огромны. Я сильно простужен. Месяц октябрь [sic] продолжался здесь не более трех дней; мы в ноябре. Какой климат! Восемь дней стояла жара в 27 градусов; сегодня холод».

¹⁵ Кроме того, две записки, адресованные Наполеоном Бертье, увидели свет только единожды в издании А. Шюке [Chuquet, 1912b, p. 416–417].

¹⁶ «Здесь холодно. Сегодня сижу в доме. Впрочем, я хорошо себя чувствую. Бюллетень расскажет вам обо всем».

Судя по объему документации, вышедшей в те дни из-под пера Наполеона, его не особенно волновало положение дел на северном и южном флангах театра военных действий. Главная цель его, как и прежде, заключалась в том, чтобы «поразить врага в сердце». А упорный бой французского авангарда у Крымского 10 сентября убеждал императора в реальной возможности предстоящего сражения у ворот Москвы.

Вместе с тем, Наполеона продолжала беспокоить обстановка на коммуникациях и, прежде всего, подход резервов к главной группировке. Бертье было предложено отследить движение двенадцати 12-фунтовых и двух 6-фунтовых орудий, вышедших 5 сентября из Смоленска¹⁷ [Ibid., p. 1088]. Весь запас амуниции, сконцентрированный в Кенигсберге, Вильно, Минске, Смоленске и Колоцком монастыре, следовало использовать для обмундирования выздоравливающих больных, раненых и рекрутов, дабы они могли присоединиться к действующей армии [Ibid., p. 1088–1089].

Далее. Бертье должен отдать приказ о возвращении (*en revienne*) «le général qui est à Gloubokoïe»¹⁸ (дивизионный генерал Фрейр Гомеш де Андраде), и о сворачивании (*soit retirée*) всей линии от Вильно до Каменя. «Donnes ordre, – требовал Наполеон от Бертье, – que tout cela vienne à Smolensk»¹⁹ [Ibid., p. 1088].

Действительно, ситуации вокруг Смоленска император теперь уделял особое внимание. Коменданту Смоленска предписывалось послать в окрестности (*en campagne*) жандармов, дабы те арестовывали мародеров [Ibid., p. 1089]. При этом бригадный генерал Ж. Барбанегр, комендант города со 2 сентября, теперь отправлялся к армии, а его пост занял выздоравливающий дивизионный генерал Л.-Ж. Грандо [Ibid.]. Наконец, губернатор Смоленской провинции Л. Барагэ д'Ильер, имевший, кстати сказать, большой опыт борьбы с партизанами в Германии и Испании, должен был «de donner une bonne leçon aux paysans»²⁰. Для этого ему предлагалось использовать подразделения польских полков [Ibid.].

Все документы «Общей корреспонденции...» за 11 сентября уже публиковались в 1868 г. За 12 сентября теперь впервые увидели свет два приказа императора, которые он продиктовал до полудня, пока не покинул Можайск. Один приказ касался передвижения небольших подразделений в шведской Померании, Варшаве и Данциге [Ibid., p. 1096], другой — организации пехоты Старой гвардии и движения всей гвардии при выходе из Можайска. 1-я бригада под командованием Кюриалья должна была включать 2-й полк егерей, 2-й полк гренадеров, 3-й полк гренадеров и 8 орудий. В состав 2-й бригады предполагалось включить 1-й полк егерей и 1-й полк гренадеров, 8 орудий [своей] артиллерии и гвардейскую резервную артиллерию. Приказ

¹⁷ Впервые опубликовано А. Шюке: [Chuquet, 1912b, p. 418].

¹⁸ «генерала, который находится в Глубоком».

¹⁹ «Прикажите всем двигаться к Смоленску».

²⁰ «преподать хороший урок крестьянам».

завершался словами: «Le duc de Datzig fera partir de suite la 1re brigade. La seconde brigade se mettra en marche, aussitôt que l'Empereur sera parti, pour aller aujourd'hui aussi loin que possible. La cavalerie de la Garde ira aujourd'hui aussi loin que possible. Le general Sorbier ira aujourd'hui aussi loin que possible»²¹ [Napoléon Bonaparte, p. 1096].

В полдень 12 сентября Наполеон сел в коляску и покинул Можайск. Около шести часов вечера, не доезжая с. Таторки, примерно на половине пути из Можайска в Москву, император остановился в помещицьем доме справа от дороги. Во французских материалах наряду с Таторки (Татарки) [Denniée, p. 84], фигурирует еще и Петелина [Fain, p. 49]. Полагаем, что именно здесь, в помещицьем доме, возле селений Таторки и Петелина, Наполеон продиктовал письмо Маре, помеченное «Petelina, 13 сентября». Издатели «Общей корреспонденции...» смогли поместить только выдержку из него по публикациям двух каталогов 1925 и 1952 гг. Приведем ее полностью: «Je suis à 6 lieues de Moscou. On ne sait pas bien ce qui se fait dans cette grande ville. Demain nous le saurons mieux. Je vois avec plaisir que le duc de Bellune approche; il faut qu'il arrive. Mon rhume est sur sa fin; il m'a un peu gene. Donnez de mes nouvelles au prince de Schwartzenberg, au duc de Tarente, au maréchal Saint-Cyr et à Paris ...»²² [Napoléon Bonaparte, p. 1097]

Еще два письма от 13 сентября, помещенные в «Общей корреспонденции...», уже публиковались в 1868 г. и хорошо известны. Они помечены Борисовкой (Borisovka), но их следует отнести к тому времени, когда Наполеон во второй половине дня 13 сентября перебрался в имение князя Б. В. Голицына в с. Вяземы²³. Отсюда на рассвете 14 сентября Наполеон направился к Москве.

Таким образом, опубликованные в 2012 г. письма Наполеона не меняют сформировавшейся в историографии в последнее десятилетие общей картины в отношении подготовки Великой армии к Бородинскому сражению, участия в нем, а также его последствий. Эти документы, скорее, подтверждают и уточняют некоторые общие и частные моменты применительно к действиям французской армии

²¹ Герцог Данцигский [маршал Ф. Ж. Лефевр, командующий Старой гвардией] будет в расположении 1-й бригады. Вторая бригада выйдет на марш, как только отправится император, и продвинется сегодня насколько возможно. Кавалерия гвардии продвинется сегодня насколько возможно. Генерал Сорбье [командующий артиллерией гвардии] продвинется сегодня насколько возможно». Напомним, что, согласно расписанию, 1-я бригада пехоты Старой гвардии состояла из 1-го и 2-го полков пеших егерей, а 2-я бригада — из 1-го, 2-го и 3-го полков пеших гренадеров. Нам осталось непонятным, зачем при выходе из Можайска понадобилось столь радикально переформировывать обе бригады гвардейской пехоты.

²² «Я в б ле от Москвы. Не очень понятно, когда буду в этом огромном городе. Завтра нам будет виднее. Я с удовольствием наблюдаю, как герцог Беллонский [маршал Кюд-Виктор Перрен] приближается; ему следует прибыть. Моя простуда закончилась; [но] мне немного нездоровится. Сообщите о моих новостях князю Шварценбергу, герцогу Таррентскому [маршалу Ж. Макдональду], маршалу Сен-Сиру и в Париж...».

²³ Напомним, что после многолетнего обсуждения вопроса о том, ночевал ли Наполеон в имении князя Б. В. Голицына в с. Вяземы или остановился в д. Борисовке, мы приняли первую версию [Земцов, с. 254, примеч. 870].

и ее главнокомандующего в начале сентября 1812 г. В любом случае, огромная работа, проведенная коллективом французских историков «Фонда Наполеона», внесла существенный вклад в расширение наших представлений о событиях Русской кампании Наполеона.

-
- Земцов В. Н.* Великая армия Наполеона в Бородинском сражении. М., 2004. 260 с. [Zemtsov V. N. Velikaya armiya Napoleona v Borodinskom srazhenii. M., 2004. 260 s.]
- Brotonne L., de.* Dernières lettres inédites de Napoléon Ier. Paris : Champion, 1903. T. 2. 542 p.
- Caulaincourt A. A. L.* Mémoires. Paris, 1933. T. 1. 444 p.
- Chuquet A.* Lettres de 1812. Paris : Libr. anc. H. Champion, 1911. Sér. 1. 342 p.
- Chuquet A.* 1812. La Guerre de Russie: Notes et documents. Paris : Fontemoing, 1912a. Sér. 1. 352 p.; Sér. 2. 380 p. ; Sér. 3. 417 p.
- Chuquet A.* Ordres et apostilles de Napoléon. Paris, 1912b. T. 2. 678 p.
- Denniée P. P.* Itinéraire de l'Empereur Napoléon pendant la campagne de 1812. Paris : Paulin, 1842. 212 p.
- Du Casse A.* Mémoires et correspondance politique et militaire du Prince Eugène. Paris, 1859. T. 7. 470 p.
- Fain A. J. F.* Manuscrit de 1812. Paris, 1827. T. 2. 495 p.
- Larrey D. J.* Mémoires de chirurgie militaire et campagne. Paris, 1817. T. 4. 499 p.
- Lettres inédites de Napoléon Ier à Marie-Louise.* Paris, 1835. 270 p.
- Napoléon Bonaparte.* Correspondance générale. T. 12. La Campagne de Russie 1812. Paris : Fayard, 2012. 1531 p.
- Napoléon I.* Correspondance de Napoléon I-er. Paris, 1868. T. 23. 588 p.; T. 24. 649 p.

The article was submitted on 17.12.2013

Владимир Николаевич Земцов,
проф.
Россия, Екатеринбург
Уральский государственный
педагогический университет
vladimirzemtsov@yandex.ru

Vladimir Zemtsov, prof.
Russia, Yekaterinburg,
Ural State Pedagogical University
vladimirzemtsov@yandex.ru

IMAGE OF THE GERMAN ENEMY AS PERCEIVED BY RUSSIAN ARMY SOLDIERS DURING WORLD WAR I

The article analyses the sociocultural context and factors of the initial shaping and further evolution of the image of a German as perceived by Russian army soldiers during World War I (1914 – February 1917). The article reveals the specific role and characteristics of the official propaganda used to create the image of the German enemy and its reflection within a soldier's perception. The author examines verbal and nonverbal symbolic representations of the image of a German in a soldier's consciousness and the correlation between the image of a German, the enemy from outside and the “inner German”. The author's interpretation of published and unpublished sources both of official and personal nature (materials from the police department, statistics, folklore, memoirs, letters, diaries, periodicals) is underpinned by the conceptual techniques of imagology and sociocultural history. The author reveals the key characteristics and the evolutionary development of the image of the German enemy in popular perceptions of Russian army soldiers between 1914–1917.

Keywords: patriotic propaganda, Russian army, soldiers, Germany, *lubok*¹, German, “inner German”, enemy image, enemy image evolution.

Статья посвящена анализу социокультурного контекста, факторов формирования и эволюции образа немца в сознании солдат русской армии в условиях Первой мировой войны. Показаны специфические черты и роль официальной патриотической пропаганды в формировании образа немца-врага, ее преломление в восприятии солдат. Рассмотрены вербальные и невербальные символические репрезентации образа немца в сознании солдат, корреляция образов немца - внешнего врага и «внутреннего немца». На основе концептуальных подходов имагологии и социокультурной истории интерпретируются опубликованные и

¹ A *lubok* (plural *Lubki*, Cyrillic: Russian: лубок, лубочная картинка) is a Russian popular print, characterized by simple graphics and narratives derived from literature, religious stories and popular tales. *Lubki* prints were used as decoration in houses and inns. Early examples from the late 17th and early 18th centuries were woodcuts, then engravings or etchings were typical, and from the mid-19th century lithography. They sometimes appeared in series, which might be regarded as predecessors of the modern comic strip. Cheap and simple books, similar to chapbooks, which mostly consisted of pictures, are called *lubok literature* or (Cyrillic: Russian: лубочная литература). Both pictures and literature are commonly referred to simply as *lubki*. The Russian word *lubok* derives from *lub* – a special type of board that pictures were printed on. See <http://en.wikipedia.org/wiki/Lubok>

неопубликованные источники официального и личного происхождения (материалы Департамента полиции, статистика, фольклор, воспоминания, письма, дневники, периодическая печать). Выявлены основные черты и направленность эволюции образа немца-врага в массовом сознании солдат русской армии в указанный период.

Ключевые слова: патриотическая пропаганда, русская армия, солдаты, Германия, лубок, немец, «внутренний немец», образ врага, эволюция образа врага.

Studying the sociocultural history of World War I in the West in the last three decades resulted in the publication of a number of papers on its different aspects, including issues of mutual perceptions between adversaries [Hubertus, 1995; Stites; Liulevicius; Lipp; Norris; Ziemann; etc.]. Studies like these in Russia only started in the post-soviet time when emphases have shifted from revealing the preconditions for the revolution to the examination of cultural and social practices of wartime. Papers published by S. V. Tyutyukin, Yu. I. Kiryanov, E. S. Senyavskaya, B. I. Kolonitsky etc., demonstrate a decisive move towards the re-evaluation of cultural and psychological aspects of Russia's part in the First World War. The nature of patriotic attitudes, the psychology of the front line and rear, and the system of beliefs and perceptions conditioned by the involvement in the war have become subjects of specialized studies [Тютюкин; Кирьянов; Сенявская, 1999; Колоницкий, 1999, etc.]. Assiduous attention to the range of problems pertaining to imagology is a manifestation of the "cultural turn" in contemporary Russian historiography of World War I. The first papers on the image of the "alien" and enemy just before and during World War I were published in the 1990s [Сенявская, 1997; Сергеев]. Some monographic studies and articles, which consider the problems of national ideology and identity, public and individual perceptions of war, authority, enemies and allies of one's own state in relation to World War I, were published at the beginning of the 21st century [Поршнева; Сенявская, 2006; Носков, Колоницкий, 2010; Голубев, Поршнева, etc.]. This subject is, however, far from having been exhausted and requires further research not only in previously unexamined sources but also with new interpretations of documentary evidence introduced by scholars.

The image of adversaries and allies took shape in the Russian consciousness just before the war as international relations deteriorated, creating two hostile blocs and establishing the ideological and psychological preconditions for total war. S. Ferster argues convincingly that without the direct support of civil society the transition to this type of war, which left its imprint on an entire era, would have been impossible [Ферстер, с. 25]. The national "I" as well as both the friendly and adversarial "Other" had become more clearly defined at the turn of 19th and 20th centuries, establishing conditions for not only the emergence of coalitions of hostile nation-states but also the consolidation of the nation-state. At the time the mechanism

for shaping foreign political stereotypes was particularly active, not only through mass propaganda but also through the actualisation of perceived ethnic images and prejudices, cultural preferences and values.

The specifics of Russia's historical situation at the beginning of the 20th century determined the ultimate weakness in influencing public perceptions with official "patriotic" propaganda and the ideological and psychological preparations for the war. This was determined by a number of factors: concerns for inadequate perception by the masses of the anti-German propaganda, which should be capable of provoking a sufficiently volatile social response; the country being not quite ready for war due to the incomplete implementation of military technological reforms; the anticipation of possible tragic consequences of an unsuccessful war; Germanophile attitudes of a part of the Russian ruling elite and dynastic connections of the Russian Royal House; apprehension of promoting further the pan-Slavism attitudes; unsuccessful propaganda experiences of "police socialism"; distrust for the "public", the intellectual forces which could have performed this work more efficiently [Stites, p. 9]. The pan-Slavism propaganda that was not encouraged by the government did not match the examples of popular patriotism and was not oriented to the masses at large [Hubertus, 1991, p. 4].

The development of ideological substantiation for Russia's participation in the war against the German bloc had begun after the country entered the conflict on the 19th of July 1914 and was promoted, similar to other countries, by insisting upon the protection of the homeland, its people, its vital interests and values against interference by other states. In his Imperial Manifestos dated 20 and 26 July 1914, declaring the war with Germany and Austria-Hungary, Nicholas II indicated the causes for and the nature of Russia's participation in the European conflict: the protection of the country's territory, its honour, dignity, position amongst other great states, as well as for "Slavic brothers of the same blood and the same faith" ("единокровных и единоверных братьев-славян") [Царские слова к русскому народу, с. 1]².

On the whole the general mobilisation in Russia had been successful; 96 % of those subject to conscription had appeared before mobilisation committees³. Before the general mobilisation, Russian armed forces counted 1,423,000 soldiers; after its completion and additional drafts by the end of 1914, this count increased to six and a half million recruits [Россия в мировой войне, с. 18]. Almost 75 % of all the conscripts at the time of the first week of the mobilisation were peasants [Berkevich, с. 13]. The proportion of peasants increased over time; by 1917, of the 15.5 million conscripts, over 12.8 million had been drafted from the countryside [Россия в мировой войне, с. 4, 49].

² Tsar's words to the Russian people.

³ The mobilisation was accompanied with some disturbances amongst the lower ranks predominantly in the form of trashing state-owned wine shops which was a reaction to the violation of the traditional conscript send-off ritual. See: [Porshneva, с. 91–94, 134–135].

The attitude of Russian soldiers to the war, to enemies, and to allies of their state in many respects was determined by the particular and fundamental beliefs and perceptions of the peasants. Peasants, and a majority of workers, perceived war as fate, a trial sent by God, a natural disaster and impossible to counteract [Поршнева, с. 88–89, 133]. With the country's impending engagement in war, the authoritarian, patriarchal political culture determined that the formula, "For Faith, Tsar and Fatherland", closely connected to the traditional model of behaviour in the new conscripts.

From the moment of Russia's engagement in the war, the official propaganda shaped the external image of the enemy by employing all available means. Attention had been focused on the enemy's culpability at the onset of war, demonstrating its unfair annexationist goals [Альбом героев войны, с. 2–5; Россия борется за правду, с. 6–11]. The provincial press was not far behind the main periodicals in cultivating an anti-German pathos [Пермские ведомости; Оренбургская жизнь; Уральская жизнь]. There was broad propaganda outlining the "sacred struggle" of two opposing principles, slavism and germanism, in which the former represents "culture and the sacred truth" and the latter, brute force of the armoured fist.

Projecting various negative stereotypes on the enemy is a psychological pattern for manufacturing the image of the enemy during wartime. The framework of perception, the psychological foundation for stereotypes, is the readiness to perceive a phenomenon or a subject in a certain way, making it fit a context or prior experience [Гасанов, с. 190]. Perception of Germany in Russia, affected by its growing military and economic power, had changed at the turn of the 19th and 20th centuries; it started to be associated not with philosophy and culture as before, but rather with the negative connotations and traits of Prussian culture [Эрн, с. 373–374; Лакер, с. 60–77]. The attitude toward German people in Russian popular culture, established in 18th–19th centuries, remained unchanged until the beginning of the war. By the end of the 19th century, according to S. V. Obolenskaya, in popular culture the German remained mainly a comical figure, someone who could be easily defeated in combat [Оболенская, с. 178]. This ambivalent image of a German in the everyday perceptions of Russian people is demonstrated in proverbs recorded by V. I. Dal [Пословицы русского народа, с. 304].

There had been a traditional set of anti-German, anti-Austrian, and anti-Turkish ethnic stereotypes in the conventional perceptions of Russian people. These stereotypes were widespread and were adapted to the new conditions. The psychological mobilisation of the population and the army for fighting the external enemy had been occurring in the context of military engagement, in part spontaneously but to a greater extent purposively. This had been achieved through the transferral of various negative stereotypes onto the enemy, ultimately creating an image that dehumanizes. For instance, in the first six months of the war, about 600 various publications,

brimming with chauvinism, were printed in Russia with the total number of copies reaching 11 million [Булдаков, 1998, с. 23].

Official patriotic propaganda created a caricature of the German enemy, as pitiful, comic, too thrifty, too pedantic, etc. [Война и народ, с. 4–6; Смех и сатира, № 34–39]. There were two general and ridiculing depictions of “typical” Germans in various patriotic publications, most importantly in *luboks*: firstly, the Prussians, who were depicted as corseted, with monocles and sharp-top tin hats, and secondly the Bavarians, who were depicted with large pot-bellies (due to their addiction to beer), sausages and clay pipes [Stites, p. 16]. These anti-German attitudes spread quickly and easily through negative images and stereotypes, R. Stites argues convincingly, because they were outlets for a latent anti-West perceptual framework in the Russian consciousness, shared both by common people and the elite [Ibid., p. 16–17]. In fact, for centuries in Russia the word for a German, *nemets*, had meant anybody from Western and Central Europe.

The Russian army’s main enemy had always been the German army. Germans had lived in Russia for hundreds of years and were known to Russians better than other groups of people. Further, there was a tradition of perceiving the German in folk culture, and Germans had used internationally prohibited practices and conventions to wage war against the Russian army. Each of the previous reasons converge to intensify negative stereotypes of the image of the German, which were embodied ultimately by the figure of Wilhelm II. He had been selected as the key target for mockery. Franz Joseph and the Sultan of Turkey took second and third place respectively [Хубертус, с. 383–385]. About 30 % of patriotic postcards exclusively depicted Wilhelm II; he was also the main antihero of comic *luboks*, in which the kaiser was presented as the representative of the entire nation [Там же, с. 384]. Wilhelm II had been depicted as the antichrist not only on *lubok* pictures, postcards, but also in cinematography; in the film, “Disgrace of the 20th Century or the Antichrist”, he was presented as a monster committing unthinkable crimes [Там же, с. 385]. The satirical *kinoluboks*, *Mars’s Stepson*, *Napoleon Inside Out*, *Tale of a Sorry German Soldier* etc., enjoyed broad popularity during the first part of the war [Гинзбург, с. 200]. “*Lubok* pictures and placards, of which millions of copies were distributed in 1914 and early 1915, were drafted in popular language and constructed following the folklore narrative that heroes always win, evil punished, the good triumphs and “the Russian spirit” prevails over dark forces” [Некрылова, с. 116].

Propaganda of this sort, which influenced the creation of the image of the German enemy in soldiers’ minds in the initial period of war, is corroborated by the existence of similar motifs in military folk poetry and World War I military songs [Солдатские песни, с. 7–16; Солдатские военные песни, с. 6–66]. Military soldiers’ songs in folklore depicted in patriotic *lubok* format, related the events of the war and the operations of the forces. The song, “From over the forest...” intoned, “As we reach the Berlin town there will be not even a trace of Germans left. We will come

back to our home forests, leading Wilhelm home by his whiskers!” [Солдатские военные песни, с. 25]. At the same time even in these patriotic songs, some of which were written by soldiers in lower ranks, there can be found direct and indirect acknowledgment of the enemy’s strength: “The enemy is *strong, crafty*, it’s not your Chinese bandit – If you drop a clanger, boy, – You’ll be in trouble” [Там же, с. 41], or “A German is scary to look at, but a Russian’s stronger” [Там же, с. 11].

Soldiers’ poems and songs drew a satirical image of Wilhelm and his soldiers. The latter were depicted as deceitful, greedy, proud, thieving, pillaging, violent against peaceful people, and prone to commit other sins [Там же, с. 32–35]. For instance, in “Wilhelm’s Song”, the kaiser admits, “My soldiers are very good, – there are no better in the world, – It’s just they are thieves and quick to pillage” [Там же, с. 34]. It is interesting that in the “Cossacks’ Song” there are lines confirming the stereotype of the beer-loving German, which was originally spread by official propaganda. The author of the song addresses the German enemy: “Get a move on, red ears! This, brother, isn’t beer!” [Там же, с. 10].

Soldiers and peasants did not have clear ideas of the reality of Russia’s foreign politics at the turn of the 19th–20th centuries and, in many respects, preserved the archaic perception of a foreign aggressor as “un-Christian”⁴. F. Stepun, a philosopher who served as an ensign gunner during the war, stated that often peasant soldiers did not know the religion of the enemy and were frequently bewildered to find they were Christian, as it did not fit their idea of an “un-Christian”, “heathen” enemy [Степун, с. 270].

Aspects of traditional perceptions in the new conscripts made it difficult for them to be swayed effectively, firstly by officially declared objectives of the war and secondly by characteristics of the enemy articulated in the language of educated classes. It is hard to agree with V. P. Buldakov who writes that soldiers received no explanation of Russia’s objectives in the war from either officers or clergy [Булдаков, 1997, с. 29]. When explaining war objectives, issued in orders from military command, the enemy’s traits and characteristics were read out to the soldiers. For instance, Order № 1 from the Commander in Chief of the Northwest Front, General Ya. G. Zhilinsky, dated 20 July (2 August) 1914, stated: “We must defend our motherland and the honour of our arms. It is not the first time our troops are fighting the Germans. They have tested us in combat in 1757 and 1812, and we have always prevailed. I am convinced that the regiments entrusted to me will demonstrate their natural valour in this war and as always will fulfil their duty honestly and selflessly” [Сенявская, 2006, с. 65]. The order for the 2nd Army dated 4 June 1915 states: “In this war against the Germans, the age-old enemy of the Slavs, we are fighting to protect the greatest thing we have ever been entrusted to protect: the honour and integrity of Great Russia” [Там же].

A. I. Denikin stated that officers avoided explaining the war’s causes and objectives to the soldiers, either out of fear of reprisals or in order to follow

⁴ On the Russian archetype of a foreign aggressor see [Чудинов, с. 359–361].

the Imperial Decree issued just before the war, which prohibited military officials from having any conversations on contemporary political subjects, including foreign politics. However, he also admitted to having violated this decree, as did many others [ДЕНИКИН, с. 98]. Primary sources demonstrate how the officers failed to successfully explain objectives, partly due to the lack of conceptual framing for the peasants, keeping them from “capturing” the arguments presented by educated officers [Степун, с. 270–271; Брусилов, с. 71–72; Оськин, с. 73]. Clergy in their explanations of the causes and characteristics of the war were unable to avoid a religious interpretative framework, reiterating appeals to serve God and tsar, “to bravely go to battle for tsar, sacred Russia, and Orthodox Christian faith” [Мезенцев, с. 72]. They emphasized in their explanations how violence against the enemy was permissible, even though such statements contradicted the commandments: “thou shalt not kill” and “love thy enemy”.

Sometimes the officers’ and clergy’s propaganda appealed to popular experience, situations and images familiar to peasants. According to memoirs of the soldier, D. Oskin, Colonel of the 11th Tula Regiment Muzeus, in his address to the soldiers, he says: “German dominance has been so strong until now that we had almost no estate in which the manager was not a German causing serious problems for the people” [Оськин, с. 75]. This kind of propaganda was superimposed upon and processed with the peasant soldiers’ traditional distrust and animosity towards officials and wealthy upper classes, amongst whom were counted many ethnic Germans. A good example of such processing would be a typical explanation of the causes of the war, widespread among the soldiers between 1914–1915, related in the memoirs of the World War I private, A. Pireyko. According to his account, the Germans are the main perpetrators of the war, “having come to Russia taking the best positions at factories, plants, and even in the army because the Tsarina is German. However, this was not enough for the Germans, and they started the war to prevail over Russia and to take total possession over the country” [Пиренко, с. 35].

Dehumanizing trends in the development of technology manifested devastatingly during World War I. Weapons of mass destruction aimed at the total annihilation of the enemy had been used for the first time in human history. For instance, the German army used poisonous gas against the Russians on December 26th 1914 [Документы о немецких зверствах, с. 42]. In doing so, they violated international rules and conventions, since such brutal weapons were banned by international treaties (the Hague Conventions of 1899 and 1907 etc.) from the first days of the war. This resulted in a wave of anti-German attitudes both on the frontlines and the rear. In the “Black Book of German Atrocities”, published in Petrograd in 1914, the following passage appeared: “Bearers of the German spirit... have fallen to the state of robber, savage, and rapist of women, torturer of children and old people. These people have no altar; the spirit has left them, and there are no cannons capable of protecting them from disintegration; they’ll drown in tears and blood of innocents; they declared their own condemnation.

Feelings of vengeance are alien to us, Russians, but it is our duty and our obligation to mete the just punishment for the evil deeds committed by the Germans” [Черная Книга германских зверств, с. 3]. The subject of German atrocities and cruelty appeared frequently in the press. The Moscow Gazette, for instance, in the header, “Topics of the Day”, published numerous witness statements of cruelty demonstrated by the German enemy and drew the following conclusion: “The conduct of these despicable people can be clearly and succinctly defined by two words: beastliness and skuldugery” [Московские ведомости, 1914, № 232].

The majority of soldiers did not read periodicals being content with *lubok* pictures, which not only reaffirmed their first-hand experience of the enemy’s cruelty but also reinforced their general perceptions of the Germans. One such example is described in the campaign diary of Dr. L. Voytolovskiy, an army physician. He witnesses the following episode in August 1915: “The clear sky is swarming with German airplanes. There are lots of them. They are dropping bombs that explode all over the place and fill the air with piercing metallic racket. Next to us there are Cossacks of the Yekaterinburg regiment taking a rest. Lounging on the grass they are looking at the flying machines with scorn and engaged in a calm discourse.

‘For sending these airplanes’, says the massive tanned guy, ‘we should break all the ribs of these Germans, and that’s being too kind..’

‘There are no dirtbags worse than the Germans’, the other responds, ‘they thought of everything for killing. Gas, airplanes, cannons..’

‘The war has taught everybody’, an elderly Cossack joins with a sigh, ‘No shame, no conscience. We mow down people as if they were meadow grass..’

‘That’s what I’m saying’, responds the first Cossack, ‘One climbs up there and ... drops bombs like turds. Another spits at him with shrapnel. What for? Who needs this? Only the devil knows!..’ [Войтоловский, с. 383].

Due to ineffective management, lack of the coordination between different parts of the state, shortages of arms and ammunition and battles lost on the frontlines, as early as the first year of the war, rumours circulated among soldiers of treason in the top echelons of power, of German spies and “German domination”. According to L. Voytolovskiy, in August 1914 soldiers, knowing neither the name of the regiment commander nor the regiment to which they were attached, had been passing around trusted statements in conversations like the following: “You see what cunning thing! The regiment commander is a German, defected to their side. That’s why they march us back and forth until we’re exhausted, torturing us, driving the last bits of strength out...” [Там же, с. 9].

The word *nemets* (a German) was gradually becoming a symbol, a verbal construct, which in 1915–1917 had a meaning in the common soldiers’ perception not only of an external enemy but the enemy’s internal accomplices, who hindered Russia’s effective performance at the front and mobilisation at rear. The nationalist propaganda in literature and periodicals associated German dominance with a soulless bureaucrat, the German

coloniser, a manager of a factory or an estate [Немецкое зло, с. 3–103; Московские ведомости, № 233]. This representation of the enemy started to be associated with the image of the empress, an ethnic German, after the “great retreat” of the Russian army in 1915. In the eyes of some peasants and soldiers, the Empress Alexandra Feodorovna and the Dowager Empress Maria Feodorovna had been “German ladies” allegedly sympathising with Germany, using all possible means to harm Russia. This is corroborated by the criminal files from the 1st Department of the 3rd Criminal Section of the Ministry of Justice on prosecutions for obscenities uttered about the tsar and the members of the royal family. For instance a private of the 345th Pskov Infantry Brigade, a peasant from the Pskov Guberniya, A. S. Zatravkin, a day before being conscripted in December 1914 in the village of B. Zagorye, while in conversation with girls who were knitting for the Russian army, said the following: “Напрасно вы, девушки, работаете для армии, бросьте работу, все равно вещи ваши не дойдут ни до солдата, ни до бедного офицера, и злая Царица мать Государя императора Мария Федоровна все ваши вещи прокутит и прогуляет со своими любовниками и развратниками”⁵ [РГИА, ф. 1405, оп. 521, д. 476, л. 3 об.]. Other sources reinforce such perceptions in the army. F. Stepun wrote that in 1916, “in the trenches soldiers talked openly saying that the war was sent onto Russia by the German advisors of the Sovereign Emperor having great power at the Court being backed by the very Empress who, although married to a Russian man, still toes the German line” [Степун, с. 301]. There were rumours among soldiers about treason committed by brigade, division, and regiment commanders as well as fort commandants, some who had German surnames [РГВИА, ф. 2048, оп. 1, д. 904, л. 9; Бочкарева, с. 152–153]. Poor military management, embezzlement, and the cowardice of certain officers were often attributed to treason too. Sometimes soldiers would blame German dominance for the harsh discipline in the army. One of the soldier’s letters, dated November 1915, states: “У нас в пехоте введена жестокая порка за всякий маловажный проступок солдата... А это есть плод немецких козней и измышления”⁶ [РГВИА].

The perceived stereotype of the German enemy, who had always been beaten by the Russians, was soon dispelled on the battlefield where the Russian army experienced the full weight of the German “armoured fist”. Having personally experienced the deadly force of German military weaponry, especially at the time of shortages of the most basic arms, heavy artillery, munitions, rifles, and cartridges between 1914–1915, Russian soldiers suffered a serious psychological shock. In contrast to the caricatural image represented by propaganda, soldiers came face to face with the German, who in their eyes was a capable adversary, with nearly superhuman attributes,

⁵ “You, girls, are working for the army in vain, give it up, the things you make will never get to soldiers or poor officers and the evil Tsarina, Mother of the Sovereign Emperor Maria Feodorovna will waste all these things binging with her reprobate women-chasing lovers”.

⁶ “In the infantry they introduced barbaric beatings for any minor offence a soldier is found guilty of... And this is the fruit of German machinations and fabrications”.

possessing an impressive mind, will, and even magical abilities, which were unattainable to the Russians. S. Z. Fedorchenko, a nurse who had kept records of soldiers' conversations⁷, witnessed a discourse on this subject, demonstrating the strength and profoundness of this psychological phenomena: "A German's head is like clockwork. Oil it well, and it'll work just lovely, no bother. And us?... First of all we get beatings, lots of 'em. To this day when I sleep all I see is beatings"; "Everyone is giving praise to the Germans now. We reckon now that a German and a wise man are one and the same thing.... It all started with us being stupid.... As the saying goes, he is a brave man amongst sheep, but a sheep when set against a brave man"; "The Germans know this very well. Everything works out with them, not like us. There are no faults in their clothes, drink, food, or arms wherever you look... And what is it that they have? Maybe we could find it, but we were not given an order to do it" [Федорченко, с. 84, 88–90].

These sentiments reflect perceptions of the adversary's superiority, and similar verbal constructs were reported by L. N. Voytolovsky, who recorded the following conversation in October 1914:

"So, do you think we will prevail over the Germans?" the adjutant asks. "Well... we should", says the stubby infantry private without conviction. "It's just, you see, they have so many cannons. When they start blanket bombing with shrapnel, you can't see the sky... "You can't prevail over the Germans with just a straw. See the training they get, and us?... War or no war Germans are taught everything from a young age and know what's what and how. Their clothes, and food, and cannons are all different from ours. Everything works out with them, not like us!... No! The Germans won't lose!" [Войтоловский, с. 74]. "How could we fight the Germans? No way – their soldiers are well fed, shod, clothed, and washed, and soldiers have good thoughts. What do WE have? No order, they are just tiring the people for no good reason" [Арамилев, с. 539].

Data from other sources confirm that these perceptions were not rare. A content analysis of letters intercepted by the Military Censor Committee of the Kazan Military District from 1915 to early 1917⁸ demonstrate that these types of statements took third highest position of the most frequently recited criticism in soldiers' letters from 1915. This category of statements includes firstly, assertions of the superiority of the German military and technology and secondly, assertions of treachery and corruption in the top military command and in governmental officials, either who were bribed allegedly by the Germans (particularly those who sold Russian lands to the Germans) or who were ethnic Germans, which, according to the authors of these letters, caused the Russian army to lose the war (9.8 % each) [Поршнева, с. 195–196]. In 1916 there was a significant increase (from 1.6 % in 1915 to 4 %) of the share of statements that Russia cannot win the war

⁷ We share the opinion of a number of authors on authenticity of these records. See: [Поршнева, с. 308–324].

⁸ Dangerous letters attached to censors' reports are published in the collection [Царская армия в период мировой войны и Февральской революции, с. 24–160].

against Germany. Moreover, 3.6 % of this category of statements insisted that the enemy was not outside, but inside the country [Там же, с. 209].

Belief in German military and technical superiority was typical for the officer ranks in the Russian army. The Head of the British Military Mission, General A. Knox, wrote the following in August 1915: “You cannot but be amazed at how many outstanding commanders are so mortified by the conviction of the technical superiority of the Germans; they believe that Germans ‘can do anything’” [цит. по: Головин, т. 2, с. 142]. Perceptions of German military power conversely reflected back upon a lack of confidence in their own weaponry. This confidence or the lack of it is one of the factors determining the army’s state of morale. P. I. Izmestyev, a military psychologist, admitted: “We had no confidence in ourselves, in our own weaponry, being mesmerized by the power of the Germans” [Измestyев, с. 9].

As the war continued, the tendency of “humanizing” the image of the German became more pronounced in soldiers’ minds, moving away from stereotypes imposed by official propaganda and cultural traditions. This change occurred because of the common situations experienced by privates, who served on both sides, especially as they came into direct contact with each other, in the beginning either in hand-to-hand combat, as POWs, or as wounded enemy soldiers who received care and attention, and later during periods of mutual visits to the trenches on Christian holidays or general fraternization, etc. Particularly influential on attitudes towards the enemy was the effect of fraternization, which occurred for the first time during Christmas 1915–1916, Christmas 1916–1917, and also Easter 1916, when soldiers exchanged food, gifts, and visited each other’s trenches [Солдатские письма в годы мировой войны, с. 148–155]. Russian soldiers were impressed by the tidiness and comfort of German trenches. German provisions and alcoholic beverages appeared to be of better quality, which only served to reinforce their belief in the material and technical superiority of the enemy. The press published first-hand accounts of journalists who visited hospitals: “The Russian wounded speak of German POWs without hatred. You always hear: ‘They are people, the same as us’” [Петроградские ведомости].

The common soldiers’ consciousness underwent the intensive process of focusing perceptions of evil onto the figure of the inner enemy while at the same time “humanizing” the image of the external enemy. The following soldier’s reasoning was typical in letters of criticism intercepted by censors: “Did we come here so that our homes are ravaged? No, nobody ever thought that; We went hoping to protect the fatherland against the external enemy and forgot about the inner enemy, but he is not far removed” [Царская армия в период мировой войны и Февральской революции, с. 119], “There are no German or Turkish *beasts*; they are people, the same as us; their wives, mothers, fathers suffer just as much as you. They were sent to fight by the fat masters and officer bosses. They are the ones who need the war, not us” [Там же, с. 81].

The broadening of soldiers' horizons affected the perception of the external German enemy; some of them, particularly workers, had read socialist literature prior to the war. Legal left-liberal papers published during the war argued that simple German folk were not to blame for the initiation of the military conflict [Зауральский край]. A gradual transformation of the image of the external enemy as "beast" to the image of the enemy as human occurred. This was corroborated indirectly by the decline of the satirical genre of *lubok*, the genre used earlier to dehumanize the enemy, which by 1915 had stopped being published [Hubertus, p. 25]. Many testimonies of such attitudes can be found in memoirs, which recorded typical soldiers' thoughts and reflections. S. Z. Fedorchenko quoted the following monologue: "His bosses sent him here, like us. Tore him away from everything. Where's the wife? Where's the house? Where's his mother? Us and them are both without guilt. It is even harder for him; they say their homes are very nice. Hard to leave" [Федорченко, с. 81]. The campaign diary of L. Voytolovsky records a similar statement: "German did me no harm... and there's no point in fighting" [Войтоловский, с. 74].

The crisis of confidence in the government and the course of the war itself changed the attitude of Russian soldiers towards their allies, driving them to further disappointment. There was a widespread perception of Great Britain as the main culprit in the war and the key enemy of the Russian people, which also had been reinforced by German propaganda as it aimed at the systematic corruption of morale in Russian troops. Regardless of the increase in anti-German attitudes in Russian society from 1916 to 1917, and then a temporary revival of the military enthusiasm during the February Revolution in 1917, this trend of the inversion of the image of the external enemy had manifested with an immense force with the development of the events in spring-autumn of 1917, when it was not Germany / the Germans but England / the English and other allies as well as the *bourgeoisie* which had turned into the enemies of the Russian people in the perception of the Russian soldier.

Альбом героев войны. 1914. № 1. 5 с. [Al'bom geroev voyny, 1914. N 1. 5 s.]

Армилев В. В дыму войны // Первая мировая (История Отечества в романах, повестях, документах. Век XX.). М., 1989. С. 566. [Armilev V. V dymu voyny // Pervaya mirovaya (Istoriya Otechestva v romanakh, povestyakh, dokumentakh. Vek XX.). М., 1989. S. 566.]

Беркевич А. Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г. // Исторические записки. 1947. Т. 23. С. 3–43. [Berkevich A. B. Krest'yanstvo i vseobschaya mobilizatsiya v iyule 1914 g. // Istoricheskie zapiski. 1947. T. 23. S. 3–43.]

Бочкарева М. Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина. М., 2001. 445 с. [Bochkareva M. Yashka: moyazhizn' krest'yanki, ofitsera i izgnannitsy. V zapisi Isaaka Don Levina. М., 2001. 445 s.]

Брусилов А. А. Мои воспоминания. М.; Л., 1929. 250 с. [Brusilov A. A. Moi vospominaniya. М.; Л., 1929. 250 s.]

Булдаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. 376 с. [Buldaikov V. Krasnaya smuta. Priroda i posledstviya revolyutsionnogo nasiliya. М., 1997. 376 s.]

Булдаков В. П. Первая мировая война и имперство // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 21–25. [Buldaikov V. P. Pervaya mirovaya vojna i imperstvo // Pervaya mirovaya vojna. Prolog XX veka. М., 1998. S. 21–25.]

Война и народ. Юмористический и сатирический альманах. М., 1915. 8 с. [Vojna i narod. Yumoristicheskij i satiricheskij al'manakh. M., 1915. 8 s.]

Войтоловский Л. Н. Всподил кровавый Марс: по следам войны. М., 1998. 430 с. [Vojtolovskij L. N. Vskhodil krvavuyj Mars: po sledam vojny. M., 1998. 430 s.]

Гасанов И. Национальные стереотипы и «образ врага» // Психология национальной нетерпимости : хрестоматия / сост. Ю. В. Чернявская. Минск, 1998. С. 187–208. [Gasanov I. Natsional'nye stereotipy i «obraz vraga» // Psikhologiya natsional'noj neterpimosti : khrestomatiya / sost. Yu. V. Chernyavskaya. Minsk, 1998. S. 187–208.]

Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., 1963. 404 с. [Ginzburg S. Kinematografiya dorevoljucionnoj Rossii. M., 1963. 404 s.]

Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне : в 2 т. Париж, 1939. Т. 2. 242 с. [Golovin N. N. Voennye usiliya Rossii v mirovoj vojne : v 2 t. Parizh, 1939. T. 2. 242 s.]

Голубев А. В., Поршнева О. С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М., 2012. 392 с. [Golubev A. V., Porshneva O. S. Obraz soyuznika v soznanii rossijskogo obshchestva v kontekste mirovykh vojn. M., 2012. 392 s.]

Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии, февраль-сентябрь 1917. М., 1991. 520 с. [Denikin A. I. Ocherki Russkoj Smuty. Krushenie vlasti i armii, fevral'-sentyabr' 1917. M., 1991. 520 s.]

Документы о немецких зверствах в 1914–1918 гг. М., 1942. 80 с. [Dokumenty o nemetskich zverstvakh v 1914–1918 gg. M., 1942. 80 s.]

Зауральский край. 1914. 6 декабря. [Zaural'skij kraj. 1914. 6 dekabrya.]

Изместьев П. И. Очерки по военной психологии. (Некоторые основы тактики и военного воспитания.) Петроград, 1923. 102 с. [Izmešt'ev P. I. Ocherki po voennoj psikhologii. (Nekotorye osnovy taktiki i voennogo vospitaniya.) Petrograd, 1923. 102 s.]

Кирьянов Ю. И. Рабочие России и война: новые подходы к анализу проблемы // Первая мировая война: Пролог XX века. М., 1998. С. 432–445. [Kir'yanov Yu. I. Rabochie Rossii i vojna: novye podkhody k analizu problemy // Pervaya mirovaya vojna: Prolog XX veka. M., 1998. S. 432–445.]

Колоницкий Б. И. Политические функции англофобии в годы Первой мировой войны // Россия и Первая мировая война (Материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 271–287. [Kolonitskij B. I. Politicheskie funktsii anglofobii v godu Pervoj mirovoj vojny // Rossiya i Pervaya mirovaya vojna (Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo kollokviuma). SPb., 1999. S. 271–287.]

Колоницкий Б. И. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. 664 с. [Kolonitskij B. I. «Tragicheskaya erotika»: Obrazy imperatorskoj sem'i v godu Pervoj mirovoj vojny. M., 2010. 664 s.]

Лакер У. Россия и Германия наставники Гитлера. Вашингтон, 1991. 485 с. [Laker U. Rossiya i Germaniya nastavniki Gitlera. Vashington, 1991. 485 s.]

Мезенцев Е. В. Вера и мужество. Из истории российского военного духовенства // Отечество : краеведческий альманах. Вып. 12. (2-е полугодие 1997 г.) М., 1997. С. 53–84. [Mezentsev E. V. Vera i muzhestvo. Iz istorii rossijskogo voennogo dukhovenstva // Otechestvo : kraevedcheskij al'manakh. Vyp. 12. (2-e polugodie 1997 g.) M., 1997. S. 53–84.]

Московские ведомости. 1914. 7 октября, № 232. [Moskovskie vedomosti. 1914. 7 oktyabrya, N 232.]

Московские ведомости. 1914. 8 октября, № 233. [Moskovskie vedomosti. 1914. 8 oktyabrya, N 233.]

Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII – нач. XX в. Л., 1988. 215 с. [Nekrylova A. F. Russkie narodnye gorodskie prazdniki, uveseneniya i zrelischa: Konets XVIII – nach. XX v. L., 1988. 215 s.]

Немецкое зло : сб. ст., посвящ. вопросу о борьбе с нашей «внутренней Германией». Вып. 1. М., 1915. 117 с. [Nemetskoe zlo : sb. st., posvyash. voprosu o bor'be s nashej «vnutrennej Germaniej». Vyp. 1. M., 1915. 117 s.]

Носков В. В. Первая мировая война и русская идея // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 25/2. М., 2008. С. 50–87. [Noskov V. V. Pervaya mirovaya vojna i russkaya ideya // Dialog so vremenem. Al'manakh intellektual'noj istorii. 25/2. M., 2008. S. 50–87.]

Оболенская С. В. Образ немца в русской народной культуре XVIII–XIX вв. // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. М., 1991. С. 160–185. [Obolenskaya S. V. Obraz nemtsa v russkoj narodnoj kul'ture XVIII–XIX vv. // Odissey. Chelovek v istorii. Kul'turno-antropologicheskaya istoriya segodnya. M., 1991. S. 160–185.]

Оренбургская жизнь. 1914. 26 августа, 24 сентября. [Orenburgskaya zhizn'. 1914. 26 avgusta, 24 sentyabrya.]

Оськин Д. Записки солдата. М., 1929. 333 с. [Os'kin D. Zapiski soldata. M., 1929. 333 s.]

Пермские ведомости. 1914 г. 1, 8 августа. [Permskie vedomosti. 1914 g. 1, 8 avgusta.]

Петроградские ведомости. 1914. 25 августа (5 сентября). № 190. [Petrogradskie vedomosti. 1914. 25 avgusta (5 sentyabrya). N 190.]

Пирейко А. На фронте империалистической войны. Воспоминания большевика. М., 1935. 101 с. [Pirejko A. Na fronte imperialisticheskoy vojny. Vospominaniya bol'shevika. M., 1935. 101 s.]

Поршнева О. С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004. 368 с. [Porshneva O. S. Krest'yane, rabochie i soldaty Rossii nakanune i v gody Pervoy mirovoj vojny. M., 2004. 368 s.]

Пословицы русского народа : сб. В. И. Даля : в 2 т. М., 1989. Т. 1. [Poslovitsy russkogo naroda : sb. V. I. Dalja : v 2 t. M., 1989. T. 1.]

РГВИА. Ф. 2048. [RGVIA. F. 2048.]

РГИА Ф. 1405. [RGIA F. 1405.]

Россия борется за правду. М., 1914. 32 с. [Rossiya boretsya za pravdu. M., 1914. 32 s.]

Россия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). М., 1925. 103 с. [Rossiya v mirovoj vojne 1914–1918 gg. (v tsifrakh). M., 1925. 103 s.]

Сенявская Е. С. Образ врага в сознании участников Первой мировой войны // *Вопр. истории.* 1997. № 3. С. 140–145. Senyavskaya E. S. Obraz vraga v soznanii uchastnikov Pervoy mirovoj vojny // *Vopr. istorii.* 1997. N 3. S. 140–145.

Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006. 288 с. [Senyavskaya E. S. Protivniki Rossii v voynakh XX veka: Evolyutsiya «obrazu vraga» v soznanii armii i obschestva. M., 2006. 288 s.]

Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 1999. 383 с. [Senyavskaya E. S. Psikhologiya vojny v XX veke: istoricheskij opyt Rossii. M., 1999. 383 s.]

Сергеев Е. Ю. Образ Великобритании в представлении российских дипломатов и военных в конце XIX – начале XX века // *Россия и Европа в XIX–XX вв. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур.* М., 1996. С. 166–174. [Sergeev E. Yu. Obraz Velikobritanii v predstavlenii rossijskikh diplomatov i voennykh v kontse XIX nachale XX veka // *Rossiya i Evropa v XIX–XX vv. Problemy vzaimovospriyatiya narodov, sotsiumov, kul'tur.* M., 1996. S. 166–174.]

Смех и сатира. 1914. № 34–39. [Smekh i satira. 1914. N 3439.]

Солдатские военные песни Великой Отечественной войны 1914–1915 гг. Харбин, 1915. 70 с. [Soldatskie voennye pesni Velikoj Otechestvennoj vojny 1914–1915 gg. Kharbin, 1915. 70 s.]

Солдатские песни : сб. военных песен. Ярославль, 1915. 16 с. [Soldatskie pesni : sb. voennykh pesen. Yaroslavl', 1915. 16 s.]

Солдатские письма в годы мировой войны (1915–1917 гг.) // *Красный архив.* М., 1934. Т. 4–5. [Soldatskie pis'ma v gody mirovoj vojny (1915–1917 gg.) // *Krasnyj arkhiv.* M., 1934. T. 4–5.]

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1994. 651 с. [Stepun F. Byvshee i nesbvsheesya. SPb., 1994. 651 s.]

Тютюкин С. В. Первая мировая война и революционный процесс в России (Роль национально-патриотического фактора) // *Первая мировая война: Пролог XX века.* М., 1998. С. 236–249. [Tyutyukin S. V. Pervaya mirovaya vojna i revolyutsionnyj protsess v Rossii (Rol' natsional'no-patrioticheskogo faktora) // *Pervaya mirovaya vojna: Prolog XX veka.* M., 1998. S. 236–249.]

Уральская жизнь. 1914. 22 июля. [Ural'skaya zhizn'. 1914. 22 iyulya.]

Федорченко С. З. Народ на войне. М. ; Л., 1925. 127 с. [Fedorchenko S. Z. Narod na vojne. M. ; L., 1925. 127 s.]

Ферстер С. Тотальная война. Концептуальные размышления к историческому анализу структур эпохи 1861–1945 гг. // *Опыт мировых войн в истории России.* Челябинск, 2007. С. 12–27. [Ferster S. Total'naya vojna. Kontseptual'nye razmyshleniya k istoricheskomu analizu struktur epokhi 1861–1945 gg. // *Opyt mirovykh vojn v istorii Rossii.* Chelyabinsk, 2007. S. 12–27.]

Хубертус Ян. Ф. Русские рабочие, патриотизм и Первая мировая война // *Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций. 1861 – февраль 1917 г.* М., 1997. С. 379–396. [Khubertus Yan. F. Russkie rabochie, patriotizm i Pervaya mirovaya vojna

// Rabochie i intelligentsiya Rossii v epokhu reform i revolyutsij. 1861 – fevral' 1917 g. M., 1997. S. 379–396.]

Царская армия в период мировой войны и Февральской революции. Материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны. Казань, 1932. 239 с. [Tsarskaya armiya v period mirovoj vojny i Fevral'skoj revolyutsii. Materialy k izucheniyu istorii imperialisticheskoy i grazhdanskoj vojny. Kazan', 1932. 239 s.]

Царские слова к русскому народу. Высочайшие манифесты об объявлении войны с Германией и Австро-Венгрией. Петроград, 1914. 1 с. [Tsarskie slova k russkomu narodu. Vysochajshie manifesty ob obyavlenii vojny s Germaniej i Avstro-Vengrijej. Petrograd, 1914. 1 s.]

Черная Книга германских зверств / под ред. и со вступ. ст. д-ра М. В. Головинского. Петербург, 1914. 55 с. [Chernaya Kniga germanskikh zverstv / pod red. i so vstup. st. d-ra M. V. Golovinskogo. Peterburg, 1914. 55 s.]

Эрн В. Ф. Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия // Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 369–398. [Ern V. F. Vremya slavyanofil'stvuet. Vojna, Germaniya, Evropa i Rossiya // Ern V. F. Sochineniya. M., 1991. S. 369–398.]

Hubertus J. F. Patriotic Culture in Russia during World War I. Washington, D.C., 1991. 330 p.

Hubertus F. J. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca ; London, 1995. 229 p.

Lipp A. Meinunglenkung im Krieg: Kriegserfahrungen deutscher Soldaten und ihre Deutung 1914–1918. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. 354 S.

Liulevicius V. G. War Land on the Eastern Front. Culture, National Identity, and German Occupation in World War I. Cambridge : Univ. Press, 2000. 309 p.

Norris S. M. A War of Images. Russian Popular Prints, Wartime Culture, and National Identity, 1812–1945. Illinois, 2006. P. 135–163.

Stites R. Days and Nights in Wartime Russia: Cultural Life, 1914–1917 // European Culture in the Great War. Cambridge, 1999. P. 8–31.

Ziemann B. War Experiences in Rural Germany. 1914–1923. Oxford ; New York, 2007. 316 p.

Translated by Mikhail Kriviniouk

The article was submitted on 27.12.2013

Ольга Сергеевна Поршнева, проф.
Россия, Екатеринбург
Уральский федеральный
университет
porshneva@yandex.ru

Olga Porshneva, prof.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
porshneva@yandex.ru

**DIE LITERARISCHE VERARBEITUNG
DES KRIEGSERLEBNISSES EDWIN ERICH DWINGERS**

**THE LITERARY INTERPRETATION OF EDWIN ERICH
DWINGER'S WAR EXPERIENCE**

The present article analyzes how the writer, Edwin Erich Dwinger (1898–1982), the bestselling German author in the Third Reich, collected into his novels experiences of being a prisoner of war in Russia during the First World War. After an overview of current theories of war literature, the author focuses on Dwinger's principal work, *Army behind barbed wire*. In this novel, Dwinger's description of Russia is analyzed by distinguishing fact and fiction and by outlining the perception of the book by contemporary literary critics. The main thesis of the article is that Dwinger's novel reflected the spirit of the times, especially in his description of Russia, which allowed the book to become a best-seller, in spite of clear inconsistencies and its questionable literary quality.

Keywords: Edwin Erich Dwinger; World War I; Prisoners of War in Russia; German novel.

Как писатель, Эрих Эдвин Двингер (1898–1982) по количеству проданных книг является самым популярным немецким автором времен Третьего рейха, отразившим в литературной форме свой опыт плена во время Первой мировой войны в России. В данной статье предпринята попытка проанализировать его роман «Die Armee hinter Stacheldraht» («Армия за колючей проволокой»). Особое внимание при этом уделяется его образу России: где правда и где вымысел, – а также критике современников. Кроме того, делается обзор его произведений.

Ключевые слова: Эрих Эдвин Двингер; Первая мировая война; плен в России; немецкий роман.

Viele Teilnehmer des Ersten Weltkriegs versuchten, ihre Erfahrungen literarisch zu verarbeiten. Dies begann noch während des Krieges; unmittelbar nach der Niederlage dominierte die Rechtfertigungsliteratur hochgestellter Verantwortlicher [Müller, 1986, S. 11–22]. Eine neue Qualität der Erlebnisberichte stellte das Buch *In Stahlgewittern* von Ernst Jünger (1920) dar, in dem der Autor versuchte, auf der Grundlage der Zivilisationskritik der Vorkriegsjahre und der Gedankenwelt Nietzsches, dem bislang unvor-

stellbaren Schrecken und Sterben einen höheren Sinn zu geben [Rauchfleisch]. Der eiskalte Kämpfer, ein Übermensch im Sinne Nietzsches, der Stoßtruppführer, den Jünger selbst vorgelebt hatte, wird als ein Produkt der Materialschlachten vorgestellt.

Auch andere Frontoffiziere veröffentlichten ihre Erinnerungen. Allerdings ging um diese Zeit das Interesse an Weltkriegsliteratur bereits spürbar zurück. Die Literaturwissenschaftler Ulrich Baron und Hans Harald Müller führen aus, dass sich Mitte der zwanziger Jahre die erste Welle der Kriegsliteratur tot gelaufen habe. Für diese war „der Anspruch auf die Authentizität des Kriegserlebnisses das Entscheidende“ [Baron, Müller, S. 348; siehe auch Müller, 1986, S. 35].

Einen erneuten Anstoß erfuhr die Kriegsliteratur durch den Sensationserfolg des Werkes *Im Westen nichts Neues* von Erich Maria Remarque im Jahr 1929 [Remarque]. Auch wenn das Buch von Remarque unterschiedlich interpretiert werden kann, und der Autor explizit pazifistische Absichten leugnete [Müller, 1986, S. 39–40, 42; Müller, 1995, S. 13–17], so hinterließ es beim bürgerlichen Leser doch eine tiefe Verunsicherung. Eine gewaltige Kampagne der Rechten gegen das Buch und den darauf folgenden Film setzte ein. Eine Reihe von konservativen Schriftstellern schrieben in direkter Reaktion auf Remarque ihrerseits Weltkriegsbücher. Nach Baron und Müller folgte eine „Reinterpretation des Kriegserlebnisses im Lichte der seither gesammelten Erfahrungen“ [Baron, Müller, S. 348]. Müller nennt *Im Westen nichts Neues* die ‚revolutionäre‘ Matrix, die von den Zeitgenossen als bewundertes oder bekämpftes Vorbild anerkannt wurde [Müller, 1986, S. 36]. Zwischen 1928 und 1933 seien mehr als 200 Romane in Deutschland über den Ersten Weltkrieg erschienen, in den ersten 10 Jahren der deutschen Republik waren es nicht einmal 100 gewesen. „Der Kriegsroman wird in der Endphase der Weimarer Republik zeitweilig ein vorrangiges gesellschaftliches Medium allgemein-weltanschaulicher Fragen und Orientierungen“ [Ibid., S. 2]. Die militaristischen Autoren, unter denen H.-H. Müller Franz Schauwecker, Werner Beumelburg, Josef Magnus Wehner und Hans Zöberlein nennt, stellten einen expliziten Zusammenhang zwischen dem Kriegserlebnis und der Gegenwart am Ende der Weimarer Republik her [Ibid., S. 296–297]. „In all diesen Romanen wird als Vermächtnis und unmittelbare Verpflichtung des Kriegserlebnisses das politische Eintreten für einen nationalistischen Militarismus dargestellt“ [Ibid., S. 197].

In der rechten Literaturszene dieser Zeit stach der ‚Soldatische Nationalismus‘ hervor. Die Autoren verstanden sich als ‚Frontgeneration‘ oder ‚Frontgeschlecht‘, das den Krieg zu seinem zentralen Bildungserlebnis erklärte [Prümm, S. 9]. Der Krieg wurde als Intensivierung des subjektiven Lebensgefühls, als Möglichkeit zu einem gesteigerten, sinnerfüllten Dasein jenseits des ökonomischen Zweck- und Erfolgsdenkens des Bürgertums der Vorkriegszeit erlebt. Die Vertreter des Soldatischen Nationalismus waren zudem Offiziere, die schnell in verantwortungsvolle

Positionen emporstiegen, was ihre soziale Ausnahmestellung begründete [Ibid., S. 16]. Zum Publikum des Soldatischen Nationalismus nach 1929 schreibt Prümm: „Nun wurden auch die Mittelschichten zum Leser der Kriegsliteratur der Frontliteraten, deren elitären Aristokratismus und Massenverachtung sie ignorierten oder zur Hebung ihres eigenen sozialen Prestiges gegenüber dem Proletariat benutzten“ [Prümm, S. 64]. Die Weltwirtschaftskrise legte verdeckte gesellschaftliche Gegensätze bloß und die Anhänger der konservativen Revolution konzentrierten ihre Angriffe auf das liberale Parteiensystem [Ibid., S. 65]. Die durch die Krisensituation ausgelöste Emotionalisierung erhöhte die Bereitschaft breiter Massen für irrationalistische und nationalistische Ideologien [Ibid., S. 66].

Der Massenerfolg pazifistischer Kriegsbücher wie von Remarque, Zweig und Renn wurde von der Rechten als Verzerrung des echten Kriegserlebnisses empfunden, das nun durch die eigene Produktion in seinen wahren Dimensionen aufgezeigt werden sollte [Ibid., S. 74–75]. Bei den breiten Leserschichten dominierten die nationalistische und antidemokratische Kriegsliteratur eindeutig [Ibid., S. 75]. Eine Etikettierung der politischen Strömung, die dem „Soldatischen Nationalismus“ seine Richtung gab, ist die der „Konservativen Revolution“.

Arthur Mohler reiht in seinem Standardwerk zur Konservativen Revolution Dwinger unter die Nationalrevolutionäre ein [Mohler, Weimann, S. 292, 301]. Peter Fritzsche konkretisiert dies, indem er Dwinger der nationalbolschewistischen Strömung unter den Nationalrevolutionären zuordnet. Diese neokonservativen Intellektuellen seien weit mehr als die Nazis geneigt gewesen, die Russische Revolution als Teil einer breiteren Revolte gegen den kapitalistischen Westen zu sehen [Fritzsche, p. 114].

Die konservative Revolution verband somit einen Elitismus, der sich aus der Bewährung als Frontoffizier im Weltkrieg nährte, mit einem revolutionären Habitus. Es wurde nicht die Restauration des Wilhelminismus angestrebt, sondern die Errichtung einer, die Frontkameradschaft wiederholende, egalitäre Volksgemeinschaft.

Zur offiziellen Biographie Edwin Erich Dwingers

Dwinger wurde am 23. April 1898 in Kiel als Sohn eines deutschen Marineingenieurs (und späteren Seeoffiziers) und, wie er schreibt, einer Russin geboren [Dwinger, 1929, S. 7].

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldete er sich als Sechzehnjähriger freiwillig zum 1. Hannoverschen Dragonerregiment Nummer 9. Als Fähnrich geriet er im Juni 1915 in der Nähe des Flusses Windau (lettisch: Ventspils) schwer verwundet in russische Kriegsgefangenschaft und verbrachte die folgenden Jahre in verschiedenen Lazaretten und Lagern. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch nahm er nach – wie noch nachzuweisen sein wird – falschen Angaben unfreiwillig von 1918 bis 1920 an den Feldzügen der Armee Kolchaks im russischen Bürgerkrieg

zuerst an dem Vormarsch dieser Truppen bis westlich des Urals, später an deren Flucht entlang der Transsibirischen Eisenbahn teil. Am östlichen Ufer des zugefrorenen Baikalsees wurde seine Einheit von Sowjettruppen eingeholt. Ihm selbst gelang es, als Kriegsgefangener getarnt im Lager Irkutsk unterzukommen. Von hier entfloh er erneut und gelangte angeblich 1920 wieder nach Deutschland. Wegen eines schweren Magenleidens und einer Lungenkrankheit zog er in die Nähe eines Lungenheilsanatoriums im Allgäu, erwarb einen kleinen Bauernhof und betrieb Landwirtschaft.

Seine frühen Romane blieben ohne große Resonanz bei Publikum und Kritik. Den Erfolg Dwingers, auch in finanzieller Hinsicht, begründete seine Trilogie „Die deutsche Passion“ mit den Bänden *Die Armee hinter Stacheldraht* (Jena 1929), *Zwischen Weiß und Rot* (Jena 1930) und *Wir rufen Deutschlands* (Jena 1932). In der Zeit des Nationalsozialismus erhielt er viele Ehrungen, so war er seit 1933 Mitglied der preußischen Akademie der Künste, Sektion Dichtung. 1935 wurde ihm der Dietrich Eckart-Preis verliehen, den die Machthaber nur wenigen regimetreuen Schriftstellern zuerkannten. Er wurde Reichskultursenator und erstrahlte „auf jeder Schriftstellertagung des ‚Tausendjährigen‘ in festlicher Eitelkeit“ [Hartkopf, S. 807]. In dieser Zeit schrieb er eine größere Zahl von neuen Romanen. Erst jetzt erreichten auch viele seiner älteren Bücher Höchstaufgaben und er gelangte an die Einkommensspitze der deutschen Schriftsteller.

Im Zweiten Weltkrieg war er als SS Obersturmführer (Sonderführer) an der Ostfront eingesetzt. Über seine weitere Tätigkeit heißt es in einer unkritischen Biografie, dass er im Osten „bald zu einem Gegner der NS-Russlandpolitik wurde. Er versuchte, seine besseren Ansichten in Denkschriften zur Geltung zu bringen, indessen nur mit dem Erfolg, dass er nach Hause abgeschoben wurde“ [Edwin].¹

Von der Entnazifizierungskommission Füßen als „Mitläufer“ des Nationalsozialismus eingestuft, veröffentlichte er nach 1945 eine große Zahl weiterer Romane, darunter auch *Die 12 Gespräche* [Dwinger, 1966], in denen er „erfolglos“ versuchte, sich „als Widerstandskämpfer darzustellen“ [Sarkowicz, S. 135f.]. In der Bundesrepublik blieb Dwinger jedoch der Erfolg der Vorkriegszeit versagt. Die Gesamtauflage seiner beinahe 30 Titel liegt bei über 2 Millionen, seine Bücher wurden zudem in 14 Sprachen übersetzt. Am 12. Dezember 1981 verstarb Dwinger verarmt und unbekannt im Gmund am Tegernsee (Bayern)².

Zu „Die Armee hinter Stacheldraht“

Den Erlebnisbericht seiner Gefangenschaft in Russland im Ersten Weltkrieg beginnt Dwinger mit seiner Verwundung. Die verwundeten Gefangenen kamen nach Moskau in das Lazarett in der Grudecki-Kaserne,

¹ Seinen angeblichen unerschrockenen Kampf gegen das „primitive Herausstellen eines Herrenstandpunkts“ [Dwinger, 1951, S. 26] schildert Dwinger in dem Roman *General Wlassow*, in dem er sich selbst unter dem Pseudonym des Schriftstellers Herbert Hollstein auftreten lässt.

² Zur Biografie Dwingers siehe außer den genannten Werken [Fechter, 1952, S. 595/6; Kosch, 1949, S. 391; Kosch, 1971, S. 704; Lennartz, S. 171/2].

seine Ankunft dort war alles andere als erfreulich: „Wieder ist mein Bett lauwarm, von stinkenden Eiter beschmiert“ [Dwinger, 1929, S. 21].

Schließlich wurde Dwinger für tauglich erklärt, nach Sibirien zu fahren und gelangte in das Lager Totskoe im Gouvernement Samara. Dwinger meldete sich als Dolmetscher beim Kommandanten, bei der ‚Spitzmaus‘, wie er ihn nennt. Bald nach der Ankunft traten erste Typhusfälle auf, im Lager gab es keine Abortgrube, keine Lazarettabteilung und keine Verbandsstoffe. Der Kommandant weigerte sich Abhilfe zu schaffen. Nach Dwingers Bericht breitete sich die Epidemie rasch aus. Vor Weihnachten gab es täglich 60 Tote, Ende Januar 100; als die Epidemie schließlich täglich 350 Opfer forderte, erkrankte er selbst. Bis dahin verschloss sich der Kommandant strikt allen Versuchen, die Ausbreitung der Seuche einzudämmen. Als täglich 150 starben, lautete sein Kommentar: „An der Front sterben noch mehr“ [Dwinger, 1929, S. 109].³ Dwinger überstand den Flecktyphus; als er sich auf dem Wege der Besserung befand, klang die Epidemie bereits ab [Ibid., S. 135]. Der Grund für diese Wende lag darin, dass der alte Kommandant, die ‚Spitzmaus‘, selbst an Fleckfieber erkrankt war und an seine Stelle ein verständnisvoller Kosakenkapitän trat, der die notwendigen Schritte einleitete.

Die Gruppe um Dwinger meldete sich nach einem kurzen Zwischenaufenthalt im Lager Irkutsk zur Landarbeit und arbeitete im Dorf Golustnoe unter guten Bedingungen bis zum Herbst [Dwinger, 1929, S. 163]. Von der Arbeit wurden sie nach Dauriya an der russisch-mongolischen Grenze transportiert: „Auch hier ist es wie überall. Zwei Pritschenreihen übereinander, riesige ungeheizte Öfen, elende Lampen ohne Öl“ [Ibid., S. 170]. Außerdem wurden die Gefangenen immer gereizter, die Kameradschaft bröckelte [Ibid., S. 176].

Dwinger entschloss sich nach einigem Überlegen, ins Offizierslager überzusiedeln, wozu er als Fähnrich das Recht hatte. Die Offiziere lebten unter ungleich günstigeren Bedingungen als die Mannschaften, dennoch herrschte auch unter ihnen eine große Nervosität. Angesichts der besseren materiellen Situation hob sich seine Stimmung [Dwinger, 1929, S. 198].

Nach der Oktoberrevolution war der Optimismus unter vielen Gefangenen fast grenzenlos [Dwinger, 1929, S. 233]. Unter der Herrschaft der Bolschewiki erhielten die Gefangenen mehr Freiheiten: „Bis jetzt spüren wir vom neuen Regiment nur Angenehmes. Alle Posten sind verschwunden, alle Trennungen zwischen Offizieren und Mannschaften abgeschafft... Wir dürfen gehen, wohin wir wollen, nur den Bahnhof dürfen wir nicht betreten. Und das genügt. Damit sind wir gefangen wie vorher“ [Ibid., S. 238]. In einer Chinesenhütte besuchten Offiziere eine Opiumhöhle und im nahen Dorf fanden sie gegen Rubel bei den Mädchen sexuelle Befriedigung [Ibid., S. 239–240].

Das Lager wurde nach kurzer Zeit von Konterrevolutionären zurückerobert und die Kriegsgefangenen gerieten wieder unter das alte Regime. Die Weißen erkannten die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk nicht an, darum war der Abschluss des Friedens dort – der

³ Bei Elsa Brändström ist diese Bemerkung eines inspizierenden Generals in Krasnojarsk [Brändström, S. 43].

ihnen konkret nichts nützte – ein weiterer Schlag: „Unsere Depression ist furchtbar“ [Dwinger, 1929, S. 250–255, hier S. 255].

Eine neuerliche schwere Erschütterung war die Nachricht von dem Zusammenbruch Deutschlands: „Wir schleichen wie Sklaven umher, deren befristete Zuchthausstrafe man in eine lebenslängliche umwandelte. Wann kommen wir jetzt heim? Als Söhne eines machtlosen, besiegten Landes? Nie mehr. Wir glaubten das Schlimmste hinter uns zu haben? Erst jetzt wird es fürchterlich werden.“ [Dwinger, 1929, S. 280]. Auch unter den Mannschaften herrschte Niedergeschlagenheit, ein strammer aktiver Wachtmeister erhängte sich. Dazu kam noch die materielle Not. Die Mannschaften fingen Hunde, um sie zu essen. Am Ende des Buches steht der Entschluss des Autors zu fliehen [Ibid., S. 281–283, 291, 306].

Zur Botschaft und den literarischen Mitteln von „Die Armee hinter Stacheldraht“

Dwingers Erlebnisbericht geht in einigen Punkten über eine rein berichtende Wiedergabe der Ereignisse hinaus. Sein Werk lässt sich in die Kategorie „literarische Verarbeitung eigener Erlebnisse“ einordnen, deren Authentizität allerdings zweifelhaft ist. Eine Analyse von *Die Armee hinter Stacheldraht* zeigt, dass Dwinger seine Protagonisten bewusst ausgewählt und charakterisiert hat. Bereits bei seiner Gefangennahme ist er mit einer Gruppe zusammen, die ihn längere Zeit begleiten wird: Schnarrenberg, der militaristische Wachtmeister, Podbielski, der gutmütige, bärenhafte Bauer, der das auch von Dwinger selbst gelebte Ideal der Erdverbundenheit verkörpert, Brüninghaus, leichtlebig und pazifistische, politisch links gerichtete Ansichten äußernd, der feinnervige Handelsangestellte Blank. Die Angehörigen der Gruppe vertreten die weltanschaulichen Positionen, die Dwinger für repräsentativ für das Meinungsbild in der deutschen Bevölkerung der Weimarer Republik hält [s. auch: Stiasny, S. 41]. Diese Gruppe bildet zu Beginn der Gefangenschaft eine verschworene Gemeinschaft, die ihren Mitgliedern Rückhalt bietet [z. B.: Dwinger, 1929, S. 36, 62]. Auch wenn sich – wie zitiert – unter dem Druck des Elends der Zusammenhalt allmählich lockerte, nach außen hin hätte er weiterbestanden [z. B.: Ibid., S. 175–176, 191, 261].

In „Pod“, der Abkürzung für den polnischen Namen (Podbielski) des väterlichen Freundes des Protagonisten, ist überdeutlich „Kat“ (Kaczinski), der Kamerad Paul Bäumers aus *Im Westen nichts Neues* zu erkennen, auch was das Verhältnis des Älteren zum jungen Helden des Werkes betrifft. In den Diskussionen der Gruppe vermittelt Dwinger dem Leser politische Botschaften. Der Aussage von Peter Fritzsche, *Die Armee* verfolge kein „...overt political aim“ [Fritzsche, p. 111] ist daher nicht zuzustimmen. Tatsächlich war der Autor von dem Verleger Eugen Diederichs ausdrücklich beauftragt worden, ein Gegenstück zu Erich Maria Remarques Bestseller für

die Ostfront zu verfassen [Claesges, S. 154]. Die Parallelen zwischen den beiden Werken sind frappant, sowohl, was die Konzeption allgemein betrifft als auch einzelne Episoden. Im Gegensatz zu Remarques Werk kann *Die Armee hinter Stacheldraht* jedoch keineswegs als Antikriegsroman bezeichnet werden.

Die Aufgabe seines Buches, nämlich die Schrecken der Gefangenschaft unbeschönigt der Nachwelt zu überliefern, betont er an mehreren Stellen [Dwinger, 1929, S. 177, 185, 284]. Einem Mitgefangenen erklärt er den Sinn seiner Mitschrift so: „Damit die Menschheit einmal erfährt, was im zwanzigsten Jahrhundert möglich war! Und es in künftigen Kriegen vermeiden kann!“ [Ibid., S. 188].

Der pazifistische Ansatz steht in einem merkwürdigen Gegensatz zu anderen Werten, die Dwinger wiederholt herausstellt: die Vaterlandsliebe im traditionellen Sinn, die Aufopferung für eine Idee [Dwinger, 1929, S. 80–81, 115, 205, 213]. Die Einwände eines pazifistischen Kameraden reflektiert er beispielsweise so: „Ich schwieg. Hätte ich sprechen sollen? Von Idee und Geschichte? Und davon, dass ein Einzelschicksal nichts bedeutet, wenn es sich um das Schicksal eines Volkes handelt? Nein, wer das Ich höher stellt als das Ganze, dem ist auch mit dem besten Willen nicht zu helfen! Denn wer es hat, der hat es und wer es nicht hat, wird es nie erlangen“ [Ibid., S. 142]. Der Wille, noch einmal für das Vaterland in den Kampf zu ziehen, gründete sich auf der Überzeugung, „dass uns Unrecht geschah, dass wir keine Barbaren sind, dass wir uns verteidigen und opfern müssen! An allen Grenzen steht der Feind, mit Lüge ist die Erde überzogen, um uns zu ersticken!“ [Ibid., S. 218]. Und an anderer Stelle: „Denn wenn wir auch nicht an der Front sind, so sind wir doch nicht weniger für Deutschland hier. Und wenn es auch ein anderer Kampf war – so war es doch ein Kampf für unsere Heimat – wie der andere.“ [Ibid., S. 110–111].

In diesem Zitat ist die Kernaussage enthalten, denn der ganze Roman kann als Rechtfertigung gegen den stummen Vorwurf gedeutet werden, dass die Gefangenen ein schönes Leben in Sicherheit führten. Dwinger will dem Leser eindrücklich das Gegenteil beweisen [explizit in: Dwinger, 1929, S. 277–278]. Dem Vorwurf an die Gefangenen, Drückeberger gewesen zu sein, setzt Dwinger entgegen „das bluttriefende, schaurige Gemälde des Martyriums der Gefangenen“ entgegen [Stiasny, S. 41].

Zum Thema Kommunismus hält Dwinger sich im ersten Band der Trilogie zurück, er wird nur beiläufig als „asiatische Ideologie“ bezeichnet [Dwinger, 1929, S. 239]. Mit ihm wird er sich in dem zweiten Band, *Zwischen Weiß und Rot*, näher auseinandersetzen, worauf weiter unten kurz eingegangen wird.

Ausführlich befasst sich Dwinger hingegen mit dem Thema ‚Sexualität‘. Zwei wesentliche Elemente lassen sich dabei aufzeigen: Zum einen handelt es sich um pubertäre Fantasien, erotische Träume, eine Verehrung des Weiblichen, das Lockende des Unbekannten, das Gefühl „einen unstillbaren Zärtlichkeitshunger“ in sich zu haben [Dwinger, 1929, S. 144, siehe auch S. 17, 302]. Im Kontrast dazu steht die abfällige Beschreibung von homosexuellen Beziehungen unter seinen Kameraden

und von entsprechenden Annäherungsversuchen ihm gegenüber sowie die offenen Schilderungen von heterosexuellem Geschlechtsverkehr und Onanie [Ibid., S. 86, 89–90, 151, 165–166, 206, 259, 298–299].

Die Kameradschaftsrethorik und die Beschreibung der Sexualität bei Dwinger lassen sich leicht durch die von Klaus Theweleit [1977] und Thomas Kühne [2006] bereitgestellten Interpretationsmuster fassen. Gerade die Beschreibung der blonden Schwester im Moskauer Lazarett, die Dwinger beinahe vergöttert auf der einen Seite und der abfälligen Darstellung russischer Prostituierten auf der anderen Seite ist vorbildlich für das, was Theweleit über die Polarisierung des Frauenbildes in die gute weiße Schwester und die böse sinnliche Frau, die Hure, in der von ihm untersuchten Literatur von Freikorpskämpfern ausführt. Kühne wiederum zeigt auf, wie sich das Anfang der zwanziger Jahre diffuse Kameradschaftsbild in den frühen 30-er Jahren zu dem Vorbild der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft umbildete, die dann später die Wehrmacht des Zweiten Weltkriegs bis zur totalen Niederlage bestimmte und zusammengehalten habe. Mit der Kameradschaft des Männerbündischen eng verknüpft ist eine, sowohl bei Theweleit wie auch bei Kühne thematisierte Ablehnung des Weiblichen, wobei gleichzeitig Homosexualität scharf verurteilt wird. Auch in Dwingers Roman spielen Frauen als Subjekte keine Rolle; sie sind ausschließlich Objekte seiner Träume oder der lüsternen Begierde seiner Kameraden. Die von ihm geschilderte Gruppe kann als Vorbild einer die ganze Nation übergreifende und soziale Unterschiede überwindenden Gemeinschaft gelten.

Häufig lässt Dwinger brutale Szenen einfließen. Den Zustand von Verwundeten und Kranken, vor allem von Ruhrinfizierten, schildert er mit einer schonungslosen Offenheit [Dwinger, 1929, S. 64, 91, 116, 119]. Häufig kehrt das Motiv wieder, dass Leichen von Ratten oder Wölfen angefressen wurden [Ibid., S. 105, 185]. Stiasny bemerkt dazu: „Zentral ist dafür eine Ästhetik des Horrors und des Ekels, die Dwingers Buch durchzieht“ [Stiasny, S. 41]. Er führt weiter aus, dass für Dwinger der Sinn des Kriegserlebnisses in der Erfahrung der Opferbereitschaft und der Selbstnegation bestehe. Der Heroismus der Gefangenen unterscheide sich vom Kampf der alten Helden gegen sichtbare Feinde dadurch, dass es die eigene Schwäche und die eigenen Bedürfnisse radikal zu überwinden gelte [Ibid., S. 42].

Inmitten der Szenen des Schreckens stehen aber regelmäßig humorige Anekdoten wie der folgende Vorfall, den er während seiner Arbeit in der Landwirtschaft beobachtet haben will. Ein Mitgefangener sei früher in einem anderen Dorf beschäftigt gewesen und von dort davongelaufen, da er die Bäuerin geschwängert habe und nun die Rache des Ehemanns befürchtete. Der Ehemann habe ihn schließlich gefunden: „Der schwere Bauer setzt sich in Bewegung, läuft mit erhobenen Händen auf ihn zu. ‚Du bist es‘ sagt er ‚du? Seit Wochen wandere ich schon herum, um dich zu finden! Wie soll ich dir für alles danken, was du für mich und meinen Hof getan! Die Kühe sind milchreich, die Schweine haben Ferkel, vier Kälber kamen auf die Welt und weißt du Bruder, der Junge ist ein Prachtskind.“ [Dwinger, 1929, S. 164].⁴

⁴ Siehe auch die beinahe wortgleiche Episode in Brändström [1922, S. 58].

Das Russlandbild in „Die Armee hinter Stacheldraht“

Über die Wirkmächtigkeit seines Russlandbildes bemerkt Peter Fritzsche: „He almost single-handedly produced the knowledge that Germans had of the Soviet Union on the eve of Germany's 1941 invasion“ [Fritzsche, S. 109].

Wenn Dwinger in *Die Armee hinter Stacheldraht* über Russland schreibt, dann ist es hauptsächlich das Land unvorstellbaren Grauens. Die Zustände im Moskauer Lazarett und während der Typhusepidemie in Totskoe wurden bereits angeführt. Allerdings machten die deutschen Kriegsgefangenen des Romans in Russland nicht nur schlechte Erfahrungen. Beim Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft herrschten sehr gute Bedingungen, die Gefangenen genossen vor allem die Freiheit.

Die Begegnungen mit Russen fielen unterschiedlich aus, selbst die Kosaken werden nicht eindeutig negativ dargestellt. Es wird auch Positives über die russische Zivilbevölkerung erzählt: Bei dem Marsch zur Sammelstelle Ugriehskaya schlug ein Posten den Helden brutal. Die Passanten nahmen klar Stellung für die Gefangenen [Dwinger, 1929, S. 69]. Auch dem ‚Spitzmaus‘ genannten brutalen Lagerkommandanten in Totskoe stellt der Verfasser einen Kosakenkapitän gegenüber, den er ausschließlich mit positiven Eigenschaften ausstattet [Ibid., S. 98, 100, 115–118]. In Dauriya, dem letzten Lager, wird vor allem Vereniki, der Adjutant des Lagerkommandanten, ein ungeschlachter Bär, wild und unberechenbar, geschildert. Zu Dwinger verhielt er sich freundlich, als er hörte, dass dessen Mutter Russin sei [Ibid., S. 205, 276].

Sehr ausführlich und fast durchweg positiv beschreibt Dwinger seine Begegnungen mit russischen Frauen, die meist als idealisierte Trösterinnen auftreten. An der Front gab ihm ein russisches Mädchen zu trinken: „Es gibt überall Menschen! denke ich. Irgend ein Gutes, Weiches hat mich angerührt, hat neue Kraft in meinen Leib gegossen. Ich werde sie in meiner Sterbestunde vor mir sehen“ [Dwinger 1929, S. 11/2, s. auch S. 28].

Über Russland und die Russen allgemein wird in diesem Werk wenig gesagt. Am Beginn der Gefangenschaft steht das Gefühl „in eine neue, fremde, unbegreifliche Welt“ zu treten. „Es wird uns zermahlen, dieses dunkle Land! denken wir alle“ [Dwinger, 1929, S. 10]. Eine russische Schwester spricht einen bei Dwinger öfters wiederkehrenden Gedanken so aus: „Er ist nicht böse, der russische Mensch. Er ist nur faul – faul und verhetzt und gleichgültig! Wir sind im allem zurück, weit zurück, das ist es.“ [Ibid., S. 58]. Der Ich-Erzähler nimmt das unterschiedliche Verhalten der Posten unter den beiden Lagerkommandanten in Totskoe zum Anlass, lange über das Extreme im russischen Charakter nachzusinnen: „Dies Volk ist gerne und aus freiem Herzen gut <...> Ja, es ist gut, im Seelengrund, im Kern! Und ist nur böse, wenn es verhetzt ist oder wenn ihm von seinen Vorgesetzten Bosheit anbefohlen wurde. Beispiel ist alles. <...> Unter der Spitzmaus waren diese Soldaten Asiaten und Bestien, unter dem Kapitän wurden sie zu harmlosen und gütigen Menschen! <...> Und weil dies Volk

noch jung ist, braucht es, wie ein Kind das gute Beispiel mehr als alles andere. Wo aber ist das? Und weil es noch so jung ist, ist es auch noch so stark in seiner Liebe und in seinem Hass“ [Ibid., S. 138, siehe auch S. 148, 153–155, 161].

Dem stehen negative Äußerungen anderer Figuren gegenüber. Ein dem Helden nahestehender Kamerad meinte, Russland „ist und bleibt das Recht der Willkür – heute wie vor dreihundert Jahren!“ [Dwinger, 1929, S. 62, siehe auch S. 71, 202, 285]. Zu den Bolschewiki schreibt Dwinger, „ihre asiatische Ideologie, ihre grenzenlose Brutalität“ machten sie „zu seltsamen und fast unbegreiflichen Gestalten“ [Ibid., S. 239].

So ist das Russlandbild Dwingers in *Die Armee hinter Stacheldraht* nicht einheitlich. Es besteht aus einer Reihe wiederkehrender Stereotype, die in den zwanziger Jahren, für die das Denken in Nationalcharakter kennzeichnend war, sich großer Beliebtheit erfreuten. Diese Stereotype mussten nicht notwendigerweise negativ ausfallen. Ein wiederkehrendes Motiv ist die kindliche Unverdorbenheit des Russen, ein anderes die angebliche Karamasov-Natur dieses Volkes, das Schwanken zwischen den Extremen. Diese Denkfigur stützte sich auf die zu dieser Zeit in Mitteleuropa herrschende Dostojewskij-Begeisterung. Was Dwinger anführt, war üblich in den nationalistischen Kreisen seiner Zeit und bei weitem nicht so böseartig, wie das, was er 1942 in seinem Bericht über seine Beteiligung am Überfall auf die Sowjetunion über die Russen schreibt. Hier umringte ihn, „böse schielend“ ein mongolisch-bastardisiertes Völkergemisch, mit dem der westliche Kulturmensch einen Kampf auf Leben und Tod ausfechten müsse [Dwinger, 1942, S. 56–57]. Er kommt hier zum Schluss: „Ob es die Tataren, ob es Peter, ob es Stalin war: Dies Volk ist für das Joch geboren, wohl sollte es ein menschenwürdiges erhalten, gleichzeitig aber auch eines, das die Welt künftig vor den Gefahren bewahrt, die immer schon in seinem Wesen schlummerten.“ [Ibid., S. 230].

Dichtung und Wahrheit

Wie viele andere Autoren von Kriegsromanen [Müller, 1986, S. 4] behauptet auch Dwinger ‚die Wahrheit‘ des Kriegserlebnisses explizit, er habe das Dargestellte selbst erlebt, nämlich nach im Krieg geführten Tagebüchern geschildert. Hier werden zwei Punkte von Dwingers autobiographischen Angaben angesprochen, bei denen, wie meine Recherchen ergaben, Unstimmigkeiten festzustellen sind:

Eine bedeutende Stütze seiner Autorität als Russlandexperte war seine angebliche russische Abstammung und seine perfekte Beherrschung der russischen Sprache. In der Gefangenschaft will er als Dolmetscher viele Erleichterungen für seine Mitgefangenen erkämpft und sich im Bürgerkrieg unter seinen russischen Offizierskameraden wie selbstverständlich bewegt haben. Noch 1968 führte er gegenüber dem deutsch-amerikanischen Doktoranden Axel Walter Claesges aus, seine Großeltern seien in Russland

Großgrundbesitzer gewesen, die dann nach der Bauernbefreiung, da die ehemaligen Leibeigenen allzu aufsässig geworden seien, nach Ostpreußen hätten fliehen müssen [Claesges, S. 4]. Tatsächlich stammte, wie meine eigenen Recherchen und die des schleswig-holsteinischen Regionalhistorikers Hartwig Moltzow ergaben, die Mutter Dwingers, Emilie Michlo, geboren in Goldap in Ostpreußen, aus einer Familie von polnischen Bauern und Handwerkern. Dies war für Ostpreußen nicht spektakulär. Seine Russischkenntnisse waren bescheiden, was verschiedene seiner Zeitgenossen in Interviews bestätigten.

Zum zweiten soll nun der Darstellung der Gefangenschaft in *Die Armee hinter Stacheldraht* durch Dwinger das Zeugnis der Quellen gegenübergestellt werden.

Dwinger geriet ausweislich seiner Entlassungsurkunde aus der Gefangenschaft, die sich im Heimatmuseum Seeg im Allgäu (seinem langjährigen Wohnort) befindet, am 14.6.1915 in russische Gefangenschaft. Bereits für den 28.2.1916 liegt eine Postkarte aus Dauriya, ebenfalls im Heimatmuseum Seeg vor, in der er sich auf früher dort erhaltene Post bezieht. Es ist daher anzunehmen, dass Dauriya sein erstes Gefangenenlager in Russland war und seine Erlebnisse während der Typhusepidemie in Totskoe Fiktion sind.

Selbst die Behauptung verwundet in Gefangenschaft geraten zu sein, ist zweifelhaft. Es gelang mir im Militärgeschichtlichen Archiv in Moskau die Meldung von der Gefangennahme von zwei deutschen Dragonern am 14.6.1915 bei Mitau zu ermitteln, davon war einer schwer verwundet, der andere gesund [РГВИА, ф. 2122, оп. 2, д. 146, л. 13]. Dafür, dass Dwinger nicht am Oberschenkel verwundet war, spricht, dass er schließlich wegen eines Lungenleidens ausgetauscht wurde, dass er 1939 wegen eines Magenleidens vom Dienst in der Wehrmacht zurückgestellt wurde und als passionierter Reiter nie Spätfolgen seiner Verwundung zeigte. Die Hauptstütze der Annahme, dass Dwinger unverwundet in russische Hand fiel, ist aber das Tagebuch eines Kameraden von ihm aus Dauriya, das ich im Hauptstaatsarchiv Stuttgart eingesehen habe. Hier beschreibt der Autor Franz Fehrle praktisch wortgleich mit Dwingers Schilderung in *Die Armee hinter Stacheldraht* seine eigene Verwundung am Oberschenkel und anschließend erzählt er von seiner Gefangennahme [HStA Stuttgart, M 660/322, Bü. 18, S. 11–12].

Dwinger verbrachte die meiste Zeit seiner Gefangenschaft mit der Abfassung nordischer Dramen, wie aus der Datierung der in der Sammlung seines Sohnes Norwin erhaltenen Theaterstücke mit Zensurstempel Dauriya hervorgeht (Sammlung Norwin Dwinger). Die in *Die Armee hinter Stacheldraht* beschriebenen extremen Erfahrungen sind als Fiktion zu betrachten, sie sind jedenfalls kein eigenes Erleben. Ob sie Schilderungen anderer Kriegsgefangener entnommen oder reine Phantasie sind, bleibt zu prüfen.

Ein weiteres Detail enthüllte er 1967 selbst: In *Die Armee hinter Stacheldraht* mokierte er sich noch über die (männliche) Diva im

Lagertheater, um die sich heftige Kämpfe entspannt hätten. Sie habe zahlreiche Anträge bekommen und um militärischen Schutz nachgesucht [Dwinger, 1929, S. 241]. In seinen 1967 veröffentlichten Revolutionserinnerungen berichtet er, selbst diese Diva gewesen zu sein [Dwinger, 1967, S. 606–667]. Es lässt sich spekulieren, dass Dwinger in der Gefangenschaft Opfer des sexuellen Missbrauchs von Mitgefangenen wurde – zumindest nehmen dies der Regisseur Tobias Ginsburg und der Enkel des Schriftstellers, der Schauspieler Raphael Dwinger in ihrem Theaterstück *Nestbeschmutzung* über den Autor an [Ginsburg, Dwinger].

Wie die erwähnte Entlassungsurkunde belegt, wurde Dwinger ab 11.2.1918 als Invalider ausgetauscht. Bald nach seiner Heimkehr veröffentlichte er ein Gedicht in der Zeitschrift „Jugend“ (München). Unter dem von dem Sohn Norwin Dwinger zur Einsicht überlassenen Konvolut von Manuskripten aus den frühen Jahren befindet sich ein Schauspiel mit dem Vermerk, Hannover März 1918. Somit steht eindeutig fest, dass Dwingers vielfältige Abenteuer in den Reihen der Weißen Armee Fiktion sind [siehe auch: Fritzsche, S. 111].

Dass den Zeitgenossen die Parallelen zu dem verbreiteten Werk von Elsa Brandström *Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien* nicht auffielen, ist erstaunlich. Dwinger hat einfach lange Passagen aus diesem Buch paraphrasiert. Die Söhne Dwingers bestätigten in Interviews mit dem Verfasser dieses Artikels, dass weite Teile des autobiographischen Werkes ihres Vaters Fiktion seien, hoben aber seine skrupulöse Recherche hervor. Wie am Russlandbild Dwingers gezeigt werden konnte, gelang es ihm vorzüglich, den Wünschen und Bedürfnissen seiner Leserschaft zu entsprechen.

Breitenwirkung und die Reaktion der zeitgenössischen Kritik

Die Armee hinter Stacheldraht erzielte einen großen Erfolg bei den Lesern und der Kritik. Das Buch erreichte bis 1950 eine Gesamtauflage von 260.000. In der Bestsellerliste von Donald Ray Richards für die Jahre 1915 bis 1940 nimmt es immerhin den 114. Rang ein [Richards, S. 60]. Es wurde zudem in 10 Sprachen übersetzt [Strothman, S. 421, s. Anm. 180].

Auch die aus heutiger Sicht unverständliche Reaktion der zeitgenössischen Kritik belegt, dass Dwinger für die damalige Zeit den richtigen Ton traf. Dass konservative Zeitschriften voll des Lobes für Dwinger waren, ist nicht weiter überraschend [Engelmann, S. 362–364; Lehmann, S. 733–734; W.W., S. 917]. Der geistige Führer des ‘soldatischen Nationalismus’ – und neben Erich Maria Remarque bekannteste Schriftsteller des Ersten Weltkriegs – Ernst Jünger meinte: “Es gehört zu den Büchern, die mit Blut geschrieben sind“ [Jünger].

Überraschend sind jedoch die Superlative, mit denen das Buch von einer Vielzahl weiterer Kritiker bejubelt wurde. Selbst in *Osteuropa*, der angesehensten Fachzeitschrift für Osteuropaforschung, wurde über

Die Armee hinter Stacheldraht und den Nachfolgebänd *Zwischen Weiß und Rot* als von einer „einmaligen Leistung“ gesprochen [W. L., S. 618]. Der Kreis der Lobpreisungen des Dwinger'schen Werkes in Deutschland schließt sich, wenn man die *Neuen Blätter für den Sozialismus* betrachtet: „Nicht ohne Grund wird es [Das Buch *Die Armee hinter Stacheldraht*. – G. W.] in seiner inhaltlichen Bedeutung und in der Kraft seiner Darstellung mit Dostojewskis Totenhaus verglichen“ [Ar., S. 471].

Interessant ist es auch, welche Aufnahme das Buch in den Staaten des ehemaligen feindlichen Auslands fand, in dessen Sprachen es schon bald übersetzt wurde. *The Nation* (New York) kam zu dem Ergebnis, dass Dwingers Werk das Buch *Remarques* als authentischer und literarisch höherstehender bei weitem übertreffe [Wharton, p. 683–684]. Ebenso positiv war die Rezension in der angesehenen *Times* (London). Sie gipfelte in der Aussage, man hätte das zarische Russland für seine Barbarei vor ein Kriegsgericht stellen müssen, wenn es mittlerweile nicht schon verschwunden wäre [Behind].

Von besonderem Interesse ist die Aufnahme des Buches in Frankreich, wo der Krieg weite Teile des Landes verwüstet und hohe Verluste unter der männlichen Bevölkerung verursacht hatte. Hier finden sich die beiden einzigen ablehnenden Besprechungen, die für das Buch von Dwinger nachgewiesen werden konnten. In einer wissenschaftlichen Zeitschrift der Jesuiten bemängelt L. Béranger die Larmoyanz Dwingers und die Abwesenheit einer moralischen Reaktion unter den Gefangenen, die stattdessen im Laster versunken seien [Béranger, p. 247–248].

Ebenso kritisierte É. Laloy im *Mercure de France* (Paris), dass Dwinger wohl die deutschen Grausamkeiten nicht gewusst oder sie systematisch vergessen habe. Er empöre sich darüber, dass die Gefangenen das gleiche schlechte Essen bekamen wie die Einheimischen. Der Schilderung der Schrecken von Totskoe, wo angeblich 17 000 von 24 000 Gefangenen an Ruhr starben, stellte er ein deutsches Lager entgegen, wo 1500 von 1800 Franzosen 1915 dem Typhus zum Opfer gefallen seien, was „des brutes comme lui“ ebenfalls hätten nennen können [Laloy, p. 496].

Aber selbst in Frankreich erhielt Dwinger uneingeschränkt positive Rezensionen. In *Europe* (Paris) bedauerte der Rezensent, dass das Buch in Frankreich nicht die Würdigung gefunden habe, die es verdiente [Guéhenno, p. 121].

Weitere Bücher Dwingers zur Kriegsgefangenschaft in Russland

Eine knappe Analyse der weiteren Bücher des Autors, die von seiner Kriegsgefangenschaft in Sibirien handeln – zunächst der Nachfolgebände in der Trilogie *Die deutsche Passion* – soll diesen Überblick abschließen.

In *Zwischen Weiß und Rot* (Jena 1930) nimmt er den Handlungsfaden dort wieder auf, wo er am Ende von *Die Armee hinter Stacheldraht* abbrach. Auf der Flucht wurde er verhaftet und zur Erschießung vorgesehen, da er

den Pass eines viel gesuchten kommunistischen Revolutionärs besaß. Sein Lagerkommandant aus Dauriya, Vereniki, der nun unter Semenov kämpfte, befreite ihn, aber nur unter der Bedingung, dass er als Fähnrich in sein Regiment eintrat [Dwinger, 1930, S. 36–63]. Da die Gruppe um Vereniki die Terrorherrschaft Semenovs in Transbaikalien verabscheute, fuhr sie nach Omsk, um sich Kolchak unterzuordnen [Ibid., S. 63–109].

In den Reihen der Armee Kappels, dem berühmten General von Kolchak, machte Dwinger den weißen Vormarsch nach Westen [Dwinger, 1930, S. 109–156] und dann deren katastrophalen Rückzug bis zum Baikalsee mit. Dessen Schilderung füllt den Hauptteil des Buches aus [Ibid., S. 156–467]. Auf dem Eis des Baikalsees, kurz vor dem Erreichen des sicheren, von den Japanern gehaltenen Myssovsk, wurde die Gruppe von Roten Truppen eingeholt. Dwinger gelang es, sich wieder als Kriegsgefangener auszugeben. Die Roten transportierten die Gefangenen in das Lager von Irkutsk. Erneut brachen Epidemien unter ihnen aus. Schließlich wagte er einen weiteren Fluchtversuch, der diesmal erfolgreich endete [Ibid., S. 496–502].

In *Zwischen Weiß und Rot* wendet Dwinger die gleichen literarischen Mittel wie in *Die Armee hinter Stacheldraht* an. Wieder vertreten die Mitglieder einer Gruppe die verschiedenen in der Gesellschaft existierenden Meinungen. Diesmal handelt es sich um einen Kreis weißgardistischer Offiziere. Dort gibt es den väterlichen Vereniki, den grausamen Haudegen Petroff, den jungen Idealisten Kostja, den ‚Väterchen‘ genannten Mönch, den Sozialrevolutionär Ilja, die beiden überfeinerten Grafen Saburoff und Urussoff sowie den kühlen Baltendeutschen von der Recke. Später diskutierte der Held auch viel mit den Kameraden, die im Train arbeiteten. Wieder gibt es einerseits eine zarte Liebesgeschichte mit einer Ostpreußin [Dwinger, 1930, 22–24] und andererseits konkrete sexuelle Darstellungen. Hierbei dreht es sich meist um die Prostitution von Frauen weißer Offiziere, die auf diese Weise versuchten, auf der Flucht zu überleben [Ibid., S. 388]. Oft schildert er präzise bis in die Details die Leichenhaufen Erfrorener [Ibid., S. 339–340, 358–359, 449–450, 492–493].

Hier nimmt er explizit zu politischen Fragen Stellung, was in *Die Armee hinter Stacheldraht* selten ist. Dabei enthält das Buch neben wiederholten Anklagen gegen die Alliierten, die die Weißen hätten verbluten lassen, zahlreiche Gedanken über den Kommunismus, die der Autor teilweise selbst ausspricht und teilweise dem ‚Väterchen‘ in den Mund legt. Der Grundtenor dieser Überlegungen ist, dass der Kampf zwischen Weiß und Rot ein Kampf zwischen Individualismus und Kollektivismus sei [Dwinger, 1930, S. 59, 343, 400, 481]. Die Kommunisten wollten „eine ungeheuere asiatisch- bolschewistische Festung“ erschaffen, den Menschen zum Tier, zum Diener der Technik und einem kleinen Rädchen in der Maschine degradieren [Ibid., S. 192, siehe auch S. 209–210, 249, 303, 404–405].

Dieses Buch wurde ein großer Verkaufserfolg und ebenfalls von der Kritik bejubelt. H. Grosse lobte es sogar in der *Roten Fahne*, dem Organ der KPD: „Da Dwinger ein ehrlicher Beobachter ist, wurde sein Buch ein Beweis

für die überwältigende Kraft und ideologische Stärke des Bolschewismus, der fest in den Massen wurzelte und sie zum Siege führte“ [Grosse; s. auch: Kläber, S. 24–25].

Im letzten Band der Trilogie, *Wir rufen Deutschland. Heimkehr und Vermächtnis* (Jena 1932), beschreibt Dwinger, wie er seine Kameraden nach deren später Heimkehr vom Schiff abholt und zur Erholung auf ein Gut in Ostpreußen bringt. Die Handlung erstreckt sich bis 1924, also bis zur Stabilisierung der Weimarer Republik und hat vor allem die innere und äußere Lage Deutschlands zum Inhalt, die aus einem sehr konservativen Blickwinkel kommentiert wird. Sibirien taucht noch in schrecklichen Erinnerungen auf, wie an die Beerdigung der erfrorenen weißen Flüchtlinge in Irkutsk im Frühjahr 1920 [Dwinger, 1932, S. 100].

Resümee

Wie gezeigt wurde, sind die meisten der Abenteuer, die Dwinger in seiner Sibirischen Trilogie beschreibt, Fiktion. Angesichts ihres Massenerfolges ist eine eingehende Beschäftigung mit ihnen trotzdem lohnenswert.

Die Tatsache, dass Bücher, die heute dem kritischen Leser befremdlich erscheinen, damals eine ungeheure Resonanz beim Publikum und bei der Kritik finden konnten, ist nur aus den Zeitumständen zu erklären. Denn das erste Buch Dwingers *Das große Grab* (1920) war ein Misserfolg (Gesamtauflage 3 000), und auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs konnte er nie mehr an seine früheren Erfolge anknüpfen. Es erlaubt Rückschlüsse auf die geistige Kultur in der Endphase der Weimarer Republik, als der Buchmarkt für solche scheinbar realistischen und doch national gefärbten Kriegserinnerungen besonders aufnahmebereit war.

Prümm bemerkt zu den Schriftstellern der Rechten in der Endphase der Weimarer Republik: „Fast monomanisch führt der Soldatische Nationalismus jede Problematik auf das Kriegserlebnis zurück und glaubt dort bereits praktizierte gesellschaftliche Ideallösungen vorzufinden, die es jetzt nur noch auf den Frieden zu übertragen gilt“ [Prümm, S. 8]. Gerade das Buch Dwingers beschwört die ‚Frontgemeinschaft‘ in einer Situation, der er als noch extremer als das Fronterlebnis darstellt, die Epidemien und die ständige Bedrohung durch die russischen Wächter treten an die Stelle des Schützengrabens.

Der Autor differenziert in seiner Darstellung nicht und propagiert eindeutige Lösungen. Die Gegner sind zum einen die Russen, die als grausam in ihrer kindlichen Einfalt geschildert werden, zum anderen die Kameraden, die pazifistische obrigkeitsfeindliche Meinungen äußern. Ihnen setzt der Verfasser seinen Nationalismus entgegen. Dabei kommt es ihm nicht auf eine sachliche Diskussion an, vielmehr will er gezielt Emotionen schüren. Der demokratische Gegner wird als moralisch minderwertig dargestellt; was seine Argumente betrifft, so sind sie dadurch schon entwertet. In *Die*

Armee hinter Stacheldraht werden obrigkeitsfeindliche Ansichten vor allem durch den Soldaten ‚Brünn‘ vertreten. Dieser erscheint gleichzeitig als hemmungsloser Onanist, er äußert sich nicht nur in politischer, sondern auch in sexueller Hinsicht sehr freizügig. Für Dwinger hängt das eine mit dem anderen eng zusammen.

Der Schlüssel für den Erfolg Dwingers wird durch die Betrachtung seines Russlandbildes deutlich: Der Autor verkauft gängige Stereotype als eigene authentische Erlebnisse. Sein Leser, verschreckt durch die Weltwirtschaftskrise und die Moderne, zu der auch der Erfolg von Remarques *Im Westen nichts Neues* gehörte, konnte sich nach der Lektüre Dwingers zurücklehnen und sich in seinem von Ressentiments und Vorurteilen geprägten Weltbild bestätigt fühlen. Insgesamt gesehen bietet der Roman einfache Lösungen, die in der Zeit großer Unsicherheit offenbar großen Anklang beim Publikum fanden.

Was den am Anfang referierten theoretischen Rahmen betrifft, so ist von dem (falschen) Anspruch auf Wahrheit her gesehen Dwingers Werk durchaus ein typischer Kriegsroman der Rechten dieser Zeit. In seiner Anlage ist jedoch überdeutlich das Vorbild Remarques zu erkennen und hier unterscheidet es sich von den Produkten seiner Mitstreiter. Die politische Botschaft, die er transportiert, ordnet ihn aber eindeutig der Gruppe der „Konservativen Revolution“ zu. Daran kann auch der vordergründige pazifistische Habitus nichts ändern. Das Buch ist die Darstellung einer doppelten Versuchung: der pazifistischen und der homosexuellen. Beide überwindet der Ich-Erzähler: die pazifistische, indem er sich an einem strammen Vorgesetzten aufrichtet und die Selbstmordgedanken überwindet; die homosexuelle, indem er schließlich die Annäherungsversuche eines Kameraden abweist. So steht am Schluss des Romans der geläuterte und tatbereite Held.

РГВИА. Ф. 2122. Оп. 2. Д. 146. Л. 13. [РГВИА. Ф. 2122. Оп. 2. Д. 146. Л. 13.]

Ar. Edwin Erich Dwinger. *Die Armee hinter Stacheldraht* // *Blätter für den Sozialismus*. 1931. 2. Jg. S. 471–472.

Baron U., Müller H. H. Die ‚Perspektive des kleinen Mannes‘ in der Kriegsliteratur der Nachkriegszeit // *Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten* / hrsg. v. W. Wette. München ; Zürich : Piper, 1992. S. 344–60.

Behind Barbed Wire // *The Times Literary Supplement*. 1930. September 25.

Béranger L. Edwin Erich Dwinger, engagé volontaire – *Mon Journal de Sibérie dans les camps des prisonniers* // *Etudes par des pères de la compagnie de Jésus*. Vol. 208, 68 (Juli-September 1931). P. 247–248.

Brändström E. *Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien*. Berlin : Deutsche Verlags-Gesellschaft für Politik und Geschichte, 1922.

Claesges Axel W. Edwin Erich Dwinger – Ein Leben in Tragebüchern. Unpubl. Diss. Ann Arbor, 1968.

Dwinger E. E. *Die Armee hinter Stacheldraht*. Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1929.

Dwinger E. E. *Wir rufen Deutschland. Heimkehr und Vermächtnis*. Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1932.

Dwinger E. E. *Zwischen Weiß und Rot*. Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1930. Dwinger E. E. *Auf halbem Wege*. Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1939.

Dwinger E. E. *Wiedersehen mit Sowjetrußland*. Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1942.

- Dwinger E. E.* General Wlassow. Eine Tragödie unserer Zeit. Frankfurt am Main : Di- kreiter, 1951.
- Dwinger E. E.* Die 12 Gespräche. Velbert, 1966.
- Dwinger E. E.* Wie ich die Revolution erlebte // Osteuropa. 1967. 17. S. 606-624.
- Edwin Erich Dwinger*, deutscher Schriftsteller. Munzinger-Archiv/Int. Biograph. Ar- chiv, 12/82 K 1935-8/4 Du-ME.
- Engelmann Th.* Kriegsgefangen in Sibirien. Zu E. E. Dwingers sibirischem Tagebuch // Eiserne Blätter. 1931. 31. Mai. S. 362-364.
- Fechter P.* Geschichte der deutschen Literatur. Gütersloh : Bertelsmann, 1952.
- Fritzsche P.* Return to Soviet Russia. Edwin Erich Dwinger and the Narratives of Bar- barossa // Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories / ed. M. D. Fox, P. Holquist, A. M. Marin. Pittsburgh : Univ. of Pittsburgh Press, 2012. P. 109-122.
- Ginsburg T., Dwinger R.* Nestbeschmutzung. Theaterstück, Premiere: 26. April 2011 im Theater Reaktorhalle in München, 2011.
- Grosse, H.* Dwinger: Zwischen Weiß und Rot. Ein ehemaliger weißer Offizier über den Zusammenbruch der Koltschak-Armee // Rote Fahne. 1931. Nr. 90.
- Guéhenno J.* Un journal de la guerre et la révolution // Europe. Paris. 1934. 33. P. 121-124.
- Heimatmuseum Seeg, Dwinger-Ecke.* Entlassungsurkunde aus der Gefangenschaft in russischer Sprache. Postkarten aus der Gefangenschaft.
- HStA Stuttgart (Korrespondenz Friedrich Fehrls, 1930-1936).
- Jünger E.* Das Sibirische Tagebuch // Tägliche Unterhaltungs-Beilage der Magdeburgi- schen Zeitung. 30. Oktober 1929.
- Kläber K.* Zwischen Weiß und Rot // Die Linkskurve. Nr. 4. April 1931. S. 24-25.
- Kosch W.* Deutsches Literaturlexikon, Bd. 1. Bern : Franke, 1949.
- Kosch W.* Deutsches Literaturlexikon, 3. bearb. Auflage, Bd. 1. Bern : Franke, 1971.
- Kühne Th.* Kameradschaft. Die Soldaten des nationalsozialistischen Krieges und das 20. Jahrhundert. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.
- Laloy É.* Ouvrages sur la guerre de 1914. Dwinger: Mon Journal de Sibérie dans les camps des prisonniers // Mercure de France. 1930. Série moderne. Vol. 224, 15.11.-15.12.1930. P. 496-498.
- Lehmann F.* Allerlei Kriegsbücher // Deutschlands Erneuerung. Monatsschrift für das deutsche Volk. 1929. 13. S. 731-734.
- Lennartz F.* Deutsche Schriftsteller der Gegenwart. 11. Erw. Auflage. Stuttgart : Kroener, 1978.
- Mohler A. Weißmann K.* Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, 6., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Graz : ARES, 2005.
- Müller H.-H.* Der Krieg und die Schriftsteller. Der Kriegsroman der Weimarer Republik. Stuttgart : Metzler, 1986.
- Müller H.-H.* „Im Grunde erlebt jeder seinen eigenen Krieg.“ Zur Bedeutung des Kriegserlebnisses im Frühwerk Ernst Jüngers // Ernst Jünger im 20. Jahrhundert / Hrsg. H.-H. Müller, H. Segeberg. München : Fink, 1995. S. 13-17.
- Prümm K.* Die Literatur des Soldatischen Nationalismus der 20er Jahre (1918 bis 1933). Kronberg : Scriptor-Verlag, 1974.
- Rauchfleisch U.* Allgegenwart von Gewalt. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1992.
- Remarque E. M.* Im Westen nichts Neues, ungekürzte Lizenzausgabe. Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien : Ullstein, 1979.
- Richards D. R.* The German Bestseller in the 20th Century. A Complete Bibliography and Analysis 1915-1940. Berne : Lang, 1968.
- Sammlung Norwin Dwinger, Baden-Baden.* Fritjof, Eine nordische Sage (verschiedene Fassungen); Verse und Fragmente, darunter ‚Deutschland den Deutschen‘, ‚Deutsche Hei- mat – Deine Erden‘; Hagen von Tronje, Ein deutsches Schauspiel; Schloss Auerbach (ver- schiedene Fassungen); Ilf – Ein Gedankenspiel, Falklandsholm – Eine nordische Dichtung.
- Sarkowicz H.* Dwinger, Edwin Erich // Literaturlexikon. Bd. 3 / Hrsg. W. Killy. Gütersloh : Bertelsmann, 1989. S. 135-136.
- Stiasny Ph.* Jenseits des Stahlgewitters. Kriegsgefangenschaft in Film und Literatur der Weimarer Republik // Russlandheimkehrer. Die sowjetische Kriegsgefangenschaft im Ge- dächtnis der Deutschen / Hrsg. E. Scherstjanoi. München : Oldenbourg 2012. S. 37-53.
- Strothmann D.* Nationalsozialistische Literaturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik im Dritten Reich, 2. Verbesserte Auflage. Berlin : Bouvier, 1963.
- Theweleit K.* Männerphantasien. 2 Bände. Frankfurt am Main : Verlag Roter Stern, 1977.

Wharton J. B. Prisoners of War // The Nation. 1930. December 17. 683/4.
W. L. E. E. Dwinger // Osteuropa. Heft 10. Juli 1932. S. 618.
W. W. Neue Bücher. Dwinger, Edwin Erich. Die Armee hinter Stacheldraht // Standarte.
6. April 1929. S. 917–919.

The article was submitted on 24.12.2013

Георг Вурцер, PhD.
Германия, Вильгельмсдорф
независимый исследователь
georgwurzer@gmx.de

Georg Wurzer, PhD.
Germany, Wilhelmsdorf
independent researcher
georgwurzer@gmx.de

**ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
В АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ПРОПАГАНДЕ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ**

**VISUALIZATION OF THE EASTERN FRONT
IN AUSTRO-HUNGARIAN WORLD
WAR I PROPAGANDA**

The research carried out with reference to archival Austro-Hungarian films and photographs explicates the themes, tasks and genre diversity of the visual account of World War I in the Eastern Front. The author determines how the themes and heroes of war history changed and reveals the peculiarities of the realization of state patriotism and propagandistic functions of photographs. The results obtained with reference to archival data of the Austro-Hungarian Monarchy are integrated into the international contest and compared to the visual materials created in the other countries involved in World War I.

Keywords: World War I, propaganda, visualization, Austro-Hungary, Germany, Russia, France.

Исследование, выполненное на базе архивных австро-венгерских фильмов и фотографий, посвящено содержательным аспектам, основным задачам и значению изображения военных событий Первой мировой войны на Восточном фронте. Результаты, полученные на базе данных австро-венгерской монархии, интегрируются в международный контекст и сравниваются с другими изобразительными источниками соответствующих театрам военных действий стран, участвовавших в войне.

Ключевые слова: Первая мировая война, пропаганда, визуализация, Австро-Венгрия, Германия, Россия, Франция.

Кино и фотодокументы стали осознаваться как средство официальной пропаганды уже в Первую мировую войну¹. Объем материалов, способных дать визуальный образ войны, достаточно велик. Помимо отображения военных будней или темы военного плена, часть изображений имела своего рода «туристический» взгляд, призванный

¹ О военной пропаганде в ходе Первой мировой войны см., наряду с другими работами, [Morelli; Bremm].

пробудить любопытство зрителя к изображаемым местам². Собрание более чем 1300 стеклянных негативов, хранящееся в Военно-историческом музее Вены [Heeresgeschichtliches], например, подробно освещает жизнь военнопленных в России. Многие изображения обращались к культуре, местным традициям, истории, архитектуре и достопримечательностям соответствующих регионов³.

Районы сражений при этом оказывались в большинстве случаев terra incognita. Военские команды старались не допускать во фронтовые зоны кого-либо без особого разрешения и особенно гражданских лиц, опасаясь присутствия посторонних и шпионажа [см.: Stiasny, S. 28], – отчего доступ к «реальным» событиям войны получало лишь ограниченное число кинооператоров и фотографов. От немногих избранных ожидали таких съемок, с помощью которых штабные офицеры должны были бы проанализировать вооруженные схватки. Еще более важными считались соответствующие снимки для эпидиаскопа – прежде всего в кругах ведомств военных новостей. Немало фото- и киносъемок показывает самолеты и дирижабли, которые на Восточном фронте применялись для разведки театра боевых действий [ср.: Holzer, 2005, S. 219; Holzer, 2008; 2012].

Результаты воздушной разведки по большей части были малопродуктивны. Для специалистов в сфере фото и кино это не было неожиданностью. Они довольно быстро осознали, что снятое несет объемную информацию с возможностью множества интерпретаций. Штабные офицеры же наоборот искали однозначные свидетельства, отчего абсолютное большинство отснятых сюжетов было для них бесполезно. Поэтому к осени 1915 г. в результате анализа работы, проделанной военными фотографами, сформировалось мнение: «Большая часть снятого достаточна для целей военной пропаганды, но что касается их использования для боевой практики, то они не дали предполагаемого результата» [Österreichisches, Oktober 1915, 2].

Пропагандистская деятельность – для вражеских и нейтральных стран, а особенно для собственной страны – была причислена к важнейшей задаче фотографов и команд кинооператоров. Эта идея была подкреплена различными пропагандистскими мероприятиями, ориентированными на все население, которое со своей стороны (своего рода побочный эффект «тотализации» враждебных чувств) тоже начало «документировать» происходящее. Особый энтузиазм был замечен в центральных державах: «сувениры» с фронта и из тыла, плака-

² Немецкий фильм «Полуостров Крым», снятый в 1918 г., не представляет собой идеологическое или политическое послание и даже не несет хозяйственной информации о территории, которая была оккупирована Центральными державами и после Брест-Литовского мира играла чрезвычайно важную роль в экономических планах венского и берлинского правительств. Каждый отдельный кадр этой ленты был скорее частью «кинематографического» туристского впечатления [см.: Oppelt, S. 307].

³ Автором статьи создан специальный системный «Указатель к Plenny-Archiv» Военно-исторического музея Вены (Австрия).

ты, письма, журналы, изделия, которые мастерили бойцы и пленные, и даже обнародование отдельных документов – все находилось в сфере внимания как частных лиц, так и общественных институтов, устраивавших соответствующие выставки. Крайне популярны такого рода инициативы были в Германии, где только в 1917 г. демонстрировалось около 200 выставок о войне [Hirschfeld, S. 13–27, bes. 16, 18f.].

В Австро-Венгрии подобная деятельность была характерна лишь в западных, немецкоязычных частях империи. Помимо всего прочего, власти планировали в Вене, Будапеште, Загребе, Инсбруке и Праге укреплять «мораль гражданских лиц» презентациями «искусства войны» и превозношением качества «солдатской жизни» [Cornwall, p. 27]. Не оставляли без внимания даже детей. Имперское Министерство внутренних дел считало нужным опубликовать, как гласил подзаголовок, «для наших малышей» книжку с картинками, названную «Мы играем в мировую войну!» [Beller, p. 132]. Из «патриотической общности» не должен был исключаться никто, и в центре внимания оказалось формирование «всеобщей ментальности войны», которая ориентировалась на упрощенное обращение к массам. Поэтому, как говорится, «некультурная» публика преимущественно в восточно-европейских регионах, обладавшая низким уровнем образования, попала под воздействие наращиваемого производства иллюстраций и фильмов, содержащих государственную пропаганду. В данном контексте видится целесообразным рассматривать ряд регионов России и Австро-Венгрии не столько в ключе «войны средствами печатного слова» (что характерно для исследователей истории пропаганды), сколько «войны визуальных образов» [ср.: Korte, Schneider, Sternberg, S. 247].

Традиционные средства изображения

Патриотические образы «доходили» до населения стран – участниц войны разными способами. Например, этикетки на спичечных коробках служили тому, чтобы подчеркнуть силу оружия или экономическую мощь собственной страны, повысить степень знакомства с национальными лидерами, а также показать заботу о раненых солдатах или о тех, кто стал инвалидом [Eilers, S. 179–212]. В то время как в революционной России с весны 1917 г. упаковки спичек использовались для размещения на них призывов к миру [Ibid., S. 209], в других странах предпочитали заявлять о воинственных идеалах (особенно в 1916 г.). Центральные державы, помимо всего прочего, вернулись к так называемым *Vivatbänder* (длинным и тонким декоративным ленточкам с лозунгами, пожеланиями счастья и благословениями), которые были очень популярны у частных корпораций еще до 1914 г. После начала мировой

войны немцы и австрийцы таким способом особенно отмечали свое единение при защите Галиции и Восточной Пруссии, прославляли своих монархов и полководцев и их победы над русской армией [Zühlke]⁴.

Германия открыла вдоль линии фронта хорошо оборудованную сеть полевых театров с регулярными представлениями для боевых соединений [ср.: Pörzgen]. В турне через фронтовые и этапные районы отправлялись и австрийские артисты, причем они чаще могли навещать свои воинские части, нежели их русские коллеги на противоположной стороне. В последнем случае спорадически устраиваемые театральные представления добирались лишь до малого числа подразделений русской армии [Jahn, p. 137 sq.].

Несмотря на то, что театральные постановки оказывали большее влияние на развитие эстетики фотографии и кинопроизводства, власти воюющих стран более поддерживали иные формы искусства. В первую очередь, командование высоко ценило художественные полотна баталистов и портреты выдающихся полководцев. Группа художников (150 человек) императорской и королевской Военной пресс-службы (KPQ) создала по январю 1918 г. 8 000 произведений по большей части на «героические темы» [Berger, T. 3, S. 5]. В соответствии с этим направлением, ответственные офицерские чины стали инициаторами создания неизменно больших, состоящих из нескольких картин «батальных панорам», хотя доступ во фронтовую полосу оставался строго регулируемым и весьма затрудненным и для членов KPQ [Beller, p. 131]. Поэтому в условиях продолжения боевых действий, а также по причине нарастающей усталости от войны и из желания сохранить собственную жизнь, многие художники в тылу обращались почти исключительно к написанию портрета. Высокопоставленным офицерам льстило быть объектом внимания со стороны «креативных, тонко чувствующих документалистов» «великой пробы сил» [Holzer, 2005, S. 107–121].

Рисовальщикам и художникам так же, как и многим фотографам, удалось изобразить множество простых солдат, благодаря чему воинский портрет утрачивает элитарный характер [Ibid., S. 122f.]. Несмотря на этот переворот, преимущество неизменно получали классические формы изобразительного искусства: зарисовки, картины и резьба по дереву, наиболее удачно передававшие идеалы и ценности в аллегорической форме, а также для создания «фиктивного возвеличивания сцен схватки» и шаржирования реальных событий и личностей [Friedrich, S. 141]. Художники «военного жанра» придерживались, как правило, консервативных представлений, но вместе с тем обращали на себя внимание и авангардистские произведения в духе «Fin de Siècle» [Stites, 1999, p. 12].

⁴ См. особ.: Vivatbänder des Ersten Weltkriegs. Ein marginales Medium nichtstaatlicher Propaganda, S. 293–304.

Новые средства

Изобразительная пропаганда выполняла свою задачу посредством массового распространения почтовых открыток и плакатов. Последние авансировались как коммуникационные средства, имеющие повышенную значимость, но в случае с Германией и Австрией редко имели отношение к «русскому фронту». Ведь поля сражений, ландшафты и населенные пункты, имевшие отношение к последнему, редко находили место в репродукциях картин или на цветных почтовых открытках. Поэтому подобные изображения, распространявшиеся на немецком, венгерском и польском языках, например, с таким заголовком как «взятие штурмом русских окопов», нечасто встречались в Австро-Венгрии [Stites, 1999, p. 72].

Подобные сюжеты использовались при создании плакатов, где комбинировались тексты и изображения. Патриотические символы, призывы к храбрости и вере в правое дело постепенно заменялись публикациями Красного Креста, в которых шла речь о попечении жертв войны и обеспечении армии. Соответствующие призывы, выполненные в графике, были адресованы малообразованной в художественном отношении публике и поэтому не обращались к авангардистским абстракциям или формам «Art nouveau». В них зафиксирован тематический поворот к темным сторонам и негативным последствиям вооруженных столкновений на фоне агитации военных займов и демонстрации национальных идеалов «героического наступательного духа» [Kämpfer, S. 138].

Еженедельные киновыпуски новостей и патриотические художественные фильмы вряд ли могли составить конкуренцию «гражданскому» репертуару. Здесь наблюдается определенное сходство линий развития в разных странах. Авторы 114 кинолент, изготовленных до 1918 г. в Великобритании, редко обращались к актуальным национальным и военным аспектам [Paul, S. 8]. Еще меньше лент, касавшихся текущих военных действий, находим во Франции и Германии [Ibid.]. Та же тенденция наблюдалась и в России, где авторы только в 50 из 106 фильмов, произведенных в августе-сентябре 1914 г., обращались к вооруженным конфликтам и их последствиям, в то время как в 1916 г. таких лент было только 13 из 500 [Гинсбург, с. 191 и след.]. Сходные тренды наблюдались и в западной, австрийской части Австро-Венгрии, где в 1914 г. военным сюжетам было посвящено 11 % из общего числа (61) художественных фильмов. В 1915 и 1916 гг. подобные работы составили 26 и соответственно 17 % от всех 30 и соответственно 24 вечерних киновыпусков. В 1917–1918 гг. лишь 10 % из 142 австрийских игровых фильмов имело отношение к военной тематике⁵.

Одновременно с этим, с 1914 г. и особенно в последние годы «первой европейской катастрофы» резко поднялась репутация кинопро-

⁵ Количественный анализ основан на данных следующего издания [Thaller, S. 514–517].

дукции (доселе осмеиваемой образованными и привилегированными слоями как «ярмарочное развлечение»), благодаря ее широкому использованию в целях «национального воспитания». Именно правительственные чиновники и особенно армейское командование все чаще отмечали пользу «визуального фронта», ибо почтовые открытки, плакаты, фотографии и фильмы в равной мере подчеркнута окарикатуривали и демонизировали противника [Stites, 1992, p. 89; Friedrich, S. 103; Christen, S. 85; Hagenow, S. 14; Jahn, P. 14f., 32, 36–38, 48–50, 56–59, 76, 79, 87, 132, 159, 165–166, 172].

К тому же изобразительные средства часто отсылали к критическим моментам военных событий, когда из-за угрозы поражений местные гражданские лица характеризовались как ненадежные и враждебно настроенные. Некоторые австро-венгерские фотографии и фотосериі, запечатлевшие местных жителей в Галиции, Буковине или на оккупированных сербских, украинских и польских территориях, следует трактовать с учетом вышесказанного. Снимки отражают позицию фотографа (например, снимок, сделанный вблизи галицийского городка Пидгайцы, демонстрирующий местного жителя и снабженный замечанием на полях: «ненадежная личность»). Изображенный седобородый мужчина, плохо одетый и босой, представлял собой «типичного чужака на окраине цивилизации» – сюжет, который неоднократно обнаруживается в многочисленных фотоколлекциях [Holzer, 2005, S. 267–269, 335–339].

По мере продвижения войск Центральных держав на восток и установления в занятых областях оккупационной администрации меняются тематика и формы отображения. Теперь изображения отражали в некоторой степени немецкую и австро-венгерскую аспирацию, дабы инициировать «цивилизаторский проект» в зонах оккупации, сопровождавшийся «открытием локальных культур и традиций». Желанными сюжетами были уже не сцены нищеты и другие шокирующие впечатления с «Востока». Все чаще внимание концентрировалось на украинцах в их «национальных одеждах», на поющих и танцующих детях, сытых и ухоженных, причем снимкам «добротной обуви» отводилась роль доказательной детали [Ibid., S. 270–274].

Плен, беженцы, гендерная проблематика

Большинство изображений, конечно, демонстрирует не гражданских лиц, а бойцов. Причем типичным сюжетом было массовое взятие в плен вражеских солдат, а не изображение отдельных лиц или небольших формаций. В этом плане богатый материал давал Восточный фронт, т. к. именно здесь велись активные боевые действия. В результате ряда удачно проведенных операций были захвачены большие территории и попали в окружение целые армии. Цифры подтверждают это наблюдение. Из семи миллионов военнопленных

Первой мировой войны пять миллионов приходилось на Восточный фронт [Leidinger, Moritz, S. 53–56]. Соответственно стандартному репертуару, показывались военнопленные на территории Польши, Украины или в тылу Австро-Венгрии, России и Германии, съемки, показывавшие военные успехи своих войск посредством демонстрации «людской добычи», интернированных вражеских солдат [Holzer, 2005, S. 220–227]. Документальные фильмы вроде российской ленты о городе Перемышле и его укреплениях, снятой вскоре после сдачи в плен весной 1915 г. 120 000 защитников австро-венгерской армии, показывают наряду с победителями, Николаем II и его генералами, тысячи военнопленных венгерских солдат, ожидающих на сборных пунктах транспортировки на Дальний Восток [Filmarchiv Austria (RUS 1915)]. Немецкая лента «К боям за Тернополь» (1917) презентует сходную ситуацию, но со взглядом с другой стороны. В ней можно видеть принца Эйтеля Фридриха, генерал-фельдмаршала Леопольда Баварского, а также Вильгельма II, рассматривающих захваченное оружие и военнопленных русской армии [Rother, p. 222].

Примерно 400 сюжетов собрания фотографий, хранящегося в Военном архиве Вены (Wiener Kriegsarchiv), демонстрируют вооруженные столкновения в Галиции и на Волыни. Сюда же входит тема военнопленных. Около 20 000 фотографий в этой коллекции иллюстрируют военные маневры и их последствия. Так, например, 1 457 фото показывают подразделения в наступлении или при отходе. Еще 2 696 фотографий при этом запечатлели деревни и ландшафты близких к фронту районов, которые связаны боевыми, этапными и оккупационными зонами⁶.

Признаком захвата части территории противника были сцены нарастающих потоков беженцев, причем кадры такого рода одновременно объединяли поля сражений с «фронтом на родине». Они демонстрировали не просто моменты изгнания людей как доказательство жестокости вражеских войск [ср.: ÖSTA/KA, 1915; Unsere Krieger, S. 445; Berliner, S. 478], но и тяжкий путь в тыл, прибытие в «безопасные районы» и укрытие в них. Плакаты, а также фильмы при случае использовали подобные сюжеты, чтобы обратить внимание на меры, посвященные помощи «лишенным родного очага». Власти требовали распространения изображений лагерей беженцев, поскольку они служили подтверждением государственных мероприятий по социальному обеспечению, успехов ведомств по обеспечению работой или амбициозных мер в сфере воспитания [Bildarchiv, S. 25, 52f., 113, 131, 134, 144, 158, 200f; см. также: Filmarchiv, Erholungsfürsorge (A 1916)].

Все больше женщин оказывалось занятыми в исконно мужских сферах деятельности. Речь о месте полов в течение четырехлетней «схватки народов» идет, к примеру, в австрийском документальном

⁶ Количественный обзор сюжетов фотографических собраний относительно Галиции и Волыни во время Первой мировой войны [ÖSTA/KA, Fotos Galizien und Wollhynien].

фильме «Сталелитейная фабрика Польди Хютте во время мировой войны» (1916 г.), демонстрирующем, вряд ли специально, все возрастающий процент женского труда в военной экономике [Filmarchiv, Stahlwerk (A 1916)].

Участие женщин в промышленном производстве угрожало привычному патриархальному порядку. Несмотря на существовавшую тенденцию, рассматривать такое положение как феномен, обусловленный временем, находилось немало женоненавистников, традиционно оценивавших «женский элемент» как опасный и ненадежный, например, в шпионских фильмах [Holzer, 2005, S. 214f.]. Иная позиция состояла в идее необходимости защиты «женского начала» как «гаранта дальнейшей жизни нации», все более ценилось «послушное, целомудренное и лояльное» поведение в отношении супруга и фатерланда. Поэтому преобладал образ женщины, не только преисполненной материнской любви, распространявшейся на ее чад, но и готовой к оказанию помощи. Австрийский фильм «Дитя ближнего моего» (1918) комбинирует традиционные стереотипы отношений полов с выполнением общественного долга, включающего работу в благотворительных организациях, таких как «Фонд помощи детям» императрицы Зиты, обращенного к нуждающимся детям или сиротам [Ballhausen, S. 156f.].

На плакатах, почтовых открытках, фотографиях и в фильмах неоднократно повторяется образ медсестры. Бесчисленные киноленты и иллюстрированные журналы изображают сотрудниц Красного Креста в районах воинских операций и в госпиталях. На обложке венского еженедельника «Sport & Salon» (1917, сентябрь), предназначенного для «высшего света», можно было увидеть придворную даму-мадьярку в платье Красного Креста [Holzer, 2005, S. 208].

Вера и смерть

Наряду с визуализацией образа женщины важное место занимали религиозные темы. Соответствующая символика, изображения или съемки месс, проповедей и молитв имели огромное значение. То же самое касалось разрушения церквей и монастырей, причем эта тематика использовалась преимущественно с российской стороны, дабы осудить поведение контрагентов Центральных держав. Ведь операции на территориях противника совершали в первую очередь австро-венгерская армия и их союзники, где их и можно было обвинить в соответствующих «варварских деяниях» [Ibid., S. 34–351; Jahn, p. 165]. Реже были в обращении картины разрушений, совершенных Антантой. Немцы и австрийцы реагировали соответственно: они распространяли печатную продукцию, представлявшую их оккупационную власть как осторожную, защищавшую местное население и его «культурные ценности». И хотя венские собрания фотографий передают эти настро-

ения, отдельные снимки позволяют увидеть известные отклонения от желаемой композиции. Например, снимая невредимые, не разрушенные церкви с целью указать гуманную роль воинских подразделений, фотографы то и дело фиксировали использование помещений церквей не по назначению (в качестве полевого склада или административной конторы). В таких случаях снимки скорее служили свидетельством невнимания к местным культурным особенностям и благочестию, несмотря на старание военными и гражданскими элитами Германии и Австро-Венгрии соблюсти принципы уважения религиозных чувств «местного населения на Востоке» [Holzer, 2005, S. 355f.].

Религиозные традиции служили задаче национальной солидарности. Подходящим фоном для этого оказывалось празднование Рождества, причем в противоположных лагерях. Российские и немецкие киноиздания вроде «Рождества в окопах» или «Рождественских колоколов» (1914) обретали большое значение еще и потому, что ведущие войну страны ежедневно сталкивались со смертью [Kaes, p. 24; Youngblood, p. 188].

При этом скромный деревянный крест презентовал «величайшую жертву за отечество» гораздо в большей степени, чем кладбища или массовые захоронения «где-то на поле чести» [Holzer, 2005, S. 376–379]. Как в том, так и в другом случае было ясно, что павшие должны были оставаться недоступными взору. Трупы, нередко ужасно изуродованные, следовало скрывать, дабы не беспокоить соотечественников в тылу. Враг, даже убитый, продолжал напоминать о возможной судьбе солдат и поэтому не относился к предпочитаемым сюжетам [Riha, S. 151; Holzer, 2005, S. 384–403]. В немилость у цензуры попала даже довоенная продукция вроде австрийской ленты «В руках смерти» (1912). Компетентные лица в Праге находили неприемлемым даже сцены с «безжалостной фигурой с косой», которая «забирала» главного героя или даже рассказчика [Thaller, S. 73]. В то же время столкнулись с другим изделием из Австро-Венгрии. Берлинские блюстители порядка, оценивая третий акт фильма «Грезы австрийского резервиста» (1915), сочли необходимым уберечь зрителя от тех сцен, в которых герой страдает от своих ран [Ibid., S. 218].

Несмотря на подобную установку, не было недостатка в изображениях насильственной смерти. Бесчисленные снимки, сделанные во время первой фазы военных действий, зафиксировали «шпионов», «предателей» или «коллаборационистов» у виселицы или перед расстрелом. Ставилась цель навести страх на потенциального противника не только с помощью публичного «правосудия». Делу устрашения, кроме листовок, сбрасываемых с самолетов, служило изрядное число фотографий, рекомендованных к публикации кайзеровскими офицерами в 1914 и 1915 гг.⁷ Подобное развитие событий влияло и на характер использования документальных фильмов.

⁷ Количественный анализ сюжетов фотографических собраний относительно Галиции и Волыни во время Первой мировой войны [ÖSTA/KA, Fotos Galizien und Wolhynien].

Майор Карл Иосиф Циттерхофер (один из тех, кто отвечал за военную кинопродукцию в Дунайской монархии) воспринял «сцену казни через повешение» в одной из кинолент (название не обозначено) совершенно позитивно, как «единственную в своем роде сенсацию». «Экзекуция», по Циттерхоферу, была «заснята в Кракове поздней осенью 1914 г.». «Там, – добавил он, – казнили одного изверга, который своей изменой уготовил смерть от огня группе раненых, запертых им в риге» [Der Filmbote].

Жестокости и ранения, силы и ресурсы

Фактически все государства публиковали иллюстративные материалы и информацию о приговорах и ликвидации «вражеских агентов» и «непатриотично ведущих себя криминальных элементов». Особенностью австрийской Галиции было то, что чуть ли не все украинское население сильно подозревалось в братских отношениях с наступавшими русскими. Преследования и массовые казни, ставшие результатом этого, грозили выйти из-под контроля и должны были быть ограничены и направлены в правовое русло. Ситуация, отразилась в решениях официальных австро-венгерских инстанций отказаться от «картин-страшилок с повешениями и расстрелами» в Польше и Украине [Holzer, 2005, S. 329]. Поэтому 65 сюжетов, посвященных «перегибам» на Восточном фронте в Галиции, были отправлены в архив⁸.

До этого решения⁹ державы Антанты опубликовали уже немало негативного о реальных и мнимых преступлениях армий Австро-Венгрии и Германии. Больше всего это касалось «немецкого варварства» в Бельгии. Фотографии будто бы изувеченных девушек с отрезанными руками доминировали даже по сравнению с русской пропагандой. Держава Гогенцоллернов в ответ стремилась к умалению репутации Великобритании, которая изображалась как жестокий «Джон Буль», эксплуатирующий бесчисленные народы [Christen, S. 45]. Хватало примеров и из пропаганды, направленной против «врага на Востоке», – как в Германии, так и в Дунайской монархии [Rother, P. 223f.]. Здесь предпочтительной мишенью для иронии и проклятий были казаки [См.: Stadler]. Эти изображения, по большей части фантастические и несостоятельные, рисуют их как бандитов и убийц, насилующих женщин и мучающих военнопленных [Ibid., S. 78–81]. В известной степени они корреспондировали с российски-

⁸ Количественный обзор сюжетов фотографических собраний относительно Галиции и Волыни во время Первой мировой войны [ÖSTA/KA, Fotos Galizien und Wolhynien].

⁹ Оно было более связано со страхом перед продолжавшимися негативными сообщениями иностранной прессы о казни бывшего венского депутата Государственного Совета Чезаре Баттисти, нежели с событиями в Галиции [Holzer, 2005, S. 320–327].

ми картинками, где казаки не раз прославлялись как «крепкие парни» и «непобедимые герои» [Гинзбург, с. 191 и след.; ср.: Stites, 1999, p. 25].

С продолжением боевых действий утрачивали свою ценность идеализация силы и превосходства, с одной стороны, а с другой – поругание чести и криминализация противника. Общество постепенно отвергало в равной степени воинственные и неуклюжие обращения. Правительства враждующих стран осознали необходимость учесть такие настроения, сделав упор, например, на медицинском обеспечении раненых солдат, и этой теме были посвящены целые серии изображений. Не удивительно, что только на 239 снимках материалов Галиции и Волыни в центре внимания оказались раненые, в то время как гораздо больше снимков, а именно 434, показывают госпитали и полевые лазареты¹⁰. В немецкой кинопродукции демонстрировалась забота об инвалидах и излечении раненых солдат, дабы задокументировать успехи медиков в их нелегком труде, направленном на превращение «калек» и лиц с «ограниченными возможностями» в «полноценных» членов воюющего общества [ср.: Köhne].

Катастрофическая ситуация в российских городах и нарастающий экономический кризис в Германии и Австро-Венгрии отражались на заметном сокращении преувеличенно героических картин. Герои и атаки на врага были чуть ли не полностью заменены жанрами, в которых на первый план выходили социальная ответственность, благотворительная деятельность, вопросы питания или поддержки армии в полевых условиях. Заметно увеличилось число снимков оружейных складов и фабрик, универсальных магазинов, товаров, общественных кухонь, а также сбора металлолома или суррогатов. Пускай не намеренно, но кинооператоры и фотографы таким образом запечатлевали превращение Первой мировой войны в «битву ресурсов»¹¹.

Новые способы ведения войны

Ключевое место казаков в пропагандистских кампаниях на Восточном фронте фиксирует традиционные способы ведения боя не в последнюю очередь с помощью кавалерии. Тем не менее, из этого не следует делать далеко идущие выводы. Многие снимки не отличаются от снятого в других регионах. Около 4 000 снимков из примерно

¹⁰ Количественный обзор сюжетов фотографических собраний относительно Галиции и Волыни во время Первой мировой войны [ÖSTA/KA, Fotos Galizien und Wolhynien; ср.: Holzer, 2005, S. 200–207].

¹¹ См. по данным сюжетам в Filmarchiv Austria: [Das Statthaltereispital, A 1914]; Das Stahlwerk, A 1916; Metallene Hausgeräte in einer Kriegs-Metall-Einkaufs-Stelle der Metallzentrale, A ca. 1917; Erholungsfürsorge, A 1916; [Das Rote Kreuz an der Front, H/A 1916]; Werdegang einer Soldatenmontur, A 1917; Munitionsfabrik Hermann Weiffenbach, A 1917; Lager der Austria Petroleumindustrie, A 1917. В квадратных скобках этого списка обозначены принятые архивом в качестве условных названия фильмов, т. к. оригинальные названия до сих пор не выяснены.

20 000 фотографий Военного архива Вены, касающихся происходившего в Галиции и на Волыни, содержат мотивы окопов и полевых укреплений, отсылающие к долгим фазам позиционной войны, могущих оказаться в любом другом месте¹².

В то же время фото разрушения гражданских или военных объектов служили не только цели демонизации вражеских армий и их «жажды разрушения», но и наглядным объяснением трансформаций в ведении войны. Хотя на заключительной фазе военных действий на Восточном фронте танки почти не появлялись, в остальном здесь можно было найти, хотя и в довольно незначительном количестве, все новейшее снаряжение и виды оружия, которые тогда применялись и на Западном фронте. Камера фиксировала введение многих инновационных технологий. Отныне в «иллюзиях» можно было увидеть тяжелые орудия, газовые маски, горы снарядов, разведывательные самолеты и цеппелины, новые изделия отечественного военного производства, а также трофеи и вооружение вражеских армий [Sorlin, 2000, p. 12].

Гораздо труднее было с помощью фильмов и фотографий показать аутентичные сцены боя. «Зрители недовольны неспособностью кинотеатра уловить происходящее на фронте в данный момент», – жаловался, например, автор статьи в специализированном журнале «Кинематограф»¹³ в августе 1914 г. и продолжал: «На современном поле сражения можно увидеть вооруженные формирования, о которых невозможно сообщить почти ничего примечательного. Удаленность от них огромная, отдельные бойцы едва видны» [цит. по: Vallhausen, 2007, p. 150].

Это высказывание особенно подходило к обстоятельствам на восточном театре вдоль фронтовой линии более чем в 1 600 км. На Западе, прежде всего во Франции и в австрийско-итальянских Альпах, операции вели с позиций и окопов, которые выстраивались друг за другом на сравнительно коротких дистанциях в 700 км. Здесь снимали относительно много фильмов, в то время как о сражениях в Польше и на Украине материала почти не было. Однако, несмотря на такого рода различия для фотографов и кинооператоров повсюду был велик риск быть ранеными или убитыми во время боевых действий. «Мы не преподносим каких-то демонстративных боев против врага», – констатировал «Кинематограф», который выражал большое сомнение в ценности съемок атакующих подразделений «с безопасной дистанции» [Ibid., S. 149].

Сталкиваясь с такого рода «кризисом репрезентации», издатели видовых открыток и временами даже кинематографисты, чтобы передать технологическими способами «борьбу народов», концентри-

¹² Количественный обзор сюжетов фотографических собраний относительно Галиции и Волыни во время Первой мировой войны [ÖSTA/KA, Fotos Galizien und Wolhynien].

¹³ Журнал издавался в Австрии в 1916–1932 гг.

ровали внимание на «героизме отдельных лиц» и на «рыцарских состязаниях», например, в воздушном бою. Съёмки с большой высоты компенсировали утрачиваемую перспективу вида с «господствующей высоты» некогда ограниченным, но ныне равным «региону сражения» видом театра военных действий¹⁴.

Польза от этих картин быстро оказалась под вопросом, – как в отношении чисто военной «разведки фронта», так и в плане определенных пропагандистских целей [Ballhausen, p. 150]. Осознавая опасность проведения съёмок на фронтовой линии из-за повышенного риска, корреспонденты пытались счастья – как это было еще до 1914 г., – в фиксации сцен второго порядка, которые снимались вне окопов, а иногда и в «комфортабельных студиях» [Kaes, p. 28f.]. И хотя зачастую возникавшие при этом «реконструкции» не производили на зрителей особого впечатления [цит. по: Rother, p. 222], кинопроизводство и военная фотография продолжали инсценировать сцены боев и атак. Например, картины, демонстрирующие австро-венгерские атаки с применением ядовитых газов и ручных гранат, появились во время учений в австро-венгерской армии в «галицийском тылу» [Holzer, 2005, S. 164–167].

Решающий поворот

Визуализация современного ведения войны и связанная с этим проблема ее изображения при продолжающихся боевых действиях, особенно после 1916 г., отступила на задний план. Военные и гражданские в равной мере устали от войны и возросла потребность в развлечениях и отдыхе. Интерес к съёмкам с фронта быстро упал. «Кинематограф», который в значительной степени ориентировался на довоенные жанры, стал символом эскапизма [Ballhausen, p. 153; Reeves, p. 40f.; Jahn, p. 158, 175f.; Stites, 1999, p. 31; Stiasny, S. 37–39]¹⁵.

В подобных условиях «русские» все реже стали рассматриваться своими противниками в качестве врагов. Во все возрастающем количестве циркулировали иллюстрации о братаниях на Восточном фронте, с которыми власть не могла смириться [Christen, S. 111f.]¹⁶, противопоставляя этим настроениям «патриотический образ мыслей», а также «солдатский и гражданский долг» в «великих битвах народов». «Ворчун», австро-венгерский фильм, посвященный теме военного займа, премьеры которого состоялась в Вене 28 ноября 1916 г., уловил это

¹⁴ Особенно важны в этом отношении два австро-венгерских фильма. Первый, снабженный венгерскими титрами, показывает морского пилота над Триестом, второй – воздушный налет в районе Тернополя [Filmarchiv: Die zehnte Isonzoschlacht, A 1917; Bei den Tiroler Kriegsadlern im Winter, A ca. 1916]. Кроме того, о воздушной войне см.: [Phönix-Flugzeugwerke, Wien, A ca. 1916; Fesselballon-Abteilung der Österreichisch-Ungarischen Armee, A 1916].

¹⁵ Знаковым образом отражается «пацифистский поворот» 1916 г. в Германии и в падении интереса детей к играм в войну [Demm, 2002, S. 109. См.: Oppelt].

¹⁶ Кроме того, немецкий фильм «Friedensverhandlungen von Brest Litowsk» (D 1918) [Zwischentitel 11, 12], ср.: [Oppelt, S. 298].

настроение властей и изобразил землевладельца, жаловавшегося без конца на общее положение дел. Проклинающий скверную, скудную и лишенную мяса еду, этот пессимист и брюзга в конце концов исцеляется от своего дурного настроения после того, как некий сон навеял в его сознание мысль о «жуткой солдатской жизни» [Kinematographische; Österreichischer, 10f.; Paimann's Filmlisten, Nr. 48].

Подобные «позитивные патриотические послания» не могли дать забыть бойцам и их близким на родине о лишениях и страданиях. Некоторые фильмы фокусировали внимание непосредственно на тревоге, охватившей население воюющих государств. Вместо того, чтобы неизменно превозносить единство нации в рамках «политики гражданского мира», немецкий фильм «Неискупаемо», в первый раз показанный летом 1917 г., сделал отсылку к забастовочной волне предыдущих месяцев, – правда, чтобы проклясть «стачки», заклеить их как измену фронтовому содружеству и таким образом предвосхитить будущие легенды об «ударе кинжалом в спину» [Stiasny, S. 75–78].

Картины массовых протестов начала 1918 г. в Германии и Австро-Венгрии напомнили зрителю и о последствиях русской революции, хотя большинство иллюстративного материала имело мало отношения к подлинным событиям в бывшей Российской империи и ее пограничных областях. Кое-какие еженедельные выпуски новостей занимались перемирием на Востоке, мирными переговорами и договоренностями в Брест-Литовске и Бухаресте¹⁷. Правда, и в этих лентах отсутствовала нужная дополнительная информация о данных конференциях и соглашениях. Большинство снятого материала показывало делегации и отдельных их членов, а также места встреч и договоров – без последующих комментариев [Oppelt, S. 295–301]. Недостаток пояснений компенсировался тем простым фактом, что «иллюзионы» выносили на публику тему мира между независимой Украиной и Центральными державами в феврале 1918 г. [Filmarchiv Austria. Der Erste], а также наступление соединений армий Австро-Венгрии и Германии при Черновцах в прошедшем году и демонстрацию полуострова Крым в ходе немецко-австрийско-венгерской оккупации. В итоге, подобные картины непреднамеренно напоминали об экспансионистских и империалистских целях правительств Берлина и Вены [Filmarchiv Austria. Bilder].

Но в общем и целом «изображение Востока» не играло какой-то заметной роли в кинодокументах поздней фазы Первой мировой войны. Многие ленты, как и ранее, показывали события на Западном или – в случае с Австро-Венгрией – на итальянском фронтах. Революция же в России и гибель империи Романовых в большинстве случаев не находили своего отражения. Состав фотографий подтверждает это соотношение. Из 4 353 изображений в собрании Военного архива Вены, посвященных мероприятиям управления военного ведомства Австро-Венгрии на Восточном фронте, только 12 относятся к польским

¹⁷ Наряду с соответствующими немецкими фильмами см.: [Der Friedensschluss].

или украинским областям, оккупированным армией Австро-Венгрии [ÖSTA/KA, Fotos]. Эти цифры корреспондируют с общим сокращением австро-венгерских съезок на «русском фронте»¹⁸.

Естественно, результат такого количественного анализа нельзя идентифицировать с упадком интереса к соответствующим регионам. Помимо цензуры, не допускавшей распространения нежелательной информации, многие журналисты, желавшие больше узнать о событиях на «Востоке», просто не имели доступа на территорию Советского государства. Поэтому программу и идеи новых советских властей они пытались, хотя бы частично, показать на примере внутренних проблем своей страны. Но комедийный фильм «Время большевиков», сделанный по заказу Императорского и королевского бюро военной прессы, скорее заставлял смеяться над «экономикой суррогатов», нежели над тем, как он преподнес максимы и лозунги Ленина и его соратников. Фильм дождался своей премьеры 8 ноября 1918 г., когда монархии Австро-Венгрии и Германии уже рушились [Der Kinobesitzer, Nr. 55, 14.10.1918, S. 6; Österreichischer Komet. Nr. 438, 5.10.1918, 36; Paimann's Filmlisten. Nr. 135, 27.9.–3.10.1918, Vgl.: Thaller, S. 440f.]. Антикоммунистические или же антисоветские фильмы еще изрядное время были на экранах государств, ставших наследниками погибших центральноевропейских монархий. Большинство этой продукции продолжало проблематику крушения и революции в духе аллегорий, сравнивая перевороты конца Первой мировой войны с давно минувшими поворотными моментами истории и обращаясь к социальным и политическим конфликтам, в том числе и с намерением преодолеть жалкое состояние граждан Веймарской и Австрийской республик [Stiasny, S. 123–127]¹⁹.

Ginzburg S. C. Кинематография дореволюционной России. М. : Искусство, 1963. 488 с. [Ginzburg S. S. Kinematografiya dorevoljutsionnoj Rossii. M. : Iskusstvo, 1963. 488 s.]

Ballhausen Th. Between Virgo and Virago. Spatial Perceptions and Gender Politics in Austrian Film Production, 1914–1918 // Gendered Memories. Transgressions in German and Israeli Film and Theater / ed. V. Apfelthaler, Ju. B. Köhne. Wien, 2007.

Beller S. The tragic carnival: Austrian culture in the First World War // European Culture in the Great War. The Arts, Entertainments, and Propaganda, 1914–1918 / ed. A. Roshwald, R. Stites. Cambridge, 1999. P. 154–159.

Berger R. U. Roland und Benjamin Strasser als Kriegsmaler im Ersten Weltkrieg. Dipl. Arb. Wien, 2005.

Berliner Illustrierte Zeitung, 29.08.1915.

Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. Pk 3.148/25.

Bremm K.-J. Propaganda im Ersten Weltkrieg. Darmstadt, 2013. S. 188.

Christen B. Propaganda an der Ostfront im Ersten Weltkrieg. Dipl. Arb. Wien, 2004.

¹⁸ В Военном архиве Вены из 70 коробок с фотографиями, сделанными в Галиции, 44 сохранили произошедшее в 1915 г., 26 и 13 освещают события 1916 и 1917 гг., и лишь в одной-единственной картонке находятся снимки 1918 г. [ÖSTA/KA, Fotos Galizien].

¹⁹ В этом плане следует рассматривать и австрийский фильм «Der Kampf der Gewalten» (1919).

Cornwall M. The Undermining of Austria-Hungary. The Battle for Hearts and Minds. New York ; London. 2000. 485 p.

Demm E. Ostpolitik und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main, 2002. 422 S.

Der Kinobesitzer. Nr. 55. 14.10.1918.

Eilers S. Propaganda in der Hosentasche: Politisches auf der Zündholzschnitzerei // Zühlke R. Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg. Hamburg, 2000. S. 179–212.

Filmarchiv Austria. Bei den Tiroler Kriegsadlern im Winter (A ca. 1916).

Filmarchiv Austria. Bilder von der Halbinsel Krim (D 1918).

Filmarchiv Austria. [Das Rote Kreuz an der Front, H/A 1916].

Filmarchiv Austria. Das Stahlwerk der Poldihütte während des Weltkrieges (A 1916).

Filmarchiv Austria. [Das Stathaltereispital für Kriegsverwundete im Hause des Flottenvereins-Kino in Wien VI, A 1914].

Filmarchiv Austria. Der Erste Friedensvertrag des Weltkrieges (D 1918).

Filmarchiv Austria. Der Friedensschluss Österreich-Ungarns mit Rumänien (A 1918).

Filmarchiv Austria. Der Kampf der Gewalten, 1919.

Filmarchiv Austria. Die Eroberung Przemysls durch russische Truppen 1915 und Besuch des Zaren (RUS 1915).

Filmarchiv Austria. Erholungsfürsorge der Gemeinde Wien im Flüchtlingslager in Oberhollabrunn (A 1916).

Filmarchiv Austria. [Fesselballon-Abteilung der Österreichisch-Ungarischen Armee, A 1916].

Filmarchiv Austria. Metallene Hausgeräte in einer Kriegs-Metall-Einkaufs-Stelle der Metallzentrale (A ca. 1917).

Filmarchiv Austria. Phönix-Flugzeugwerke, Wien (A ca. 1916)

Filmarchiv Austria. Werdegang einer Soldatenmontur (A 1917).

Friedrich C. Propaganda im Ersten Weltkrieg.

Hagenow E. von. Mit Gott für König, Volk und Vaterland. Die Bildpostkarte als Massen- und Bekenntnismedium // Zühlke R. Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg. Hamburg, 2000.

Hirschfeld G. Der Erste Weltkrieg als mediales und museales Ereignis // Der Erste Weltkrieg im Film / Hsg. R. Rother, K. Herbst-Meßlinger. München, 2009. S. 13–27.

Holzer A. Das Lächeln der Henker. Der unbekannte Krieg gegen die Zivilbevölkerung 1914–1918. Darmstadt, 2008.

Holzer A. Die andere Front. Fotografie und Propaganda im Ersten Weltkrieg. 3. Aufl. Darmstadt, 2012.

Holzer A. Österreichische Kriegsfotografie im Ersten Weltkrieg (1914–1918). Diss. Wien, 2005.

Jahn H. F. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca ; London, 1995.

Kaes A. Shell Shock Cinema: Weimar Culture and the Wounds of War. Princeton ; Oxford, 2009.

Kämpfer F. Plakat, poster, affiche, manifesto... Des Weltkriegs große bunte Bilder // Zühlke R. Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg. Hamburg, 2000. 430 S.

Kinematographische Rundschau. Nr. 455. 26.11.1916.

Köhne Ju. B. Kriegshysteriker. Strategische Bilder und mediale Techniken militär-psychiatrischen Wissens (1914–1920). Husum, 2009.

Korte B., Schneider R., Sternberg C. Der Erste Weltkrieg und die Mediendiskurse der Erinnerung in Großbritannien. Autobiographie – Roman – Film (1919–1999). Würzburg, 2005.

Lager der Austria Petroleumindustrie, A 1917.

Leidinger H., Moritz V. Die Repatriierung der k.u.k. Kriegsgefangenen 1918 bis 1922 // *Politicum*, 2007. 102, 3. S. 53–56.

Morelli A. Die Prinzipien der Kriegspropaganda. Hannover, 2004. Munitionsfabrik Hermann Weiffenbach, A 1917.

Oppelt U. Film und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Propaganda als Medienrealität im Aktualitäten- und Dokumentarfilm. Stuttgart, 2002.

Österreichisches Staatsarchiv (ÖSTA)/Wiener Kriegsarchiv (KA). Akten des Kriegspressequartiers. Karton 1. Gutachten über die bisherigen Leistungen der Kriegsphotographen, Oktober 1915, 2.

ÖSTA/KA. Akten des Kriegspressequartiers, Karton 37, Brief des Vertreters des k.u.k. Außenministeriums beim k.u.k. Armeekommando v. 4.9.1915.

ÖSTA/KA. Fotos Galizien, Kt. 1–70.

- ÖSTA/KA. Fotos Wolhynien, Kt. 1–12.
Österreichischer Komet, Nr. 341, 25.11.1916, 10f.; Nr. 438, 5.10.1918, 36.
Paimann's Filmlisten, Nr. 135, 27.9.-3.10.1918.
Paimann's Filmlisten, Nr. 48, 24.-30.11.1916.
 Paul G. Krieg und Film im 20. Jahrhundert. Historische Skizzen und methodologische Überlegungen // Krieg und Militär im Film des 20. Jahrhunderts / Hsg. B. Chiari, M. Rogg, W. Schmidt. München, 2003. 654 S.
 Pörzgen H. Theater als Waffengattung: Das deutsche Fronttheater im Weltkrieg, 1914 bis 1920. Frankfurt, 1935. 92 S.
 Reeves N. Official British Film Propaganda // The First World War and Popular Cinema. 1914 to the Present / ed. M. Paris. New Brunswick ; New Jersey, 2000.
 Riha K. Den Krieg photographieren // Kriegserlebnis. Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und symbolischen Deutung der Nationen / Hsg. K. Vondung. Göttingen, 1980.
 Rother R. The Experience of the First World War and the German Film // The First World War and Popular Cinema. 1914 to the Present / ed. M. Paris. New Brunswick ; New Jersey, 2000.
 Sorlin P. Cinema and the Memory of the Great War // The First World War and Popular Cinema. 1914 to the Present / ed. M. Paris. New Brunswick ; New Jersey, 2000.
 Stadler, Steininger, Berger – Die Kosaken im Ersten und Zweiten Weltkrieg / Hrsg. H. Stadler, R. Steininger, K. C. Berger. Innsbruck ; Wien ; Bozen, 2008. 226 S.
 Stiasny Ph. Das Kino und der Krieg. Deutschland 1914–1929. München, 2009.
 Stites R. Days and Nights in Wartime Russia: Cultural Life, 1914–1917 // European culture in the Great War. The arts, entertainments, and Propaganda, 1914–1918 / ed. A. Roshwald, R. Stites. Cambridge, 1999. 442 p.
 Stites R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge, 1992. 269 p.
 Thaller A. Österreichische Filmografie. Bd. 1: Spielfilme 1906–1918 / Hrsg. A. Thaller. Wien : Verlag Filmarchiv Austria 2010.
 Unsere Krieger. Bilder aus großer Zeit, 1.8.1916.
 Youngblood D. J. A War Forgotten: the Great War in Russian and Soviet Cinema // The First World War and Popular Cinema. 1914 to the Present / ed. M. Paris. New Brunswick ; New Jersey, 2000.
 Zühlke R. Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg. Hamburg, 2000. 430 S.

Translated by Alexander Kozlov
The article was submitted on 10.12.2013

Ханнес Лейдингер, PhD.
 Австрия
 Венский университет
 hannes.leidinger@univie.ac.at

Hannes Leidinger, PhD.
 Austria
 University of Wien
 hannes.leidinger@univie.ac.at

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРМАНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

MODERN GERMAN HISTORIOGRAPHY OF WORLD WAR I

Проводится анализ немецкоязычной научной литературы о Первой мировой войне на протяжении последних лет. Автор приходит к выводу, что многие из указанных исследований подчеркивают линии развития и преемственность на протяжении всего века мировых войн. Они обращают внимание не только на исторические события, но и на ментальность. Культура воспоминания о войне начала формироваться не только в течение ноября 1918 г., но находила свое выражение еще раньше в сооружении памятников в тылу и на фронте. Первая мировая война изменила восприятие структур времени, сделала возможным ускоренное усвоение актуального исторического опыта, что способствовало трансформации образа будущего.

Ключевые слова: Первая мировая война; историография; история повседневности, историческая антропология, история «снизу», история переживания и воспоминания.

The author analyzes recent German scholarly literature on World War I. He concludes that many of the sources under consideration emphasize the tendencies of development and continuity during the century of world wars. Not only do they focus on historical events but also mentality. The culture of war memory took shape before November 1918 and was reflected in the construction of monuments in the rear and frontline. World War I changed the perception of the structures of time, making a rapid adoption of current historic experience possible, which contributed to the transformation of the image of the future.

Keywords: World War I, historiography; history of everyday life; historical anthropology; history from below; history of experience and memory.

Первая мировая война, начавшаяся сто лет назад, по-прежнему остается Великой войной в исторической памяти и политической культуре бельгийцев, французов, британцев и многих народов Содружества. В России она воспринималась современниками как вторая Отечественная или даже Великая Отечественная только до 1917 г. В советскую эпоху официальный политический язык, идеология, пропаганда и историография именовали ее не иначе как империалистической,

рассматривали почти исключительно как канун революции. Наконец ее вовсе заслонили трагические и героические события 1941–1945 гг., закончившиеся великой победой советского народа над гитлеровской Германией. Поэтому до сих пор в нашей стране Первая мировая – война неизвестная и незначительная. А что в Германии? Там «черное тринадцатилетие» также отодвинуло в тень события 1914–1918 гг., но устойчивый интерес немецких историков к ним никогда не ослабевал. Больше того, в последние годы обильный источниковый материал, который попросту игнорировался представителями традиционной политической и военной истории, дает возможность проведения исследований войны как явления человеческой культуры во многих контекстах: истории повседневности, исторической антропологии, истории «снизу», истории переживания и воспоминания... В этом смысле обращение к проблематике Первой мировой способно дать убедительный конструктивный ответ на призыв О. Г. Эксле перейти от «формальной междисциплинарности» и преодолеть кажущийся (длящийся примерно век) кризис исторической науки путем «раздисциплинирования» традиционных «гуманитарных» предметов и обращения к исторической науке как науке о культуре. Путь, по которому начали движение немецкие коллеги, нам еще предстоит проложить.

Немецкие историки начали заниматься культурно-историческими аспектами мировой войны, прежде всего проблематикой истории памяти и воспоминаний, сравнительно недавно. Решающий импульс таким исследованиям был дан американским историком Дж. Моссе, который привлек внимание к «культу павших» и «мифу военного переживания» [см.: Mosse]. Работы Р. Козеллека, М. Йесмана, С. Брандт и С. Беренбек дают убедительные примеры того, как символы массовой смерти и опыт насилия использовались в Германии в политических целях спустя годы после окончания Первой мировой войны [см.: *Der politische Totenkult; Behrenbeck; Brandt*]. То же можно сказать и об интеллектуальном осмыслении и эстетических интерпретациях военных переживаний учеными, писателями и художниками, особенно теми, кто смог достичь авторитета и влияния «властителей дум» за пределами традиционных элит [см.: *Kultur und Krieg; Fries*]. В последнее время получило развитие исследовательское направление, обращенное к проблематике «военной эсхатологии» как неизбежного следствия «священной» войны культур.

Важной остается задача продуктивного синтеза актуальных исследовательских практик – истории повседневности, менталитета, памяти с более традиционными направлениями истории войн и военного дела. По-прежнему ощущается потребность в сравнительно-исторических исследованиях политических, экономических, социальных и интеллектуальных процессов. Удачным примером такого рода является коллективная работа, посвященная сравнению социально-экономической и демографической ситуации в столицах трех воюющих европейских государств [см.: *Capital Cities at War*].

Чего не хватает немецким исследованиям мировой войны, так это общепринятого понятия, которое способно связать разнообразные направления исследований. Адаптированный англосаксонскими и французскими историками термин «культурная история войны» привлекателен из-за его международных коннотаций, однако его восприятие немецкими историками сопряжено с проблемами. «История культуры» кажется перегруженной исторически, поиски корней этого понятия возвращают в глубины немецкой философии и духовной истории XIX столетия. Кроме того, термин «культура» в сочетании с Первой мировой войной неизбежно отсылает к проблеме формирования идеи «особого пути», которая служила обоснованием претензий на политическое и общественное превосходство немцев над другими нациями уже до 1914 г. [см.: Sontheimer; Beßlich; Von Ungern-Sternberg]. Потребовалась следующая, еще более ужасная война, чтобы вывести из употребления это подчеркнуто ориентированное против запада представление о немецкой «культуре».

Культурная история войны, представляющая собой по сравнению с другими гуманитарными и социальными науками открытый концепт, тем не менее, имеет хорошую перспективу с точки зрения выбора как объекта исследования, так и субъекта – саморефлексии историописания. Исследования культурной истории Первой мировой войны, имеющие выраженный междисциплинарный характер, создают для этого хорошие предпосылки.

Сегодня появляется возможность свести промежуточный баланс состояния исторических исследований, посвященных Первой мировой войне. Вплоть до 1960-х гг. интересы исследователей были обращены к традиционной политической истории, затем они сместились в сторону социально-исторических проблем. В последние пятнадцать лет доминируют исследования, которые посвящены историческому опыту или представлениям о войне. Тем временем возникло совершенно самостоятельное исследовательское поле, в котором сходятся социально-исторические и культурно-исторические аспекты. Множество методов, тем и концепций показывает, что военная история развивается в русле всего исторического знания, хотя может возникнуть впечатление о размывании ее предметных границ и утрате исследовательского фокуса [см.: Perspektiven der Militärgeschichte]. Тем не менее, преобладающую тенденцию к расширению тематического и методического пространства следует рассматривать в качестве достоинства, даже если она затрудняет возможность ориентироваться во множестве разнообразных публикаций.

Сегодня академический интерес к Первой мировой войне все больше смыкается с общественным. По словам дублинского историка А. Крамера, тема, уже хорошо освоенная и укоренившаяся в исторической памяти британцев, в Германии еще только должна выйти из тени 1933–1945 гг. [см.: Kramer]. То, что эта проблематика уже давно привлекает внимание исследователей, убедительно показывает

коллективный труд немецких авторов «Первая мировая война в популярной культуре воспоминания» [см.: *Der Erste Weltkrieg in der populären Erinnerungskultur*]. На материале литературы, фильмов, экскурсий, реконструкций и музейных экспозиций они описывают механизмы международных культур воспоминания. Даже в этом сборнике столь широкая и сложная тема не получила всестороннего освещения, что еще раз показывает, насколько разнообразные следы эта война оставила в повседневности и в практиках воспоминаний.

Роль средств массовой информации на войне, будь то в тылу или на фронте, уже давно привлекла внимание исследователей. Однако и на этом поле еще существуют значительные пробелы. Работа К. Брокс «Пестрый мир войны» обращает внимание на мотивы иллюстрированных почтовых открыток. Она систематизирует множество сюжетов и открывает этот до сих пор не слишком заметный корпус источников для последующих исследований [см.: Brocks].

Статьи, помещенные в сборнике «Мы победим или падем» освещают некоторые аспекты жизни студенческих объединений в годы Первой мировой войны [см.: «*Wir siegen oder fallen*»]. Они убедительно показывают, что в ходе мобилизации студенты-корпоранты записывались в армию добровольцами чаще всего под влиянием сильного социального давления изнутри своих организаций. Одновременно их массовый уход на фронт ставил корпорации в тяжелое положение из-за нехватки людей. Тем не менее, на протяжении войны поддерживались связи между фронтовиками и их организациями: на фронт отправлялись подарки, газеты, в тыл – многочисленные письма, адресованные товарищам. Некоторые из материалов этого сборника содержат положения и выводы, нуждающиеся в проверке и уточнении. Так, результаты сравнительного исследования С. Левзен о студентах Тюбингена и Кембриджа в 1900–1929 гг. изложены в единственной статье. Настоятельно необходим интенсивный обмен идеями и мнениями, чтобы избежать фрагментарности в подобных исследованиях.

Существенный исследовательский пробел заполняет работа Р. Винкле, посвященная тому, как «благодарность отечества», выраженная в раздаче орденов и почетных знаков, стала объектом специальной исторической дисциплины [см.: Winkle]. Винкле констатирует, что в большинстве случаев фалеристика рассматривает знаки отличия «в отрыве от их носителей», что значительно обедняет подобные исследования [Ibid., S. 18]. Он представляет свой фундированный анализ материального и символического значения Железного креста и отслеживает перемены значения термина «военная честь» в дискурсе и на практике. Сначала награда воспринималась как знак высокого статуса носителя, гарантировала сохранение норм, образцов и иерархии, поддерживала тем самым боевую мощь армии. Однако эта аура разрушалась под воздействием накапливавшегося утомления от продолжавшейся войны и массовых награждений, вследствие чего орденосцы теряли ощущение избранности. В Веймарской республике

многие группы ветеранов выступали за переоценку знаков отличия. Полная тягот повседневная жизнь усиливала претензии на моральное и материальное признание их участия в войне. В этой связи автор выдвигает довольно спорный тезис, что республика не использовала возможность создания своего достойного образа среди бывших солдат. В то же время он убедительно показывает, как национал-социалисты смогли расширить круги своих приверженцев, апеллируя к социальной чести ветеранов.

То, что современная война с использованием передовой военной техники вовсе не была гуманной, как то предполагали некоторые современники накануне 1914 г., доказывали те солдаты, что покидали фронт калеками. Работа С. Киниц «Пострадавшие герои» посвящена истории инвалидов войны [см.: Kienitz]. Она принимает во внимание влияние условий среды в определенных исторических обстоятельствах, описывает воздействие изменений на внешний облик и физические данные человека. На богатом и разнообразном источниковом материале автор дает широкую панораму мнений апологетов и противников войны, медиков и политиков, а также самооценки собственно инвалидов. Тем самым они выступают не только как объект исследования, но и как субъект формирования общественного мнения. Автор характеризует 1914–1923 гг. как время, когда отношение к человеческому телу подвергалось постоянным изменениям. Если в начале войны ранение расценивалось как героическая жертва, то вскоре появление массового количества калек привело к тому, что они оказались на положении маргиналов. Из-за множества видов тяжелых ранений привычные образы героев и жертв должны были неоднократно видоизменяться и приспосабливаться к реальности. Уже после войны бытовало мнение, что настоящими героями могут считаться лишь те ветераны, кто превозмог нанесенный здоровью ущерб и смог продолжить трудовую деятельность. На такую модель поведения указывает и выдающийся философ современности П. Слотердайк: «Инвалидность может быть истолкована как школа воли» [Sloterdijk, S. 74]. Многочисленные специалисты – медики и техники – стремились реконструировать тело инвалида при помощи протезов. Киниц указывает, что, помимо социализации, это способствовало также восстановлению утраченной идентичности: мужчины и здорового человека. Противоречие между материальной непрерывностью и дискурсивной переменностью с особой силой проявилось после войны, когда инвалиды стали «аутсайдерами». В целом труд Киниц представляет собой опыт создания фундаментальной культурной истории инвалидов войны, который может быть прочитан как тягостное изображение утраты смысла социального существования «человеческих руин».

В последние годы интенсифицировались исследования исторического опыта насилия, оккупации и плена. В 2010 г. увидел свет сборник статей «Держаться до конца! Война и общество в сравнении.

1914–1918» под редакцией А. Бауэркемпфера и Э. Жюльен. Он целиком посвящен исследованию Первой мировой войны в контексте истории культуры, в том числе культуры воспоминания [см.: Durchhalten!]. Постановке проблемы посвящен весь первый раздел книги, озаглавленный «Исходный вопрос: принуждение или согласие как мотив продолжения борьбы». Среди прочего он содержит программную статью Г. Киршфельда и Г. Крумайха «Для чего “культурная история” Первой мировой войны?».

Снова и снова авторы обращаются к вопросам о природе и механизмах насилия на войне, особенно по отношению к мирному населению. А. Хольцер в своей работе с образным названием «Улыбка палачей» доказывает, что репрессии против нонкомбатантов ни в коем случае не были результатом «досадных упущений», «промахов» или «единичных преступных намерений», но скорее в большей степени отражали «оборотную сторону официальной войны». Он даже выдвигает тезис о том, что на территории Восточной и Юго-Восточной Европы имела место настоящая война против гражданского населения, а систематические репрессии были «центральной частью военной стратегии» [Holzer, 12]. О масштабах, мотивах и механизмах военного насилия на этих театрах военных действий известно еще слишком мало, чтобы безоговорочно принять точку зрения автора. Для объективной оценки необходимы новые исследовательские усилия в синхронном и диахронном сравнении.

Только в 2013 г. увидел свет сборник статей «Оккупированные, интернированные, депортированные», представляющий собой первую попытку сравнительного исследования взаимоотношений между властями и гражданским населением на прифронтовых территориях Восточной Европы [см.: Besetzt]. Особое внимание уделено судьбе немцев, евреев, поляков и украинцев. Редакторы сборника справедливо отмечают, что во многих смыслах Восточный фронт Первой мировой войны – до сих пор пасынок историографии, и видят свою задачу в объединении разрозненных единичных исследований, чтобы в первую очередь привлечь внимание историков к недостаточно разработанным проблемам влияния войны на гражданское население [Ibid., S. 12, 20].

Вопросам военной оккупации на примере Румынии посвящена диссертация Л. Майерхофер, защищенная в 2010 г. [см.: Mayerhofer]. Оккупационные войска в Румынии тесно сотрудничали с элитами страны и смогли достаточно быстро создать вполне эффективную систему управления, поскольку использовали существовавшие структуры. Показательные по сравнению с другими регионами отличия в оккупационной практике в основе своей имели сугубо прагматические мотивы – ограниченность людских резервов и недостаток ресурсов. При этом знаменательно, что порой сложившиеся представления и политика оккупации противоречили друг другу. Официальные публикации того времени подчеркивали, что германская армия и

гражданские власти в условиях войны открыли и подняли до тех пор никому неведомую страну. Местная администрация при этом ограничивалась мерами по поддержке сельскохозяйственного производства в интересах вооруженных сил. Впрочем, и здесь оккупационная политика сопровождалась принуждением и лишением свободы.

Как обстояло дело на западе? Обширное и насыщенное источниками исследование Й. Тиля «Человеческий резервуар Бельгия» поднимает проблемы взаимодействия не только между оккупантами и оккупированными, но и между фронтом и тылом [см.: Thiel]. Основное внимание автор обращает на использование рабочих рук из оккупированных районов Бельгии в германской военной промышленности. Автор отмечает, что изменившиеся в конце 1916 г. оккупационные порядки привели к тому, что существовавшая сначала практика найма уступила место принудительному труду. Тем не менее, принятые меры потерпели неудачу в основном из-за плохих условий жизни рабочих и международных протестов. После этого и до конца войны оккупанты вновь практиковали только вольный наем.

История лагерей военнопленных в структурно-функциональном отношении достаточно хорошо исследована в трудах недавнего времени, но проблематика, связанная с воздействием плена на человека и общество, особенно в связи с практикой насилия, остается открытой [см.: Hinz]. В этой связи все больше внимание исследователей привлекает практика интернирования гражданских лиц. Современная идеологически нагруженная война национальных государств делала совершенно необходимой изоляцию граждан враждебных государств. В результате еще больше стиралась грань между комбатантами и нон-комбатантами.

Работы, посвященные различным формам насилия на войне поднимают принципиальный вопрос о мотивах жестокости, подавления и убийств. Насколько важен при этом социокультурный контекст? Возможно, в ходе войны индустриального общества материальное принуждение также способствовало распространению насильственной практики со стороны государства и армии. При этом нужно помнить и о геополитическом положении центральных держав, ресурсы которых были перенапряжены в связи с блокадой. В такой ситуации и без того выраженная тенденция к применению насилия в оккупированных районах неизбежно усиливалась.

Обращение авторов к периферийным и даже неожиданным темам дает порой замечательные результаты. Исследование П. Таубера «Из окопов на зеленый газон» посвящено теме спорта в годы Первой мировой войны [см.: Tauber]. Благодаря традиции «немецкой» гимнастики, заложенной еще в начале XIX в. «турнфатером» Яном, спорт во время войны распространялся и на фронтах, и в глубоком тылу. Этому во многом способствовал игровой характер спортивных занятий и их включенность в систему военной подготовки. Поначалу солдаты сами организовывали спортивные мероприятия, чтобы отвлечься

от повседневных тягот военной жизни. Лишь с 1917 г. военные власти стали последовательно поддерживать такие инициативы, когда окончательно осознали военное и воспитательное значение спорта.

Вышедший в 2009 г. сборник «Животные на войне» показывает важную роль «друзей человека» в Первой мировой войне [см.: Tiere im Krieg]. На этой войне, где постоянно происходили столкновения традиции и новации, животные занимали промежуточное положение. С одной стороны, они были носителями технических новинок, таких как фотоаппараты или средства связи, с другой стороны, оставались классическими боевыми средствами, которые должны были преодолевать разрыв между новшествами и недостатками военных технологий. Таким образом, армии, несмотря на современные средства связи – телефон и радио, не могли отказаться от почтовых голубей. Подвижность европейских армий по-прежнему обеспечивалась в основном лошадьми, да и в последующие десятилетия ситуация коренным образом не изменилась. Поэтому среди утомительных повседневных армейских забот огромное внимание уделялось содержанию лошадей в пригодном состоянии. Многие вопросы относительно роли животных в военной истории остались без ответа. Как, например, влияли на боеспособность такие переносчики инфекций и прочих неприятностей, как крысы и вши?

Н. Волц в монографии «Долгое ожидание» предпринял сравнение психологического опыта немецких и британских морских офицеров [см.: Wolz]. Все они жили ожиданием большой морской войны, которая фактически так и не состоялась. Автор показывает большое значение морского флота и его офицерского корпуса в жизни обеих стран в довоенное время. Преувеличенные ожидания моряков от начавшейся войны и их стремление сыграть важную, если не решающую роль в ней после 1914 г. не оправдались. Поскольку до морских боев дело доходило редко, оба флота вынуждены были искать оправдания. Военные опыты офицеров характеризовались переkreщиванием представлений о тыле и фронте с явным перевесом в пользу первого.

Закономерно, что основное внимание историков всегда привлекали сами военные действия. Однако вопросы борьбы и смерти, тактики и военного планирования, сражений и маневров привлекают не слишком большое внимание современных исследователей. Тем не менее, боевое применение военнослужащих стало темой нескольких исследований. В. Метелинг в книге «Честь, единство, порядок» рассматривает участие в войне полков из немецких и французских городов [см.: Meteling]. Исследование учитывает не только опыт военных действий на западном фронте, но также и формы военной организации и традиции. Основным источником для автора стали полковые истории, которые возникали уже после окончания войн и сами по себе являются третьим временным рубежом, формирующим интерпретационные модели прошедших событий. Исследование показывает ценность этого вида источников, который содержит обширные

сведения относительно потерь, численности войск, вооружения, использования полков на фронте. Немецкие и французские полковые истории в значительной степени похожи, особенно в повествовании о начале войны, они используют одни и те же клише. При этом победы и поражения образуют центральную разграничительную линию между текстами.

Обе армии после кровопролитных боев 1914 г. испытывали чувствительный недостаток офицеров, для возмещения которого требовалась их ускоренная подготовка. В то же время современная война предъявляла качественно новые требования к облику офицера: стали нужны не отчаянные герои, а профессиональные руководители. Также война принуждала к основательному переучиванию в тактической сфере. Наступательный порыв французской армии после понесенных потерь уступил место более осторожному образу действий. Противники также копировали успешные приемы врага. По крайней мере, на тактическом уровне в войсках явно наблюдался прогресс.

Обретению боевого опыта посвящено исследование Р. Ратса «От массовых атак к тактике штурмовых групп» [см.: Raths]. На основе служебных инструкций он показывает, что способы ведения боя, применявшиеся в годы Первой мировой войны были введены уже в уставы мирного времени. Однако исследование не раскрывает вопроса о том, как именно довоенные предписания адаптировались к условиям фронта. Диссертация К. Штахельбека «Военная эффективность в Первой мировой войне» реконструирует биографию 11-й Баварской пехотной дивизии [см.: Stachelbeck]. На основе официальных и личных источников он восстанавливает те переломные ситуации, которые оказывали влияние на перемены в личном составе, руководстве войсками и тактике. Дивизия представляет «отражение динамичного процесса приспособления и обучения» в германской армии, характеризовавшегося постоянными столкновениями между привычными боевыми приемами и инновациями [Ibid., S. 92]. Командование постоянно стремилось поддерживать сплоченность подразделений смешиванием опытных и неопытных солдат. В результате, по мнению автора, у военнослужащих вплоть до 1918 г. «сохранялась воля к борьбе и стойкость», хотя непрерывные бои и проблемы с пополнением ослабляли дивизию [Ibid., S. 345]. Исследование выполнено в традиционном ключе, но по богатству материала и силе анализа вносит существенный вклад в социальную историю боевых частей.

По вопросу о причинах военного поражения Германии в немецкой историографии по-прежнему определяющей является позиция В. Дайста с его яркой фразой о «скрытой армейской забастовке» [см.: Deist]. По сути, речь идет о том, как фатальное положение 1918 г. сказалось на германских солдатах. В какой степени на разложение войск влияли невыполнение приказов и дезертирство? Какую роль играли политические требования и пропаганда? Историки, по крайней мере, согласны, что грабежи и мародерство происходили преимущественно

не по политическим мотивам, а из элементарных сиюминутных потребностей [см.: Ziemann]. В то же время уже с 1916 г. все больше фронтовиков неодобрительно отзывалось о войне и политической ситуации на родине. Поэтому нужно исходить из того, что солдаты со временем стали также поддерживать политические требования.

Сложность ситуации второй половины 1918 г. невозможно понять, исходя из односторонних указаний на действия определенных групп, истощение жизненных сил, желание мира или политизации. Дело осложняет и очевидный дефицит источников из-за многочисленных потерь документов при отступлении и из-за их уничтожения в напряженной политической атмосфере. Уровень знаний о событиях 1918 г. до сих пор следует признать не вполне удовлетворительным.

Многие авторы подчеркивают значение официальных и неофициальных военных сообщений. Исследование коммуникативных процессов, следовательно, может существенно расширить представления об обществе на войне. Практически первым опытом такого рода стала монография Ф. Альтенхенера «Коммуникация и контроль» – сравнительный анализ распространения слухов в Берлине и Лондоне в 1914–1918 гг. [см.: Altenhöner]. Автор сравнивает государственные приемы цензуры и надзора, причем делает вывод, что у прессы на острове было больше свободы. В качестве соучастников формирования, распространения и восприятия слухов он называет государство, общество и средства массовой информации. Слухи могли придавать особый смысл событиям и компенсировали дефицит информации. Под их влиянием возникало устойчивое сомнение в правдивости прессы. Это было связано – в Германии больше, чем в Британии – с потерей доверия к государству и угрожал положению правящих кругов. Общественная интеграция, либерализм, легитимация, а также победа и поражение оказывались решающими факторами, определявшими успех или неудачу предпринятых государством усилий.

Экскурс в отдельные исследовательские поля позволяет подвести некоторые итоги и наметить насущные исследовательские перспективы. Казавшийся еще несколько лет назад неиссякаемым поток обзорных работ по истории Первой мировой войны на сегодня, очевидно, иссяк. Такое положение дел объясняется, скорее всего, тем, что авторы и издатели взяли паузу накануне грядущей даты – столетия начала Великой войны, когда подобная литература будет более чем востребована. При этом уже появилось несколько публикаций, в которых предприняты попытки объединения нескольких основных тем и подходов. Подобный удачный опыт представляет собой монография С. Найтцель «Мировая война и революция» [см.: Neitzel]. Заданные ею установки обусловили необходимость концентрации на политической истории войны, в рамках которой рассматривается и революция. Более того, автор стремится преодолеть традиционное для последних десятилетий представление о том, что 1918 г. имел характер

цезуры. Естественно, что социально-исторические и культурно-исторические темы в данном случае отходят на задний план.

Изданная Г. Хиршфельдом, Г. Крумайх и И. Ренц в сотрудничестве с М. Пельманом «Энциклопедия Первой мировой войны» служит хорошим подтверждением наметившейся перспективной тенденции привлекать к подготовке справочных изданий специалистов из разных стран, научных школ и направлений, чтобы, по словам издателей, «поддерживать непосредственное взаимное общение исследователей мировой войны вопреки различиям и дифференциации исследовательских подходов» [см.: *Enzyklopädie Erster Weltkrieg*]. Том, насчитывающий 1 058 страниц готовили более чем 140 авторов. Он содержит не только традиционный словарный раздел, но и обзорные статьи по четырем рубрикам: «Государство», «Общество», «Ход войны», «Историография», хронику, иллюстрации, карты и обширные указатели. При этом отдельные статьи по-разному учитывают необходимость общей сравнительно-исторической перспективы.

В представленных исследованиях прослеживается тенденция к преодолению разрыва между историей культуры и социальной историей, дискурсом и практикой, репрезентацией и материальностью, событиями и структурами. Пока эти стремления концентрируются на глубоком тыле, история фронта еще должна быть рассмотрена по-новому. Появляющиеся работы по истории военного опыта близки к тому, чтобы интегрировать оба подхода. Они открыты постановке таких исследовательских вопросов, как, например, история насилия, гендерные исследования и пр. Историография преодолевает традицию, которая оставляла большинству участников войны пассивную жертвенную роль. Смена исследовательского фокуса позволила солдатам или штатским выступать в качестве субъектов, которые, оказавшись на войне в ситуации многообразных возможностей, активно стремятся отвечать на вызовы времени. История насилия, таким образом, приближается к солдатам и может ставить такие вопросы, как сам процесс убийства, самосознание убийцы, использование опыта насилия. В истории тела и сознания внимание может сместиться с проблем страдания, увечий или военных неврозов к проблематике выработки иммунитета. Военная тренировка, гигиена или профилактика болезней могут считаться подготовительными приемами, при помощи которых солдаты могли справиться с будущими неприятностями или опасностями.

Многие из указанных исследований не ограничиваются только годами войны, а подчеркивают линии развития и преемственность на протяжении всего века мировых войн. Они обращают внимание не только на исторические события, но и на ментальность. Необходимо точнее определить влияние мировоззренческих установок или социальных отклонений военных лет на мирные годы. Культура воспоминания о войне формировалась, к примеру, не только в течение бурных дней ноября 1918 г., а находила выражение еще раньше в сооружении памятников в тылу и на фронте. Арсенал форм монументов

и надгробных речей в полной мере использовался после окончания войны. Изменилось даже восприятие структур времени. Первая мировая война сделала возможным ускоренное усвоение актуального исторического опыта и способствовала трансформации образа будущего.

Altenhöner F. Kommunikation und Kontrolle. Gerüchte und städtische Öffentlichkeiten in Berlin und London 1914/1918. München : Oldenbourg, 2008. 375 S.

Behrenbeck S. Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Symbole 1923 bis 1945. Vierow : SH-Verlag, 1996. 688 S.

Besetzt, interniert, deportiert. Der Erste Weltkrieg und die deutsche, jüdische und ukrainische Zivilbevölkerung im östlichen Europa / Hrsg. v. A. Eisfeld, G. Hausmann, D. Neutatz. Essen : Klartext, 2013. 384 S.

Beflücht B. Wege in den „Kulturkrieg“. Zivilisationskritik in Deutschland 1890–1914. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. 416 S.

Brandt S. Vom Kriegsschauplatz zum Gedächtnisraum. Die Westfront 1914–1940. Baden-Baden : Nomos, 2000. 267 S.

Brocks C. Die bunte Welt des Krieges. Bildpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg 1914–1918. Essen : Klartext, 2008. 294 S.

Capital Cities at War: Paris, London, Berlin, 1914–1919. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1997. 622 p.

Deist W. Verdeckter Militärstreik im Kriegsjahr 1918? // Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten / Hrsg. v. W. Wette. München : Piper, 1992. S. 146–167.

Durchhalten! Krieg und Gesellschaft im Vergleich 1914–1918 / Hrsg. v. A. Bauerkämper, E. Julien. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. 285 S.

Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Aktualisierte und erweiterte Studienausgabe. Paderborn : Schöningh UTB, 2009. 1060 S.

Der Erste Weltkrieg in der populären Erinnerungskultur / Hrsg. v. B. Korte, S. Paletschek, W. Hochbruck. Essen : Klartext, 2008. 222 S.

Fries H. Die große Katharsis. Der Erste Weltkrieg in der Sicht deutscher Dichter und Gelehrter. In 2 Bde. Bd. 1. Die Kriegsbegeisterung von 1914: Ursprünge – Denkweisen – Auflösung. Konstanz : Verlag am Hockgraben. 1994. 277 S. Bd. 2. Euphorie, Entsetzen, Widerspruch: die Schriftsteller 1914–1918, 1995. 318 S.

Hinz U. Gefangen im Großen Krieg. Kriegsgefangenschaft in Deutschland 1914–1921. Essen : Klartext, 2006. 392 S.

Holzer A. Das Lächeln der Henker. Der unbekannte Krieg gegen die Zivilbevölkerung 1914–1918. Darmstadt: Primus, 2008. 244 S.

Kienitz S. Beschädigte Helden. Kriegsinvalidität und Körperbilder 1914–1923. Paderborn : Schöningh, 2008. 381 S.

Kramer A. The First World War and German Memory // Untold War. New Perspectives in First World War Studies. Leiden ; Boston : Brill, 2008. S. 385–415.

Kultur und Krieg. Die Rolle der Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg / Hrsg. v. W. J. Mommsen. München : Oldenbourg, 1996. 282 S.

Mayerhofer L. Zwischen Freund und Feind – Deutsche Besatzung in Rumänien 1916–1918. München : Martin Meidenbauer Verlag, 2010. 412 S.

Meteling W. Ehre, Einheit, Ordnung. Preußische und französische Städte und ihre Regimenter im Krieg 1870/71 und 1914–19. Baden-Baden : Nomos, 2010. 474 S.

Mosse G. L. Gefallen für das Vaterland. Nationales Heldentum und namenloses Sterben. Stuttgart : Klett-Cotta, 1993. 311 S.

Neitzel S. Weltkrieg und Revolution 1914–1918/19. Berlin : be.bra Verlag, 2008. 208 S.

Perspektiven der Militärgeschichte. Raum, Gewalt und Repräsentation in historischer Forschung und Bildung / Hrsg. v. J. Echternkamp, W. Schmidt, T. Vogel. München : Oldenbourg, 2010. 404 S.

Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne / Hrsg. v. R. Koselleck, M. Jeismann. München : Fink, 1994. 440 S.

Raths R. Vom Massensturm zur Stoßtrupptaktik. Die deutsche Landkriegstaktik im Spiegel von Dienstvorschriften und Publizistik 1906 bis 1918. Freiburg : Rombach, 2009. 253 S.

Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2009. 723 S.

Sonthheimer K. Ein deutscher „Sonderweg“? // Die Identität der Deutschen / Hrsg. v. W. Weidenfeld. Bonn : Hanser, 1983. S. 324–335.

Stachelbeck C. Militärische Effektivität im Ersten Weltkrieg. Die 11. Bayerische Infanteriedivision 1915 bis 1918. Paderborn : Schöningh, 2010. 427 S.

Tauber P. Vom Schützengraben auf den grünen Rasen. Der Erste Weltkrieg und die Entwicklung des Sports in Deutschland. Berlin ; Münster : Lit, 2008. 490 S.

Thiel J. „Menschenbassin Belgien“. Anwerbung, Deportation und Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg. Essen : Klartext, 2007. 426 S.

Tiere im Krieg. Von der Antike bis zur Gegenwart / Hrsg. v. R. Pöppinghege. Paderborn : Schöningh, 2009. 280 S.

Von Ungern-Sternberg W. Der Aufruf „An die Kulturwelt“. Das Manifest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg (mit einer Dokumentation). Stuttgart : Steiner, 1996. 247 S.

Winkle R. Der Dank des Vaterlandes. Eine Symbolgeschichte des Eisernen Kreuzes 1914 bis 1936. Essen : Klartext, 2007. 416 S.

«Wir siegen oder fallen». Deutsche Studenten im Ersten Weltkrieg / Hrsg. v. M. Zirlwagen. Köln : SH-Verlag, 2008. 453 S.

Wolz N. Das lange Warten. Kriegserfahrungen deutscher und britischer Seeoffiziere 1914 bis 1918. Paderborn : Schöningh, 2008. 519 S.

Ziemann B. Enttäuschte Erwartung und kollektive Erschöpfung. Die deutschen Soldaten an der Westfront 1918 auf dem Weg zur Revolution // Kriegsende 1918. Ereignis, Wirkung, Nachwirkung / Hrsg. v. J. Duppler, G. P. Groß. München : Oldenbourg, 1999. S. 165–182.

The article was submitted on 25.12.2013

Николай Николаевич Баранов,
д. и. н.
Россия, Екатеринбург
Уральский федеральный
университет
baranov61@mail.ru

Nikolai Baranov, dr.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
baranov61@mail.ru

ВОЕННОПЛЕННЫЕ В РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

PRISONERS OF WAR IN RUSSIA DURING WORLD WAR I

Во время Первой мировой войны Россия стала одной из важнейших стран, которая держала военнопленных: по количеству пленных она занимала второе место после Германии и опережала Австро-Венгрию. Т. к. эти империи воевали с обеих сторон европейского Восточного фронта, возникло множество проблем, связанных с большим количеством военнопленных на фоне организационных недочетов и материального недостатка. В статье рассматриваются новые явления военного плена и исследуются некоторые аспекты международного права, а именно правовая защита военнопленных и благотворительная деятельность по отношению к ним. В целях сравнения в статье приводятся данные о военнопленных в ряде основных государств и рассматривается отношение к военнопленным в этих странах. В центре исследования находится Россия и ее роль как родины русских военнопленных, с одной стороны, и как страны, державшей военных в плену – с другой.

Ключевые слова: военнопленные; Первая мировая война; благотворительность, помощь военнопленным; международное право.

During World War I, Russia was one of the countries holding the largest number of prisoners of war, ranking second after Germany and ahead of Austria-Hungary. Since these states were at war on both sides of the Eastern Front in Europe, this contributed to a wide range of problems in relation to the number of prisoners of war, deficiencies in organization and shortages of materials. The author studies some new aspects of captivity and international law, such as the protection of rights and humane treatment of prisoners of war. Russia is compared to other countries at war in relation to its medical treatment and care for prisoners of war.

Keywords: prisoners of war; World War I; charity; help to prisoners of war; international law.

Характер обращения со сдавшими в плен солдатами в эпоху Первой мировой войны существенно изменился по сравнению с пленом во время войн в XIX в. или Русско-японской войны 1904–1905 гг. Одним из основных факторов явилось то, что большому количеству

солдат нужно было предоставить необходимое обеспечение и заботу в течение длительного периода времени. После войны Франции и Сардинии против Австрии в 1859 г. был впервые установлен договор, условия которого должны были намного улучшить состояние раненых солдат и военнопленных. Важный шаг был сделан с первой Гаагской мирной конференцией в мае-июле 1899 г., идеей которой как конференции по разоружению подал российский император Николай II. Наиболее значительным итогом конференции стала договоренность о нравах и обычаях войны. Вторым результатом стало принятие Женевской конвенции о защите раненых во время ведения войны на море. Аналогично и во время второй Гаагской конференции с июня по октябрь 1907 г. не удалось добиться ограничения всеобщего вооружения, но тем не менее были достигнуты соглашения о гуманизации последствий войны: были пересмотрены правила ведения войны, установлены права и обязанности держав, придерживающихся политики нейтралитета, а также рассмотрено обращение с подданными вражеских государств. К началу войны эти соглашения предоставили юридическую основу для правил обращения с военнопленными и уходу за ними [Грабар]. Эти правила с 1915 г. получили дополнительное расширение во взаимоотношениях на Восточном фронте через двусторонние переговоры и соглашения, что привело к более гуманной участи и улучшению положения военнопленных [Nachtigal, 2003, S. 91–94, 103–151]. Такие шаги касательно противника на Западном фронте были предприняты лишь позже и в меньшей степени.

Около 9 млн из 72,4 млн призванных в Первую мировую войну солдат попало в плен, что составляло приблизительно 12,4 % всех мобилизованных сил. Около 4,7 млн, т. е. более половины, находилось в распоряжении Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии). Данные для отдельных держав с военной администрацией, располагающих большим количеством пленных, в частности России и Австро-Венгрии, определены еще неточно. Большинство военнопленных пришлось на фронт между Россией и Центральными державами, всего более 5 млн. Из них:

- 2,8 млн. солдат русской армии в Центральных державах (1,5 млн в Германии и 1,3 млн в Австро-Венгрии);
- 2,1 млн австро-венгерских, 170 000 немецких, 60 000–80 000 солдат Османской армии и несколько сотен болгарских пленных в России [Nachtigal, 2008, S. 345–384].

На балканском и австро-итальянском фронтах дело обстояло следующим образом:

- 170 000 сербов в Австро-Венгрии и 28 000 в Германии;
- 53 000 румын в Австро-Венгрии и 43 300 в Германии;
- 468 000 итальянцев в Австро-Венгрии и 170 000–180 000 итальянцев в Германии;
- 91 000 пленных в Болгарии (в том числе 30 000 сербов) и по меньшей мере 51 000 в Турции.

До ноября 1918 г. на фронте Франции и Бельгии 800 000 солдат Антанты попало в плен Германии: Франция потеряла военнопленными 535 000 солдат, Англия – 176 000 и Бельгия – 46 000. Позже в немецком плену оказались также американские солдаты и португальцы. Более 810 000 немцев были в руках Западной Антанты: 430 000 во французском, 335 500 в английском и 48 000 в американском плену. Кроме того, 16 000 австро-венгров попало во французское подчинение.

К октябрю 1918 г. Италия захватила 180 000 австро-венгерских солдат на фронтах Габсбургской монархии; вследствие ошибок австрийского командования во время переговоров о перемирии с Италией к концу войны в плен было взято еще до 360 000 австрийцев. До октября 1918 г. в войну против Центральных держав вступали также другие государства, в том числе и неевропейские. Как союзник Антанты, Япония содержала около 4 600 пленных немецкой колонии Циндао.

Уже к концу 1914 г. Германия стала державой с самым большим количеством пленных. На июль 1915 г. здесь числилось 1,5 млн пленных, а к началу ноября 1918 г. эта цифра возросла до 2,5 млн, из которых, однако, часть скончалась, а часть сбежала. По некоторым оценкам, в Германии погибло более 120 000 пленных – особенно в результате нарушающей международные права Британской блокады; это были в основном солдаты из России, Румынии и Сербии. В Центральных державах смертность резко возросла после голодной зимы 1916/1917 гг., а именно среди мирного населения и тех пленных, которые не получали поддержки в виде продуктов питания или одежды из родного государства. Вполне возможно, что смертность в Австро-Венгрии была даже выше, чем в Германии, в пределах до 200 000 человек. Впоследствии, в период до конца войны число пленных в Германии и Австро-Венгрии уменьшилось:

	Германия	Австро-Венгрия
Общее количество военнопленных	2,5 млн	~ 1,991 млн*
Погибшие	118 000–140 000*°	140 000–200 000*°
Избежавшие сферы Центральных держав (до окт. 1918)	7	70 000–106 000 (возможно, и больше)
Переданные по обмену (инвалиды)**		136 628
Дополнительно		17 000 итальянцев
Интернированные в нейтральных странах (полуинвалиды)	46 000–65 000	2 000
Сданные союзникам (готовые идти в бой «перебежчики»)**	5 000*	?
Приблизительное количество пленных на май 1918 г.	2,1 млн	~ 1,7 млн

* Неточные данные, оценки.

** Репатриированные из Германии и Австро-Венгрии солдаты русской армии на начало 1918 г. – 37 295.

*** Особенно мусульмане русской армии и колониальных армий Англии и Франции.

° Из которых солдаты русской армии (по оценкам): в Германии 72 000–90 000, в Австро-Венгрии 80 000–110 000.

В ноябре 1918 г. в Германии находилось всего не более 2 млн военнопленных. Что касается данных для Австро-Венгрии, точная цифра не поддается исчислению в связи с начавшимся крахом государства уже в октябре 1918 г. Однако можно определить, что смертность узников достигла приблизительно 5,6 % в Германии и 7,5–10 % в Австро-Венгрии. Для Османской империи с более чем 30 000 пленных (половину из которых составляли британские солдаты, половину – русские) и Болгарии с 91 000 пленных пока нет достоверных показателей смертности, которые, однако, вполне могут достигать приблизительно 20 %.

Немецкая армия, ведя наступление на Западном фронте, преодолела в течение нескольких недель сотни километров, выведя из строя большую часть соединений бельгийской и французской армий. На начало 1915 г. Германия захватила полмиллиона солдат противника в плен. Т. к. все воюющие стороны рассчитывали на скорое победное окончание войны каждый в свою пользу, о содержании пленных не позаботились в должной мере. Результатом данного просчета стала вспышка эпидемий в лагерях для военнопленных в Германии и Австро-Венгрии зимой 1914/15 г., строительство которых еще не было завершено. Особенно свирепствовал брюшной тиф, унесший жизни нескольких тысяч пленных: в большинстве своем солдат русской армии. Летом 1915 г. эпидемию удалось погасить благодаря успеху эпидемиологов; кроме того, лагеря были не так сильно заполнены в силу начавшихся первых трудовых работ, что существенно облегчило организационную задачу. Для большинства других государств эта проблема как таковая не существовала, т. к. у них было намного меньше пленных и они не сталкивались с опасностью инфекционных заболеваний. Разрядил обстановку, как это ни странно, физический труд пленных: его применение началось в обеих империях рано и достигло вскоре 70–80 % занятости. От работы были освобождены офицеры и равные им по статусу военные врачи, чиновники и священники, а также больные, инвалиды, правонарушители и пленные, для которых было предусмотрено особое обращение с целью привлечения их на свою сторону. В большинстве воюющих держав использование рабочей силы пришлось в основном на сельское хозяйство (до 60 % всех пленных), затем уже на промышленность, строительство и ремесло. В этих областях ухудшилась ситуация с продовольствием у Центральных держав. Еще хуже было положение для временно трудящихся на фронте, которых приходилось до 20 % от доли всех пленных на всех фронтах в воюющих странах, особенно на последнем этапе войны. Во Франции этот показатель был самым высоким – от 40 до 50 %, наряду с низким общим числом военнопленных. Работы пленных на фронте в России начались уже в июне 1915 г., однако не получили большого распространения: летом 1916 г. там числилось ок. 100 000 военнопленных [Nachtigal, 2003, S. 183–185, 201–203; Jones, p. 121–222].

Что касается немецкой и австро-венгерской линий фронта, доказано, что русские пленные составляли более высокий процент

на передней линии фронта от их общего числа в этих государствах (соответственно по 65–70 %). Общее число русских в Габсбургской монархии достигало 1,3 млн, или 65 %, в Германии – 1,5 млн или 60 %¹. В тылу, напротив, пленные контролировались государственными органами и инспекторами, что предоставляло им больше защиты. Там гражданские власти отвечали за управление своими подопечными и уход за ними. Кроме того, становилось невозможным безгранично эксплуатировать пленных на мирной территории. В заключительной фазе войны в Германии и Австро-Венгрии на переднем фронте насчитывалось 300 000–400 000 пленных, хотя военные министерства обеих стран предполагали, что о новых поступлениях пленных, приведенных для работы на фронте, не сообщалось и их количество не регистрировалось в центральных органах власти [Hinz, S. 267–318; Moritz, Leidinger, S. 171–194, 204–208, 234–237, 292, 331].

Но чем дольше длилась война, чем больше Центральные державы испытывали нехватку в продуктах питания и дефицит ресурсов, и чем больше притуплялась реакция на собственные и чужие страдания, тем более запреты и сомнения в вопросах человечности отодвигались на второй план, а защитные механизмы становились определяющими. Таким образом, для большинства пленных пребывание в Германии и Австро-Венгрии означало голод, физическую эксплуатацию и, как следствие, истощение, болезни и смерть. Как правило, наименее всего это коснулось британских, французских, а позже и американских пленных, которые получали поддержку и пожертвования из родных стран: продуктами питания, одеждой, обувью и т. д. С 1916 г. Франция оказывала поддержку и сербским солдатам Центральных держав, в то время как итальянское правительство воздерживалось от помощи вплоть до 1918 г., т. к. принимало своих солдат, попавших во вражеский плен, за перебежчиков и дезертиров. Именно это не в последнюю очередь сыграло свою роль в том, что около 100 000 итальянцев погибли в плену.

Российское правительство временно приняло позицию итальянского руководства – военные штабы иначе не могли объяснить себе такое высокое количество русских солдат, попавших в плен к неприятелю [Нагорная, с. 36–49]. Помощь для русских в Германии и Австро-Венгрии поступила поздно и в скромном размере, хотя именно правительства Центральных держав и гуманитарные организации нейтральных стран предложили России, чтобы та начала обеспечивать уход за соотечественниками. Мероприятия по оказанию помощи вновь ограничились после начала гражданской войны в мае 1918 г.

И хотя к концу войны зимой 1918/19 г. большинство пленных из стран Антанты было быстро репатриировано из Германии, судьба русских оказалась сложнее. На переговорах о перемирии в ноябре 1918 г. Англия и Франция, которые к тому времени уже полгода уча-

¹ Абсолютные цифры из-за колебаний 1916–1918 гг. недостаточно достоверны, однако исчисляются в сотнях тысяч.

ствовали в интервенции в России на стороне Белой Армии, требовали подождать с отправкой русских пленных на родину, чтобы Красная Армия не имела возможности использовать их в качестве подкрепления [Nachtigal, 2005, S. 239–266]. Это требование возникло вовсе не из гуманных соображений, т. к. Антанта начала немедленно набирать добровольцев в ряды Белой Армии из числа пленных. В то время как Габсбургская монархия уже распалась на отдельные государства и не существовало единого органа управления пленными, что позволило им самим освободиться из плена, немецкое правительство решило пойти против постановления Антанты. В интересах немецкого правительства было уменьшение числа пленных, которое к тому времени уже сократилось до одного миллиона, чтобы улучшить продовольственную ситуацию в Германии. Кроме того, после ноябрьской революции и политического хаоса в Германии русские, которые все больше воспринимались как угроза, наконец, должны были быть высланы. Однако страны Антанты, получив политический контроль над оставшимися в Германии пленными, не считали себя обязанными оказывать поддержку голодающим пленным своего некогда самого важного союзника. Вплоть до июля 1919 г. не соблюдалось обеспечение русских пленных. К тому же, ситуацию усугубила и начавшаяся в 1919 г. Советско-польская война. Несколько тысяч русских репатриантов в 1919/20 г. скончалось в Средневосточной Европе из-за промедления в переговорах между воюющими державами, которые все еще конфликтовали из-за пограничных вопросов. Эту проблему освещают документы, наглядно показывающие, что эти пленные еще летом 1918 г. числились находящимися в немецких лагерях. В конце концов, к февралю 1919 г. Германия освободилась от 900 000 бывших в плену русских. Поэтому, когда союзники провели в Берлине ревизию числа пленных в Германии, было обнаружено всего лишь 300 000 русских (в октябре 1919 г. все еще более 200 000, в октябре 1920 г. только 130 000). Большинство из них было репатрировано до 1920 г. через прибалтийские страны.

Репатриация последних русских пленных закончилась уже после окончания Советско-польской войны до лета 1921 г. В Германии оставалось после этого предположительно 40 000 русских, из которых только 10 000 были зарегистрированы официально. Примерно такое же количество бывших пленных было и на территории бывшей Габсбургской монархии.

В исторической памяти опыт и судьба русских солдат, бывших в плену, не играют значительной роли, т. к. большевистское правительство рассматривало эту войну как империалистическую, а ее «исторически необходимым» следствием должна была стать победа социалистической революции [Нагорная, с. 343–351, 366–380, 383–390]. Здесь не было дискурсивного места для памяти, отгесненного на второй план последовавшей кровавой гражданской войной с еще большими потерями. В 1930-х гг. даже стало опасно говорить

о бывших военнопленных на территории вражеских государств. Лишь после 1991 г. судьба русских пленных Первой мировой войны получает научное освещение, в то время как проблематика солдат из Центральных держав, взятых в плен Россией, затрагивалась уже со времен пятидесятой годовщины Октябрьской революции в публикациях об иностранных «интернационалистах», особенно в гражданской войне с 1918 по 1922 г. Тем не менее, советская историография ограничилась практически лишь этим аспектом, оставляя явление массовых лагерей военнопленных без внимания.

Россия числилась второй по значимости «державой в плену державой» (*Gewahrsamsmacht*), до конца 1915 г. захватившей 1 млн пленных, число которых выросло до октября 1917 г. до 2,4 млн. Фактически Россия была в состоянии содержать не более 2 млн пленных. Так же, как и Германия и Австро-Венгрия, она не была готова к поступлению такого огромного количества военнопленных. Т. к. осенью 1914 г. австрийская армия принимала на себя основной удар на Восточном фронте, ее солдаты и составили с самого начала подавляющее большинство пленных, взятых Россией. Так, уже к концу 1914 г. Сибирь и Центральная Азия были дополнительно предусмотрены для поселения десятков тысяч пленных. Узники добирались туда в товарных вагонах («теплушках») в течение нескольких недель без должного, а иногда и вообще без какого-либо обеспечения и ухода. Огромные расстояния стали большой проблемой для размещения военнопленных в России, которая в октябре 1914 г. приняла «Положение о военнопленных» (Петроград, 1914), правила которого устанавливали еще более высокие принципы гуманного обращения с военнопленными по сравнению с закрепленными в довоенных Гаагских соглашениях. Впрочем, для условий плена в России они не имели большого значения, т. к. государственные органы были не в состоянии их выполнять. Предприняв не совсем уместную попытку урегулировать наплыв пленных через Киев и районы Беларуси, Главное управление Генерального штаба распорядилось рассортировать пленных по этническому признаку: славяне должны были разместиться не далее Казанского военного округа, что ставило их в более благоприятные условия, освобождая их от долгих, а следовательно, и опасных для здоровья транспортировок. Этнические же немцы и венгры, к которым весной 1915 г. добавились офицеры, должны были быть отправлены в азиатскую часть страны [Nachtigal, 2003, 153–291]. Первоначальный хаос в тылу в европейской части России помешал выполнению приказа, который русским военнослужащим зачастую оставался непонятным: деление массы австро-венгерских солдат на славян и неславян не всегда представлялось возможным, потому что венгерские словаки или румыны называли себя либо венграми, либо русинами, а поляки и словенцы – австрийцами. Классификация западно- и южнославянских языков в какой-то степени добавила хлопот русскому командованию в тылу. Русская «национальная политика» как новше-

ство по отношению к военнопленным неприятельских стран, преимущественно из австро-венгерской армии, не соответствовала законам войны. Независимо от того, происходил ли переход на русскую сторону добровольно или по принуждению, пострадавшие теряли свой международно-правовой статус военнопленных, что позволяло им вновь выступить в качестве новобранцев – часто против их воли. То же самое произошло в 1918 г. и с (бывшими) взятыми в плен сторонниками большевиков, которые как «интернационалисты» (около 90 000, в большинстве своем венгры) бились во время Гражданской войны в рядах Красной Армии.

Чешским (и словацким) пленным, которые могли воспользоваться политическими органами эмигрировавших чехов в Петрограде и Киеве, было обеспечено более привилегированное положение. Многие чехи, которых австрийское военное руководство подозревало в дезертирстве, располагались с 1915 г. в Киевском военном округе, где они зачастую пользовались большими свободами и преимуществами: хорошо оплачиваемая работа, проживание в частных домах, представление своих политических интересов, а позже и управление лагерем Дарница в Киеве [Kalvoda; Pichlík; Nachtigal, 2005b, S. 167–193]. Южным славянам Габсбургской монархии была поставлена определенная задача: после поражения Королевской Сербской Армии в конце 1915 г. они были собраны на территории Украины и переданы «южнославянско-сербской добровольческой дивизии» под командованием сербских офицеров. В сентябре 1916 г. это подразделение было распущено в румынской Добрудже.

Австрийские пленные итальянской национальности и эльзасцы Германии были отданы на попечение консулов и военных атташе Италии и Франции, а в 1916/17 г. около 10 000 из них были отправлены в Западную Европу. Для прусских поляков или датчан области Норд-шлезвиг не было предпринято специальных мер, хотя императрица-мать Мария Федоровна, будучи датской принцессой, вступилась за своих соотечественников.

Из-за больших расстояний и проблем с транспортом начиная с 1915 г. возникла проблема дефицита в обеспечении пленных. Зимой 1915/16 г. в крупных лагерях азиатской части России вспыхивали эпидемии, унесшие жизнь предположительно 400 000 пленных. Еще одной причиной явилось и то, что использование пленных в России как рабочей силы в целом началось достаточно поздно – лишь в 1916 г., когда южные славяне уже влились в ряды добровольческих подразделений. В конце лета 1915 г. на работах была занята всего лишь половина всех трудоспособных пленных, многие из них к зиме были обратно отправлены в переполненные лагеря, где они и были инфицированы. Ситуация улучшилась, как ни странно, благодаря введению принудительных работ с весны 1916 г. Везло, однако, не всем пленным: труд многих из них использовался на тяжелых, а подчас и не соответствующих международному праву о войне уличных работах в северной

части России, где появились заболевания цингой. Это привело в конце 1916 г. к взаимным репрессиям по отношению к военнопленным: в октябре 1916 г. Германия передала несколько сотен русских офицеров в подчинение нижним чинам (без принудительного труда), а Россия ответила в ноябре такой же мерой, пока к Рождеству 1916 г. после прямой интервенции немецкого императора и русского царя репрессии не прекратились [Нахтигаль, с. 139–153].

То, что положение пленных в России с 1915 г. постепенно улучшалось, было в немалой степени заслугой «помощи извне». Толчок к этому был дан императрицей-матерью Марией Федоровной. Уже летом 1915 г. были проведены две акции гуманитарной помощи между Россией и Центральными державами. Начиная с конференций Красного Креста в скандинавских столицах с ноября 1915 г. подобные мероприятия в годы войны получили широкое распространение. Первоначально произошел обмен списками погибших пленным. После определения условий обмена пленными инвалидами, последний начался в августе 1915 г. и сопровождался получением пакетов помощи, например, с одеждой и продовольствием. Пользу от подобных гуманитарных пакетов получали в основном пленные из Центральных держав [Egger, S. 79–112]. Царское правительство, опасаясь перехода собственных солдат на сторону врага, воздерживалось от передачи гуманитарной помощи своим пленным. Намерение немцев в начале 1916 г. поставлять солдатам русской армии гречневую крупу из России, которое было поддержано самой императрицей Александрой Федоровной, не было осуществлено из опасений, что продукт будет доставлен не по назначению. Более поздние попытки улучшить обеспечение русских пленным в Центральных державах продуктами питания также не увенчались успехом – не в последнюю очередь из-за бытующего общественного мнения, что царица немецкого происхождения намеревается обеспечить продовольствием Центральные державы. Это обстоятельство сделало невозможным предоставление помощи со стороны России. С осени 1915 г. шведские и датские работники Красного Креста получили возможность раздавать пакеты помощи в сибирских лагерях, которые так остро нуждались в них к предстоящей зиме. Акция помощи, которая первоначально планировалась быть ограниченной до нескольких транспортных эшелонов, постоянно расширялась.

В сентябре 1915 г. на Восточном фронте произошел первый обмен сестрами милосердия, которым разрешалось посетить пленным во вражеских государствах. Для начала три немецкие сестры милосердия отправились в Россию и три русские – в Германию. Позже пленным навещали и нейтральные делегации Международного комитета от Красного Креста. В военных округах европейской части России находились русские генералы, которые в качестве инспекторов с 1915 г. навещали пленным. Однако все они – и в Германии тоже были такие военные инспектора – не могли оставаться на нейтральной позиции. Поставка медикаментов и вакцины для прививок в 1916 г. сыграла

положительную роль для пленных в России, где в начале 1916 г. разразились эпидемии в лагерях. В Туркестанский военный округ были отправлены десятки тысяч прививок против малярии из датского Института сыворотки в Копенгагене и из Серо-терапевтического института в Вене. Т. к. Россия в довоенные времена получала медикаменты и средства наркоза преимущественно из Германии, то уже в 1914 г. здесь возникла их нехватка, восполненная позже японскими и американскими поставками.

В 1916 г. обмен инвалидами был возобновлен, а в 1917 г. продлен на обоюдной основе. Так, к концу 1917 г. 22 000 русских пленных были репатриированы в рамках обмена как военные инвалиды. С июля 1916 г. по февраль 1917 г. состоялась вторая поездка сестер милосердия. Интенсивный отбор на национальной основе и вербовка добровольцев среди австрийских пленных в России приводили к поляризации среди пленных: в некоторых лагерях чешские «военнопленные» командовали своими товарищами неславянского происхождения, притесняли их и отбирали пакеты помощи. В мае 1917 г. *česká družina* была преобразована в активное боевое подразделение, сравнимое по мощности с дивизией, три полка которого в июле 1917 г. вступили в бой на Юго-Западном фронте. Чешские и словацкие пленные, которые поддерживали идею независимого национального государства, уже не чувствовали себя пленными; те, кто оставался верен Австрии, считали себя жертвами притеснения и давления. Также и лояльно настроенные по отношению к Австрии итальянцы, румыны, южные славяне и немецкие эльзасцы попали под давление Временного правительства, объявившего о продолжении войны до победного конца.

Эти планы были нарушены неудачным наступлением русской армии летом 1917 г. Более того, оно внесло хаос в тыл, сопровождавшийся распадом государства осенью этого года. После Октябрьской революции положение пленных резко изменилось: ухудшились надзор и обеспечение продуктами питания, многие пленные европейской части России начали покидать свои рабочие места и переселяться в западные губернии. Органы управления пленными существовали в основном лишь на местном уровне, в так называемых «внутренних районах», где располагались большие лагеря: в Казанском военном округе, Сибири и Туркестане. Пленные из этих мест также собирались в Петроград, Белоруссию и Украину, особенно те, кто хотел вернуться на родину. Таким образом, с декабря 1917 г. до начала официальной репатриации, которая была согласована по условиям Брестского мира 3 марта и начата в мае 1918 г., из России на родину вернулось полмиллиона бывших пленных Центральных держав. Русских же в странах Центральных держав сознательно задерживали из-за интенсивных работ для военных нужд. Вплоть до расторжения договора большевистским правительством в ноябре 1918 г., который привел к временному прекращению репатриации, Россию покинули еще 400 000 пленных. И для них, и для пленных русских солдат с мая 1918 г. проводились мероприятия по репатриации в районах полити-

ческого влияния большевиков и Центральных держав. В советской России в мае 1918 г. начал свою работу центральный орган по вопросам беженцев и военнопленных – Центропленбеж [Щеров]. Однако это ведомство не то чтобы не стремилось содействовать репатриации, но, возможно, даже препятствовало ей по поручению большевистской власти, которая строила планы по вовлечению в революцию пленных из Центральных держав. Проводившаяся интенсивная пропаганда среди них также вредила процессу репатриации. Советское правительство прибегло еще к одной уловке, объявив пленных уже в начале 1918 г. «свободными гражданами» и предоставив им российское гражданство. Такое изменение статуса военнопленных не было предусмотрено юридически с точки зрения международного права.

Области в России, находившиеся во время Гражданской войны под властью Белой Армии и вооруженных сил Антанты, не участвовали в процессе репатриации в силу того, что они не признавали Брестский мир, и отправляли пленных обратно в лагерь. Это касалось около 500 000 пленных к востоку от Урала, 40 000 в Центральной Азии и более 200 000 в европейской части России. Несколько тысяч из них были добровольно или невольно вовлечены в военные действия, и их возвращение на родину было отложено до конца войны в 1920 г. [Nachtigal, 2005, S. 259–265].

Последними репатрированными из России пленными явились 2 500 венгерских офицеров, которые удерживались в лагерях до начала 1922 г. в качестве политического инструмента давления для освобождения как венгерского интернационалиста и бывшего пленника Бела Куна, так и 400 венгерских коммунистов, приговоренных к смерти правительством Хорти; манипулируя пленными офицерами, Москва намеревалась заставить Венгрию вызволить этих заключенных на свободу. Число пленных из Центральных держав, которые впоследствии остались в советской России, достоверно неизвестно, однако вполне может достигать пяти-, а то и шестизначной цифры: славяне австрийской армии, которые успели обзавестись семьями, а также «интернационалисты» предпочли не возвращаться на родину после провала революции. Некоторые из них погибли насильственной смертью во время сталинских репрессий 1930-х гг., в том числе и Бела Кун, работавший в Коминтерне.

Военный плен в России характеризуется как массовое явление, с самого начала сопровождавшееся тяжелыми лишениями со смертельным исходом, эпидемиями 1915/16 гг., а также серьезными, противоречащими канонам международного права работами. Это привело к одному из самых высоких показателей смертности среди пленных. Новой была и продолжительность плена, длившегося до 7 лет. Деление пленных царским правительством по национальному признаку из-за внутривойсковой конъюнктуры породило новый, негуманный метод, нашедший свое применение в дальнейшем в Гражданской войне в России и во время Второй мировой войны.

Наряду с этими бесчеловечными явлениями в обращении с военнопленными на Восточном фронте, вырисовывалась и ранняя идея гуманного обращения с пленными, казавшаяся вполне возможной благодаря кулуарной политике старых европейских династий. Что касается противника на Западном фронте, достижений было мало. Усиление тенденции к более гуманному обращению с военнопленными нашло свое выражение в 1929 г. во второй Женевской конвенции и последующих международных соглашениях, которые расширили диапазон задач Международного движения Красного Креста и повысили его полномочия. Поэтому во время Второй мировой войны стороны на Западном фронте обращали особое внимание на правила обращения с вражескими солдатами, взятыми в плен. Примечательно, что многие достижения по улучшению обращения с пленными были получены именно из опыта враждующих держав, ведущих боевые действия на Восточном фронте в 1914–1918 гг. (например, запрет на репрессии по отношению к военнопленным), хотя во время Женевской конференции 1929 г. только западные державы вели переговоры о судебных делах, касающихся обращения с военнопленными. Германия и Австрия после войны не обсуждали подобные дела с советским правительством, которое не проявляло интереса к данному вопросу. Уже во время Брестского мира обошлось без перечисления взаимных обид; заключающие мир стороны обязывались вести добрососедские отношения, поддерживать экономический обмен и репатриировать оставшихся гражданских и военных пленных. На фоне смены власти в России и экономической блокады против Центральных держав это представлялось возможным и понятным, однако в корне отличалось от общей идеологии Версальского мира, подписанного годом позже. Англия и Франция после войны, напротив, напряженно занимались процессами против военных преступников Германии, которые совершались и по отношению к военнопленным [Hankel]. Исследования военных преступлений, совершенных сторонами Антанты по отношению к пленникам из Центральных держав, не были предусмотрены Версальским договором и не считались предметом для обсуждения в принципе.

Притом в Англии и Франции однозначно происходили сомнительные с правовой точки зрения случаи обращения с военнопленными. Большинство пленных было прежде всего у Франции. Тем не менее, до 1917 г. число пленных не достигло и 10 % количества военнопленных в Германии, поэтому явления, имевшие место у воюющих сторон на Восточном фронте отсутствовали, а именно массовый характер захвата в плен и слабая организационная система, что наносило существенный вред здоровью военнопленных. Лишь во время крупных сражений лета 1918 г. число захваченных Францией немцев достигло 400 000. Британская армия взяла в плен и того меньше вражеских солдат, а до 1916 г. большинство из них были даже перевезены в Англию. В том же году их рабочую силу начали использовать, хотя скорее

локально, чем повсеместно: британская военная экономика, основывающаяся на принципах капитализма, не могла применять широко труд пленных, т. к. это могло создать конкуренцию на рынке труда. Ситуация незначительно изменилась после внедрения в Великобритании воинской повинности в 1916 г.: в 1918 г. в Королевстве работало 64 000 из 103 000 интернированных пленных [Jones, 2011, p. 117, 223–238].

Оставшиеся на континенте с 1916 г. пленные, захваченные британскими войсками, направлялись на работы в британские экспедиционные войска, хотя на передовую они посылались достаточно редко. Во французской армии временно был в силе приказ убивать противника, раненного на фронте, чтобы не причинить вред собственной боевой готовности (фр. *nettoyeurs*). Во время Лейпцигских процессов 1921 г. по военным преступлениям Франция предъявила обвинения против подобного приказа со стороны Германии в отношении французских раненых пленных, и даже, возможно, не без основания.

У Англии и Франции практически не было стратегических успехов на Западном фронте, но было очень много жертв погибшими, ранеными и взятыми в плен. Центральные державы были в конечном итоге побеждены изнурительным голодом и изнеможением. Материальное превосходство западной Антанты, наблюдавшееся еще с ранних времен, вовлечение ею в войну все больше новых союзников, большой резерв солдат и рабочей силы из колоний на фронте предотвращали определенные материально-технические проблемы, характерные для Центральных держав и царской России. Но чем эффективнее работала нередко преувеличенная военная пропаганда, в частности, против Германии, подогревая военные настроения в тылу, тем больше возрастало озлобление среди собственных солдат и мирного населения. Таким образом, западная Антанта долго воздерживалась от обмена инвалидами, которые были лишь частично признаны таковыми, в то время как Германия и, как правило, Англия (16 000 репатриированных в годы войны), более активно принимали участие в обмене инвалидами. Плен как раз-таки во Франции был урегулирован строже и тщательней, чем у других держав; националистически подстрекаемое гражданское население проявляло в немалой степени чувство ненависти, которое существовало еще долгое время после заключения перемирия.

Когда война закончилась, Франция отправила десятки тысяч военнопленных в бывшие районы боевых действий в качестве ремонтных бригад, где нередко случались ранения со смертельным исходом. К тому же, немецкие пленные использовались как инструмент давления на Германию, чтобы заставить ее подписать невыгодный для нее Версальский мир, что произошло лишь 28 июня 1919 г. Тем не менее, Франция держала пленных еще более года после окончания войны. Лишь в силу международного давления, в начале 1920 г. она освободила пленных и отправила их обратно. Среди пленных, работающих в рядах уборочных бригад, нередко случались самоубийства и вос-

станции. Поэтому нелиберальные методы обращения с пленными вызвали во Франции достаточно высокую смертность среди пленнх – 5,8 % (или 26 000 чел.). При этом голод, истощение и эпидемии играли незначительную роль. В Англии наблюдалась низкая смертность среди пленнх (2,8 %); в первую очередь, здесь пострадали военнопленные в эндемически нездоровых районах Ближнего Востока.

Большинство стран Антанты, в том числе и Англия, после окончания войны стремились из финансовых соображений как можно скорее репатриировать своих пленнх, что главным образом произошло летом и осенью 1919 г. Так же дело обстоит в США, Италии, балканских странах и Японии, которая в силу огромного географического отдаления не могла сразу выслать своих пленников обратно. Так, Франция является своеобразным исключением, как, кстати, и после Второй мировой войны. Эта страна была в Западной Европе глубоко оскорбленной державой, которая по политическим и эмоциональным причинам применяла нелиберальные методы обращения с пленниками. В России в 1921–1922 гг. возвращение пленнх на родину было затруднено главным образом внешними обстоятельствами.

В неевропейских местах действия существенно меньше солдат попадало в плен, который, однако, из-за сложных условий служил предпосылкой к высокой смертности, особенно на Ближнем Востоке. Что касается германских колоний в Африке, немецкая Юго-Западная Африка могла оказывать военное сопротивление до 1916 г., в отличие от немецкого востока Африки, войска которого капитулировали лишь после перемирия в Европе. Белые пленные там освобождались зачастую «под честное слово», а чернокожие пленные были взяты в собственные войска. Существует еще необходимость тщательного изучения проблематики военнопленнх в балканских государствах и Османской империи, так же, как и в более основательном исследовании данного вопроса касательно Франции как тюремной власти (*Gewahrsamsmacht*).

Грaбар Вл. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647–1917). М. : Зерцало, 2005. 888 с. [Grabar Vl. E. Materialy k istorii literatury mezhdunarodnogo prava v Rossii (1647–1917). М. : Zertsalo, 2005. 888 s.]

Нагорная О. С. Другой военный опыт. Российские военнопленные в Германии в период Первой мировой войны (1914–1922). М. : Новый хронограф, 2010. 440 с. [Nagornaya O. S. Drugoj voennyj opyt. Rossijskie voennoplennye v Germanii v period Pervoj mirovoj vojny (1914–1922). М. : Novyj khronograf, 2010. 440 s.]

Нахтигаль Р. Мурманская железная дорога. 1915–1919 годы. Военная необходимость и экономические соображения. СПб. : Нестор-История, 2011. 320 с. [Nakhtigal' R. Murmanskaya zheleznaya doroga. 1915–1919 gody. Voennaya neobkhodimost' i ekonomicheskie soobrazheniya. SPb. : Nestor-Istoriya, 2011. 320 s.]

Щеров И. П. Центропленбеж в России: история создания и деятельности в 1918–1922 гг. Смоленск : СГПУ, 2000. 95 с. [Scherov I. P. Tsentroplenbez v Rossii: istoriya sozdaniya i deyatelnosti v 1918–1922 gg. Smolensk : SGPU, 2000. 95 s.]

Egger M. Die Hilfsmaßnahmen der österreichisch-ungarischen bzw. der österreichischen Regierung für die österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen in Russland und Italien

- 1914–22. Ein Forschungsbericht // Militärische und zivile Kriegserfahrungen 1914–1918 / Hrsg. G. Barth-Scalmani. Innsbruck : Universitätsverlag Wagner, 2010. S. 79–112.
- Jones H.* Violence against Prisoners of War in the First World War. Britain, France and Germany, 1914–1920. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2011.
- Hankel G.* Die Leipziger Prozesse. Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtliche Verfolgung nach dem Ersten Weltkrieg. Hamburg : Hamburger Ed., 2003.
- Hinz U.* Gefangen im Großen Krieg. Kriegsgefangenschaft in Deutschland 1914–1921. Essen : Klartest, 2006.
- Kalvoda J.* The Genesis of Czechoslovakia. New York : Columbia Univ. Press, 1986.
- Moritz V., Leidinger H.* Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen in Österreich 1914–1921. Bonn, 2005. 384 s.
- Nachtigal R.* Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen 1914–1918. Remshalden : Greiner, 2003. 391 s.
- Nachtigal R.* Die Repatriierung der Mittelmächte-Kriegsgefangenen aus dem revolutionären Russland. Heimkehr zwischen Agitation, Bürgerkrieg und Intervention 1918–1922 // Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieges / Hg. Von J. Oltmer. Paderborn : Schoeningh, 2005a. S. 239–266.
- Nachtigal R.* Privilegiensystem und Zwangsrekrutierung: Russische Nationalitätenpolitik gegenüber Kriegsgefangenen aus Österreich-Ungarn. Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieges / Hg. Von J. Oltmer. Paderborn-Schoeningh, 2005b. S. 167–193.
- Nachtigal R.* Zur Anzahl der Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg // Militärgeschichtliche Zeitschrift. 2008. 67. S. 345–384.
- Pichlík K.* Bez legend. Zahraniční odboj 1914–1918. Zápas o československý program. Praha : Panorama, 1991.

Translated by Andreas Keller

The article was submitted on 21.12.2013

Райнхард Нахтигаль, PhD.
Германия, Фрайбург в Брайсгау
Фрайбургский университет
им. Альберта-Людвига
Reinhard.Nachtigal@geschichte.
uni-freiburg.de

Reinhard Nachtigal, PhD.
Germany, Freiburg i. Br.
Albert-Ludwigs University
of Freiburg
Reinhard.Nachtigal@geschichte.
uni-freiburg.de

WORLD WAR I PRISONERS OF WAR GRAVES IN THE URALS: MODERN STATE

This article examines the death rate among foreign POWs held captive in the Urals during World War I and the contemporary state of their burial sites. The author studies the conditions in which POWs were kept in the Urals during World War I, reveals the causes and rate of deaths among the POWs, and characterizes the condition of military cemeteries surviving to the present day. The analysis is based upon documents in regional archives, data from parish registers and field expeditions. The article also describes the memorials for POWs remaining in various parts of the region, such as in Kirov, Orenburg, Sverdlovsk, and Kurgan regions. The high death rate was primarily caused by the region's severe climate and hardships of adaptation. Additionally, many deaths were caused by exogenous factors (typhoid, pneumonia and scurvy). The authors conclude that intensive work needs to be carried out to reveal, maintain and refurbish the burial sites of the POWs of World War I.

Key words: World War I; foreign POWs; Urals; camps; parish registers; death toll; epidemics; burial sites.

Работа посвящена смертности размещенных на Урале иностранных военнопленных Первой мировой войны и современному состоянию захоронений в регионе. Исследованы условия размещения военнопленных, выявлены причины и масштабы их смертности в различных районах края. Высокая смертность военнопленных объяснялась, в первую очередь, суровыми климатическими условиями и сложностями адаптации. Причинами смертности являлись экзогенные факторы (тиф, воспаление легких и цинга). В основе исследования материалы региональных архивов, данные церковных метрических книг, а также результаты полевых экспедиций. Описываются сохранившиеся памятники военнопленным Первой мировой войны в Кировской, Оренбургской, Свердловской и Курганской областях. Делается вывод, что предстоит большая работа по дальнейшему выявлению, сохранению и обустройству кладбищ военнопленных Первой мировой войны в Уральском регионе.

Ключевые слова: Первая мировая война; иностранные военнопленные; Урал; лагеря военнопленных; метрические книги; смертность военнопленных; эпидемии; захоронения военнопленных.

With the 100th anniversary of the beginning of World War I approaching, the authors have focused on the presence of prisoners of war (POWs) in Russia during the period. According to a broadly accepted view, approximately 2.0–2.5 million soldiers and officers of the Central Powers were held captive in Russia. During the post-Soviet period, a number of works on foreign POWs in Russia were published and devoted to the prisoners of war in the Urals and Western Siberia during World War I and after [Ломцов; Матушак; Сафронов; Суржикова, 2012]. It is estimated that there were approximately 300,000 POWs from the Austrian-Hungarian, German and Turkish military personnel in the Ural region [Уральская историческая энциклопедия, с. 120]. However, the issue of the death rate, the number of war graves, the work that went into the establishment of cemeteries, their distribution as well as their modern conditions have so far remained unstudied. The same holds true for the Urals and Trans-Urals.

Foreign POWs started arriving in the Urals and Trans-Urals during the first months of the war. At the beginning of September, 1914, the first prisoners arrived in Kurgan and later in Tobolsk and Tyumen. As of July 11, 1915, 3,978 POWs were held in Tobolsk, 7,298 in Tyumen Uyezd, and 5,831 POWs in Kurgan Uyezd [ГАТ, ф. 152, л. 2]¹. To house the newly arrived POWs, the local authorities rented houses from private owners or settled them in public buildings. Later, the authorities constructed barracks and special camps.

By 1917, there were a total of 400 POW camps in Russia. Some of the POWs lived among the locals. In the authors' archive there are over 15,000 place names in the Russian Empire that held military personnel captive during the war. One of the largest POW camps was located in Tobolsk, and in 1916 it was visited by a Danish delegation, which included representatives of the International Red Cross organization.

A surviving Danish report of an inspection of the camp was sent to the governor of Tobolsk by the Tobolsk military censor, A. S. Tyulpanov. In his report, A. S. Tyulpanov mentions that the delegation had visited and inspected the Tobolsk labour camp and talked to the POW junior military personnel. The representatives of the delegation examined the utility buildings and the barracks, which were meant to house 500 people each, and noted their cleanliness and satisfactory amenities. The POWs were unanimous in their opinions of the effectiveness of postal delivery, pointing out that on a number of occasions their mail reached home within 21 days after having been posted in Tobolsk. The next day the delegation visited a settlement 12 km away from the city where there were 165 Austrian-Hungarian officers and 55 junior military personnel. The delegation noted that two officers apiece shared detached houses in a pine forest. The POWs equipped the territory with all the necessary facilities, built a stadium, planted a garden and fir-trees as well as grass in front of their houses; they also engaged in pig farming.

However, this idyllic picture was not to be seen everywhere. According to B. I. Nikmanov, medical care generally was not provided in the labour

¹ It is important to note that the numbers of POWs can be determined only approximately, as POWs were often transported from one place to another.

camps. Doctors were chosen from among the POWs, but they did not receive any support from the camp authorities. Nor do the aforementioned sources contain any information about the supply of camps with medicines. Due to very harsh conditions of detention, the death rate in the camps was very high. Additionally, due to the fact that the camps were overcrowded, it was impossible to provide separate lodgings for the diseased, who frequently ate and lived together with the healthy POWs. All these combined with a very basic food supply caused an adverse epidemiological situation in the camps. For instance, in the Totsk camp (Orenburg region) an average of 80 persons died from typhus daily. And between November 1915 and January 1916, an estimated 11,000 POWs died in the camps [Ниманов, с. 15].

In case of illness, POWs were transferred to town hospitals and sick quarters. The deceased were interred in military and town cemeteries. The parish register of the Tobolsk Roman-Catholic Church recorded the causes of death for the POWs. Overall, between 1914 and 1915, 102 POWs died and were buried in the Zavalnoye Cemetery. The most frequent causes of death were tuberculosis, dysentery, typhoid (44 POWs died of typhoid, 32 of tuberculosis and 9 of dysentery). In 1916, 118 POWs died in Tobolsk, 82 of whom died of tuberculosis [GAT, f.156, l.134 – 170]. A similar range of causes of death can be found in other parish registers. The parish register of the Revdinskiy Plant of the Perm region contains data about 43 deceased POWs, listing similar causes of death: typhoid, tuberculosis, and pneumonia. According to the parish register of Transfiguration Cathedral, 304 POWs among the Austrian-Hungarian, German and Turkish military personnel died between 1915–1919 in Nadezhdinsk (Serov). Another notable cause of POWs' death was scurvy, which may be ascribed to the severe climate of the region and inadequate nutrition. Thus, in a majority of cases, POWs' deaths were caused by exogenous factors with typhoid, pneumonia and scurvy prevailing. N. V. Surzhikova comes to a similar conclusion, stating that 77 out of every 100 POWs in the Perm region did not live longer than 40 years [Суржикова, 2014, с. 322].

How were the personal belongings of the deceased POWs disposed of? In Russia, there existed the so-called *Rules of sending home the belongings of the deceased, fugitives and other POWs of enemy armies*. In compliance with this document, all the items of POWs' uniforms of the junior military personnel were to be handed over to the local commissary. All the remaining items (plain clothes, underwear, footwear, etc.), providing their condition was satisfactory, were to be disinfected and given to other POWs; all the rest was to be disposed of. Documents, letters, decorations, medals and notebooks were to be sent to the Central Inquiry Office in Petrograd and accompanied by a document indicating the details of the deceased: their name, age, religion, place of birth, and army in which they had served (German, Austrian-Hungarian or Turkish) [Жарова].

In Tobolsk, the military censor's, A. S. Tyulpanov, report to the governor of Tobolsk contains exclusive data on the condition of the POW cemetery during the visit of the Red Cross representatives. According to them, the POW

cemetery was a plot of land in the forest adjoining the edge of the Zavalnoye Cemetery of Tobolsk. The cemetery was divided into sections. Flowers were planted around gravesites; the fence and gate were made of birch, and the gate had an inscription: "Here lie prisoners of war". There was a path in the centre of the site with ditches for water drainage on its sides. The deceased POWs were buried in wooden coffins. As an exception, a Hungarian officer, Nagy, was buried in a metal coffin due to the fact that there was a request to repatriate his body. Every grave had a birch cross over it with the name of the deceased POW and the date of death; in the middle of the cemetery stood a black, Catholic cross. The same document demonstrates that POW cemeteries around Saint Petersburg were in a much poorer state.

During World War I, tens of thousands of POWs died in Russia. They were buried in cemeteries scattered all over the country and in specially created burial sites. Memorials to World War I, foreign POWs built in 1918 have survived until the present day in Kirov, Orenburg, and Sverdlovsk regions. For a temporary period, Austrian-Hungarian POWs were transferred to the town of Slobodskoy, the present Kirov region, and to other towns of the Russian Empire. Initially, the POWs were subject to the military authorities' control, but in mid-1916, the majority was released from custody. Between 1915 and the beginning of 1916, the town faced an epidemic of typhoid, which caused a great number of deaths among POWs. To care for the diseased, authorities built typhoid barracks. The dead were buried in the south-eastern part of the town cemetery, which was located on the picturesque bank of the Vyatka River. In 1918, a monument was erected in the place of POWs burial. The obelisk in Slobodskoy was a tall, four-sided column standing on a stepped base adorned with garlands and finished with a stylized eternal flame. On top of it, the monument had a flying eagle, which is now missing. The monument was made of brick and white stone — the latter was used to make the flame — garlands, wreath, and columns. All four sides of the column have niches in them with metal plates bearing inscriptions in Russian and German.

During World War I, over 5,000 POWs were held captive in the north of present-day Sverdlovsk region in the city of Serov (known as Nadezhdinsk at the time). Part of the POWs worked at the Nadezhdinsk Metallurgical Plant, while others built a railway. The POWs' working conditions were monitored by representatives of the Swedish Red Cross; however, they did not comply with the requirements. The POWs working at the plant were provided with more or less satisfactory working conditions, while the rest of the POWs had to suffer from much harsher conditions. Thus, POWs building a railway were forced to manually dig frozen ground using pick hammers and spades in the winter, and had to live in dugouts, which were characterized by their darkness and excessive humidity. According to the parish registers of Transgression Cathedral, approximately 304 POWs died in Nadezhdinsk (32 in 1915; 112 in 1916; 102 in 1917; and 57 in 1918, respectfully). The low death rate among POWs in 1915 can be ascribed to the fact that at that time POWs had just started arriving in Nadezhdinsk, and

in 1918 the repatriation process began. Like the majority of POW camps, in Nadezhdinsk they died from diseases (tuberculosis and scurvy). However many were victims of accidents (e. g., a POW died in an open-hearth shop as a result of carbon monoxide poisoning; another was hit by a train; yet another drowned in the river). Additionally, there were cases of suicide. The deceased POWs were buried in the town cemetery, and in 1918 the construction of a commemorative monument was funded by the Bogoslovsky mining district. The monument was 2.5 m tall and was made of concrete, imitating natural rock. In the 1950s the cemetery was destroyed. The locals tried to demolish or topple the monument, but their attempts to do so were ineffective. This is how the monument found its place on the property of a privately owned house built there. The plate on the monument is missing as well as the iron chain, which at one time circled the monument.

In the Perm region, POWs working at the Revdinsky Hardware Plant were involved in lumbering and in the building of a railway. During the 1920s, workers from Revda collected money and erected a 2-metre stone pyramid at the POW burial site. The plate on it read: "To our brothers in class. To victims of the world capital. From the workers of Revda."

Monuments over 3 metres in height still survive in the town of Nizhnyaya Salda (Sverdlovsk Region) and in the town of Totks (Orenburg Region). However, it was not a tradition to erect monuments in honour of POWs everywhere, and much work is yet to be done to find, preserve and refurbish the POW cemeteries of World War I. The goal is attainable, nonetheless, since the Ural region is characterized by low population density and land development. Due to these factors, many of the POW burial sites survive, although often there may be no visible indication. This situation applies, for example, to the POW burial site, destroyed during the 1970s, on 9th January Street in Kurgan [ГАКО, ф. 465, л. 75, 76]. At present the Victory Park is located there; however, if necessary, the POW site could be uncovered.

Recently work has begun to re-discover and maintain POW burial sites of World War I, both abroad and in Russia, particularly thanks to the intensive efforts of the Österreichische Schwarze Kreuz (The Austrian Black Cross). Because of their work, a memorial was built in the burial site of World War I POWs in the destroyed Ryazanovskoye Cemetery in Yekaterinburg.

ГАКО. Ф. 465. [ГАКО. F. 465.]

ГАТ. Ф. 152; Ф. 156. [ГАТ. F. 152; F. 156.]

Жарова А. С. Положение военнопленных Первой мировой войны в Тобольской губернии. [Электронный ресурс] // Зауральская генеалогия. URL: http://kurgangen.org/local-finding/Pervaya_Mirovaya/Plen/ (дата обращения: 30.12.2013). [Zharova A. S. Polozhenie voennoplennykh Pervoi mirovoi voiny v Tobol'skoi gubernii [Elektronnyi resurs] // Zaural'skaya genealogiya. URL: http://kurgangen.org/local-finding/Pervaya_Mirovaya/Plen/ (data obrashcheniya: 30.12.2013).]

Ломцов А. А. Военнопленные в Южном Зауралье в годы Первой мировой войны // Социально-экономические отношения в Сибири и на Урале во второй половине XIX–XX вв. : материалы регион. науч. конф. (г. Курган, 21 дек. 2000 г.) / [отв. ред.

П. А. Свищев, В. Г. Савельев]. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2002. С. 78–87. [Lomtsov A. A. Voennoplennye v Yuzhnom Zaural'e v gody Pervoi mirovoi voiny // Sotsial'no-ekonomicheskie otnosheniya v Sibiri i na Urале vo vtoroi polovine XIX–XX vv. : materialy region. nauch. konf. (g. Kurgan, 21 dek. 2000 g.) / [otv. red. P. A. Svishchev, V. G. Savelev]. Kurgan : Izd-vo Kurgan. gos. un-ta, 2002. S. 78–87.]

Матушчак Л. В. Военнопленные Первой мировой войны на Урале // Проблемы военного плена: История и современность : материалы междунар. науч-практ. конф., 23–25 окт., г. Вологда : в 2 ч. / редкол.: Е. А. Поромонов (предисл.) и др. Ч. I. Вологда, 1997. С. 173–174. [Matushchak L. V. Voennoplennye Pervoi mirovoi voiny na Urале // Problemy voennogo plena: Istoriya i sovremennost' : materialy mezhdunar. nauch-prakt. konf., 23–25 okt., g. Vologda : v 2 ch. / redkol.: E. A. Poromonov (predisl.) i dr. Ch. I. Vologda, 1997. S. 173–174.]

Ниманов Б. И. Особенности и основные факторы содержания и хозяйственной деятельности военнопленных в 1914–1917 годах : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2009. 24 с [Nimanov B. I. Osobennosti i osnovnye faktory soderzhaniya i khozyaistvennoi deyatelnosti voennoplennykh v 1914–1917 godakh : avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. M., 2009. 24 s.]

Сафронов Д. А. Немецкие военнопленные в Оренбургском крае в годы Первой мировой войны // Немцы и Оренбургский край : сб. ст. и тез. / под общ. ред. А. В. Федоровой. Оренбург : Димур, 1994. С. 24–26. [Safronov D. A. Nemetskie voennoplennye v Orenburgskom krae v gody Pervoi mirovoi voiny // Nemtsy i Orenburgskii kraj : sb. st. i tez. / pod obshch. red. A. V. Fedorovoi. Orenburg : Dimur, 1994. S. 24–26.]

Суржикова Н. В. Военнопленные в Богословском горном округе: контакты, конфликты, конвенции // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2. Гуманитар. науки. 2012. № 1 (99). С. 123–125. [Surzhikova N. V. Voennoplennye v Bogoslovskom gornom okruge: kontakty, konflikty, konventsii // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2. Gumanitar. nauki. 2012. № 1 (99). S. 123–125.]

Суржикова Н. В. Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.). М. : Росспэн, 2014. 424 с. [Surzhikova N. V. Voennyi plen v rossiiskoi provintsii (1914–1922 gg.). M. : Rosspen, 2014. 424 s.]

Уральская историческая энциклопедия / гл. ред. В. В. Алексеев. Екатеринбург : Екатеринбург, 1998. 624 с. [Ural'skaya istoricheskaya entsiklopediya / gl. red. V. V. Alekseev. Ekaterinburg : Ekaterinburg, 1998. 624 s.]

*Translated by Tatiana Kouznetsova
The article was submitted on 17.12.2013*

Мотревич В. П., проф.
Россия, Екатеринбург
Уральская государственная
юридическая академия
vladimir.motrevich@mail.ru

Vladimir Motrevich, prof.
Russia, Yekaterinburg
Ural State Law Academy
vladimir.motrevich@mail.ru

Смыкалин А. С., д. ю. н.
Россия, Екатеринбург
Уральская государственная
юридическая академия
smykalin@mail.ru

Alexandr Smykalin, dr.
Russia, Yekaterinburg
Ural State Law Academy
smykalin@mail.ru

УДК 159.943:355.232.2(=161.1) +
159.943:355.232.2(112.2) +
94(100)“1939/45”

Елена Приказчикова

СОВЕТСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ВОИНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

SOVIET AND GERMAN STEREOTYPES OF MILITARY BEHAVIOR OF FIGHTER PILOTS

Dulce et decorum est pro patria mori
Horatius

With reference to a vast amount of Soviet / Russian and German ego-documents, the author studies the sociocultural and national stereotypes of military behavior of fighter pilots in World War II. Examining broader aspects of fighter pilots' subcultural psychology and using the methods of content analysis of memoirs, the author analyzes the main means of changing stereotypes in terms of mutual perceptions of former enemies. The latter did not only depend on the logic of uncompromising military confrontation and the clichés of propaganda but also on the mental code required of participants of the war, in which they were to comply with traditional behavioural ideals of valor and heroism.

Keywords: stereotypes of military behaviour; ego-documents; subculture of fighter pilots; World War II.

В статье на основе привлечения большого количества советских/российских и немецких эгодокументов рассматриваются социокультурные и национальные стереотипы воинского поведения летчиков-истребителей эпохи Второй мировой войны. Рассматривая черты интернационального единства субкультурной психологии летчиков-истребителей и используя метод контент-анализа мемуарных источников, автор исследует основные пути изменения стереотипов восприятия друг друга бывшими противниками, зависящих не только от логики бескомпромиссного военного противостояния и пропагандистских клише, но и от национального ментального кода, предписывающего участникам военного конфликта придерживаться

в своем поведении исторически сложившихся традиций восприятия идеалов мужества и героизма.

Ключевые слова: стереотипы воинского поведения; эгодокументы; субкультура летчиков-истребителей; Вторая мировая война.

Представление о военной доблести даже в античную эпоху, когда в обществе культивировались представления об *ἀρετή* и *virtus*¹, никогда не представляло собой раз и навсегда устоявшейся категории. Идеал героизма, трансформированный в стереотип воинского поведения, меняется в зависимости от исторической эпохи и национального своеобразия данных представлений. Наиболее отчетливо эти отличия находят свое отражение через личностную установку эгодокументов, которые, являясь «окном в прошлое» [Гладков], позволяют проследить трансформацию исторической психологии представителей военной субкультуры в зависимости от их национальной принадлежности. Впервые возможности подобного контент-анализа проявились на примере мемуарно-автобиографической литературы эпохи Наполеоновских войн.

Анализ эгодокументов как с русской, так и с французской стороны показывает, что важнейшей чертой мемуарной самоидентификации «детей Марса» было культивирование специфического типа героизма, охарактеризованного французским драматургом Э. Ростаном термином «панаш» (от фр. *panache* 'рыцарский султан'). Панаш понимался как «душа отваги», «храбрость, доминирующая над ситуацией», предписывающая его носителю «шутить перед лицом опасности» [Roland, p. 22–23]. Данный «героизм с оглядкой на публику» [Луков, с. 115] был тесно связан с проявлением безудержной лихой отваги, ежечасной рискованной игры со смертью, практически полностью исключавшей изображение в мемуарах проявлений трусости в бою, т. е. поведения, не соответствующего высоким канонам мифориторической культуры с ее глорификацией военной действительности.

Начиная с эпохи Первой мировой войны, военная культура офицерского корпуса, восходящая своими корнями к рыцарской этике, начинает неуклонно разрушаться. Е. Месснер, военный теоретик русского зарубежья, в статье «Современные офицеры», написанной в 1961 г. в Буэнос-Айресе, отмечает: «...блокадой Германии в Первую Всемирную войну было положено начало войнам против слабейших: против женщин, детей, стариков. Вторая война изорвала в клочья офицерский кодекс. Офицер стал командиром хаоса, ибо вместо борьбы армии против армии война стала столкновением воинов и партизан, рыцарей и подпольщиков» [Месснер, с. 423].

Единственным исключением в данном ряду оказывается, начиная с эпохи Первой мировой войны, субкультурное мышление летчиков-

¹ 'Доблесть, мужество' (греч., лат.).

истребителей, образ которых был окружен романтическим ореолом. Даже в суровых условиях военной действительности они стремились придерживаться в своем поведении неписаных законов «рыцарей воздуха», бросающих друг другу с небес вызовы на поединки, о чем писал Й. Хейзинга [Huizinga, p. 92]. В российской императорской армии эталоном подобного «рыцаря воздуха», с которого пытались «делать жизнь» молодые летчики, был Евграф Крутень [Летающие тузы], в немецкой – «красный барон» М. фон Рихтгофен [Richthofen]. Особый интерес поэтому представляет исследование субкультуры летчиков-истребителей Второй мировой войны, сражающихся на стороне наиболее непримиримых политических сил той эпохи: нацистской Германии и Советского Союза. В центре внимания автора статьи находятся социокультурные стереотипы воинского поведения немецких и советских летчиков.

В 90-е гг. XX в. в России в результате перестройки, сопровождающейся отменой идеологических стандартов и частичным открытием архивов, активизировалась важнейшая составляющая любого мемуарного текста – авторская память. Мемуарная проза о войне, опять став одним из самых востребованных видов литературы, начинает издаваться и переиздаваться². Большой интерес среди эгодокументов вызывает жанр «глубокого интервью», образцы которого по различным родам войск представлены на интернет-сайте А. Драбкина «Я помню» (<http://www.iremember.ru>). На основе данных интервью впоследствии были изданы сборники воспоминаний «Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар», «Я дрался с асами Люфтваффе», «Я дрался на Ил-2», «Я дрался на У-2», «Я дрался на Т-34», «Я дрался с панцерваффе».

Важным фактором для активизации мемуарного творчества советских/российских ветеранов стало издание в России воспоминаний их противников во Второй мировой войне в сериях «За линией фронта. Мемуары», «Солдат III Рейха», «Жизнь и смерть на Восточном фронте» и отдельными изданиями. Среди этих воспоминаний одно из самых заметных мест занимают мемуары немецких летчиков (Г.-У. Руделя, А. Галланда, Й. Штейнхофа, Г. Липферта, П. Хенна, Н. Ханнига, В. Ионена, В. Хейлмана, Г. Леске, Х. Кноке, М. Зиглер, Г. Блометца, К. Фритцше) и др. Правда, многие интересные мемуарные тексты, вроде воспоминаний Г. Ралля или В. Шука, еще не переведены на русский язык, поэтому при обращении к ним в статье мы будем апеллировать к английским первоисточникам как наиболее распространенным в западноевропейском культурном пространстве.

В результате возникли объективные предпосылки для создания интернационального мемуарного интертекста, рассказывающего об истории Второй мировой войны и создающего более объективную картину происходящего при личной субъективности каждого из авторов.

² См. издания из серии: «На линии фронта. Правда о войне», «Мы были солдатами. Фронтовые приключения», «Война и мы. Солдатские дневники», «Война и мы. Окопная правда», «Сталинские соколы», «В воздушных боях».

Особенно сильно иностранные эгодокументы воздействовали на сознание бывших летчиков-истребителей, как наиболее интеллигентной и читающей части ветеранского корпуса. Немецкая мемуарная литература в значительной степени изменила представление российских читателей о «фашистских стервятниках», позволила увидеть, если можно так выразиться, человеческое лицо врага. К удивлению, оказалось, что многие немецкие асы, сражавшиеся на Восточном фронте, придерживались в своем поведении неписаных законов «рыцарей воздуха», созданных еще «красным бароном» М. фон Рихтгофеном в Первую мировую войну. Если еще в 1986 г. И. Драченко в своих воспоминаниях «На крыльях мужества» писал о немецких асах как о «бриллиантовых мальчиках» Геринга, «которые пели бравурные песни и расстреливали на дорогах беззащитных женщин и детей, пускали под откосы санитарные поезда, картинно несли на своих боках удавов, черных кошек, пиковых дам» [Драченко, с. 163], то в XXI в. в биографической книге о А. И. Покрышкине историк авиации А. В. Тимофеев, характеризуя немецких асов-истребителей, замечает: «В истребительных эскадрах собрался цвет молодежи из старинных германских земель» [Тимофеев, с. 255]. Олицетворением этой молодежи у автора становится ас № 2 Германии (301 победа в воздухе) Г. Баркхорн, награжденный Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Этот «бриллиантовый мальчик», по терминологии И. Драченко, характеризуется Тимофеевым как «редкостный джентльмен, пытавшийся сохранить рыцарские правила ведения боя» [Там же, с. 254].

В российской мемуарной литературе последнего десятилетия феномен «нового знания» может приводить к отказу от старой советской традиции изображения врага, что сразу же сказывается на используемой автором лексике. Например, в воспоминаниях В. Решетникова, генерал-полковника, Заслуженного военного летчика СССР, Героя Советского Союза, при рассказе автора о появлении на Южном фронте эскадры известного аса Люфтваффе и командира истребительной авиации В. Мельдерса читаем: «Знаменитый немецкий (не фашистский. – Е. П.) ас привел с собой целую стаю своих “орлов” (не стервятников. – Е. П.), и перевес оказался на их стороне» [Решетников, с. 255].

Подобная аберрация мемуарного текста, сопряженная с готовностью понять и по достоинству оценить бывшего противника, проявляет себя в воспоминаниях известного летчика-испытателя А. Щербакова, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Г. Баевского. В книге Баевского символом своеобразного «примирения» с оппонентами из Люфтваффе становится встреча советских ветеранов-летчиков в феврале 1995 г. на военно-исторической конференции «Летчики-истребители в боях за Отечество» с бывшим асом Люфтваффе и генеральным инспектором Бундеслюфтваффе генерал-майором Г. Раллем. Ралль, приехавший в подмосковную Кубинку, произвел очень хорошее впечатление на своих бывших оппонентов.

Баевский пишет: «Этого летчика отличали не только выдающиеся профессиональные качества, мужество, но и психологическая устойчивость, стремление до конца выполнить долг» [Баевский, с. 283].

В целом, для субкультуры летчиков-истребителей, независимо от их национальной принадлежности, принципиально важным оказывается общая романтизация своей профессии, включающая противопоставление себя летчикам других видов авиации, например, бомбардировочной; отношение к боевой машине как к боевому другу, живому существу, специфический авиационный юмор, умение до старости сохранять мальчишеский задор, детскую откровенность и непосредственность поведения. В этом отношении нет принципиальной разницы между характеристикой, даваемой асом двух войн, Второй мировой и Корейской, С. Крамаренко своему другу летчику-истребителю А. С. Куманичкину, который, «будучи крупным военачальником... в душе оставался юным, увлекающимся, задорным весельчаком и спортсменом» [Крамаренко, с. 359], и характеристикой, которую американские авторы Р. Ф. Толивер и Т. Дж. Констебль дают самому результативному асу Люфтваффе Э. Хартманну в его биографии «Белокурый рыцарь Германии»: «He enjoys life hugely, has his mother's gaiety and sense of humor»³ [Toliver, Constable, 1985, p. 9]. А тот факт, что Хартманн до самой своей смерти в 1993 г. носил военное прозвище «Bubbi» («мальчуган, малыш») говорит сам за себя.

Одним из важнейших неписаных законов, характеризующих психологию «рыцарей неба», был запрет стрелять по парашютистам – пилотам противника, покинувшим свой обреченный самолет. В мемуарах российских летчиков советского периода наиболее распространенным было мнение, что фашистские летчики систематически и целенаправленно занимались расстрелом советских парашютистов, в то время как советские летчики этого не делали никогда. Об этом пишут К. Кайтанов [1984], А. Л. Иванов [1974], В. Некрасов [1960], К. Л. Карданов [1985] и др., неизменно возмущаясь этим коварным и подлым приемом врага. Знакомство с немецкой мемуарной литературой показывает, что, по крайней мере, для асов, награжденных Рыцарским крестом, соблюдение неписаных законов Рихтгоффера было строго обязательно. В биографической книге Р. Ф. Толивера и Т. Дж. Констебля «Белокурый рыцарь...», написанной на основе воспоминаний асов Люфтваффе, все время подчеркивается: «For German fighter pilots it was unthinkable to strafe an enemy pilot hanging in his parachute. They regarded that not as war and fighting between soldiers, but as murder. This chivalrous tradition may have seemed out of place in total war, but the Luftwaffe lived by this code to the end»⁴ [Toliver, Constable, 1985, p. 169]. Командующий истребительной авиацией

³ «Он очень жизнерадостен, унаследовал от матери веселость и чувство юмора» (здесь и далее перевод мой. – Е. П.).

⁴ «Для германского пилота было просто немислимо обстреливать вражеского пилота, выпрыгнувшего с парашютом. Немцы считали, что это не сражение между солдатами, а грязное убийство. Эти рыцарские традиции уже не имели места в эпоху тотальной войны, но Люфтваффе жило в соответствии с этим кодексом до самого конца».

Люфтваффе в 1941–1944 гг. А. Галланд в своей книге воспоминаний «Первый и последний» рассказывает, как во время битвы над Британией в 1940 г. Г. Геринг спросил его, как он отнесется к приказу, который предписывал бы стрелять во вражеских летчиков, выбросившихся с парашютом. Галланд отвечает, что посчитал бы такой поступок хладнокровным убийством и никогда не подчинился бы такому приказу, что вызывает у Геринга одобрение как следование традициям асов Первой мировой войны, к которым принадлежал и главнокомандующий Люфтваффе [Galland]. Подобную точку зрения на данный вопрос высказывали в своих мемуарах и другие асы Люфтваффе: А. Гриславски, В. Крушински, Г. Баркхорн, Э. Хартманн, Н. Ханниг, Г. Липферт, Х. Эвальд, Х. Кноке. При этом немецкие асы, подобно советским, возмущаются нарушением этих неписаных правил только со стороны не советских, но американских летчиков-истребителей. Впервые отчетливо прозвучав в книге американцев Р. Ф. Толивера и Т. Дж. Констебля «Хорридо. Истребительные асы Люфтваффе»: «unfortunately the same assurances cannot be given concerning the American fighter pilot, who offended this tradition of aerial combat all too often»⁵ [Toliver, Constable, 1979, p. 43], – этот упрек в адрес американцев нашел свое отражение в огромном количестве немецких мемуарных текстов, особенно принадлежащих перу асов JG 52 (Г. Липферт, А. Гриславски, Х. Эвальд, Э. Хартманн и др.). Так, Х. Эвальд в книге Д. Вилла «More Bf 109 Aces of the Russian Front», возмущенный расстрелом своего друга Ханнеса Блаттера из Бремена под парашютом, говорит: «Throughout our whole time on the southeastern front, Russian pilot have never shot at German pilot in their parachutes. Perhaps the Americans are practicing “total war”!»⁶ [Weal, p. 74].

Что касается советских летчиков, то особой аберрации их точки зрения в связи с новым знанием о военной культуре их противников все же не произошло. Только некоторые из них, вроде Б. Н. Еремина, командира 31 ГИАП, часто сражающегося против JG 52, в которой служили самые известные асы Люфтваффе, и имеющего репутацию очень принципиального человека, говорит: «Мы в воздухе не расстреливали, и они нас в воздухе не расстреливали, хотя никакой “джентльменской” договоренности не было, неосознанное что-то» [Еремин, с. 157]. Некоторые советские летчики, вроде полковника запаса Д. А. Алексева [Алексеев] служившего в 41 ГИАП или Л. М. Павлова [Павлов] из 821 ИАП, признаются, что сами не знают случаев, когда немцы стреляли бы по нашим парашютистам. Однако чаще у советских летчиков, вроде И. Д. Гайдаенко, их собственный военный опыт вступает в явное противоречие с новым знанием о рыцарских традициях, культивирующихся в Люфтваффе: «Немцы ж

⁵ «К сожалению, этого правила не всегда придерживались американские летчики-истребители, нарушавшие традиции воздушной войны особенно часто».

⁶ «За всё время моего пребывания на юго-восточном фронте русские пилоты никогда не стреляли в немецких пилотов под парашютами. Вероятно, американцы проводили “тотальную войну”».

были сволочи. И неправду говорят, будто они рыцари были... Нет! Они добивали тех, кто на парашютах выпрыгивал. Кутахов висит на парашюте, а они заходят и стреляют» [Гайдаенко, с. 491]. Абсолютное же большинство российских летчиков в своих интервью предпочитает придерживаться традиционной точки зрения: немцы стреляли, мы – нет (Г. В. Кривошеев, Н. Г. Голодников, С. Д. Горелов, А. Е. Шварев, Б. С. Дементеев, В. А. Куницын, Б. И. Кардопольцев), правда, с некоторыми оговорками: стреляли иногда, некоторые из них, такие случаи были. При этом интересно, что в соответствии с традициями социалистического коллективизма, отвергающего индивидуализм, советские летчики почти не используют местоимение «я», «я не стрелял», предпочитая говорить от имени всего полка: «Мы не расстреливали немцев в воздухе. Моды такой не было» [Горелов, с. 353]; «Я не знаю ни одного летчика нашего полка, кто стрелял в парашютистов» [Кардопольцев]; «У нас не было принято расстреливать в воздухе немецких летчиков, которые выбросились с парашютом. За все время на фронте я не помню ни одного такого случая» [Прозор]. Обобщенную точку зрения на данный вопрос формулирует С. З. Букчин, служивший во время войны в 129 ГИАП: «Никто в нашем полку не стрелял по немцам, выбросившимся на парашютах, после сбития <...> Принято было, если немец подбитый, сел на вынужденную на его территории, добить самолет, но целенаправленно в пилота никто не стрелял. А вот немцы, особенно в начале войны, наших пилотов расстреливали часто» [Букчин, с. 41]. При этом практически никто из советских летчиков не апеллирует к рыцарским традициям Первой мировой войны, традициям «отцов», как это происходит у немцев или у британских асов. Например, об этом прямо пишет лучший ас Королевских ВВС Второй мировой войны Д. Э. Джонсон в своих воспоминаниях «Командир крыла» [Johnson]. У советских летчиков сказывается культурный разрыв традиций, вызванный революцией 1917 г., поэтому в большинстве случаев они апеллируют к общечеловеческой морали: «У нас в полку садистов не было» [Букчин, с. 41]; «Ведь это все равно, что расстрелять безоружного или сдающегося в плен» [Иванов, с. 256]; «У нас считалось так – “в воздухе – дерись!”, а это получается вроде как лежачего бить» [Прозор]. Только иногда звучит национальное или идеологическое обоснование данного поведения: «Русский характер не такой!» [Кривошеев, с. 31]; «Не фашист же я, чтобы расстреливать беззащитного врага» [Павлов, 1988, с. 169].

При репрезентации социокультурных стереотипов в эгодокументах российских и немецких летчиков важную роль играет идеологическая составляющая, отсутствие ощущения того равенства сторон военного конфликта, о котором писал Й. Хейзинга. Особенно это заметно в мемуарах российских асов, созданных в советский период, на примере которых можно изучать традиции исторической имагологии. Е. С. Сенявская справедливо отмечала по этому поводу: «Сопоставление своего и чужого, как правило, бывает комплиментарным

по отношению к “своему” и весьма критичным или даже негативным, отторгающим по отношению к чужому» [Сенявская, с. 11].

При изображении военного противника в мемуарах «сталинских соколов» 50–70-х гг. XX в., особенно дослужившихся до генеральских погон, часто встречаются идеологические клише, шаблоны и стереотипы. Их появление в мемуарном тексте было неизбежным следствием отражения в тексте той «официальной правды», пропитанной запахом газет, о которой писала еще С. Алексиевич, отмечая, что данная правда «неизменно заводит в пустыню прошлого, на глянцевой поверхности которого маячили только памятники. Гордые и непроницаемые» [Алексиевич]. В традициях «официальной правды» место конкретного военного противника занимают безликие «фашисты», чтобы не обидеть наших немецких товарищей из ГДР. Немецкая армия характеризуется как «оголтелая банда фашистских убийц», немецкие летчики становятся «фашистскими стервятниками», Берлин – «логовом фашистского зверя» и т. д. В книге С. Грибанова с характерным названием «Заложники времени. Воспоминания летчика-истребителя на свободную тему», вышедшей уже в начале постсоветской эпохи, феномен официальной памяти у летчиков подается через ироническую фразу: «Говорить правду? Или сразу пойдем в буфет?» [Грибанов, с. 214]. В духе пропагандистских штампов генерал-майор авиации С. Д. Луганский подчеркивает, что «фашистские стервятники» были «равнодушными профессиональными убийцами», какими «воспитал немецкую молодежь Гитлер» [Луганский]. Их отвага – «отвага профессионального убийцы, выполняющего чужую волю, в руках которой он лишь пушечное мясо», – добавляет главный маршал авиации А. А. Новиков [1970, с. 80]. По мнению дважды Героя Советского Союза генерал-майора Г. А. Речкалова немцам чужд дух коллективизма, воспитываемый в советских асах Коммунистической партией. «Для них война — личная победа, дух коллективизма им чужд. У нас — наоборот» [Речкалов, с. 191]. В. Ф. Голубев в своих воспоминаниях «Крылья крепнут в бою» отмечает, что советский «воздушный боец» «обладает высокими морально-боевыми качествами, стальной волей к победе, способен к самопожертвованию во имя Родины. Гитлеровская молодежь, воспитанная на гнилой нацистской морали, таких качеств не имела. Ее поддерживали “спортивный интерес”, “лавры победы”, оплачиваемые обилием денег и почестей» [Голубев].

Субкультурная «инаковость» немецких асов, находящая свое отражение в другой, по сравнению с советскими летчиками, тактике ведения боя, тактике «свободного охотника», неизменно вызывала обвинение «фашистских стервятников», покидающих поле боя, не выдержав смелых атак «сталинских соколов», в трусости. Об этом пишет в своих воспоминаниях «Истребители» маршал авиации Г. В. Зимин, В. М. Шевчук в «Командир атакует первым», А. Т. Тищенко в «Ведомых “Драконе”». Так, Тищенко замечает: «Взять хотя бы вражеских летчиков. Воюют они, кажется, с умом, расчетливо, в бою не очень

теряются. А как только обострится обстановка или заметят, что их меньше, сразу спешат выйти из боя. <...> Для них нет ничего святого, собственная шкура дороже всего» [Тищенко, с. 112]. Можно сказать, что подобная традиция изображения врага стала складываться в советской мемуарной литературе сразу после окончания войны. Уже в первых своих воспоминаниях 1948 г. «Крылья истребителя» знаменитый советский ас А. И. Покрышкин писал: «Немецкие асы заносчиво именовали себя “рыцарями воздуха”. Они по-дикарски украшали свои машины амулетами, были суеверны и, как это ни покажется странным, по природе своей трусливы, хотя среди них встречались и опытные пилоты» [Покрышкин, с. 70]. Правда, справедливости ради, надо признать, что в стенограмме беседы с А. Покрышкиным, проходившей 25 декабря 1944 г. и предназначенной для Комиссии по составлению хроники Великой Отечественной войны, данный пассаж выглядит немного по-другому: «Если взять немецкого летчика и русского летчика – конечно, разница очень большая. Патриотизм здесь играет большую роль. Такого патриотизма, как у наших летчиков, у немцев нет. Для большинства немецких летчиков имеется цель жизни, так как за сбитые самолеты ему платят. Но желания умирать у них за какое-то дело нет» [цит. по: Марчуков, с. 49]⁷. Если учесть, что данная стенограмма, как и стенограммы бесед с другими летчиками 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, долгое время хранящиеся в архиве Института российской истории РАН, никогда не подвергалась специальной редакторской правке, ее можно рассматривать как аутентичный синхронный текст, лишенный каких-либо признаков аберрации. Точка зрения Покрышкина 1944 г. мало чем отличается, как мы увидим ниже, от точки зрения российских летчиков-истребителей постперестроечной эпохи, как она находит отражение в их эгодокументах.

Традицию пропагандистско-идеологического изображения противника резко критиковал советский ас А. С. Куманичкин: «С легкой руки некоторых незадачливых журналистов в начале войны родилась легенда: немецкие летчики — безнадежные трусы. <...> Послушать такого “теоретика” — драться с немцами вообще не составляло никакого труда. В действительности же все обстояло намного сложнее» [Куманичкин, с. 34].

Только в некоторых советских мемуарных источниках, например, в «Крылатой гвардии» К. Евстигнеева в «мемуарных проговорах», далеких от идеологических штампов, прорывается «правда» тяжелейших боев с экспертами⁸ Люфтваффе, которых он, правда, тоже порой называет «фашистскими стервятниками», а чаще – «головорезами». Тем не менее, Евстигнеев пишет: «Немецкие летчики имели большой

⁷ Впервые стенограмма, хранящаяся в ИРИ РАН (ф. 2, р. IV, оп. 1. Дело Трижды ГССС Покрышкина А. И.) была напечатана в книге А. Марчукова «Героипокрышкинцы о себе и своем командире. Правда из прошлого. 1941–1945» (М., 2014).

⁸ Термин «эксперт» (Experte) в немецкой традиции использовался для обозначения летчика-аса.

опыт воздушных боев. В люфтваффе Геринга были матерые асы, на боевом счету которых числились многие десятки сбитых самолетов разных стран. В их состав входили отборные группы — такие, как эскадрилья “Удет”, укомплектованная головорезами высочайшего класса. Схватка с ними не у каждого заканчивалась удачно. Ведь в бою противник так же, как и ты, стремится к победе» [Евстигнеев, с. 70].

В абсолютном большинстве современных «глубоких интервью» так же, как и в мемуарах, написанных в последние 10–15 лет, мнение российских летчиков-истребителей о профессиональном мастерстве немецких асов традиционно высокое, хотя похвалы в их адрес, порой, звучат несколько принужденно. К. Г. Звонарев: «Хорошие летчики. <...> Они нам не уступали ни по морально-волевым качествам, ни по технике пилотирования. Стреляли хорошо» [Звонарев, с. 432]. И. Л. Звягин: «...они же все “дубовые” кресты имели – они как “герои” были... Да, достойные летчики». [Звягин]. А. А. Щербаков: «Как воевали немецкие летчики, будучи нашими противниками? Для начала скажем, воевали они хорошо» [Щербаков, с. 29]. С. Микоян: «...Это были и в самом деле очень опытные, умелые и смелые бойцы, которых ценили и оберегали» [Микоян, с. 117]. Сходное мнение выражают А. Хайла [Хайла], Л. З. Маслов [Маслов], В. А. Тихомиров [Тихомиров], Н. Е. Беспалов [Беспалов], И. Д. Гайдаенко [Гайдаенко], М. Г. Поморов [Поморов] и др.

Тем не менее, и в постсоветских текстах традиция русского «упоения в бою», всемерной глорификации действительности оказывается четко противопоставленной немецкой «расчетливой» манере ведения воздушной войны. При этом данная «расчетливость» получает уже не столько идеолого-политическое, сколько национальное обоснование как чисто немецкий метод ведения боя, исключая излишний риск и неоправданные жертвы, зато приводящий на практике к высокому результату воздушных побед. Например, И. И. Кожемяко в «глубоком интервью» так характеризует своих немецких оппонентов: «Они были очень расчетливы. Это их основное достоинство и основной недостаток. Очень жить хотели. <...> В бою предсказать поведение немецкого летчика было легко, – он выберет наименее рискованный вариант. Немцы не были трусами (на этот счет я ни капельки не обольщался), просто голый расчет. <...> Да, и отважными я бы их не назвал (все-таки отвага это нечто большее, чем простое отсутствие трусости). У немцев отвага всегда подкреплялась мастерством. Всегда. Чем более опытен был немецкий летчик, тем более активно и наступательно он мог вести маневренный бой. А уж если немецкий летчик рисковал вступить в маневренный бой “один на один”, то поверь, это значило одно – тебе попался боец экстра-класса. <...> Атаковать без внезапности и при равных силах – риск, по немецким меркам, недопустимый» [Кожемяко, с. 146]. Данное мнение Кожемяко подтверждают практически все без исключения советские летчики-истребители, чьи «глубокие интервью» или мемуарные тексты

выходили в свет уже в постцензурный период и на них, соответственно, не могла повлиять позиция Главного политического управления и литературных редакторов советского периода. Контент-анализ дает почти дословное повторение одной и той же точки зрения у летчиков, служивших в различных истребительных полках и не знакомых друг с другом лично (А. Я. Мариненко, Б. И. Кардопольцев, И. Д. Гайдаенко, Н. Г. Голодников). Так, Н. Г. Голодников на вопрос интервьюера о слабых сторонах немецких летчиков-истребителей отвечает: «Очень расчетливые были, не любили рисковать. <...> Часто, чтобы бой выиграть – надо сильно рискнуть и переломить бой в свою сторону, а немцы рисковать не любили» [Голодников, с. 234].

Наметившаяся в российских источниках личного происхождения антитеза русских – немецких асов при ближайшем рассмотрении показывает, что ее нельзя однозначно трактовать лишь как продукт исторической имагологии, вызванной философией военного противостояния и сильной идеологической составляющей военного противоборства «нацистов и коммунистов». Дело не только в этом. Чаше не меньшую роль играет национальный стереотип храбрости и мужества, при несовпадении которого конфликт двух сторон приобретает не столько военно-политический, сколько ментальный характер.

Надо ли удивляться тому, что при подобном настрое советские летчики-истребители просто психологически не могли принять ни высокие личные счета немецких асов, ни тем более признать их лучшими асами Второй мировой войны, как это произошло в англо-американской традиции⁹. Очень показательным в этом отношении интервью И. Кожедуба, данное военному журналисту А. Докучаеву незадолго до смерти самого результативного аса союзников летом 1991 г. Докучаев пишет: «Речь зашла и об Эрихе Хартманне – самом удачливом немецком летчике второй мировой. Кожедуб спокойно рассуждал о его достижениях, потом резко вспыхнул: “Хартманн, Хартманн... Да попался бы он мне. Не встречал на фронте ни одного немца, который не дрогнул бы передо мной. Идем лоб в лоб, все отворачивали, и тут я их вспарывал”» [Докучаев]. Причиной эмоционального всплеска Кожедуба в данной сцене, как поясняет Докучаев, стало ложное известие о смерти самого результативного эксперта Люфтваффе, пробудившее в лучшем асе союзной авиации дух соперничества со своим немецким оппонентом.

Возникает справедливый вопрос, насколько сами немецкие летчики были согласны с подобной характеристикой культивировавшейся ими «негероической» неглюрифицированной манеры боя? Анализ их эгодокументов вынуждает признать: то, что у русских вызывает

⁹ Кроме книг Р. Ф. Толивера и Т. Дж. Констебля много для утверждения данной традиции сделал М. Спик [Спик] (его книга «Асы Третьего Рейха» была переведена на русский язык), а также С. В. Митчем «Орлы Третьего Рейха. Человек в Люфтваффе во Вторую мировую войну» [Mitcham], Ф. Каплан «Истребительные асы Люфтваффе во Второй мировой войне» [Kaplan].

возмущение как расчетливость и трусость, у немцев, наоборот, получает всемерное одобрение как единственно возможный способ при минимуме потерь достичь максимума результатов, т. е. сбитых самолетов противника. Снова и снова лучшие немецкие асы Второй мировой войны говорят о необходимости летать не мускулами, ввязываясь в «собачьи свалки» – бой на виражах, столь ценный советскими летчиками, но «головой», т. е. воевать расчетливо и с разумной осторожностью. В биографии Хартманна «Белокурый рыцарь Германии» командир его эскадры JG 52 Д. Храбак прямо говорит: «To survive in Russia and be successful fighter pilots you must now develop your thinking <...> Fly with your head and not your muscles»¹⁰ [Toliver, Constable, 1985, p. 35]. В одном из своих последних интервью сам Э. Хартманн с благодарностью отзывается об этой установке своего командира: «He taught us how not just to fly and fight, but how to work as a team and stay alive. That was his greatest gift»¹¹ [Hartmann]. Среди учителей будущего лучшего аса Люфтваффе был В. Крупински (Крупин) с общим числом 197 побед. В том же интервью, вспоминая «школу» Крупински, Хартманн свидетельствует: «The one thing I learned from him was that the worst thing to do was to lose a wingman. Kills were less important than survival»¹² [Ibid.]. Сам Крупински, давая интервью в немецком фильме «Fliegerasse der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg» (1997) и делаясь перед камерой своим опытом летчика-истребителя, говорит: «the great thing for a pilot is to stay alive and to return home» или «It is necessary to survive in the battle and only then to think how to bring down a plane of the enemy»¹³ [Fliegerasse der Luftwaffe]. При этом не надо забывать, что как человек В. Крупински представлял собой во время войны типичный образец «сорвиголовы», как это понималось в субкультуре истребителей. Об этом много писали английские и американские авторы книг о Люфтваффе, те же Р. Ф. Толивер и Т. Дж. Констебль, свидетельствовали его боевые друзья, например, Э. Хартманн. Примечательно, что и сам Хартманн, которого российские публицисты вроде Ю. Мухина поспешили заклеить прозвищем «самого трусливого аса Люфтваффе» из-за его тактики воздушного боя [Мухин], по своей натуре был вовсе не холодным и осторожным, но скорее импульсивным и горячим человеком. В книге «Граф и Гриславски. Пара асов», написанной в соавторстве К. Бергштрёмом, В. Антиповым и К. Сандиным, А. Гриславски, ас с 133 победами, один из «учителей» Э. Хартманна на Восточном фронте, вспоминает, как в начале боевой карьеры Хартманна должен был все время одергивать начинающего аса,

¹⁰ «Чтобы выжить в России и стать удачливым пилотом-истребителем, вы должны развивать сейчас свое мышление. <...> Летайте головой, а не мускулами».

¹¹ «Он научил нас не просто летать и драться, а как работать в команде и оставаться в живых. Это был его величайший дар».

¹² «Я научился у него тому, что нет ничего хуже, чем потерять ведомого. Жизнь была важнее побед».

¹³ «Самое главное для летчика – живым вернуться домой»; «В бою необходимо уцелеть самому, а потом уже думать, как сбить противника».

рвущегося вперед, задавая ему риторический вопрос: «Are you so anxious to die, Bubi?»¹⁴ [Graf, Grislawski, p. 143].

Знаменитый ас Люфтваффе И. Штайнгофф в своих мемуарах «Мессершмитты над Сицилией» формулирует основной «урок» воздушной войны как «ability to stay alive and not to be blamed for excessive caution at that»¹⁵ [Steinhoff]. Понятно, что подобный подход не соответствовал тому идеалу героизма, который культивировался в советских ВВС во время войны.

В своих мемуарах немцы не боялись и не боятся писать о своем страхе, моментах трусости, вполне понятных и объяснимых на войне чувствах. Между тем это никак не вписывалось в ту героическую глаорифицированную картину мира, которая создавалась в советское время (и продолжается сейчас!) не только усилиями политпропаганды, но и в соответствии с заветами старинной русской доблести. Ф. Булгарин, говоря о военной культуре наполеоновской эпохи, признавался: «Характер, дух и тон военной молодежи и даже пожилых кавалерийских офицеров составляли *молодечество*, или *удальство*. «*Последняя копейка ребром*» и «*жизнь копейка – голова ничего*» – эти поговорки старинной русской удали были нашим девизом и руководством в жизни. И в войне, и в мире мы искали опасностей, чтобы отличиться бесстрашием и удалством» [Булгарин, с. 173]. Подобную точку зрения в мемуарных текстах Второй мировой войны демонстрируют не только советские летчики-истребители, но и штурмовики. Так, традиция подобного молодечества проявляет себя в воспоминаниях штурмовика Ю. М. Хухрикова: «Нами правили бесшабашность, удаль, лихачество друг перед другом. Хотелось выглядеть отважным, чтобы на тебя обращали внимание, чтобы быть примером для других» [Хухриков, с. 25]. В. М. Бесклубов, лейтенант 274-го Оршанского истребительного авиационного им. Кутузова полка, утверждает: «Наши летчики были патриотичнее, смелее, рисковали своей жизнью. Не боялись умирать. В отличие от фашистов они не считали эту жизнь, которую они вели, такой уж великой ценностью, что за нее нужно было дрожать» [Бесклубов]. В данной цитате присутствует то безразличие к смерти, которое немцы часто отождествляли со славянским фатализмом, т. к. в немецкой военной культуре могла присутствовать эстетизация тягот военной жизни, способствующих воспитанию настоящего мужчины, но отсутствовала эстетизация героической гибели как таковой, что было, напротив, привычно для советской/российской культуры.

Более того, в немецких мемуарах образ «Господина Страх» [Ziegler], «животного страха» [Udet], являющегося большим противником истребителя, чем вражеский пилот, который летчик должен найти силы «задушить в себе», имеет большой потенциал для анализа психологии поведения человека на войне.

¹⁴ «Ты так торопишься умереть, Буби?»

¹⁵ «Умение оставаться в живых, не будучи обвиненными в чрезмерной осторожности».

Во многом подобная позиция немцев по отношению к страху и его преодолению в себе подкреплялась воззрениями немецких женщин, не требующих от своих мужчин безудержного и лихого героизма. Для сравнения М. Хиллер, автор дневника «Женщина в Берлине», впервые анонимно изданного на Западе еще в 50-е гг. XX в., немецкая журналистка, объездившая до войны много стран, включая Советский Союз, 23 апреля, в последние дни существования III Рейха, так размышляет о 300 спартанцах под Фермопилами, которые много веков для различных европейских народов символизировали принцип жертвенного героизма. «And I'm sure that if you looked had enough you could find three hundred German soldiers willing to do the same. But not three million. The larger the force and the more random its composition, the less chance of its members opting for textbook heroism. We women find it senseless to begin with; that's just the way we are – reasonable, practical, opportunistic. We prefer our men alive» [A woman in Berlin, p. 39]¹⁶. Не в этой ли позиции причина того, что после самой разрушительной для Германии войны XX в. немцы нашли в себе силы построить новое демократическое государство, сила и мощь которого меньше всего основывается на милитаристских идеалах глорификации, которые в условиях сегодняшнего дня, в отличие, например, от наполеоновской эпохи, могут привести мир к катастрофическим последствиям.

Советский маршал авиации Е. Я. Савицкий в своих воспоминаниях «Полвека с небом» (1988), признавая объективную силу немецкой армии в целом и Люфтваффе, в частности, тем не менее, заканчивал свои рассуждения следующим пассажем: «Среди немцев тоже хватало настоящих мужчин, храбрых и волевых летчиков, но самопожертвование во имя идеи или во имя дружбы было им несвойственно. Во всяком случае, на нашей территории, чтобы выручить попавшего в беду товарища, они не садились, собственной машиной в бою никого не загораживали, на таран не шли... Не то воспитание, как говорится» [Савицкий, с. 119–120]. Савицкому, как стопроцентному советскому человеку, было привычно списывать все на воспитание, то есть на то, что немцы были фашисты, поэтому у них не могло быть массового героизма, поскольку сражались они не за правое дело. Истина находится все же в другой плоскости – в принципиально ином национальном восприятии героизма, где главным является конкретный результат, но не способы его достижения. Советский идеал, реализуемый в мемуарном тексте, – когда герой-летчик, раненный в бою, расстреляв все боеприпасы, идет на таран со словами о Родине или Сталине на устах. Немецкий летчик мог достигнуть этого же результата методом «свободной охоты», спикуровав со стороны солнца, сбив самолет

¹⁶ «Может быть, и найдется сейчас триста немецких солдат, которые будут вести себя подобным образом, но остальные три миллиона военнослужащих — нет. Чем больше военная сила и чем беспорядочней ее состав, тем меньше шансов для проявления книжного героизма. По своей природе мы, женщины, не приемлем героизма. Мы практичны и разумны. Мы оппортунисты. Мы предпочитаем видеть мужчин живыми».

противника и быстро скрывшись после этого, как это делали лучшие эксперты Люфтваффе, включая Э. Хартманна с его 352 воздушными победами. Но для советского стереотипа воинского поведения в этом не было ничего героического, что вписывалось бы в высокий канон мифориторической культуры. Савицкий немного ошибался относительно абсолютной невозможности таранов для немецкого сознания. В конце войны Г. И. Херманн, полковник бомбардировочной, а потом истребительной авиации сформировал штурмовое соединение, которое должно было бороться с бомбардировщиками противника над Германией, применяя тактику тарана. О своей тактике он подробно рассказал в своих воспоминаниях [Herrmann].

Однако большого результата попытка перенести на немецкую культурную почву военные традиции японских камикадзе не принесла. Во время отражения первого налета бомбардировщиков из 120 истребителей соединения было потеряно 53, сбито же было всего 9 бомбардировщиков противника. Впоследствии командующий немецкой истребительной авиацией А. Галланд, в личном мужестве которого никогда не сомневались ни друзья, ни противники, резко осудил эксперимент Херманна, подчеркнув, что идея подобного самопожертвования чужда природе европейцев [Galland]¹⁷. Словам Савицкого также противоречат факты, когда немецкие летчики садились на советской территории, чтобы вывести своих товарищей, потерявших боевые машины. Например, лучший летчик штурмовой авиации Г. У. Рудель, единственный кавалер высшей воинской награды Германии – Рыцарского креста с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами – по крайней мере, 8 раз приземлялся на советской территории, чтобы вывести своих товарищей [Rudel]. При попытке вывезти таким же образом своего ведомого, сбитого в бою, попал в советский плен известный немецкий ас Э. Росман (80 побед), первый учитель Э. Хартманна. В советскую эпоху символом беззаветного героизма летчиков-истребителей был образ А. Маресьева, прославленный благодаря книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Подвиг Маресьева, который после ампутации ног вернулся в авиацию и летал с протезами, трактовался как триумф воли настоящего советского человека. Так искренно думал и автор повести Б. Полевой. В книге своих воспоминаний «В конце концов», которую автор писал во время Нюрнбергского процесса, Полевой не скрывает того факта, что проникнуться психологией летчика-истребителя ему помогли беседы со своим немецким шофером, бывшим лейтенантом Люфтваффе, летчиком-истребителем Куртом. Однако размышляя о своем отечественном герое Алексее Маресьеве, Полевой все-таки с сомнением пишет: «Мог бы такой оказаться в воздушных армадах Геринга? Ведь храбрецов и там хватало <...> А вот смог бы тот же Курт, славный, в общем-то, парень, вот так стремиться вернуться в авиацию, прилагать для этого нечеловеческие усилия.

¹⁷ Подробный рассказ о вербовке добровольцев в данное соединение и реакции на это немецких летчиков-истребителей дан в воспоминаниях П. Хенна из JG 51 [Хенн].

И все только для того, чтобы продолжать воевать и снова и снова подвергаться смертельному риску?» [Полевой, с. 153]. На самом деле у немцев тоже были герои, подобные Маресьеву. Тот же Рудель продолжал летать на задания и после того, как в феврале 1945 г. у него была ампутирована нога. Среди асов самой результативной эскадры Люфтваффе JG 52 В. Петерманн продолжал летать и сражаться после того, как 1 ноября 1943 г. его самолет был сбит собственной зенитной артиллерией, в результате чего летчику была ампутирована левая рука и палец на ноге. Впоследствии, летая с протезом вместо руки, Петерманн одержал еще 2 победы, одной из которых был американский четырехмоторный бомбардировщик.

Но в соответствии с мифологией Великой Отечественной войны подобные героические деяния может и должен совершать лишь советский/российский человек, сражающийся за правое дело и честь своей родины, но никак не немцы-фашисты.

Возникает справедливый вопрос: а как воспринимали советских противников немецкие летчики? Это отношение в некоторых аспектах отличалось от советского.

Во-первых, немцы, судя по их эгодокументам, очень подозрительно относились к идеологической пропаганде любого рода, видя в ней покушение на аполитичное, в идеале, бытие «рыцарей неба». Эта традиция восходила своими корнями еще к военной культуре Первой мировой войны¹⁸. Так, Э. Хартманн признается в последнем интервью: «In fact I would say that in our group there were the majority who found all the National Socialist idiocy a little sickening. Hrabak made it a point to explain to the new young pilots that if they thought they were fighting for National Socialism and Fuehrer they needed to transfer to the Waffen SS or something. He had no time for political types»¹⁹ [Hartmann]. То, что это не было послевоенной аберрацией точки зрения автора, подтверждает книга Л. Вяткина «Трагедии воздушного океана» где автор, вспоминая о своих встречах со знаменитым советским асом А. Покрышкиным, отмечает, что у того была копия летной книжки Э. Хартманна и от него же узнает некоторые подробности пребывания Хартманна в советском плену. Вяткин пишет: «На допросе обратили внимание на его молодость (23 года) и на то, что при звании капитана у него 4 рыцарских железных креста, включая крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. На что Гартман (Хартманн. – Е. П.) простодушно отвечал, что ему здорово пришлось “попотеть” в воздушных боях на Восточном фронте и что за ним официально числится 352 победы. “Но я очень рад, что война, наконец, закончена, –

¹⁸ В данном случае на позицию немецких авторов мог повлиять и тот факт, что в послевоенной Европе идеология нацизма была официально запрещена.

¹⁹ «Я должен сказать, что, по правде, в нашей группе большинство считало, что весь этот национал-социалистический идиотизм был немного отвратителен. Храбак сразу говорил новичкам, что если они собираются сражаться за национал-социализм и фюрера, то им следует переводиться в СС или еще куда-нибудь. У него не было времени на политиканов».

заклучил он, улыбаясь, – и нацизму конец» [Вяткин, с. 277]. Напротив, в эгодокументах советских летчиков-истребителей 50–70-х гг. XX в. политическая риторика очень сильна, в них очень часто подчеркивается ведущая и направляющая роль Коммунистической партии, верность которой авторы с воодушевлением декларируют. Например, В. В. Исаев в своих мемуарах «За чистое небо» подчеркивает: «в самые напряженные, критические минуты воздушного боя... я мысленно советуюсь с коммунистом Пустовойтом. <...> И яснее становится моя голова, зорче глаз, тверже рука, сжимающая штурвал боевой машины» [Исаев, с. 165].

Большинство мемуаров немецких летчиков, созданных в последнее десятилетие, вроде «Орла Люфтваффе» В. Шука [Schuck] или «Летной книжки» Г. Ралля [Rall], написаны с очень сильной ориентацией на аксиологическое поле западноевропейской демократии. В том и другом тексте четко проводится граница между Западным и Восточным (советским) миром, война на Востоке трактуется как жестокая война без правил, прежде всего, по вине Советского Союза. Символом этой жестокости у обоих асов становится трагическая судьба немецких летчиков, попавших в советский плен и пропавших там без вести, например, Р. Мюллера – у В. Шука и О. Диккеля – у Г. Ралля. При этом Ралль особенно подчеркивает роль пропаганды в создании атмосферы нетерпимости на Восточном фронте. Беседа с пленным советским асом капитаном Антоновым (реально майор Я. И. Антонов. – Е. П.) летом 1942 г. заставляет автора констатировать: «from his words that the political officers of the red aviation regiments say much the same about us as the whips on our side do about the Red Army. Such propaganda leads to hate, hate leads to atrocities, and atrocities lead to further propaganda. A vicious circle»²⁰ [Rall, p. 127]. Э. Хартманн в своем последнем интервью, рассказывая о сбитом им советском летчике, который после этого стал «гостем» его эскадрильи, вспоминает: «I like to think that people like that went back home and told their countrymen the truth about us, not the propaganda that erupted after the war, although there were some terrible things that happened, no doubt»²¹ [Hartmann].

Пропаганда в советских ВВС в годы войны действительно носила более массивный характер, чем в Люфтваффе, где институт политических офицеров, подобный тому, что был в Красной армии, появился лишь с лета 1944 г. после покушения на фюрера и был встречен в большинстве летных частей без особого восторга²². В советских

²⁰ «По его словам (Антонова. – Е. П.) можно понять, что политофицеры в ВВС рассказывают о нас то же, что наши пропагандисты говорят о Красной Армии. Пропаганда порождает ненависть, ненависть рождает жестокость, жестокость порождает новую пропаганду. Порочный круг».

²¹ «Мне нравится думать, что парни, подобные ему, вернулись домой и рассказали своим соотечественникам правду о нас, а не ту пропаганду, которая изливалась после войны, хотя кое-какие ужасные вещи, без сомнения, имели место быть».

²² Наиболее ярко конфликт летчиков-истребителей с «национал-социалистическими уполномоченными» передан в воспоминаниях В. Хейлмана «Последние бои люфтваффе. 54-я истребительная эскадра на Западном фронте. 1944–1945» [Heilmann].

ВВС политбеседы и митинги представляли собой совершенно привычный для «сталинского сокола» быт войны, в котором сами летчики принимали активное участие. Достаточно обратиться к архивным материалам, впервые напечатанным А. Табаченко и представляющим собой «хроники» покрышкинского полка, вроде выступления старшего лейтенанта Цветкова после посещения летчиками концлагеря Майданек 20 сентября 1944 г.: «Летчики, когда в воздушном бою вы встретите врага, знайте, что против вас не солдат, а дьявол, одетый в форму вражеского солдата, что он не человек, а убийца твоей матери, твоего ребенка. Вспомни на миг Майданек и уничтожь проклятого немца!» [Табаченко, с. 523].

В целом при сравнении немецких и советских текстов, принадлежащих летчикам-истребителям, нельзя не признать, что советские гораздо агрессивнее по своей общей тональности. В них в большей степени проявляется та установка на ненависть к Врагу, Чужому, которая составляла отличительную особенность советской литературы в целом, в каком бы обличье этот враг ни предстал: белогвардеец, буржуй, шпион-диверсант, немец-фашист. Это обстоятельство в настоящее время делает многие советские тексты не очень удобными для перевода на иностранные языки из-за их общей «неполиткорректности».

Однако при всей внешней агрессивности советских текстов, мироощущение их авторов нельзя назвать антигуманистичным. Несмотря на отсутствие у детей рабочих и крестьян того культурного шарма, который был присущ русским офицерам наполеоновской эпохи или Первой мировой войны, их несдержанность в проявлении своих чувств, которая могла проявляться в желании «дать в морду» сбитому «фашистскому стервятнику», они были свято уверены в превосходстве классового «социалистического гуманизма» над «человеконенавистнической идеологией фашизма» и умели отделять судьбу отдельного человека, хоть и врага, от судьбы идеологии, обреченной на уничтожение. Очень примечателен эпизод из «Неба истребителя» дважды героя Советского Союза А. Ворожейкина, когда группа советских летчиков вместе с автором воспоминаний приходит в госпиталь «навестить» сбитого им накануне немецкого аса. В разговоре выяснилось, что у немецкого летчика этика «рыцарей неба» сочеталась с нацистской идеологией: «Хорошего противника мы уважаем, и имена советских асов вписаны в наши книги наряду с немецкими рыцарями». Мы рассмеялись, а немец от обиды встrepенулся. В глазах застыла бычья решимость. Он поднял руку в фашистском приветствии и рявкнул: «Хайль Гитлер!» «Зачем Гитлера славишь?» — спросил я удивленно. «Он мой фюрер, а вы мои враги». «А мы тебя уже не считаем врагом. Ты пленный, и скоро фашизму будет конец» [Ворожейкин, с. 144]. Все советские летчики, размышляя о будущем своих взятых в плен противников, выражают абсолютную уверенность в том, что тем удастся пережить войну и что обращаться с ними в совет-

ском плену будут должным образом. Достаточно вспомнить рассказ А. Покрышкина Л. Вяткину о лагерных спортивных упражнениях Э. Хартманна, который, оказавшись в советском плену, «оборудовал спортгородок и любимым его упражнением были “экзерции” на спортивном коне и на кольцах. А на перекладине он мастерски крутил “солнце”» [Вяткин, с. 277]. У А. Щербакова, летчика Второй мировой войны, впоследствии ставшего Героем Советского Союза за испытание реактивных самолетов, искреннее возмущение вызвал эпизод из биографической книги Р. Ф. Толивера и Т. Дж. Констебля о Хартманне, где без особого осуждения рассказывается о поступке советского аса В. Лавриненкова, якобы своими руками задушившего севшего на нашей территории немецкого аса, не дав взять его в плен советским пехотинцам. Щербаков пишет: «Мне приходилось встречаться с Владимиром Дмитриевичем (Лавриненковым. – Е. П.) и обсуждать с ним книгу. Он был очень огорчен такой клеветой на него. С подачи Толивера и Констебля немецкий ас – белокурый рыцарь, а советский – зверь и варвар. Хотелось бы поверить, что сюжет о Лавриненкове подал Толиверу и Констеблю не Хартман. По мере того, что я узнавал, у меня складывалось о нем хорошее впечатление» [Щербаков, с. 33].

Если говорить о репрезентации в немецких мемуарах советских стереотипов воинского поведения, то немцы никогда не изображали русских летчиков трусами. Напротив, в десятках немецких мемуарных текстов признается отчаянная, порой, безрассудная храбрость «сталинских соколов», их готовность к самопожертвованию, и это не связано напрямую с политическими взглядами авторов воспоминаний. Сходные точки зрения высказывают полковник Г. Граф, последний командир JG 52, сотрудничавший во время своего пребывания в советском плену с лагерной администрацией и подвергшийся за это впоследствии настоящему остракизму со стороны ветеранов Люфтваффе, и ас Люфтваффе № 3 Г. Ралль (275 побед в воздухе), занимавший некоторое время должность генерального инспектора послевоенных Бундеслюфтваффе. В советской пропагандистско-публицистической литературе было принято писать, что Ралля «отличала зоологическая ненависть к СССР, ярый реваншизм» [Горбатенко, с. 63]. Однако и в своих многочисленных интервью, и в пространных мемуарах, созданных за несколько лет до смерти (Ралль умер в 2009 г.), он неизменно восхищается мужеством отважных советских пилотов, летавших на «Аэрокобрах»: «And piloting the Airacobras are truly brave men <...> Even in unfavourable circumstances the Soviet fighter pilots were tough, courageous fighters»²³ [Rall, p. 152]. В книге В. К. Йохима «Oberst Hermann Graf: 200 Luftsiege in 13 Monaten» («Полковник Герман Граф: 200 побед за 13 месяцев»), в основу которой были положены дневники пилота, есть эпизод под названием «Das ritterlichy Duell». В нем переданы впечатления Графа от первого года войны на Востоке, когда 14 октября 1941 г. он сбил два Як-1, после чего вступил

²³ «И пилоты Аэрокобр были действительно храбрыми людьми... Даже в невыгодных условиях советские пилоты-истребители были стойкими, храбрыми бойцами».

в бой с советским пилотом, жертвой которого едва не стал сам, приземлившись на свой аэродром на последних каплях горючего: «Meine Knie zittern beim Aussteigen. Das war ein Gegner! <...> Meine Gedanken sind bei dem russischen Jäger, gegen den ich gekämpft hatte. Mit ihm möchte ich einmal zusammensitzen und plaudern. Sicher ist er ein prächtiger Kerl!»²⁴ [Jochim, S. 71]. Сходные высказывания присутствуют в эгодокументах В. Ионена и Г. Липферта, И. Штайнгоффа и А. Гриславски. Тем не менее, очень часто при характеристике храбрости советских пилотов используется термин «*absolutely insane*»²⁵, как в последнем интервью Хартманна, где он рассказывает о своем поединке с «Red Banner flown Yak-9»²⁶ [Hartmann].

При рассмотрении данных мемуарных свидетельств как некоего интертекста, становится очевидным, что большинство из них ставят своей целью опровергнуть взгляд на русских как на плохих летчиков, который сложился во время холодной войны, превратившись в некоторое общее место, и который Г. Липферт в своем «Дневнике гауптмана Люфтваффе» прямо называет ложным [Lipfert]. В наиболее общем виде эту точку зрения высказывал генерал авиации и историк В. Швабедиссен в своей широко известной книге «Русские воздушные силы в глазах германского командования» [Schwabedissen]. Даже имея в виду ситуацию 1944–1945 гг., Швабедиссен, со ссылкой на мнение «немецких командиров», говорит о пассивности и безынициативности советских летчиков-истребителей, утверждая даже, что русские пилоты вступают в бой лишь при численном превосходстве над противником. То обстоятельство, что имея абсолютное превосходство в воздухе, советская авиация добилась незначительного, по мнению автора, успеха «кроется в особенности русского характера, не объяснимой с точки зрения формальной логики» [Ibid., p. 267]. Давая характеристику среднему советскому летчику, Швабедиссен называл среди основных его черт: «склонность к осторожности и пассивности вместо упорства и стойкости, грубую силу вместо тонкого расчета, безграничную ненависть и жестокость вместо честности и благородства» [Ibid., p. 66]. Подобные же мысли о безынициативности и осторожности советских летчиков, их грубой жестокости высказывают американские авторы Р. Ф. Толивер и Т. Дж. Констебль в книге «Истребительные асы Люфтваффе» как некую само собой разумеющуюся официальную точку зрения: «Russian pilots generally tended toward caution and reluctance rather than toughness and stamina, to crudeness rather than combat efficiency, abysmal hatred in battle instead of fairness and chivalry»²⁷ [Toliver, Constable, 1979, p. 245–246]. Справедливости

²⁴ «Мои колени дрожат при выходе. Вот это противник! ...Мои мысли были о русском летчике-истребителе, против которого я сражался. Хотел бы я как-нибудь посидеть с ним и поболтать. Наверняка, он парень, что надо».

²⁵ «Абсолютно безумным».

²⁶ «С краснознаменным Як-9».

²⁷ «Русские пилоты обычно имели склонность к осторожности и неохоте, а не к стойкости и выдержке, к грубости, а не к боевой эффективности, к крайней ненависти в сражении вместо честности и рыцарственности».

ради, надо сказать, что уже в биографии Хартманна Р. Ф. Толивера и Т. Дж. Констебля «сталинским соколам» (Stalin hawks) отводится целая глава и приводится следующая характеристика советских летчиков, основанная на свидетельствах немецких пилотов, воевавших на Восточном фронте: «They were the real fighter types, aggressive, tactically formidable, fearless and flying some of the finest fighter aircraft in existence»²⁸ [Toliver, Constable, 1985, p. 123].

В книгах немецких историков последних десятилетий, например в трудах Ф. Куровски, делается попытка объективно и непредвзято рассмотреть воздушную войну Советского Союза и Германии без обязательных идеологических штампов времен холодной войны о вечном противостоянии Востока и Запада с поиском Врага на Востоке. При новом подходе стало возможным признавать принципиальное равенство участников конфликта как носителей некой единой субкультурной традиции ведения военных действий, о чем в свое время писал Й. Хейзинга [Huizinga]. Например, в книге «Асы Люфтваффе», первое издание которой было осуществлено в 1996 г. (гл. «Wilhelm Batz: A Late Starter Wins the Swords»), Куровски пишет о воздушном сражении над Кубанью в 1943 г.: «Pilots who flew and fought over the Kuban, no matter which side they were on, state that both sides there fought with skill and fairness. There were no attacks on men in parachutes by either side»²⁹ [Kurowski, p. 169]. Во многом объективный взгляд на воздушную войну на Востоке стал формироваться на Западе под влиянием публикаций Г. Меллингера, члена Russian Aviation Research Group, в лондонском издательстве «Osprey Publishing Limited». Речь идет о таких книгах, как «LaGG & Lavochkin Aces of World War 2» (2003), «Yakovlev Aces of World War 2» (2005), «Soviet Lend-Lease Fighter Aces of World War 2» (2006). Однако, богатые фактическим информационным материалом, данные издания достаточно бедны с точки зрения использования в них источников личного происхождения с советской стороны, что в значительной степени снижает их антропологический потенциал, позволяющий понять историческую психологию и своеобразие национального менталитета «сталинских соколов».

Подводя итог, надо признать следующее. Чтобы преодолеть наследие войны, необходимо проявлять толерантность и уважение к национальному ментальному коду. Об этом хорошо сказал историк, военный летчик Второй мировой войны Г. Литвин: «Трудно понять другой народ... забывая, что продолжением недостатков являются достоинства, а продолжением и своих, и чужих достоинств – недостатки <...> Народ есть народ, и черты его характера устойчивы. Их нельзя игнорировать и трудно изменить. Как было бы хорошо, если

²⁸ «Это были настоящие бойцы, агрессивные, тактически искусные, бесстрашные и летающие на самых лучших к тому времени истребителях».

²⁹ «Летчики, которые летали и воевали на Кубани, неважно, на какой стороне они были, утверждали, что обе стороны там сражались умело и честно. Там не было нападений на людей на парашютах с любой стороны».

бы народы изучали друг друга не с целью борьбы, а с целью объединения усилий во имя мира. Как много русские могли бы почерпнуть от немцев, а немцы – от русских!» [Литвин, с. 8].

Действительно, в мирной жизни немецкая пунктуальность и рационализм делает немца прекрасным деловым партнером, консерватизм и постоянство в привычках – верным товарищем. Русская повышенная эмоциональность и сердечность помогает преодолеть барьер взаимного непонимания. А это единственный путь для преодоления негативных черт культурной мифологии Чужого-Врага. Разумеется, этот путь не будет легким. В России уже около семи лет не может выйти на широкий экран фильм А. Высоковского «Сердце врага», посвященный взаимоотношениям советских и немецких летчиков в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания [Сердце врага]. Гуманистический аспект фильма, связанный с проблемами взаимоотношения народов во время войны и далекий от привычных идеологических клише, вызывает неоднозначную реакцию в современном российском обществе, во многом продолжающем мыслить категориями войны, а не мира.

Алексеев Д. А. Беседа с летчиком 41-го ГИАП, полковником запаса Д. А. Алексеевым [Электронный ресурс]. URL: http://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/USER/Мои%20документы/Драбкин-истребители/Беседа%20с%20Д_А_Алексеевым.htm (дата обращения: 10.12.2013). [Alekseev D. A. Beseda s letchikom 41-go GIAP, polkovnikom zapasa D. A. Alekseevym [Elektronnyj resurs]. URL: http://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/USER/Мои%20документы/Драбкин-истребители/Беседа%20с%20Д_А_Алексеевым.htm (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Алексиевич С. У войны не женское лицо [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru|NEWPROZA|ALEKSIEWICH|zhensk.txt> (дата обращения: 10.12.2013). [Aleksievich S. U vojny ne zhenskoe litso [Elektronnyj resurs]. URL: <http://lib.ru|NEWPROZA|ALEKSIEWICH|zhensk.txt> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Баевский Г. А. «Сталинские соколы» против асов Люфтваффе. М. : Яуза : Эксмо, 2009. 288 с. [Baevskij G. A. «Stalinskie sokoly» protiv asov Lyuftvaffe. M. : Yauza : Eksmo, 2009. 288 s.]

Беспалов Николай Ефимович // Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943–1945 / сост. А. В. Драбкин. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 441–458. [Bespalov Nikolaj Efimovich // Ya dralsya s asami lyuftvaffe. Na smenu pavshim. 1943–1945 / sost. A. V. Drabkin. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 441–458.]

Бесklubов Валентин Модестович [Электронный ресурс]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/besklubov-valentin-modestovich.html> (дата обращения: 10.12.2013). [Besklubov Valentin Modestovich [Elektronnyj resurs]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/besklubov-valentin-modestovich.html> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Букчин Семен Зиновьевич // Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943–1945 / сост. А. В. Драбкин. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 34–51. [Bukchin Semen Zinov'evich // Ya dralsya s asami lyuftvaffe. Na smenu pavshim. 1943–1945 / sost. A. V. Drabkin. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 34–51.]

Булгарин Ф. Ф. Записки. М. : Захаров, 2001. 782 с. [Bulgarin F. F. Zapiski. M. : Zakharov, 2001. 782 s.]

Ворожейкин А. В. Небо истребителя. М. : Воениздат, 1991. 100 с. [Vorozhejkin A. V. Nebo istrebitelya. M. : Voenzizdat, 1991. 100 s.]

Вяткин Л. Трагедии воздушного океана. М. : Прибой, 1999. 400 с. [Vyatkin L. Tragedii vozdushnogo okeana. M. : Priboj, 1999. 400 s.]

Гайдаенко Иван Дмитриевич // Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943–1945 / сост. А. В. Драбкин. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 477–507. [Gajdaenko

Ivan Dmitrievich // Ya dralsya s asami lyuftvaffe. Na smenu pavshim. 1943–1945 / sost. A. V. Drabkin. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 477–507.]

Гладков А. К. Мемуары – окно в прошлое // Вопр. литературы. 1963. № 4. С. 122–131. [Gladkov A. K. Memuary – okno v proshloe // Vopr. literatury. 1963. N 4. S. 122–131.]

Голодников Николай Герасимович (интервью Андрея Сухорукова) // Драбкин А. Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941–1942. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 199–280. [Golodnikov Nikolaj Gerasimovich (interv'y u Andreyu Sukhorukova) // Drabkin A. Ya dralsya na istrebitеле. Prinyavshie pervyj udar. 1941–1942. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 199–280.]

Голубев В. Ф. Крылья крепнут в бою [Электронный ресурс]. URL: <http://militera.lib.ru/memo/Russian/golubev-vf/ineex.html> (дата обращения: 10.04.2014). [Golubev V. F. Kryl'ya krepnut v boyu [Elektronnyj resurs]. URL: <http://militera.lib.ru/memo/Russian/golubev-vf/ineex.html> (data obrascheniya: 10.04.2014).]

Горелов Сергей Дмитриевич // Драбкин А. Я дрался на истребителе. 1941–1942. М., Яуза : Эксмо, 2006. С. 335–366. [Gorelov Sergej Dmitrievich // Drabkin A. Ya dralsya na istrebitеле. 1941–1942. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 335–366.]

Горбатенко Д. Д. Коричневые «ястребы». М. : Воениздат, 1981. 95 с. [Gorbatenko D. D. Korichnevye «yastreby». M. : Voenizdat, 1981. 95 s.]

Грибанов С. В. Заложники времени. Сочинение летчика-истребителя на свободную тему. М. : Воениздат, 1992. 330 с. [Gribanov S. V. Zalozhniki vremeni. Sochinenie letchika-istrebitelya na svobodnuyu temu. M. : Voenizdat, 1992. 330 s.]

Докучаев А. От Осипова до Матросова // Красная звезда. 23 февраля. [Dokuchaev A. Ot Osipova do Matrosova // Krasnaya zvezda. 23 fevralya.]

Драченко И. Г. На крыльях мужества. М. : ДОСААФ, 1986. 163 с. [Drachenko I. G. Na kryl'yakh muzhestva. M. : DOSAAF, 1986. 163 s.]

Звонарев Константин Григорьевич // Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943–1945 / сост. А. В. Драбкин. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 425–441. [Zvonarev Konstantin Grigor'evich // Ya dralsya s asami lyuftvaffe. Na smenu pavshim. 1943–1945 / sost. A. V. Drabkin. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 425–441.]

Звягин И. Л. Интервью с летчиком 43 иап Иваном Лукичем Звягиным. Интервью О. Кoryтова [Электронный ресурс]. URL: <http://www.airforce.ru/history/ww2/zvjagin/index.htm> (дата обращения: 10.12.2013). [Zvyagin I. L. Interv'y u O. Korytova [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.airforce.ru/history/ww2/zvjagin/index.htm> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Евстигнеев К. Крылатая гвардия. Есть упоение в бою. М. : Яуза : Эксмо, 2006. 320 с. [Evstigneev K. Krylataya gvardiya. Est' upoenie v boyu. M. : Yauza : Eksmo, 2006. 320 s.]

Еремин Борис Николаевич // Драбкин А. Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941–1942. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 141–163. [Eremin Boris Nikolaevich // Drabkin A. Ya dralsya na istrebitеле. Prinyavshie pervyj udar. 1941–1942. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 141–163.]

Иванов А. Л. Скорость, маневр, огонь. М. : ДОСААФ, 1974. 304 с. [Ivanov A. L. Skorost', manevr, ogon'. M. : DOSAAF, 1974. 304 s.]

Исаев В. В. За чистое небо. Харьков : Прапор, 1975. 240 с. [Isaev V. V. Za chistoe nebo. Khar'kov : Prapor, 1975. 240 s.]

Кайтанов К. Ф. Под куполом парашюта. М. : ДОСААФ, 1984. 137 с. [Kajtanov K. F. Pod kupolom parashyuta. M. : DOSAAF, 1984. 137 s.]

Карданов К. Л. Полет к Победе. Записки военного летчика. Нальчик : Эльбрус, 1985. 280 с. [Kardanov K. L. Polet k Pobede. Zapiski voennogo letchika. Nal'chik : El'brus, 1985. 280 s.]

Кардопольцев Бенедикт Ильич [Электронный ресурс]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/kardopol'tsev-benedikt-ilich.html> (дата обращения: 10.12.2013). [Kardopol'tsev Benedikt Il'ich [Elektronnyj resurs]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/kardopol'tsev-benedikt-ilich.html> (data obra-scheniya: 10.12.2013).]

Кожемяко Иван Иванович. Интервью Андрея Сухорукова // Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943–1945 / сост. А. В. Драбкин. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 74–196. [Kozhemyako Ivan Ivanovich. Interv'y u Andreyu Sukhorukogo // Ya dralsya s asami lyuftvaffe. Na smenu pavshim. 1943–1945 / sost. A. V. Drabkin. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 74–196.]

Крамаренко С. Против «мессеров» и «сейбров». В небе двух войн. М. : Яуза : Эксмо, 2006. 384 с. [Kramarenko S. Protiv «messerov» i «sejbrov». V nebe dvukh vojn. M. : Yauza : Eksmo, 2006. 384 s.]

Кривошеев Григорий Васильевич // Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943–1945 / сост. А. В. Драбкин. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 5–34. [Krivosheev Grigorij Vasil'evich // Ya dralsya s asami lyuftvaffe. Na smenu pavshim. 1943–1945 / sost. A. V. Drabkin. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 5–34.]

Куманичкин А. С. Чтобы жить... Купцов Н. С. Воздушные рабочие войны. Николаев М. А. Добровольцы, шаг вперед! М. : Молодая гвардия, 1987. 335 с. [Kumanichkin A. S. Chtoby zhit'... Kuptsov N. S. Vozdushnye rabochie vojny. Nikolaev M. A. Dobvol'tsy, shag vpered! M. : Molodaya gvardiya, 1987. 335 s.]

Кунитсын Виктор Александрович [Электронный ресурс]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/kunitsin-viktor-aleksandrovich.html> (дата обращения: 10.12.2013). [Kunitsyn Viktor Aleksandrovich [Elektronnyj resurs]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/kunitsin-viktor-aleksandrovich.html> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Летающие тузы. Российские асы первой мировой войны. СПб. : Новое культурное пространство, 2006. 432 с. [Letayushchie tuzy. Rossijskie asy pervoj mirovoj vojny. SPb. : Novoe kul'turnoe prostranstvo, 2006. 432 s.]

Литвин Г. Лето 1941. Война в воздухе // Авиация и космонавтика – вчера, сегодня, завтра. 1998. № 7. С. 5–10. [Litvin G. Leto 1941. Vojna v vozdukh // Aviatsiya i kosmonavtika – vchera, segodnya, zavtra. 1998. N 7. S. 5–10.]

Луганский С. Д. На глубоких выражах [Электронный ресурс]. URL: <http://militera.lib.ru/memo/Russian/lugansky/index.html> (дата обращения: 10.12.2013). [Luganskij S. D. Na glubokikh virazhakh [Elektronnyj resurs]. URL: <http://militera.lib.ru/memo/Russian/lugansky/index.html> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Луков Вл. А. Теоретическое осмысление неоромантизма: академическая речь Ростана // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3. С. 111–118. [Lukov Vl. A. Teoreticheskoe osmyslenie neoromantizma: akademicheskaya rech' Rostana // Znanie. Poni-manie. Umenie. 2009. N 3. S. 111–118.]

Марчуков А. Герои-покрышкинцы о себе и своем командире. Правда из прошлого. 1941–1945. М. : Центрполиграф, 2014. 672 с. [Marchukov A. Geroi-pokryshkintsy o sebe i svoem komandire. Pravda iz proshlogo. 1941–1945. M. : Tsentrpoligraf, 2014. 672 s.]

Маслов Леонид Захарович // Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943–1945 / сост. А. В. Драбкин. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 196–220. [Maslov Leonid Zakharovich // Ya dralsya s asami lyuftvaffe. Na smenu pavshim. 1943–1945 / sost. A. V. Drabkin. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 196–220.]

Месснер Е. Современные офицеры // Офицерский корпус Русской Армии. Опыт самопознания / сост. А. И. Каменев, И. В. Домнин, Ю. Т. Белов, А. Е. Савинкин, ред. А. Е. Савинкин. М. : Воен. ун-т. Рус. путь, 2000. С. 227–241. [Messner E. Sovremennye ofitsery // Ofiterskij korpus Russkoj Armii. Opyt samopoznaniya / sost. A. I. Kamenev, I. V. Domnin, Yu. T. Belov, A. E. Savinkin, red. A. E. Savinkin. M. : Voen. un-t. Rus. put', 2000. S. 227–241.]

Микоян С. Мы – дети войны. Воспоминания военного летчика-испытателя. М. : Яуза : Эксмо, 2006. 576 с. [Mikoyan S. My – deti vojny. Vospominaniya voennogo letchika-isyptatelya. M. : Yauza : Eksmo, 2006. 576 s.]

Мухин Ю. Асы и пропаганда. Дутые победы Люфтваффе. М. : Яуза : Эксмо, 2006. 480 с. [Mukhin Yu. Asy i proraganda. Dute pobedy Lyuftvaffe. M. : Yauza : Eksmo, 2006. 480 s.]

Некрасов В. На крыльях победы. Записки летчика-истребителя. Хабаровск : Хабаров. кн. изд-во, 1960. 183 с. [Nekrasov V. Na kryl'yakh pobedy. Zapiski letchika-istrebitelya. Khabarovsk : Khabarov. kn. izd-vo, 1960. 183 s.]

Новиков А.А. В небе Ленинграда (Записки командующего авиацией). М. : Наука, 1970. 179 с. [Novikov A. A. V nebe Leningrada (Zapiski komanduyuschego aviatsiej). M. : Nauka, 1970. 179 s.]

Павлов Г. Р. Крылья мужества. Записки генерала. Казань : Татар. кн. изд-во, 1988. 190 с. [Pavlov G. R. Kryl'ya muzhestva. Zapiski generala. Kazan' : Tatar. kn. izd-vo, 1988. 190 s.]

Павлов Леонид Матвеевич [Электронный ресурс]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/pavlov-leonid-matveevich.html> (дата обращения: 10.12.2013). [Pavlov Leonid Matveevich [Elektronnyj resurs]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/pavlov-leonid-matveevich.html> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Покрышкин А. И. Крылья истребителя. М. : Воениздат МВС СССР, 1948. 140 с. [Pokryshkin A. I. Kryl'ya istrebitelya. M. : Voениzdat MVS SSSR, 1948. 140 s.]

Полевой Б. Н. В конце концов. М. : Сов. Россия, 1972. 240 с. [Polevoj B. N. V kontse kontsov. M. : Sov. Rossiya, 1972. 240 s.]

Поморов М. Г. Интервью с летчиком 12 ИАКП ВВС КБФ Поморовым Михаилом Георгиевичем [Электронный ресурс]. URL: <http://www.airforce.ru/history/ww2/pomorov/index.htm> (дата обращения: 10.12.2013). [Pomorov M. G. Interv'yu s letchikom 12 IAKP VVS KBF Pomorovym Mikhailom Georgievichem [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.airforce.ru/history/ww2/pomorov/index.htm> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Прозор Иван Семёнович [Электронный ресурс]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/prozor-ivan-semenovich.html> (дата обращения: 10.12.2013). [Ivan Semyonovich [Elektronnyj resurs]. URL: <http://iremember.ru/letchiki-istrebiteli/prozor-ivan-semenovich.html> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Речкалов Г. А. [В небе Молдавии. Кишинев : Карта молдовеняскэ, 1967]. 247 с. Rechkalov G. A. [V nebe Moldavii. Kishinev : Kartya moldovenyaskе, 1967. 247 s.]

Решетников В. Обреченные на подвиг. Избранники времени. Все выше, и выше, и выше... М. : Яуза : Эксмо, 2007. 320 с. [Reshetnikov V. Obrechennyye na podvig. Izbranniki vremeni. Vse vyshe, i vyshe, i vyshe... M. : Yauza : Eksmo, 2007. 320 s.]

Савицкий Е. Я. Полвека с небом. М. : Воениздат, 1988. 414 с. [Savitskij E. Ya. Polveka s neбом. M. : Voenizdat, 1988. 414 s.]

Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века. Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2006. 288 с. [Senyavskaya E. S. Protivniki Rossii v voynakh XX veka. Evolyutsiya «obrazа vrаgа» v soznanii armii i obschestva. M. : Ros. polit. entsikl. (ROSSPEN), 2006. 288 s.]

Сердце врага. Информация о фильме [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/10254/annot/> (дата обращения: 10.12.2013). [Serdtsе vrаgа. Informatsiya о fil'mе [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/10254/annot/> (data obrascheniya: 10.12.2013).]

Спик М. Асы Третьего рейха. М. : АСТ, 2007. 567 с. [Spik M. Asy Tret'ego rejkhа. M. : AST, 2007. 567 s.]

Табаченко А. Покрышкинский авиаполк. «Нелакированные» боевые хроники. 16-й гвардейский истребительный авиационный полк в боях с люфтваффе. 1943–1945. М. : Центрополиграф, 2012. 751 с. [Tabachenko A. Pokryshkinskij aviapolk. «Nelakirovannyye» boevyye khroniki. 16-j gvardejskij istrebitel'nyj aviatsionnyj polk v boyakh s lyuftvaffe. 1943–1945. M. : TSentropoligraf, 2012. 751 s.]

Тимофеев А. В. Покрышкин. М. : Молодая гвардия, 2005. 524 с. [Timofeev A. V. Pokryshkin. M. : Molodaya gvardiya, 2005. 524 s.]

Тихомиров Владимир Алексеевич. Интервью Андрея Дикова и Олега Корытова // Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943–1945 / сост. А. В. Драбкин. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 236–271. [Tikhomirov Vladimir Alekseevich. Interv'yu Andreyа Dikova i Olega Korytova // Ya dralsya s asami lyuftvaffe. Na smenu pavshim. 1943–1945 / sost. A. V. Drabkin. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 236–271.]

Тищенко А. Т. Ведомые «Дракона». М. : Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1966. 198 с. [Tishchenko A. T. Vedomye «Drakona». M. : Voen. izd-vo M-va oborony SSSR, 1966. 198 s.]

Хайла Александр Фёдорович // Драбкин А. Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941–1942. М. : Яуза : Эксмо, 2006. С. 304–335. [Khajla Aleksandr Fyodorovich // Drabkin A. Ya dralsya na istrebitеле. Prinyavshie pervyj udar. 1941–1942. M. : Yauza : Eksmo, 2006. S. 304–335.]

Хенн П. Последнее сражение. Воспоминания немецкого летчика-истребителя. 1943–1945 / пер. с англ. М. В. Зефинова. М. : Центрополиграф, 2006. 287 с. [Khenn P. Poslednee srazhenie. Vospominaniya nemetskogo letchika-istrebitelyа. 1943–1945 / per. s angl. M. V. Zefirova. M. : Tsentropoligraf, 2006. 287 s.]

Хухриков Юрий Михайлович (интервью и лит. обработка А. Драбкин) // Драбкин А. Я дрался на Ил-2. М. : Эксмо, 2006. С. 7–27. [Khukhrikov Yuriy Mikhailovich (interv'yu i lit. obrabotka A. Drabkin) // Drabkin A. Ya dralsya na Il-2. M. : Eksmo, 2006. S. 7–27.]

Щербakov А. Летчики. Самолеты. Испытания. М. : МИК, 2010. 224 с. [Shcherbakov A. Letchiki. Samolety. Ispytaniya. M. : MIK, 2010. 224 s.]

A woman in Berlin. Diary 20 April 1945 to 22 June 1945. London : Virago Press, 2009. 311 p.

Fliegerasse der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg» (1997) [Электронный ресурс]. URL: http://mumiputz.ucoz.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna/fliegerasse_der_luftwaffe_im_zweiten_weltkrieg/deutsche_luftwaffe_die_besten_fliegerasse_der_luftwaffe/78-1-0-2950 (дата обращения: 10.12.2013).

Galland A. The First and Last. Buccaneer Book, 1990. 280 p.

- Graf & Grislawski. A Pair of Aces / C. Bergström, V. Antipov, C. Sundin ; written in cooperation with A. Grislawski. Hamilton : Eagle Editions Ltd, 2003. 312 p.*
- Hartmann E. The Final Interview with Erich. Colin D.Heaton / [Электронный ресурс]. URL: <http://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/USER/Мои%20документы/Эрих%20Хартманн/Hartmann.%20Интервью..htm> (дата обращения: 10.12.2013).*
- Heilmann W. Alert in the West. London : William Kimber, 1955. 202 p.*
- Herrmann H. Eagle's wings. The autobiography of a Luftwaffe pilot. Osceola : Motorbooks International Publisher & Wholesalers, 1991. 270 p.*
- Huizinga J. Homo Ludens. A study of the play – element in culture. London : Boston : Henley, ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, 1949. 220 p.*
- Jochim B. K. Oberst Hermann Graf: 200 Luftsiege in 13 Monaten. Rastatt : VPM Verlag-union Pabel Moewig KG, 1998. 278 S.*
- Johnson J. E. Wing Leader. London : Chatto & Windus, 1956. 320 p.*
- Kaplan P. Fighter ace of the Luftwaffe in World War II. Barnsley, South Yorkshire : Pen & Sword AVIATION, 2007. 197 p.*
- Kurowski, F. Luftwaffe aces. German Combat pilots of World War II. Mechanicsburg : Stackpole books, 2004. 396 p.*
- Lipfert H., Girbig W. The war Diary of Hauptmann Helmut Lipfert. JG 52 on the Russian front 1943–1945. Schiffer Military History, 1992. 224 p.*
- Mellinger G. Lagg & Lavochkin Aces of World War 2. Oxford : Osprey publishing Ltd, 2003. 96 p.*
- Mellinger G. Soviet Lend-Lease Fighter Aces of World War 2. Oxford : Osprey publishing Ltd, 2006. 96 p.*
- Mellinger G. Yakovlev Aces of World War 2. Oxford : Osprey publishing Ltd, 2005. 96 p.*
- Mitcham Samuel W. Eagles of the Third Reich. Men of the Luftwaffe in World War II. Mechanicsburg : Stackpole books, 2007. 346 p.*
- Rall G. My Logbook. Moosburg : NeunundzwanzigSechs Verlag, 2006. 374 p.*
- Richthofen M. von. Der Rote Kampfflieger. Germa-Press Verlag, 1990. 178 S.*
- Rudel H.-U. Stuka-Pilot. New York : Ballantine Books, 1963. 280 p.*
- Schuck W. Luftwaffe Eagle. From the Me 109 to the Me 262. Manchester : Crecy Publishing Limited, 2010. 239 p.*
- Schwabedissen W. Russian Air Force in the Eyes of German Commanders. Ayer Co Pub, 1968. 450 p.*
- Steinhoff J. Messerschmitts over Sicily: Diary of a Luftwaffe Fighter Commander. Mechanicsburg : Stackpole Books, 2004. 288 p.*
- Toliver R. F., Constable T. J. Horrido! Faighter Aces of the Luftwaffe. New York : Bantam Book, Inc, 1979. 411 p.*
- Toliver R. F., Constable T. J. Blond knight of Germany. A biography of... Erich Hartmann. Blue Ridge Summit, PA: TAB| AERO Books, 1985. 332 p.*
- Udet E. Mein Fliegerlieben. Berlin : Im Deutchen Verlag, 1935. 195 S.*
- Weal J. More Bf 109 Aces of the Russian Front. Oxford : Osprey publishing Ltd, 2007. 96 p.*
- Ziegler M. Rocket Fighter. London : Macdonald, 1961. 161 p.*

The article was submitted on 21.12.2013

Елена Евгеньевна Приказчикова,
проф.
Россия, Екатеринбург
Уральский федеральный
университет
miegata-logos@yandex.ru

Elena Prikazchikova, prof.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
miegata-logos@yandex.ru



Disputatio



Disputatio

WERE MUSCOVY AND CASTILE THE FIRST FISCAL-MILITARY STATES?

In this article Chester Dunning examines recent scholarship about John Brewer's model of the development of the early modern „fiscal-military“ state and the possibility of applying Brewer's model to sixteenth-century Russia and Castile (Spain). He concludes that Muscovy and Castile were probably the first “fiscal-military” states.

Keywords: John Brewer's model; 16th century; kingdom of Castile; Muscovy.

В данной статье Честер Даннинг рассматривает недавние исследования, посвященные модели развития «фискально-военного» государства Нового времени, созданной Джоном Брюэром, а также возможность приложения модели Брюэра к России XVI в. и Кастилии (Испания). Он делает вывод о том, что Московское государство и Кастилия, возможно, были первыми «фискально-военными» государствами.

Ключевые слова: модель Джона Бревера; XVI век; королевство Кастилия; Московия.

During the past twenty-five years, the concept of the “fiscal-military” state has taken firm root in historiography as an alternative to “absolutism.” Many scholars have jettisoned the fuzzy and shopworn term “absolutism” in search of a more useful framework for comparative study of the development of early modern European states – the acceleration of expenditures, coercive taxation, and the build-up of powerful bureaucracy, logistical infrastructure, and military forces in light of the gunpowder revolution. The term “fiscal-military” state was coined by John Brewer in *The Sinews of Power* (1989) and applied to England's emergence as a Great Power at the end of the 17th and beginning of the 18th century [Brewer, p. xvii]. Nevertheless, Brewer's model is not exclusively Anglo-centric. In 1992 Nicholas Henshall suggested that Brewer's concept of the fiscal-military state was a viable alternative to the meaningless term “absolutism.” He pointed out that by the late twentieth century “absolutism” was being defined in a way 180 degrees opposite from its original meaning. Scholars using the term have moved away from an image of powerful monarchs ruling by coercion to one of deep cooperation between court and elites, between center and periphery [Henshall, p. 2–3]. In 2001 Jan Glete fleshed out the components

of early modern fiscal-military states and compared their successes and failures [Glete]. Among historians of early modern Europe the term fiscal-military state quickly caught on, indeed caught fire – due primarily to the weakness of “absolutism” as an explanatory framework. Many articles and essays have examined the development of early modern Spain, England, Brandenburg-Prussia, France, the Dutch Republic, Portugal, and even countries outside of Europe within the framework of the fiscal-military state [Brewer, Hellmuth; Simms, p. 79–100; Monod, p. 245, 322; Swann, p. 151–153; Edling, p. 48; Tengenu].

The concept of the fiscal-military state promises to be a useful tool for the comparative study of early modern European state formation, the military (gunpowder) revolution and its impact, and the origins of modern state structures. It also promises to help explain the birth and growth of “leviathan-states” in early modern Europe far better than the outdated term “absolutism” has done. A comprehensive definition of fiscal-military state is still in the process of formation, but it must of course begin with its relationship to the military revolution. The desire for conquest and expansion (or simply the need for stronger territorial defenses) had a profound effect throughout Europe. In most cases, the response of governments to the astronomically expensive military revolution and increasingly lethal geopolitical rivalries was to create stronger central administrative structures designed specifically to impose and collect higher taxes and to administer larger and increasingly professional military forces. As a result, state power grew enormously during the early modern period even as many European economies suffered from predatory taxes and increasing government interference. Fiscal-military states developed larger and more sophisticated centralized bureaucracies that were independent of traditional elites and were staffed by newly emerging professional bureaucrats and military personnel. Thus, the fiscal-military state was closely associated with innovation as well as increasing specialization and professionalization. Nevertheless, in mobilizing national resources and creating centralized power structures, kings and their ministers did not, as long thought, simply overawe and subjugate old elites, regional administrators, and local governments. Instead, fiscal-military states were characterized by cooperation between central and local governments and by an alliance between rulers and co-opted aristocrats who, far from resisting, were strongly attracted by the prospect of receiving prestigious and lucrative positions within the growing royal administration, its large military forces, or (in many cases) its expanding empire [Glete, p. 2, 7].

Although all fiscal-military states shared important basic characteristics, there were many variations due to such things as cultural differences, unique economic circumstances, pre-existing institutions and patterns of taxation, and relative levels of bureaucratic efficiency and comfort with innovation. Especially significant in determining the precise shape of each fiscal-military state was timing [Ertman, p. 1–34, 317–324]. All of them interfered with their domestic economies; but the ebb and flow of international pressures,

relative access to new technologies, and different stages of economic development (and availability of credit) help explain many of the variations among fiscal-military states and their infrastructures. Some fiscal-military states developed very rapidly while others were comparatively slow to adopt the coercive techniques necessary for greatly increased revenue extraction and the creation of new institutions and military forces needed to meet the challenges of the military revolution.

The formation of the earliest fiscal-military states essentially predates capitalism, and those states tended to adopt extremely coercive methods for pulling revenue from their domestic economies without any real concern about the impact of their actions. Not surprisingly, such predatory practices often provoked fiscal crises and slowed down the development of capitalism [Henshall, p. 1–5]. Fiscal-military states that formed later tended to fare better, learning important lessons from the mistakes of the pioneers. Later fiscal-military states were often capable of mobilizing national resources without causing serious damage to the overall economy. Strategic planning and the use of well-trained professional bureaucrats yielded more reliable revenue streams and reduced destructive short-term expedients. More competent and effective administration also paid off on the battlefield and at sea [Glete, p. 142].

Spain – or, more precisely, the kingdom of Castile – has been plausibly identified as the first fiscal-military state [Rogers; Monad; Glete]. Long before the military revolution, Castile was already a highly militarized crusader state located on the frontier of Christendom and locked in a struggle to “reconquer” territory previously lost to Islam. That medieval experience greatly increased the power of the Castilian state and its rulers. By the beginning of the early modern period, the king of Castile was the absolute master of his realm where he wielded enormous power over his subjects, the economy, and even the church that neighboring monarchs could not imagine for themselves. Organized for ambitious military expansion in the name of God and king, Castile’s bureaucratic administration and fiscal system contributed greatly to the enhancement of state power [Laredo Quesada, p. 177–196; Gelabert, p. 201–238]. War and the maintenance of military forces typically accounted for about half of Castile’s annual expenditures [Rogers, p. 6; Thompson, p. 274–283, 290–291]. To pay those bills the Castilian bureaucracy used extremely coercive means of resource extraction that seriously harmed the country’s economy, slowed down the growth of capitalism, and periodically contributed to fiscal crises that led to even more destructive short-term revenue producing expedients. Castile was chronically short of funds and often desperate to find the huge sums necessary to carry out its ambitious imperial agenda. Nevertheless, its early successes and the rapid growth of the Spanish empire worked against needed reform and promoted arrogance and bureaucratic inertia that ended up helping to ossify the economy, the state, and the empire [Glete, p. 100].

Castile’s military expansion was not primarily motivated by profit. It was instead a sacred mission of the state carried out by aristocratic

warriors. The level of cooperation between the Castilian government and national, regional, and local elites was very high, and taxes were imposed and collected without any meaningful consultation with the taxpayers. The king of Castile could also count on the strong support of the church as his empire expanded, and his powers over the church within his domain were very great. Such pronounced secular dominance was due in part to the king's decision not to staff his bureaucracy with church-trained administrators and the fact that the language of his court and bureaucracy (Castilian) was different from the language of the church (Latin) [Ruiz, p. 29–34, 147–148, 154]. Castile provides us with a very interesting case study of an early fiscal-military state. Were there any other similar pioneering fiscal-military states? The answer is a resounding yes! In many ways Muscovy was remarkably similar to Castile, something previously noted by several scholars [Billington, p. 69–71; Yanov, p. 7; Downing, p. 64].

I was the first historian to apply the term fiscal-military state to early modern Russia [Dunning, 1998, p. 119–131; idem, 1999, p. 136–137]. In my book, *Russia's First Civil War: The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty* (2001), I described Russia in the sixteenth century as a somewhat primitive but highly effective version of the fiscal-military state [Dunning, 2001, p. 11, 19–21, 27–29, 34, 45–46, 48, 73, 462–463, 476]. Influenced by Jan Glete, in 2004 James Cracraft published *The Petrine Revolution in Russian Culture* in which he used the term fiscal-military state to refer to the powerful military and bureaucratic system built up by Peter the Great – a more rational and efficient system of central command and control, taxation, recruitment, training, and supply [Cracraft]. In 2006 I co-authored an article with Stephen Smith titled “Moving beyond Absolutism: Was Early Modern Russia a Fiscal-Military State?” The article explores the bankruptcy of the terms “absolutism” and “autocracy” as explanatory frameworks for the study of early modern Europe and Russia, and it argues in favor of regarding Muscovy as one of the earliest fiscal-military states [Dunning, Smith, p. 19–43].

Several other scholars, including Brian Davies, Sergei Bogatyrev, and David Goldfrank, have made use of the concept of the fiscal-military state in writing about Muscovy. In 2007 Christoph Witzernath published *Cossacks and the Russian Empire, 1598–1725*, in which he made sophisticated use of the term fiscal-military state in discussing Russia in the seventeenth century [Witzernath]. In 2009 the Hungarian scholar Endre Sashalmi published a thoughtful essay titled “Russia as a Fiscal-Military and Composite-Dynastic State, 1654–1725.” Sashalmi acknowledged that the fiscal-military state is a highly plausible model for the study of early modern Russia, but he rejected Dunning's idea that Muscovy became a fiscal-military state in the 16th century. For Sashalmi, the key to the emergence of a fiscal-military state was the creation of large and permanent armed forces, an increase in the number of administrative personnel, and increased taxes and government activity in order to finance those expenses. Sashalmi criticized Cracraft for focusing only on Peter the Great and the early 18th century.

Instead, he pointed to the Thirteen Years' War (1654–1667) as the real point of origin of Russia's fiscal-military state, referring to the build-up of the Russian bureaucracy and military forces during the long, exhausting war with Poland-Lithuania. Sashalmi also emphasized the relationship between the growth of the concept of the state in the second half of the seventeenth century and the actual growth of Russia's state apparatus and its increasing bureaucratization [Sashalmi, 2009b; 2009a, p. 131–147].

In 2009 Christopher Storrs published a collection of essays about fiscal-military states in the eighteenth century. Janet Hartley contributed an interesting essay, "Russia as a Fiscal-Military State, 1689–1825." Hartley emphasizes the fact that Russia was almost constantly at war in the eighteenth century and was essentially a garrison state and a fiscal-military state. Nevertheless, she is somewhat hesitant about using the term fiscal-military state to describe eighteenth-century Russia because much of Russian society remained unmilitarized and Russia's fiscal and banking structures (as well as its industrialization) lagged far behind the West. In other words, Hartley regards Russia not so much as a strong fiscal-military state as somehow managing to muddle through as a Great Power and huge empire [Hartley, p. 125–146]. In my opinion, Hartley does not focus enough attention on serfdom as the fuel for Russia's successful fiscal-military state, and she appears to misunderstand the relationship between increased local autonomy and the emergence of a powerful fiscal-military state (which is based on cooperation and devolution of authority) [Bogatyrev, p. 59–127]. For the past twenty-five years Brian Davies has been demonstrating the importance of the period leading up to Peter's reign in the development of Russia's military forces and administrative competence [Davies, 1992, p. 481–501; Idem, 2004]. Davies is also a leading expert on warfare in early modern Eastern Europe. In his recent book, *Warfare in Eastern Europe, 1500–1800*, Davies refers to the model of the fiscal-military state as a "prevailing paradigm" and calls for a more precise definition of the term [Davies, 2012; 2011].

In my view, Muscovy qualifies as a fiscal-military state by the sixteenth century. There is no need to wait until the eighteenth century. Marshall Poe has convincingly demonstrated that it was the sixteenth century that saw the development of key bureaucratic institutions, taxation, and war-making ability in Muscovy [Poe, 1996, p. 608–618; 1998, p. 247–273]. At a conference I attended on "War and Warfare in Northern Europe, 1550–1721," held in early 2013 at the University of Aberdeen, historians of early modern Russia, Poland-Lithuania, Germany, Sweden, Scotland, England, and France welcomed the model of the fiscal-military state as a useful tool for the comparative study of early modern Europe. In *The Northern Wars: War, State, and Society in Northeastern Europe, 1558–1721* (2000), the sponsor of the Aberdeen symposium, Robert I. Frost, drew attention to Russia's increasing momentum in the late sixteenth century. He correctly regarded Russia's Time of Troubles at the beginning of the seventeenth century as a powerful brake suddenly applied to that momentum [Frost].

The Time of Troubles definitely interrupted the formation of Russia's fiscal-military state. Far from slowing down its development, however, the Troubles actually accelerated the growth of state power, bureaucracy, and coercion that produced the rapid expansion of the Russian empire in the seventeenth century and its emergence as a Great Power by the early eighteenth century [Dunning, 2001, p. 443–480].

The model of the fiscal-military state promises to help us better understand some important aspects of early modern Russian history. It cannot explain why Castile managed to produce *Don Quixote* and Muscovy did not, but it can help explain why the promising economic development of both countries collapsed during the reigns of Philip II and Ivan the Terrible.

Billington J. The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture. New York : Knopf, 1966. 880 p.

Bogatyrev S. Localism and Integration of Muscovy // Russia Takes Shape: Patterns of Integration from the Middle Ages to the Present / ed. S. Bogatyrev. Helsinki : Academy of Sciences and Finnish Letters, 2004. P. 59–127.

Brewer J. The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688–1783. New York : Knopf, 1989. 289 p.

Brewer J., Hellmuth E. Rethinking Leviathan: The Eighteenth-Century State in Britain and Germany / ed. J. Brewer, E. Hellmuth. New York : Oxford Univ. Press, 1999. 412 p.

Cracraft J. The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge, MA : Belknap Press, 2004. 576 p.

Davies B. Empire and Military Revolution in Eastern Europe: Russia's Turkish Wars in the Eighteenth Century. London : Continuum International Publishing Group, 2011. 375 p.

Davies B. State Power and Community in Early Modern Russia: The Case of Kozlov, 1635–1649. London : Palgrave Macmillan, 2004. 308 p.

Davies B. Village into Garrison: The Militarized Peasant Communities of Southern Muscovy // The Russian Review 51. No. 3. 1992. P. 481–501.

Davies B. Warfare in Eastern Europe, 1500–1800. Leiden : Brill, 2012. 364 p.

Downing B. The Military Revolution and Political Change. Princeton : Princeton Univ. Press, 1992. 308 p.

Dunning Ch. The Preconditions of Modern Russia's First Civil War // Russian History 25. Nos. 1–2. 1998. P. 119–131.

Dunning Ch. The Legacy of Russia's First Civil War and the Time of Troubles // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 56. 1999. P. 132–155.

Dunning Ch., S. L. Russia's First Civil War: The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty. University Park : Penn State Press, 2001. 657 p.

Dunning Ch., Smith N. S. Moving beyond Absolutism: Was Early Modern Russia a 'Fiscal-Military' State? // Russian History 33. No. 1. 2006. P. 19–43.

Edling M. M. A Revolution in Favor of Government: Origins of the U. S. Constitution and the Making of the American State. New York : Oxford Univ. Press, 2003. 336 p.

Ertman Th. Birth of Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1997. 380 p.

Frost R. I. The Northern Wars: War, State, and Society in Northeastern Europe, 1558–1721. Harlow, England : Longman, 2000. 416 p.

Gelabert J. Castile, 1504–1808 // The Rise of the Fiscal-State in Europe, c.1200–1815 / ed. B. Richard. Oxford : Oxford Univ. Press, 1999. P. 201–238.

Glete J. War and the state in early modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States. London : Routledge, 2001. 277 p.

Hartley J. Russia as a Fiscal-Military State, 1689–1825 The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe: Essays in Honor of P. G. M. Dickson / ed. C. Storrs. Burlington. VT : Ashgate, 2009. P. 125–146.

Henshall N. The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early Modern European Monarchy. London : Longman, 1992. 245 p. [Khenshell N. Mif absoliutizma: Peremeny

i preemstvennost' v razvitii zapadno-evropeiskikh monarkhii rannego Novogo vremeni. SPb. : Aleteiia, 2003. 271 s.]

Laredo Q. M. A. Castile in the Middle Ages. The Rise of the Fiscal-State in Europe, c.1200–1815 / ed. R. Bonney. Oxford : Oxford Univ. Press, 1999. P. 177–196.

Monad P. K. The Power of Kings: Monarchy and Religion in Europe, 1589–1715. New Haven : Yale Univ. Press, 1999. 422 p.

Poe M. The Consequences of the Military Revolution in Muscovy in Comparative Perspective // Comparative Studies in Society and History 38. No. 4. 1996. P. 608–618.

Poe M. The Military Revolution, Administrative Development, and Cultural Change in Early Modern Russia // Journal of Early Modern History 2. No. 3. 1998. P. 247–273.

Rogers C. The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe / ed. C. Rogers. Westview Press, 1995. 400 p.

Ruiz T. F. From Heaven to Earth: The Reordering of Castilian Society, 1150–1350. Princeton : Princeton Univ. Press, 2004. 240 p.

Sashalmi E. God is High Up. The Tsar is Far Away. The Nature of Polity and Political Culture in Seventeenth-Century Russia: A Comparative View Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300–1900 / eds. W. Blockmans, A. Holenstein, I. Mathieu. Burlington, VT : Ashgate, 2009a. P. 131–147.

Sashalmi E. Russia as a Fiscal-Military and a Composite-Dynastic State, 1654–1725 // Gosudarstvo i natsiia v Rossii i Tsentralno-vostochnoi Evrope [State and Nation in Russia and Central East Europe] / ed. G. Szvak. Budapest : Russica Pannonica, 2009b.

Simms B. Reform in Britain and Prussia, 1797–1815: (Confessional) Fiscal-Military State and Military-Agrarian Complex // Reform in Great Britain and Germany 1750–1850 / eds. T. C. W. Blanning, P. Wende. Oxford : Oxford Univ. Press. 1999. P. 79–100.

Swann J. The State and political culture // Old Regime France: 1648–1788 / ed. W. Doyle. Oxford : Oxford Univ. Press, 2001. P. 151–153.

Tengenu T. The Evolution of Ethiopian Absolutism: The Genesis and the Making of the Fiscal-Military State, 1696–1913. Uppsala : Uppsala Univ. Press, 1998. 286 p.

Thompson A. A. Money, Money, and Yet More Money: Finance, Fiscal State and the Military Revolution // The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe / ed. C. Rogers. Westview Press, 1995. P. 273–298.

Witzenrath C. Cossacks and the Russian Empire, 1598–1725: Manipulation, Rebellion and Expansion into Siberia. London : Routledge, 2007. 282 p.

Yanov A. The Origins of Autocracy: Ivan the Terrible in Russian History. Berkeley : Univ. of California Press, 1981. 339 p.

The article was submitted on 28.12.2013

Честер Даннинг, проф.
США
Техасский университет
c-dunning@tamu.edu

Chester Dunning, prof.
USA
Texas University
c-dunning@tamu.edu

COMMEMORATIVE LITERARY MONUMENTS IN ANCIENT RUSSIA

The article discusses the memorial practices of ancient Russia on a concrete example of description of the history of the origin, development and authorship of Synodikon with literary introductions associated with the names of prominent church hierarchs St Joseph Volotsky and Nil of Sora, who played a key role in the development of Russian spiritual culture. With the help of source study (*istochnikovedenie*) the author explores the claims and counterclaims about the dating of redactions of the literary introduction and concludes that the earliest version of the text is linked with the literary and liturgical works and activity of Iosif Volotskii, abbot of Volokolamsk Monastery and a leading church figure in the debate over church landholding in the fifteenth century.

Key words: source study (*istochnikovedenie*), synodic, eschatological representation, textual analysis, written records, the church hierarchy.

В статье рассматривается поминальная практика Древней Руси на конкретном примере описания истории возникновения, развития и атрибуции авторства Синодика с литературными предисловиями в контексте деятельности выдающихся церковных иерархов – преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, сыгравших ключевую роль в развитии русской духовной культуры. С помощью источниковедческого анализа автор приводит аргументы в пользу датирования редакций литературных предисловий и приходит к выводу, что самый ранний вариант текста связан с литературными и литургическими трудами Иосифа Волоцкого, игумена Волоколамского монастыря, проводившего полемику по поводу церковного землевладения в XV веке.

Ключевые слова: источниковедение, синодик, эсхатологические представления, текстологический анализ, памятники письменности, церковная иерархия.

Notions of eschatology in ancient Russia and the culture of the Early Modern Period is disclosed in the Russian Synodicon, a book commemorating the names of the living and the dead, who were prayed for by the priests during church and funeral services, as well as in dirges.

The commemoration of ancestors, which emerged as a special ritual in the pre-civilization societies, finally took shape in Old Testament times. The Hebrews had a custom of breaking bread next to coffins at burial ceremonies

so that they could share the bread with the poor. Upon the death of family members, generally all the relatives fasted and prayed for the deceased.

By the beginning of the third century, the custom of commemorating ancestors in the Christian Church had been established. This fact is evident from ancient liturgical services. Accordingly, the first sequences of liturgical prayers were established in apostolic times by the followers of Christ, Jacob and Mark, and subsequently revised by Vasily the Great in the fourth century. Indeed the liturgical texts of Vasily the Great, John Chrysostom and Gregorius Dialogus are still widely used in modern church services, having been edited, with the addition of new motets, during the 5th through 9th centuries.

The Synodicon inherited the Byzantine tradition of praying for the living and dead. It became one of the main sources for expressing the religious ontological doctrine of the Russian Orthodox Church, particularly in relation to the divine structure of the other world or the Final Judgment, which functions in accordance with a person's righteous or sinful past.

By the time the Synodicon became a significant book in the 15th century, a new, distinctive "folk" literary monument emerged, which has no analogies to Western perspectives. Generally Western views treat the after-life of a person in terms of his past life and give "prescriptions" on how to obtain paradise, bliss and eternal life. The Synodicon and its copies, called by their compilers "blessed and useful", in contrast, represent a distinctive view of eschatological conceptions in ancient Russian scribes, especially about the mysteries of the other world.

There were actually three types of records for commemorating the dead, differing in content, usage and form, yet all were united under one common name: "The Synodicon". They were called The Ecumenical Synodicon [vselenskii sinodik], The Commemorative Synodicon [sinodik-pomiannik] and the Synodicon, which was a literary compilation [Дергачева, 2001].

The Ecumenical Synodicon is a part of the Synodicon, which was used during the feast of Orthodoxy, first practiced in Byzantine. Based upon the Seventh Ecumenical Council's decision to mark the final defeat of Iconoclasm, the text was read in churches during bishop's services on the first week of Great Lent.

The Commemorative Synodicon contained a list of names of the living and the dead, who were prayed for during church services. Such Synodicons were of several types, including fraternal, i.e. monastic, familial and military. The Commemorative Synodicon can also be divided into «eternal» and «daily», i. e. vsedennik, according to the time it took place, and was further subject to a contribution paid for the person commemorated. The opening part included prayers for bishops, Grand Dukes and princes with appanage, and is similar to the Russian part of the Ecumenical Synodicon. On the whole, the synodik-pomiannik is one of the most historically significant manuscripts [Дергачев, с. 210–225].

The third type of Synodicon, symbolically called the "Synodicon and literary compilation", consists of synodik-pomiannik and synodical forewords, which emphasize the importance of commemorating the deceased.

This portion of the manuscript highlights Russian contributions to the Synodicon, especially as expressed through the views of particular authors.

The compiler and author of the first edition of the Synodicon with a three-tale foreword was the celebrated Russian educator, Joseph Volotsky, who drafted the earliest copy, the first edition of 1479, which is available in manuscript [Мальшев, с. 155–156]

On August 15th, 1479 the Cathedral of the Dormition, or *Uspensky sobor*, in Joseph-Volotsky monastery was consecrated. Joseph wrote the Synodicon with a three-tale foreword, especially for this monastery. The first tale touches upon the healing power of such books on Judgment Day.

The second tale, demonstrating a connection to John Chrysostom, has a description of family commemoration, indicating that persons on Pomiannik's list will never be forgotten. The third and final tale instructs Father Superiors and priests to pray for the poor.

The confirmation and canonization of these texts with a three-tale foreword took place at the consecration of the Cathedral of Dormition in Moscow in 1479, which in effect made these texts compulsory for all the ecclesiastical provinces in Moscow.

Joseph Volotsky's Synodicon also contains extra forewords, which conclude by mentioning two princes: Boris Vasilievich Volotsky (died in 1494) and his son Ivan Borisovich (died in 1503) [Казакова, с. 354–357]. These extra tales were presumably added to the Synodicon soon after Ivan Borisovich's death, with the reason for the addition given by Joseph himself. Additionally, portions from the Speeches of Gregorius Dialogus "on the Lives of the Saints, on starets", are of interest because they show how Gregorius Dialogus divided sins into two classes: ones that cannot be forgiven, and ones that can be redeemed, even after death, in order to save the sinful soul.

The appearance of a Synodicon with forewords arguing forcefully for commemorating the dead was caused in part by wide-spread eschatological ideas of Joseph's contemporaries, who were anticipating the apocalypse in 1492, 7000 years presumably since the creation of the World. Nonetheless, another reason for the appearance is connected with the Heresy of the Judaizers or *Zhidovstvuyushchiye*, who seized Moscow and Novgorod at the end of the 15th century. When viewed from this event, the creation of the first Synodicon, which contains forewords drafted by the founder of Joseph Volotsky Monastery during the preparations for the last council on the point of the Heresy of the Judaizers (1504), reveals a singular response to the heresy of anti-trinitarians, who denied the healing power of funeral prayers and the concept of resurrection [Мильков; Громов, Мильков]. The heretics refused to admit the main points of the eschatological doctrine within the Synodicons: that is, personal judgment and the common Final Judgment of all the living and the dead.

At the time of the secularization of monastery lands by the government, approved by Non-possessors or *nestyazhateli*, the heretics were supported even by Tsar Ivan III. Additionally, since the apocalypse failed to occur in 1479, the Judaizers used this fact to bolster their doctrine.

In such difficult conditions, Joseph, being a zealous accuser of the heresy of anti-trinitarians, united with the Non-possessors, who in turn were against Volotsky's policy of cooperating with the government in order to enlarge monastery lands. Joseph drafted consequently an entirely new and singular literary artifact within Russian culture: the Synodicon with its accompanying forewords.

Heresy was considered a mortal sin: "Alexei the archpriest died with his soul dead", as stated abruptly within a council decree in 1490 and quoted in Volotsky's *The Enlighter* [Казакова, Лурье, с. 468–475]. In this teeming social context, it becomes clear why the Synodicon opened with the division of forgivable and unforgivable sins.

The Homily of Macarius of Egypt on pagan priests states that Christian souls, who had a chance to recognize Christ, but nonetheless rejected him and even persisted in their heresy, were doomed to the worst suffering. The sins of the Judaizers, with regard to the words of Joseph, were unforgivable, which means that the Church did not have to concern itself with saving them. Non-possessors, who included Vassian Patrikeev as a leader, did not hold such a radical view and were in fact against the prosecution of heretics, and accused Joseph of carrying out such actions.

The next tale in the foreword, taken from the fourth book of Gregorius Dialogus, describes how the soul of the evil czar, Traian, was saved by a saint's prayer. The tales hinted at Joseph's struggle with the heresy and his decisive impact on the Grand Duke, who initially supported the Judizers.

The next copy of the Synodicon appeared in 1526, 11 years after the death of the archpriest, and was compiled by his apprentice, Serapion Polevoi [ГИМ, собр. Епархиальное № 411]. This edition was reconstructed from the copy of 1598's Volokolamsky Synodicon [РГАДА, ф. 1192. Собр. Иосифо-Волоколамского монастыря, оп. II. № 559; Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря].

Gregorius Dialogus's conception of forgivable and unforgivable sins yielded to synodic articles that vividly illustrated the possibility of God's mercy. Indeed even souls who committed deadly sins could be saved on the condition that they were not apostate, i. e. they realized the sinful nature of their deeds. An essential part of the first edition of the Synodicon is the prayer for all orthodox Christians.

The texts of the monastery of Pomianniks offer versions of a prayer by Patriarch Cyril of Jerusalem, who zealously struggled against the heresy of Ariy, which denied the divine nature of Christ.

The anathema of Ariy and his followers was reflected in the texts of the Ecumenical Synodicon. For instance, in the fifth part it states: «then we commemorate the deceased: patriarchs, prophets, martyrs for God to accept our request; later we commemorate the deceased saints and bishops and us all with a belief that this prayer will be of use for the souls, when a saint and formidable sacrifice is being made».

The name of Cyril in the title of the Prayer became a motive for the author, who described and catalogued Count A. S. Uvarov's manuscripts, to ascribe it to Cyril Turovsky [Рукописи графа Алексея Уварова, т. 2,

c. 102–104, 157], despite the fact that the same author was aware of the list that contained Cyril of Jerusalem's name in its title [РНБ, ф. I.1].

Consequently, his hypothesis was supported by I. P. Eremin. M. S. Borovkova-Maikova pointed to the two copies from the 17th and 16th centuries, which contained "Nil Sorsky" in the title of the Prayer, having printed that text in a 17th-century copy from the collection of A. S. Uvarov [Боровкова-Майкова, с. 12–15].

The text of the Prayer, in the 16th-century copy from the Sofia collection in The National Library of Russia (№ 1489), also contained a title linked with the name of "Nil". Commemorations in that Prayer differ in describing the various kinds of death, enumerated in the Apocalypses. References to "7000 years" are the author's individual insertions, confirming that the translation appeared in Russia on the eve of 7000 years, the date marking the creation of the world, before the 1492, modern system of chronology. The connection of both copies with "Nil" is apparently a reference to the name of the translator [Депрачева, 1990, с. 21–24]. An evident inspiration for the Nil-translator's work was his stay on the Athos.

It is also known that Joseph Volotsky widely used the texts, ascribed to Nil Sorsky, which obviously were translations in his own manuscripts, such as «the Message to an Iconographer» [Боровкова-Майкова, с. 15]. It is not accidental that the Prayer is a special addendum to the three-tale foreword, and it can be found in the copies of the first edition of Volotsky's Synodicon as well as the Pomiannik.

Cyril of Jerusalem's Prayer appeared throughout the manuscripts of Russian Synodicons. The Prayer of Common Commemoration, which contained a vast list of all kinds of passing, had been attached to Pomiannik until the 20th century. This text was continually expanded due to the added descriptions of kinds of passing, which in turn reveals how the text within the church service turned into a larger picture of common Russian life.

The main idea of Sorsky's translation is reflected in the three-tale synodic forewords. Nil Sorsky, being a famous church activist and polemicist took another position, in contrast to Joseph Volosky, on the fate of repentant heretics. He composed a manuscript that can nominally be called a Synodicon. Its only copy is traced to the 1850s [Плигузов, с. 2, 3.]. A. I. Pliguzov defines the texts of the *sammelband* as well as "The Message of Joseph" and a reply to it (from the starets of St. Cyril's Monastery; p. 294–387) as "Nil Sorsky's Charter and a foreword to the Synodicon, titled with his name" [Там же, с. 2].

The foreword is Nil's translation of the Prayer for the deceased with a comprehensive enumeration of different kinds of death, which can be undoubtedly called a Synodicon foreword.

However the part of the Charter that deals with the concepts of commemoration and the Final Judgment makes up one whole text with the Prayer, and that text lays out the eschatological conception of "the saint hermit" [РНБ, Соф. 1489, л. 351 об.–387 об.]. Conditionally the compilation of those texts can be called, St. Nil's Synodicon.

Unlike Joseph Volotsky, whose position on heresy is evident in the Synodicon forewords, St. Nil only gives examples that in turn demonstrate the necessity of commemoration. Evidence cannot be found of narrations with a teleological plot, loaned to Joseph from the saint father's collections, containing tales that condemn the heresy of denying resurrection and reward of an afterlife. In the form of didactic sermons, Saint Nil and Church Fathers – Philotheus Sinait, Anthony the Great, John Climacus, Isaac Sirin, Grigory Besedovnic, Roman the Melodist, John Chrysostom and apostle Matthew – demonstrate the importance of commemoration. Their sermons, widely used in later synodicons of the 17th century, focus on the theme of *Vanitas*, the mortality of the material world. An ascetic and a follower of Hesychasm, Saint Nil calls upon his congregation to think of death and the Final Judgment.

A teleological scheme, typical of forewords, loaned from the manuscripts of Saint Fathers, had become an essential part of all subsequent Synodicons: "A sin – a prayer, sacrifice; a liturgical service-absolution, instruction" or "a deadly sin – eternal suffering". Apostasy is the only unforgivable sin. The philosophical doctrine about retribution, encoded in the story of Macarius, had become essential for the Synodicons in later editions.

If the Synodicons of the Uspensky Cathedral on Volyn give only a general idea of Joseph's edition, then the Synodicon of Mikhailov Golden Domed Monastery in Kiev, 1553, represents a complete canonical form of the tree-tale foreword. The substitution of the name of Gregory of Nazianzus as a supporter of the divine afterlife with the name of Michael, the archangel and patron of the monastery and judge at the Final Judgment, gives an idea of the origins of the Synodicon. The text was revised by Simeon, the founder or a "builder" of the monastery.

The Stoglav Sobor, 1551, set the conditions of the synodic foreword of Joseph's edition firmly into church practice. The 75th chapter of the Stoglav is entirely devoted to the idea of church's commemoration practice.

In the 16th century, the expectation for the apocalypse was finally replaced by constructive actions by the Moscow state. As a result of unifying political ideology, preached and encouraged both by the church and state, a theory of Moscow as the Third Rome materialized. No later than the year 1527, the first edition of "The Tale of the Princes of Vladimir" was composed, and in connection with the preparations for Ivan IV's coronation, a second edition appeared. The tale of Vladimir II Monomakh's obtaining of the czar's regalia was used as an introductory article to the sequence of Ivan the Fourth's (1547) coronation. In turn, Moscow's leading role in the Orthodox world stimulated cultural and educational activities: new saints were canonized and the Great Menaion Reader of Metropolitan Macarius was composed.

Great attention was paid to the practice of commemoration during Ivan IV's times [Дергачева, 1990, с. 34, 35]. It was subsequently set in law and led to the growth of the number of Synodicon manuscripts, creating a golden age for this literary monument in the 16th century.

It is known that Synodicon commemorations were of great importance during Ivan IV's times, which is shown by the existence of «the synodicon of the disgraced (opalnye)» [Веселовский; Скрынников].

According to an analysis of the collected manuscripts, the following copies below were ascribed to Joseph's first edition (listed in chronological order):

- The Synodicon of the Monastery of Volokolamsk, 1479.
- The Synodicon of Pavlo-Obnorsky Monastery, till 1481.
- The Synodicon of the Monastery of Volokolamsk, a copy of 1526 from a Synodicon of 1479.
- The Synodicon of Novgorod Church of Boris and Gleb, 1552. 1560 [Шляпкин, с. 1].
- The Synodicon of Mikhail Golden-Domed Monastery, 1553–1560.
- The Synodicon of Moscow Great Uspensky Cathedral, 16th century, the 60s.
- The Synodicon of Moscow Great Uspensky Cathedral, 16th century, the 60s.
- The Synodicon of the Trinity Monastery of St. Sergius, 1575.
- The Synodicon of the Monastery of Kyrzhach, till 1585.
- The Synodicon of Moscow Epiphany Monastery with a list of names of those prosecuted by Ivan IV, 1599.
- The Synodicon of the Trinity Monastery on Tsna-river, 1620.
- The Synodicon of the Monastery of Kyrzhach, till 1631.
- The Synodicon of the Deacon Mikhail Patrikeevich Nasonov Church. 1633–1640.
- The Synodicon of Optina Monastery of Kozelsk, 1673–1690.
- The Synodicon of Kornil-Komelsky Monastery, 17th century.

Боровкова-Майкова М. К литературной деятельности Нила Сорского // Памятники древней письменности и искусства. СПб. : ОЛДП, 1911. CLXXVII 19 с. [Borovkova-Maykova M. K literaturnoy deyatelnosti Nila Sorskogo // Pamyatniki drevney pismennosti i iskusstva. SPb. OLDP, 1911. CLXXVII 19 s.]

Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М. : Акад. наук СССР, 1963. 538 с. [Veselovskiy S. B. Issledovaniya po istorii oprichniny. M. : Akad. Nauk SSSR, 1963. 538 s.]

ГИМ. Собр. Уварова. № 1846 (754) (718). XVII в. Л. 791–793. Публикация; Собр. Епархиальное. № 411. [GIM. Sobr. Uvarova. № 1846 (754) (718). XVII v. L. 791–793. Publikacija; Sobr. Eparhial'noe. № 411].

Дергачев В. В. Родословие Дионисия Иконника // Памятники культуры. Новые открытия. Пи́сьменность. Искусство. Археология. Ежегодник. М. : Наука, 1989. С. 210–225. [Dergachev V. V. Rodoslovie Dionisija Ikonnika // Pamyatniki kul'tury. Novye otkrytija. Pis'mennost'. Iskusstvo. Arheologija. Ezhegodnik. M. : Nauka, 1989. S. 210–225].

Дергачева И. В. Становление повествовательных начал в древнерусской литературе. München : Verlag Otto Zagner, 1990. 210 с. [Dergacheva I. V. Stanovlenie povestovatel'nyh nachal v drevnerusskoj literature. München : Verlag Otto Zagner, 1990. 210 s.]

Дергачева И. В. Синодик с литературными предисловиями: история возникновения и бытования на Руси // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. 2001. № 2 (4). С. 89–96. [Dergacheva I. V. Sinodik s literaturnymi predislovijami: istorija vozniknovenija i bytovaniya na Rusi // Drevnjaja Rus'. Vopr. medievistiki. 2001. № 2 (4). S. 89–96].

Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. 360 с. [Kazakova N. A. Vassian Patrikееv i ego sochinenija. M. ; L. : Izd-vo Akad. Nauk SSSR, 1960. 360 s.]

Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI вв. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. 360 с. [Kazakova N. A., Lur'e Ja. S. Antifeodal'nye ereticheskie dvizhenija na Rusi XIV — nachala XVI vv. M. ; L. : Izd-vo Akad. Nauk SSSR, 1955. 360 s.]

Малышев В. И. Древнерусские рукописи Пушкинского дома (обзор фондов). М. ; Л. : Ин-т рус. лит. Акад. наук, 1965. 235 с. [Malyshev V. I. Drevnerusskie rukopisi Pushkinskogo doma (obzor fondov). M. ; L. : In-t rus. lit. Akad. Nauk, 1965. 235 s.]

Мильков В. В. Антицерковные и еретические течения в древнерусской мысли // Громов М. Н., Мильков В. В. Идеиные течения древнерусской мысли. СПб. : РХГИ, 2001. С. 260–342. [Mil'kov V. V. Anticerkovnye i ereticheskie techenija v drevnerusskoj mysli // Gromov M. N., Mil'kov V. V. Idejnye techenija drevnerusskoj mysli. SPb. : RHGI, 2001. S. 260–342].

Плигузов А. И. «Ответ Кирилловских старцев» // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. 2001. № 3 (5). С. 1–17. [Pliguzov A. I. «Otvеt Kirillovskih starcev» // Drevnjaja Rus'. Voпр. medievistiki. 2001. № 3 (5). S. 1–17].

РГАДА. Ф. 1192. Собр. Иосифо-Волоколамского монастыря. Оп. ИИ. № 559. [RGADA. F. 1192. Sobr. Iosifo-Volokolamskogo monastyrja. Op. II. № 559].

РНБ. Ф. I.1.; Соф. 1489. 60-е гг. XVI в. Л. 290, 351 об.—387 об. [RNB. F. I.1. Sof. 1489. 60-e gg. XVI v. L. 290, 351 ob.—387 ob.]

Рукописи графа Алексея Уварова. СПб. : Имп. Акад. наук, 1858. Т. II. [Rukopisi grafa Alekseja Uvarova. SPb. : IMP Akad.nauk, 1858. T. II.]

Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря (1479–1510-е годы) / подгот. текстов и исслед. Т. И. Шабловой. СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. 224 с. (Святые и святыни Русской земли). [Synodik Iosifo-Volokolamskogo monastyrja (1479–1510) Shabalovoi. SPb. : Dmitryi Bulanin, 2004. 224 s.]

Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М. : АСТ, 2001. 495 с. [Skrynnikov R. G. Ivan Groznyj. M. : AST, 2001. 495 s.]

Шляпкин И. А. Синодик 1552—1560 годов Новгородской Борисоглебской церкви. Белоостров, 1911 // Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 5. Новгород : Губернская тип., 1911. [Shljapkin I. A. Sinodik 1552—1560 godov Novgorodskoj Borisoglebskoj cerkvi. Beloostrov, 1911 // Sbornik Novgorodskogo obshestva lubiteley drevnosti. Vip. 5. Novgorod : Gubernskaya tip., 1911].

The article was submitted on 10.01.2014

Ирина Дергачёва, проф.
Россия
Московский городской
психолого-педагогический
университет
krugh@yandex.ru

Irina Dergacheva, prof.
Russia
Moscow State University
of Psychology and Education
krugh@yandex.ru

**DER DEUTSCH-RUSSISCHE UNTERNEHMER
ANDREAS KNAUF: DER PRAKTIKER IM URAL**

**THE GERMAN-RUSSIAN ENTREPRENEUR
ANDREAS KNAUF: A PRACTICAL MAN IN THE URALS**

In the previous issue of the journal, the author wrote about the industrial history of the Urals in reference to the life of Andreas Knauf (b. 05.05.1765 – d. after 1835 in Russia), a Russian-German entrepreneur and renowned personality who contributed significantly to Ural mining and cast iron industries.

Being a renowned first-guild merchant and manufacturer in the Urals, Andreas Knauf became recognized for introducing new technologies in the Urals. He was a new type of businessman, caring for the material and physical well-being of his workers. He invested in a hospital and church, and introduced immunization against the vaccinia virus, and consequently saved thousands of cattle. Also, he invited German masters from Izhevsk and Germany, sent serfs' children to study in Saint Petersburg (Mining Cadet Corps) and in Moscow (Moscow Commercial School).

Knauf's service for the region resulted in increased productivity in Ural plants and improvements in their technical potential. Knauf constantly modernized production, which allowed the Zlatoust Plant's profits to triple. He was also the first to introduce steam engines in the Urals. In 1811 he started to use steel to produce hard-to-get tools and household objects.

The Russian government used his plant as a monopoly for producing cold weapons in Russia, which indirectly demonstrates that his industrial policies helped drive modernization. Being an autodidact, the businessman became an expert at metalworking, and he experimented at the Alexandrovsky Foundry in Saint Petersburg, often writing reviews on the development of the metallurgical industry for the Mining Journal. He became an honoured member of Moscow University and the Imperial Saint Petersburg Society of Naturalists.

Keywords: late 18th – early 19th century; Andreas Knauf; industrialisation; mining industry; metal-working industry; Urals; modernization; transfer of technologies; transfer of knowledge.

В первой части статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала мы начали рассказывать о промышленной истории Урала на примере русско-немецкого предпринимателя Андрея Кнауфа (1765–1835) –

выдающейся личности в горнодобывающей и чугунолитейной промышленности региона.

Московский именной купец первой гильдии и заводчик на Урале, Андрей Кнауф становится проводником немецких технологий. Он являет собой новый образ предпринимателя, символизирующего социально ответственный бизнес. На свои деньги он возводит госпиталь, церковь, приглашает пастора и врачей, вводит прививки против коровьей оспы, приглашает немецких мастеров из Ижевска и Германии.

Заслуга Кнауфа заключается в повышении производительности Златоустовских заводов, расширении их технологических возможностей. Он постоянно модернизировал производство, за несколько лет утроив капитализацию Златоустовского завода, внедряя паровые машины. В 1811 г. он налаживает производство инструментов и бытовых изделий из стали.

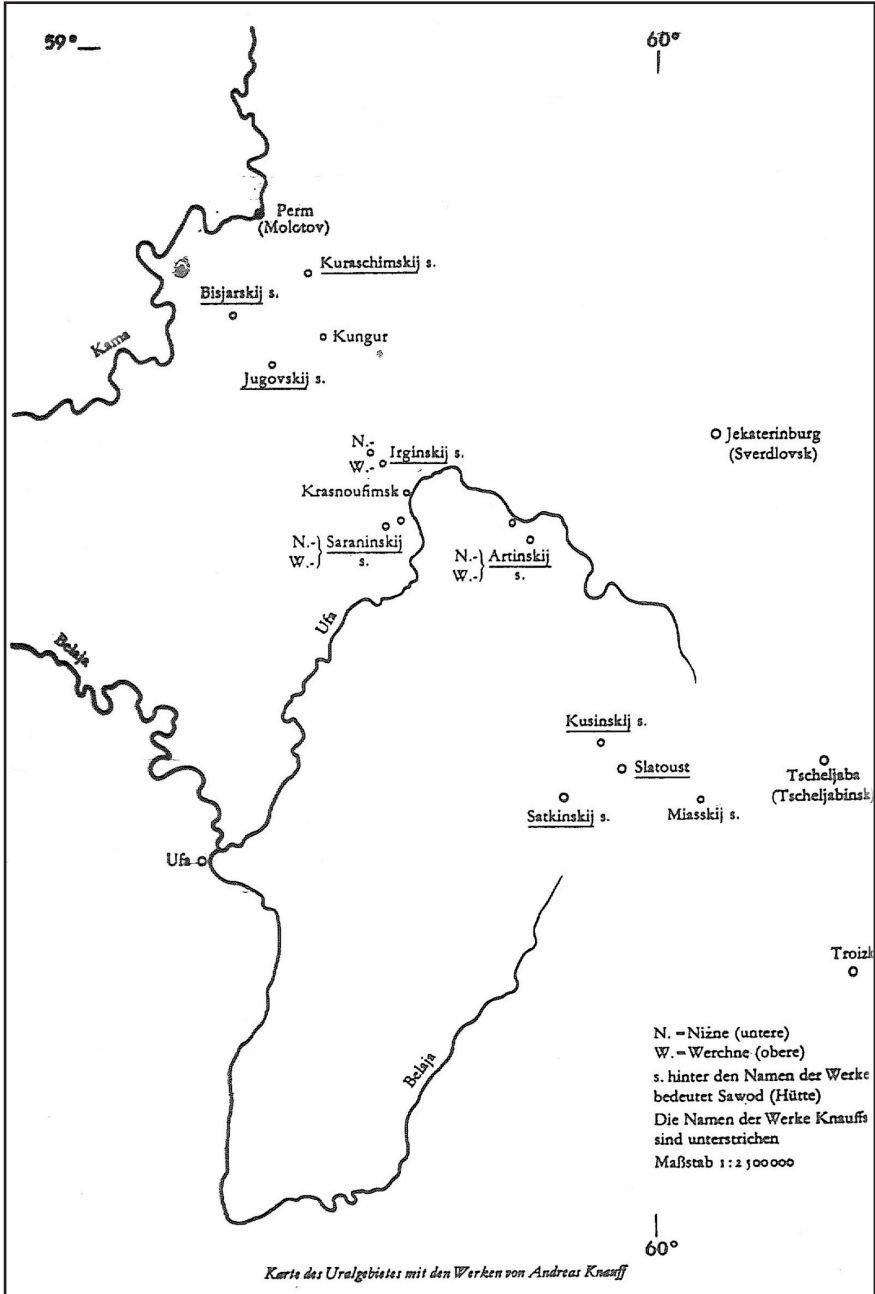
Факт того, что русское правительство приступило к созданию на базе Златоустовского завода уникального производства с монопольным правом изготовления холодного оружия в России, служит косвенным признанием правильной производственной политики Кнауфа, делавшего ставку на модернизацию производства. Будучи автодидактом, он становится экспертом в литейном деле, производит опыты на Александровском литейном заводе в Петербурге, пишет обзорные статьи по развитию металлургической промышленности, становится почетным членом Московского университета и Императорского общества естествоиспытателей.

Ключевые слова: конец XVIII – начало XIX века; Андрей Кнауф; индустриализация; горнодобывающая промышленность; металлообрабатывающая промышленность; Урал; модернизация; трансфер технологий; трансфер знаний.

Gekommen nach St. Petersburg im Jahr 1783 als Kaufmannslehrling, besitzt er 1804 bereits vier Zlatouster Werke im Ural: Artinskij, Zlatoustovskij, Kusinskij und Satkinskij, die er von Luginin kaufte, sowie die Werke Bizjarskij, Kurashimskij, Saraninskij, Nizhneirgimskij, Verkhneirgimskij und Yugovskij, die früher dem Großkaufmann I. P. Osokin gehörten. Hinzu pachtete er von Baron G. A. Stroganov die Werke Kynovskij, Ekaterinosyuzvinskij und Elizavetonerdvinskij. Nach dem Erwerb des Preobrazhensker Werkes des Moskauer Kaufmanns Gusyatnikov, der mit Luginin verwandt war, konnte Knauf 14 Werke unter seine Obhut bringen.¹ Womöglich hoffte Knauf, an den Erfolg der Demidov-Dynastie anknüpfen zu können [РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1781 (s. Karte)].

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Knauf betrieb Untersuchungen zur Verbesserung des technologischen Verfahrens. So ist in einem Bericht des Bergdepartements vom 3.8.1803 zu lesen, dass „bei dortigen Zlatoustovskij, Satkinskij und Kusinskij Werken seitens des Besitzers Knauf der Wille und Bemühen zu

¹ P. M. Gusyatnikov war in erster Ehe mit A. L. Luginina verheiratet, der Tochter von Larion Luginin, dessen Nachfolger seine Enkelkinder waren, die Gebrüder Ivan und Nikolaj Luginin, die in Moskau im Militärdienst standen. Höchstwahrscheinlich lernte Knauf Ivan Luginin durch die Vermittlung von Gusyatnikov kennen [Неклюдов, 2004, с. 84; Amburger, 1982, S. 123, 126].



Die Werke im Ural unter der Leitung von A. Knauf. S. Karte [Amburger, 1982, S. 125]

sehen sind, durch verschiedene Experimente auf praktischem Wege die bessere Qualität des Stahlkochens zu erreichen“ [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 2678, л. 668].

Knauf kam zu dem Schluss, dass die einzige Möglichkeit, die allgemeine Lage der Werke zu verbessern, darin bestand, die Produktion zu modernisieren und nicht nur das Eisen als Werkstoff zu produzieren, sondern daraus vor allem Eisenprodukte bzw. Konsumwaren anzufertigen. Dies betraf die ganze Eisenindustrie im Ural, die nahezu die gesamte Eisenproduktion als halbfertige Ware zur Ausfuhr hergestellt hatte [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 63].

Dabei behielt Knauf zwei Hauptaufgaben im Auge: erstens, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter und Handwerker zu erleichtern, und zweitens, das Warensortiment zu vergrößern und die Qualität (die Kunstfertigkeit) zu verbessern. Im ersten Fall erhöhte er die Löhne und die Brotration der Arbeiter und Handwerker gegen die Vorschrift, errichtete auf eigene Kosten Spitäler und stellte Ärzte ein. Knauf sorgte für Impfungen gegen Kuhpocken, wodurch viele Tausend Nutztiere gerettet werden konnten. Dies nannte er zu Recht eine „Wohltat für die Menschlichkeit“. Im zweiten Fall lud Knauf Fachleute aus dem Ausland und deutsche Handwerker aus Izhevsk ein, um die Arbeiter anzulernen. Zusätzlich wurden einige junge Menschen nach Moskau zum Studium im Berginstitut und im Moskauer Kommerzkolleg geschickt. Zur Organisation neuer Produktionsprozesse wurden neue Betriebsgebäude errichtet und Maschinen eingeführt, wofür Knauf auf eigene Kosten 150 Fachleute aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, kommen ließ [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 64].

Dass dies keine Selbstverständlichkeit war, unterstrich Knauf immer wieder. Auch die privaten Betriebe waren eng mit der Staatswirtschaft verbunden: Die Uralwerke gehörten zu den sogenannten Possessionsfabriken. Folglich erhielt Knauf als Besitzer nicht nur Gruben und Wälder, sondern bekam auch Bauern als Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. Dafür sollte er die Hälfte seines Gewinns an den Staat abgeben [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 28]. Im Gegenzug konnte das Bergkollegium den Unternehmen Darlehen zu günstigen Bedingungen geben, weitere Possessionsbauer zuteilen und Privilegien gewähren. Diese wogen jedoch viel weniger als die Staatslasten. Als hemmend für die Steigerung der Produktion erwiesen sich die staatlichen Auflagen, die die Gesamtzahl der Arbeiter sowie die Menge der Produktion einschränkten.

So wurde beispielweise ein Gesuch Knaufs aus dem Jahr 1807 abgelehnt, in dem er vorrechnete, dass er für den Erhalt des Betriebs und für die Steigerung der Produktion 3740 Mann bräuchte [Amburger, 1982, S. 126; vgl. ПСЗ-1, т. 29, 22498]. Erschwerend kam das Projekt von Sojmonov hinzu, das vorsah, einem Werk je tausend Werksbauern eine fixe Anzahl von 58 ständigen Arbeitern zuzuteilen. Dies wurde in einer Verfügung vom 15. März 1807 festgehalten [Особое приложение к IX тому Свода законов, 1876, с. X–XII]. Knauf war bereit, auf die ständigen Arbeiter ganz zu verzichten, um die überhöhte Besteuerung seitens des Staates zu vermeiden, weil die staatlichen Zuwendungen je Arbeiter im Verhältnis zu den Abgaben unverhältnismäßig niedrig waren [ПСЗ-1, т. 29, № 22498].

Die Schwierigkeit lag nicht nur am Mangel an freien Arbeitskräften. Knauf durfte auch nicht eigenmächtig freie Arbeitskräfte anstellen, da sie nur vom Staat zugeteilt werden durften. Außerdem sollten die Possessionsbauern die ständigen Arbeiter, die ab 1807 aus ihrer Mitte gewählt wurden, unterhalten. Unter solchen Umständen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Motivation der ständigen Arbeiter und vor allem der Possessionsbauern nicht besonders hoch war. Die Löhne wurden nach wie vor auf der Grundlage des Petrinischen Erlasses aus dem Jahr 1724 festgelegt und nur einmal per kaiserlichen Erlass von 1779 angehoben bzw. verdoppelt.

Unter solch schwierigen Bedingungen konnte sich das Ergebnis von Knaufs Bemühungen sehen lassen. Die Herstellung von Fertigprodukten aus Eisen und Stahl wuchs kontinuierlich. Knauf gewann 1804 den Engländer John Major als Verwalter für seine Werke und 1807 den ehemals preußischen Fabrikkommissar Alexander Eversmann als Oberverwalter aller seiner Hüttenwerke [Amburger, 1982, S. 127]. Dies erwies sich als ein Glücksgriff. Generell kann man davon ausgehen, dass Knauf ein guter Menschenkenner war und Talent besaß, fähige Leute für sich zu gewinnen.

1808 legte Knauf eine neue Obere-Sarana-Hütte an, und etwa um die gleiche Zeit richtete er bei den Arta-Hütten eine Sensenfabrik ein [Amburger, 1982, S. 127]. Hier wurden auch Sägen und andere Instrumente hergestellt und ebenso Kanonen gegossen, wozu im Jahr 1811, wie Knauf selbst berichtet, kein anderer außer ihm imstande war [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 64].² Es gelang ihm, die Erzeugung von Gusseisen von 416 000 auf 600 000 Pud zu steigern [Микитюк, с. 72]. Knauf ist um diese Zeit ein angesehener Großkaufmann mit angemeldetem Kapital, das von Jahr zu Jahr variierte: 1805 und 1807 betrug es 76.000 Rubel, in den Jahren 1808 bis 1811 – 50 000 Rubel [ЦИАМ, ф. 2, оп. 2, д. 70, л. 89–90].

Das bei der Oberen-Sarana-Hütte seit etwa 1808 erbaute Werk für die Sensenproduktion stellte Waren her, die den deutschen Metallerzeugnissen in der Qualität „in keiner Weise nachstanden“, dafür aber im Preis viel günstiger waren [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 64]. Wöchentlich wurden dort 5000 Sensen produziert. Der Verwalter Major errichtete mithilfe seiner Fachleute auch Dampfmaschinen in den staatlichen Berezov- und Bogoslovski-Werken [Ibid.]. Die Staatsbeamten lobten Knaufs Verdienste, da Dampfmaschinen erst durch seine Initiative tatsächlich im Ural Verbreitung fanden. Dasselbe galt für die modernisierten Hochöfen, durch die eine wesentliche Einsparung von Holz und Holzkohle erreicht werden konnte [Ibid., ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 79], was zum Erhalt der Wälder und zur Schonung von Arbeitsressourcen beitrug.

Ungeachtet des steten Wachstums und eines Produktionsvolumens von 1 030 000 Rubel je Werk im Jahre 1813 wuchsen die Schulden. Knauf schuldete seinen Gläubigern 3.000.000 Rubel, dazu noch seinem Hauptgläubiger Hasselgreen 3 782 000 Rubel [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 65] und 1 477 160 Rubel dem russischen Staat [Amburger, 1982, S. 128]. Diese letzte

² Insgesamt gab die russische Regierung in den Jahren 1811 und 1812 jeweils 125 Kanonen in Auftrag. Knauf konnte im Jahr 1811 lediglich 52 Kanonen liefern.

Summe beinhaltete die Bergsteuer für zwei Jahre (ca. 600 000 Rubel) und die Raten für das Darlehen in Höhe von 900 000 Rubel auf 25 Jahre aus den Jahren 1798 und 1799. Ungünstig wirkte sich in dieser Situation ein Erlass vom 31. Mai 1809 aus, der für den Fall der Nichtentrichtung der Bergsteuer den Niedergang eines Betriebs mit allen daraus folgenden Konsequenzen vorsah [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 78].

Die Napoleonischen Kriege 1806–1807 und die Kontinentalsperre 1808 trugen zu einer Abwertung des Wechselkurses und zur Schließung der Kreditlinie für alle Kaufleute bei, die mit Europa Handel trieben. Dies galt auch für Andrej Knauf und hatte sofortige negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Wirtschaft. Seit 1808 geriet Knauf immer mehr in Verzug mit dem Entrichten der Steuer, die schließlich in den Jahren 1809 und 1810 gänzlich ausblieben. Das wurde ihm zum Verhängnis. Zuerst verlor er durch höhere Gewalt die Kreditlinie im Ausland, dann den stattlichen Kredit.

1811 verließen Andrej Knauf, der Moskauer Kaufmann Anton Stolme, sein offizieller Erbe [Неклюдов, 2004, с. 85], und der „königlich-schwedische Generalagent“ Konrad de Hasselgreen Moskau, um ihre letzte Chance in St. Petersburg zu nutzen. Die Kreditgeber gewährten ihnen den freien Abgang, weil die Aufrechterhaltung des Werkbetriebs die letzte Möglichkeit war, irgendwann das investierte Geld zurück zu bekommen. Knauf bat die Regierung vergeblich um eine Stundung des Kredits auf fünf Jahre. Finanzminister D. A. Gur'ev legte dem Reichsrat einen Bericht vor, demzufolge Knauf dem Staat 450 000 Rubel schuldete. Gleichzeitig stellte der Minister fest, dass für die Einrichtung der Werke eine große Summe investiert worden war, was sowohl Knauf, als auch dem Staat Nutzen bringen sollte [Неклюдов, 2004, с. 89]. Dies bestätigte zwar indirekt Knaufs Argumentation, half ihm jedoch nicht.

Am 3. Oktober 1811 wurden Knauf die Werke im Zlatouster Bergbezirk per Zarenerlass endgültig entzogen, er durfte sie aber bis zum Jahr 1818 weiterhin verwalten [Amburger, 1982, S. 128; Неклюдов, 2004, с. 88; Окунцов, 2011, с. 6–8]. Und obwohl ihm laut Vertrag erst nach drei Jahren des Rückstandes von Steuerschulden die Werke weggenommen werden durften, gingen sie schon nach zwei Jahren in die Verwaltung des Staates über. Die Übernahme sollte schnell und unter strengen Geheimvorkehrungen vollzogen werden [vgl. Неклюдов, 2004, с. 89].

Das Finanzministerium gab dem Obergittenverwalter Kleiner, der 1811 zum Hauptverwalter der Werke ernannt wurde, eine streng geheime Anweisung, nach der er dafür Sorge tragen sollte, alle von Knauf eingeführten Einrichtungen und Herstellungsverfahren nicht nur sorgfältig zu bewahren, sondern sie auch schnellstmöglich weiter zu entwickeln und zu verbreiten [Неклюдов, 2004, с. 89; ГАСО, ф. 24, оп. 32, д. 2082, л. 3–9, 10–11, 18]. Das entsprach jedoch auch Knaufs Vorstellungen. Die ausländischen Fachleute sollten mit allen möglichen Vergünstigungen motiviert werden, in den Werken zu bleiben. Der neue Hauptverwalter erhielt den Auftrag, schnellstmöglich in den Ural zu fahren, bevor die Kreditgeber der Staatskasse oder den Werken Schaden zufügen konnten [Ibid.].

Wie E. Neklyudov zurecht vermutet, könnte der Grund für die Wegnahme der Werke der Wunsch der russischen Regierung sein, vor dem bevorstehenden Krieg gegen Napoleon einen intakten Betrieb für die Herstellung von Kanonen und Munition im Ural unter ihre Kontrolle zu bringen [Неклюдов, 2004, с. 89].

Widersprüchlich erscheint in dieser Hinsicht ein Schreiben des Bergrats an das Departement für Bergbau und Salinen vom 22. Dezember 1812, in dem es heißt, dass nach Meinung des Reichsrates vom 3. Oktober 1811 mit Genehmigung von höchster Stelle die Zlatouster Werke wieder an einen privaten Unternehmer zu günstigen Bedingungen vergeben werden sollten. Aus welchem Grund auch immer, es fand sich kein Interessent. Bezeichnend ist aber, dass die Werke anscheinend bis zur Enteignung erfolgreich in Betrieb waren. Dem potentiellen Nachfolger von Knauf sollte es auch gestattet werden, statt vertraglich erlaubter 416.000 Pud wesentlich mehr Eisen, nämlich 600 000 Pud, zu produzieren [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 2]. Dies begründete man damit, dass Knauf ein „neues Verfahren von Hochöfen“ eingeführt hatte, das viel Holz sparte und dadurch den Wald schonte. Bereits am 29. Mai 1809 gingen zwei Hochöfen für die Herstellung vom Kupfer in Betrieb. Am 19.06.1811, als bereits das Verfahren eingeleitet wurde, durch das die Zlatouster Werke einen neuen Besitzer bekommen sollten, wurde es Knauf erlaubt, die Anzahl der Hochöfen auf sechs zu erhöhen [Ibid., л. 19]. Eine paradoxe Entwicklung: Im Augenblick größter Expansion entzieht man Knauf die Werke. Sein Versuch, 1812 dagegen Einspruch zu erheben, blieb ohne Folgen. Der Krieg mit Frankreich 1812–1814 nahm alle Kraft des Staates und der Bevölkerung in Anspruch. Die Klage wegen des unrechtmäßigen Entzugs blieb vor dem Hintergrund der Ereignisse unbeantwortet.

In seinem Gesuch an den Zaren vom März 1812 schilderte Andrej Knauf die Umstände, die äußerst negative Auswirkungen auf sein Unternehmen hatten, und die Gründe, weshalb er sich mehr Einsicht von Seiten der Regierung gewünscht hätte. Entscheidend war auch die im Vergleich zu anderen Branchen extrem schwierige Lage der Possessionsbauer und ständigen Arbeiter. Dies spielte nicht nur für Knauf und seine Geschäfte eine Rolle, sondern auch noch viele Jahrzehnte danach bis zur Abschaffung der Leibeigenschaft. Knauf fasste nochmals alle Schwierigkeiten zusammen, mit denen er zu kämpfen hatte: 300.000 Rubel Verluste, die er durch den misslungenen Kauf der Werke von Luginin im Jahr 1797 gemacht hatte; ca. 300 000 Rubel Verluste durch den überhöhten Preis beim Kauf des Eisens von der Reichsassignatenbank im Jahr 1800 und der niedrige Verkaufspreis in England. Schließlich verhinderte die Kontinentalsperre seit 1808 seine Kreditlinie nach England [Amburger, 1982, S. 127].

Dabei konnte sich das Ergebnis sehen lassen: Die Werke befanden sich nach einem Bescheid der Kreditgeber, von denen Knauf insgesamt um die 100 hatte, in einem verbesserten Zustand [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 6, л. 62] (Il. 1, 2). Das bewiesen die bis zum Jahr 1808 korrekt geleisteten Zahlungen an die Staatskasse. Die vier Zlatouster Werke kosteten jetzt, nach wenigen Jahren, das Dreifache des anfänglichen Kaufpreises, – um

die 6 000 000 Rubel. Dazu kam noch, dass Knauf die Kupferhütte bezahlt, sie jedoch dem Staat abgetreten hatte. Damit gingen ihm 410 Facharbeiter verloren, die in zwölf Jahren Kupfer für rund 500.000 Rubel produziert hatten [Ibid., л. 66].

Einen „unfähigen“ Knauf hätte man nicht bis 1818 in den Werken behalten lassen und schon gar nicht ihn gebeten, als Experte für die Zeitschrift des Bergkollegiums im Jahr 1830 einen analytischen Artikel über die Entwicklung der Metallindustrie im Ural zu schreiben [1830]. Es wäre sogar anzunehmen, dass die Regierung mit Knauf inoffiziell eine Absprache traf, nach der er keine Ansprüche mehr zu erheben hatte, dafür jedoch seine Ruhe und vielleicht sogar eine staatliche Rente bekam, um ein seinem Status entsprechendes Leben in der Hauptstadt zu führen.

Die Regierung war sogar bereit, die ausstehenden Pachtsummen in Höhe von 450 000 Rubeln zu stunden, so hoch im Ansehen standen die Werke. Nach dem Wiener Kongress 1815 verfestigte sich auf Jahrzehnte die außenpolitische Position Russlands als unangefochtene Großmacht in Europa, bis der Krimkrieg die politischen Verhältnisse nachhaltig veränderte. Ab 1815 gab es nichts mehr zu befürchten. Es begann das Kräftemessen mit dem Osmanischen Reich. Die innere Stimmung änderte sich grundsätzlich: Jetzt versuchte die Regierung wieder, ausländische Kapitalgeber für Investitionen in die russische Industrie zu gewinnen. 1818 übernahmen zwei Hauptkreditgeber Knaufs, der ehemalige Hofbankier Alexander Rall und der englische Kaufmann Doughty, ehemaliger Partner von Knauf bei der Verwaltung des Preobrazhensker Werkes in den Jahren 1796–1800, Andrej Knaufs Schulden.

Das 1818 eingeleitete Konkursverfahren war für Knauf im gleichen Jahr zu Ende. In den darauffolgenden zehn Jahren verzichtete Knauf auf jeglichen Einspruch, die Klage verjährte. Einen Teil der Kosten trugen er bzw. seine Hauptgläubiger Rall und Doughty, die die Werke bis 1828 verwalteten. Offensichtlich kehrte der letztere nach Russland zurück. 1828 gingen die Werke wieder in Staatsverwaltung über. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditgebern blieben jedoch weiter bestehen [Микитюк, с. 73]. Im Jahr 1818 wurden drei gepachtete Werke an G. A. Stroganov zurückgegeben, wobei sich der Eigentümer über ihren Zustand beschwerte [Ibid., с. 72; Неклюдов, 2004, с. 87]. Im gleichen Jahr wurde Knauf die Verwaltung der Werke, die er von I. P. Osokin gekauft hatte, entzogen.

Es nimmt nicht Wunder, endete doch Knaufs wirtschaftliche Aktivität im Ural faktisch im Jahr 1811, als ihm seine Betriebe in Zlatoust weggenommen wurden und er sich von diesem Rückschlag nie wieder erholte. Von da an zog sich Knauf zurück, tätigte die nötigsten Geschäfte und verkehrte mit seinen Kreditgebern und Gläubigern nur gezwungenermaßen von Petersburg aus.

Bei der Neuaufstellung der Kosten der Betriebe 1828 wurde erneut die Frage der Rechtmäßigkeit der Enteignung im Bergrat des Finanzministeriums diskutiert. Knauf dürfe nicht als „schuldig“ angesehen werden, so ein Mitglied des Rates, der Direktor des Departements der Reichskasse I. I. Rosenberg. Dagegen der Finanzminister E. F. Kankrin: „Die Frage über

die Wegnahme Zlatouster Werke von Knauf ist endgültig abgeschlossen, weil man diese Werke ihm in jedem Fall wegnehmen sollte“ [Неклюдов, 2004, с. 89]. Die Regierung sah Geschäfte mit einem Privatunternehmen offensichtlich nicht vom Vorteil.

Wie stand es nun um die Rentabilität der Knauf'schen Werke? Dies war nicht nur eine Frage der korrekten Leitung, sondern des Wirtschaftens und des Zustandes der Metallindustrie unter den gegebenen Umständen. Im Jahr 1831 beschwerte sich der Hauptleiter der Bergwerke im Ural über ähnliche Schwierigkeiten und über die Verweigerung von Vergünstigungen. Von Mai 1829 bis Mai 1830 verzeichneten die Zlatouster Werke bei den Ausgaben von 201 223 Rubeln und Einnahmen von 247 513 Rubeln einen Gewinn von 37 266 Rubeln. Da aber die Preise für Lebensmittel mit 40 Kopeken pro Pud angestiegen waren, gab es Mehrausgaben in Höhe von 55 200 Rubeln, so dass das Budget schließlich ein Minus von 17 933 Rubeln aufwies [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 514, л. 5–6, 14, 35 об.]. Das Departement für Bergbau und Salinen zog ein klares Fazit: „Zur Verbesserung der Lage der Arbeiter gibt es weder rechtliche, noch materielle, noch jedwede wichtige Gründe.“ Und ein anderer Bericht formulierte es noch deutlicher: „Die Regierung sieht keine Mittel, diese Lage zu verbessern, und kann auf keinen Fall irgendwelche Verfügungen bezüglich dieser Frage machen“ [Ibid., л. 14, 37]. Das hieß im Klartext: Es soll irgendwie weitergehen, aber wie wusste man nicht.

Die Schulden wuchsen nach dem gleichen Schema, wie bei Knauf: Die Ausgaben überstiegen die Einnahmen, neue Kredite wurden aufgenommen, die Zinsen wuchsen. Der Schuldenberg erhöhte sich von 1 477 160 Rubel auf 2 489 543 Rubel. Unter staatlicher Verwaltung verschuldeten sich also die Werke weiter [РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 514, л. 35]. Diese Schere hätte Knauf womöglich überwinden können, wenn die Finanzierung aus dem Westen nicht ausgeblieben wäre bzw. ihm seine Steuerschulden gestundet wären. Der damalige Verwalter der Werke Vecheslov bat sogar um mehr Erleichterungen als Knauf zu seiner Zeit: nämlich um Befreiung von allen Staatsabgaben und Prozentzahlungen. Außerdem erbat Vecheslov ein Darlehen von 100.000 Rubeln [Там же, л. 43], das er 1834 vom Finanzministerium sogar in Höhe von 200 000 Rubeln bekam, schrieb aber angesichts höherer Preise rote Zahlen: ihm fehlten 295 000 Rubel [РГИА, ф. 37, оп. 67, д. 154, л. 13].

Gerechterweise muss jedoch gesagt werden, dass es mit den Werken nicht immer bergab ging. Mit der Verpflichtung von N. S. Men'shenin als Werksleiter im gleichen Jahr, schrieben die Werke endlich schwarze Zahlen: Bei ihrer Übergabe hatten sie noch kein Kapital und verursachten einen jährlichen Verlust von 35 700 Rubeln. In fünf Jahren erreichte Men'shenin, dass die Werke jährlich einen Gewinn von 86 000 Rubel abwarfen und nach fünf Jahren einen Reingewinn von 400 000 Rubel einbrachten. Die sogenannten Knauf'schen Werke übergab er wiederum seinem Nachfolger mit einem Kapital in Aktiva von 245 900 Rubeln und mit einem Vorrat an Proviand für zwei Jahre [Неклюдов, 2004, с. 94].

Bis zum Jahr 1851 konnten unter der Leitung des Ingenieurs B. I. König weitere Erfolge erzielt werden. Zum ersten Mal seit 1810 konnten die Produktionszahlen von Kupfer mit 16.170 Pud erneut wie zu Zeiten von An-

drei Knauf erreicht werden. Die Herstellung von Schmiedeeisen erreichte im gleichen Jahr 138 000 Pud. In den Jahren 1841 bis 1851 bewegte sich der Gewinn zwischen 40 000 und 94 700 Rubeln [Неклюдов, 2004, с. 94]. Im Jahr 1852 witterten die Kreditgeber ihre Chance. Sie baten das Ministerialkomitee um Erlaubnis, eine Aktiengesellschaft gründen zu dürfen. Sie existierte bis 1864, ohne dabei Nennenswertes zu leisten [Ibid.]. Weder Rall und Doughty (1818–1828), noch die Aktiengesellschaft (1853–1864) konnten die Werke ohne staatliche Unterstützung führen. Ein Vierteljahrhundert brauchte der Staat, um Knaufs Staatsschulden zu begleichen, wobei der letztere seinerzeit es vorschlug, sie ratenweise in nur fünf Jahren zurück zu zahlen. Es blieben jedoch noch vierzehn Millionen Rubel an Privatschulden, die der Staat nicht bereit war zu übernehmen [Там же, с. 100; vgl. Неклюдов, 2013, с. 379–393].

Nach der Bauernbefreiung im Jahr 1861 und einer stürmischen Entwicklung des russischen Kapitalismus seit 1870er Jahren schlug die wirtschaftliche Entwicklung ganz neue Wege ein, die Possessionsfabriken hörten auf zu existieren. Die Geschichte vom Besitzer der Berg- und Hüttenwerke Andrej Knauf fand ihr Ende erst im Jahre 1883, als die russische Regierung die Knaufsche Aktiengesellschaft zum Verkauf stellte.³

Nachdem Knauf Moskau 1811 verlassen hatte, kehrte er vermutlich nicht mehr dorthin zurück, zumindest nicht als Kaufmann [ЦИАМ, ф. 105, оп. 7, д. 6647].⁴

Bereits während der 6. Volkszählung im Jahr 1811 wurde er zum Kaufmann der 3. Gilde gezählt. Seit 1812 meldete er sein Kapital nicht mehr bei der kaufmännischen Gilde an und ließ sich auch während der 7. Revision 1816 nicht mehr registrieren. Dies sind indirekte Hinweise darauf, dass Knauf keinen Wert mehr darauf legte, in Moskau präsent zu sein. Im Jahr 1818 verlor Andrej Knauf fast alle seine Besitztümer mit Ausnahme seines Hauses in Perm, das 1821 für 5000 Rubel ebenfalls verkauft wurde [РГАДА, ф. 1286, оп. 2, д. 129, л. 3 об.]. Noch im Jahr 1819 hatte sein Haus in Perm den neuen Generalgouverneur Sibiriens Mihail Speranskij beherbergt [РГИА, ф. 1286, оп. 2, д. 129]. Im gleichen Jahr 1821 wurde auch das Moskauer Haus von Knauf verkauft, um seine privaten und staatlichen Schulden zu begleichen [ЦИАМ, ф. 50, оп. 14, д. 480, л. 164–165].

Aus den nachfolgenden Jahren ist fast nichts über Andrej Knauf bekannt. Erik Amburger spricht von insgesamt acht Fachabhandlungen Knaufs im Berg-Journal [Amburger, 1979, S. 161–162]. Zwei davon konnten in der Ausgabe des Jahres 1830 ausfindig gemacht werden: „Die Übersicht zu Eisenhütten und Metallwerken im Ural im Jahr 1827“ und „Die Nachricht über die Schmelzung der Eisenerze mit Holz auf dem Sumbul'ski-Werk von Fock“ [Кнауф, 1830a, 1830b]. Knauf galt als Experte und wurde vom Bergkomitee beauftragt, diese Aufsätze über das Hüttenwesen zu verfassen.

³ S. ausführlich zur Geschichte der Werke in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei E. G. Neklyudov [Неклюдов, 2013, с. 379–393].

⁴ 1815 wurde aus dem Polizeirevier des Wohnviertels von Knauf berichtet, „dass der Kaufmann Knauf von Moskau nach St. Petersburg ging und, dass es unbekannt sei, wann er zurück käme“.

Darüber hinaus beschäftigte er sich 1827 mit technischen und metallurgischen Versuchen in der Alexander-Gießerei von Petersburg [Amburger, 1979, S. 161f]. Die Adressenkalender aus den Jahren 1812, 1827 und 1833 geben indirekt Hinweise zu den Tätigkeiten, denen Knauf später nachging. Er wird darin als Ehrenmitglied der Moskauer Universität und der Kaiserlichen Gesellschaft der Naturwissenschaftler erwähnt [АКСИ, 1812, с. 339; АКСИ, 1827, с. 515; АКСИ, 1833, с. 475].

Formell scheiterte das Wagnis von Andrej Knauf im Ural, was ihn sogar womöglich zu Suizidgedanken führte [Amburger, 1979, S. 161f]. In Wirklichkeit aber war er der Impulsgeber für die Entwicklung und Modernisierung der Berg- und metallverarbeitenden Industrie im Ural. Im Wesentlichen waren es Deutsche, die zur Entwicklung des Hüttenwesens und des Bergbaus in der Uralregion beitrugen. Etwa 25 % der Angestellten des Bergkollegiums in den Jahren 1818–1819 waren Deutsche [ср. Дашкевич, Микитюк, с. 26].

Schaut man auf die Anfänge von Andrej Knauf, auf die Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, so staunt man über die Leistungen eines Schuhmachersohnes, der ohne Geld, sozialen Status und ohne Beziehungen nach Petersburg kam, um hier eine große Karriere zu machen. Als erster deutscher Investor übernahm er die maroden Metall- und Bergwerke des Kaufmanns Luginin im Ural, rüstete diese Betriebe nach dem modernsten Stand der Technik auf, kaufte und baute neue Maschinen, holte bedeutende Fachleute wie Eversmann oder Major und viele andere und sorgte dafür, dass die Produktionspalette erweitert und die Qualität sowie die Effektivität der Werke angehoben wurden. Auch die Aufgabe, die er sich am Anfang seiner Tätigkeit stellte, nämlich die wirtschaftliche Lage der ihm anvertrauten Arbeiter und Bauern samt ihrer Familien zu verbessern, spricht für die soziale Verantwortung des Unternehmers. Am 30. Dezember 1801 gab er in einem Brief an seinen Vater kund: „Bis dahin will ich es mir recht sauer werden lassen, jedoch nicht aus dem Auge lassen, daß ich meinen Leibeigenen, die ungefähr 17 000 Menschen beiderlei Geschlechts ausmachen, das Schicksal so leicht wie möglich mache“ [Amburger, 1982, S. 124] (II, 3, 4).

Ausgehend von Knaufs Handlungsmuster und seinen Intentionen, kann man sagen, dass er ein Unternehmer war, der all seine Kraft und sein Talent in sein Lebenswerk investiert hat. Offensichtlich gelang es ihm nicht, eine Familie zu gründen. Infolge seines wirtschaftlichen „Misserfolgs“ brach er alle Verbindungen nach Deutschland ab und galt von nun an bei der Verwandtschaft als in Russland verschollen [Amburger, 1982, S. 128].

Es war Knaufs Verdienst, dass die russische Regierung sofort nach der Übergabe der Werke an die Krone 1811 mit dem Aufbau einer Waffenfabrik für Stich- und Hieb Waffen beginnen konnte. Die Betriebe in Zlatoust dienten als Grundlage für die Schaffung eines Werks, das einzigartig für Russland war – die berühmte Fabrik für kalte Waffen von Zlatoust. Ehemals bei Knauf angestellt, trat Eversmann in den Staatsdienst ein und schuf im Auftrag der Regierung diese Waffenfabrik, für die er 1813 und 1814 Waffenschmiede in Wuppertal anwarb, die zusätzlich zu den Knaufsch

hinzukamen. In den Jahren 1814–1818 siedelten sie mit ihren Familien aus Solingen, Klingental und anderen Orten in den Ural über. Insgesamt waren es 115 Waffenmeister, die Eversmann zusätzlich holte, so dass in Zlatoust im Jahr 1818 bereits 450 Deutsche lebten. Unter ihnen waren auch der berühmte Waffenschmied W. N. Schaf und seine Söhne Ludwig, Johann und Friedrich aus Solingen. Sie bildeten russische Meister aus und schufen Zlatouster Gravüren auf Stahl, die heute als Kleinod der russischen Graveurkunst gelten [Amburger, 1982, S. 129; Дашкевич, Микитюк, с. 26]. Aufgrund eines Erlasses des Zaren aus dem Jahr 1817, der verfügte, dass die genannten hochwertigen Waffen ausschließlich in Zlatoust hergestellt werden durften, erhielt das Werk eine Monopolstellung – eine Folge von Knaufschens Entwicklungsimpulsen und Bemühungen. Ein anderer Mitarbeiter von Knauf, der bisherige Betriebsleiter Major, übernahm die Leitung einer Fabrik für Bergbaumaschinen [Amburger, 1982, S. 128].

Andreas Knauf – ein Visionär, der wusste, wie man nachhaltig wirtschaftet, um eine Region zu entwickeln, und der die enge Verbindung von wirtschaftlichem und sozialem Handeln erkannte. Von Beruf ein Kaufmann, brachte er es zum Experten im Hüttenwesen und in der Metallverarbeitung. Ein Geschäftsmann von einem ungewöhnlichen, weil zukunftsorientierten Format, der enge internationale Verbindungen nach Deutschland, England und den Niederlanden pflegte. Er beschaffte Kredite bei der russischen Regierung, im Ausland und bei privaten Gläubigern in Russland und baute in wenigen Jahren ein Unternehmen auf, das einen bedeutenden Beitrag zum Sieg über Napoleon leistete und wegweisend für die Modernisierung der Metallindustrie im Ural war.

АКСИ, 1812 – Адрес-Календарь Санкт-Петербурга за 1812 год. [Adres-Kalendar' Sankt-Peterburga za 1812 god.]

АКСИ, 1827 – Адрес-Календарь Санкт-Петербурга за 1827 год. [Adres-Kalendar' Sankt-Peterburga za 1827 god.]

АКСИ, 1833 – Адрес-Календарь Санкт-Петербурга за 1833 год. [Adres-Kalendar' Sankt-Peterburga za 1833 god.]

ГАСО. Ф. 24. [GASO. F. 24.]

Дашкевич Л. А., Микитюк В. П. Увеличение численности немецкого населения и его роли в экономике и культуре Урала // Немцы на Урале XVII–XXI вв. / ред. В. М. Кириллов, Л. А. Дашкевич, В. П. Корепанов и др. Нижний Тагил : НТГСПА, 2009. С. 26–51. [Dashkevich L. A., Mikityuk V. P. Uvelichenie chislennosti nemetskogo naselenija i ego roli v ekonomike i kul'ture Urala Урала // Nemtsy na Urale v 17–21 vekakh / ed. V. M. Kirillov, L. A. Dashkevich, V. P. Korepanov and others. Nishni Tagil : NTGSPA, 2009. S. 26–51.]

Кнауф А. Известие о продолжении плавки железных руд дровами в Сумбульском заводе Фока // Горный журнал. СПб., 1830а. С. 241–249. [Knauf A. Izvestie o prodolzhenii plavki zheleznykh rud drovami v Sumbul'skom zavode Foka / Gornyj zhurnal. Sankt-Peterburg, 1830. S. 241–249.]

Кнауф А. Обозрение чугунно-плавильного действия и железного производства хребта Уральского в 1827 году // Горный журнал. СПб., 1830б. С. 220–236. [Knauf A. Obozrenie chugunno-plavil'nogo dejstvija i zhelezного proizvodstva khrehta Ural'skogo v 1827 g. // Gornyj zhurnal. Sankt-Peterburg, 1830. S. 220–236.]

Козлов А. Герр Петер, он же Кнауф-Доути, он же Андрей Андреевич Кнауф [Электронный ресурс] // Златоустовский рабочий. URL: <http://zlatoust.bezformata.ru/>

listnews/knauf-douti-on-zhe-andrej-andreevich/439716/ (дата обращения: 15.03.2011). [Kozlov A. Gerr Peter, on zhe Knauf-Douti, on zhe Andrej Andreevich Rnauf [Electronic resource] // Zlatoustovskij rabochij. URL: <http://zlatoust.bezformata.ru/listnews/knauf-douti-on-zhe-andrej-andreevich/439716/> (data obrashtchenija: 15.03.2011).]

Микитюк В. П. Российско-немецкие предприниматели и их участие в экономической жизни // Немцы на Урале XVII–XXI вв. / В. М. Кириллов, Л. А. Дашкевич, В. П. Корепанов и др. Нижний Тагил : НТГСПА, 2009. С. 71–86. [Mikityuk V. P. Rossijsko-nemetskie predeprinimateli i ikh uchastie v ekonomicheskoj zhisni // Nemtsy na Urale v 17–21 vekakh / ed. V. M. Kirillov, L. A. Dashkevich, V. P. Korepanov and others. Nishni Tagil : NTGSPA, 2009. S. 71–86.]

Неклюдов Е. Г. Купец А. А. Кнауф и его кредиторы: первый опыт иностранного предпринимательства в горно-заводской промышленности Урала // Изв. Урал. гос. ун-та. № 31. 2004. Вып. 7. С. 83–101. [Neklyudov E. G. Kupets A. A. Knauf i ego kreditory : pervyj opyt inostrannogo predprinimatel'stva v gorno-zavodskoj promyshlennosti Urala // Izvestija Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Nr. 31. 2004. Ausgabe 7. S. 83–101.]

Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики во второй половине XIX – начале XX века: владельцы и владения. Екатеринбург, 2013. [Neklyudov E. G. Ural'skie zavodchiki vo vtoroj polovine 19 – nachale 20 veka: vladel'tsy i vladeniya. Ekaterinburg, 2013.]

Окунцов Ю. П. Златоустовская оружейная фабрика. М. : Вече, 2011. [Okuntsov V. P. Zlatoustovskaja oruzhejnaja fabrika. M. : Veche, 2011.]

Окунцов Ю. П. Златоустовская оружейная фабрика. 2-е изд. Златоуст, 2014 (на правах рукописи).

ПСЗ-1 – Полное собрание законов Российской империи. Т. 29. № 22498, графа 1055ff., 1121ff.; Особое приложение к IX тому Свода Законов, 1876. X–XII. [Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. T. 29. Nr. 22498. Spalte 1055ff., 1121ff.; Osoboe prilozhenie k 9 tomu svoda zakonov. 1876. X–XII.]

РГАДА. Ф. 271. [RGADA, F. 271]

РГИА. Ф. 37. Оп. 67. Д. 154. [RGIA, F. 37. Op. 67. D. 154.]

РГИА. Ф. 560. Оп. 3. Д. 6 (1812) : Кнауф. О новых условиях отдачи в частные руки Златоустовских заводов, бывших в содержании у Кнауфа. [RGIA, F. 560. Op. 3. D. 6 : Knauf. O novykh usloviyakh otdachi v chastnye ruki Zlatoustovskikh zavodov, byvshix v sodержanii u Knaufa.]

РГИА. Ф. 560. Оп. 3. Д. 514 (1831–1832): Об улучшении положения мастеровых заводов Кнауфа. [RGIA, F. 560. Op. 3. D. 514 : Ob uluchshenii polozheniya masterovykh zavodov Knaufa.]

РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 129 (1817) : Кнауф, купец. Об уплате ему за размещение в его доме в г. Перми военно-сиротского отделения по покупке у него этого дома. [RGIA, F. 1286. Op. 2. D. 129 : Knauf, kupets. Ob uplate emu za razmeshchenie v ego dome v g. Permi voenno-sirotskogo otdeleniya po pokupke u nego etogo doma.]

РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1781; Оп. 3. Д. 2500. [RGIA, F. 1374. Op. 2. D. 1781; Op. 3. D. 2500.]

ЦИАМ. Ф. 50. Оп. 14. Д. 480 : Купчая. [TsiAM, F. 2. Op. 2. D. 70 : Kupchaja.]

ЦИАМ. Ф. 105. [TsiAM, F. 105]

Amburger E. „Knauff, Andreas“ [Электронный ресурс] // Neue Deutsche Biographie. 12. 1979. S. 161–162. URL: <http://www.deutsche-biographie.de/pnd136084036.html> (дата обращения: 15.03.2011).

Amburger E. Andreas Knauff und die Knauff'schen Hüttenwerke im Ural // Sammelband: Fremde und Einheimische im Wirtschafts- und Kulturleben des Neuzeitlichen Russlands. Ausgewählte Aufsätze / Hrsg. v. K. Zernack. Wiesbaden, 1982. (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 17). S. 122–130.

The article was submitted on 17.10.2013

Андрей Викторович Келлер, PhD.
Россия, Екатеринбург
Уральский федеральный
университет
a.v.keller@urfu.ru

Andreas Keller, PhD.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
a.v.keller@urfu.ru



Hereditas:
nomina et
scholae

основания отвергнуть, как не соответствующие истине, мнения некоторых русских ученых о первоначальной подлинности Петра иезуитским образом или утверждения немецких ученых (Шобина, Ингенмана, фон-Штейна), что первый русский Военный Устав 1716 года был составлен на немецком языке пруссаком, а потом уже переведен на русский язык.

Наша эпоха, имея так много созвучных мотивов в правотворчестве Петра I, призвана восстановить беспристрастно, объективно, не по отзывам и впечатлениям иезуитов, а на основе документальных исторических источников, образ одного из великих деятелей прошлого, так много и самоотверженно потрудившегося на благо России, над созданием ее военной мощи и подписанием ее государственности и культуры.

Этой задаче и посвящен настоящий наш труд.

1941 год, февраль.
Ленинград.

Н. А. Воскресенский



Hereditas:
nomina et
scholae

**DRAMATIC DESTINY OF NIKOLAY VOSKRESENSKIY,
A RUSSIAN LAW HISTORIAN**

*Somewhere at the last stop
We'll thank this very destiny, too...*
Bulat Okudzhava

The article addresses the life and tortuous scientific career of the undeservedly forgotten historian and archaeographer N. A. Voskresenskiy, who worked during the extremely difficult interwar period. Nikolay Voskresenskiy, a teacher by training, became an ardent admirer of Peter the Great's state-building and legislative activity. Conducting research on an unprecedented scale, he discovered, analyzed and prepared for print archive documents on the history of the legislative process in Russia during the first quarter of the 18th century. In spite of his enthusiastic research and life-long devotion to science, N. A. Voskresenskiy was for a long time deliberately shunned by the scientific community, and had to work in isolation. Only late in his life was N. A. Voskresenskiy accepted by his fellow law historians. Boris Syromiatnikov, who helped ensure that the “Legislative Acts of Peter I” was eventually published, played a particularly decisive role in the fate of Nikolay Voskresenskiy. Our article, based on archival data, clarifies the circumstances in which Nikolay Voskresenskiy defended his ‘Candidate of Science’ dissertation, and his preparation of his doctoral dissertation entitled “Peter the Great as a Legislator.” Several facts which shed light on the negative role played by Alexander Andreev in the destiny of Voskresenskiy are also uncovered. Voskresenskiy was subjected to persistent and groundless allegations of incompetency throughout the 1920s, 1930s and 1940s, as a result of which most of his research remained unpublished.

Keywords: archaeography; Peter I; Alexander Andreev; Boris Syromiatnikov; legislative process; law history; 18th century.

Представлен систематический обзор биографии, а также ученых изысканий и публикаторской деятельности Н. А. Воскресенского – незаслуженно забытого российского историка и археографа второй четверти XX в. Проникшись пиететным отношением к государственной деятельности Петра I, педагог по образованию Николай Воскресенский предпринял уникальные по масштабу усилия по выявлению, анализу

и подготовке к печати архивных документов по истории законодательного процесса России первой четверти XVIII в. Несмотря на подвижнические исследовательские труды, Н. А. Воскресенский длительное время целенаправленно отторгался академическим сообществом историков, был вынужден работать в творческой изоляции. Лишь на позднем этапе жизненного пути Николай Алексеевич оказался интегрирован в среду правоведов. Наиболее позитивную роль в судьбе историка сыграл Борис Сыромятников, благодаря поддержке которого были опубликованы знаменитые Законодательные акты Петра I. На основании архивных данных освещены обстоятельства защиты Николаем Воскресенским кандидатской диссертации и подготовки докторской диссертации. Приведены факты негативной роли Александра Андреева и необоснованности обвинений Воскресенского на протяжении 1920–1940-х гг. в непрофессионализме, в результате чего большая часть научного наследия Н. А. Воскресенского осталась неизданной.

Ключевые слова: археография; Петр I; Александр Андреев; Борис Сыромятников; законодательный процесс; XVIII век.

The name of the law historian Nikolay Alekseevich Voskresenskiy (1889–1948) is not widely known. A passionate scientist, Nikolay Alekseevich remained unacknowledged professionally. Over the past seventy years only a small number of historians have commented favourably on the work of Nikolay Voskresenskiy [Панкратова, 1942, с. 30–31; Валк, 1944, с. 95; Новицкая, с. 54–55; Анисимов, с. 7–8⁵; Козлова, с. 33–34], and only two researchers have written short articles about him [Федосеева; Киселев]⁶.

This oblivion of Voskresenskiy as a researcher and sources publisher is by no means justified. His personality and life deserve respect – yet, even the events of his life have not been clarified enough.

According to Voskresenskiy's autobiography dated October 1, 1943, and a CV, completed on July 1, 1944 [Диссертационное дело, л. 88–89 об., 91–91об.], he was born March 30, 1889 in the village of Melehovo of Tula District and Tula province in a priest's family. In 1907, he graduated from Tula Seminary and the same year he joined the History Department of Nezhin Institute of History and Philology founded by Prince Bezborodko. It remains a mystery why the 18-year-old Nikolay Voskresenskiy did not choose nearby Moscow to pursue higher education, but opted instead for a remote provincial Nezhin in Chernigov district.

Nezhin Institute of History and Philology, founded in 1820, was a small institution with a four-year cycle of education, which prepared secondary school teachers in the fields of History, Russian Philology, and Classical Philology. After graduating in 1911 and defending his diploma on “Modern Trends in Russian Historiography,” Nikolay Voskresenskiy was appointed

⁵ This monograph by Anisimov is devoted to the memory of N. A. Voskresenskiy.

⁶ Despite of considering materials in several archives, M. A. Kiselev has contributed relatively small to the article of E. P. Fedoseeva, published 34 years earlier.

teacher of Russian language, history and geography in Vitanovskiy Gymnasium in the town of Lodz. [Диссертационное дело, л. 91; Отчет, с. 8].

In Lodz, Voskresenskiy encountered the First World War. After the occupation of the city by German troops, he was evacuated to Petrograd, where he continued to work as a teacher. In 1916, he joined the Law Faculty of the Imperial University of Petrograd, attending lectures as an external student, planning subsequently to study for a Master's in the history of Russian Law.

These plans were not destined to materialize, however. According to the Decree of the People's Commission for Education of the Russian Federation N 859 of 12 February 1918, "due to the fact that the curriculum is completely out of date" and "the curriculum design is not based on <...> scientific methodology", all Law departments of Russian universities were closed [цит. по: Берлявский, с. 18]. This effectively put an end to Voskresenskiy's law education.

The only detail known of Voskresenskiy's private life is that he was married to Zinaida Andreevna, a teacher [Весь Петроград, с. 111]. The couple had no children [Диссертационное дело, л. 89 об.].

In the period between the Russian Civil War and the Second World War, Voskresenskiy's biography can be traced relatively easily. He taught in several middle schools in Petrograd/Leningrad, and then in the first half of the 1930s in military schools. (In 1930–1933 he taught in the United School for Betterment of Industrial Military Security Commanding Staff in Strelna, and in 1934, the Leningrad School for Tank Technicians.)

Voskresenskiy never held any administrative or public posts, and neither did he join the Bolshevik party [Диссертационное дело, л. 88]. In spite of being born into a priest's family, he managed to survive the Leningrad 'purges' of the first half of the 1930s and was not touched by the 'Great Terror' of 1937–1938.

In 1932, while working in the United School in Strelna, Nikolay Voskresenskiy compiled a voluminous (311 pages) "Картотека по пожарному законодательству, промышленности и коммунальному СССР и РСФСР" ("File on the Firefighting Law in the Industrial and Communal Spheres of the USSR and the RSFSR") [see Картотека]. This publication became his first printed work.

Teaching, however, was just one side of N. A. Voskresenskiy's life. The second side, obviously more important for him, was his research into the legislative activity of Tsar and Emperor Peter the Great. Choosing such a topic was not a successful career move in the political context of Soviet Russia of the 1920s–1930s.

When and why Nikolay Voskresenskiy decided to begin researching the legislative activity of the first Russian emperor, is unclear. Neither do we know who stimulated his interest in the Russian history of the first quarter of the 18th century. As for the motives behind Voskresenskiy's interest in studying the history of the legislative process in Russia in the 18th century, we know one or two things.

Nikolay Voskresenskiy was an admirer of Peter I's personality and his state-building activities. Naturally, being himself a citizen of the Soviet State (and a seemingly sensible one), Voskresenskiy could not praise the Emperor in the style of Feofan Prokopovich, a poet who lived during Peter's reign: "Peter is our glory which the Russian people will not cease to praise till the end of the world" [Прокопович, с. 133]. Yet, this statement might also sum up Nikolay Alekseevich's own attitude towards Peter I. This attitude is reflected in his scientific works, despite the obvious self-censorship that characterizes them.

In 1941, N. A. Voskresenskiy praised the first emperor as "one of the great historic figures of the past, who worked tirelessly towards the benefit of Russia" [ОП РНБ, ф. 1003, кн. 17, л. 12]. In 1943, Voskresenskiy commented: "Peter's name is currently being besmirched by the forces of obscurantism, ignorance, parasitism, hypocrisy, self-conceit and disrespect for the law, – all vices once defeated by him, but now followed by many in our society..." [ОП РНБ, ф. 1003, кн. 15, л. 6 об.]. Voskresenskiy also called Peter I "the greatest legislator in world history" and "a truly gifted mastermind and inspired creator of legislative acts" [Там же, кн. 15, л. 10 об.; кн. 14, л. 13].

It seems possible that this great respect towards the first Russian emperor played a crucial role in the researcher's turn towards the history of the legislative process in Russia of the first quarter of the 18th century. Thanks to his deep emotional attachment to Peter I, N. A. Voskresenskiy succeeded in his long-term painstaking archival studies, in spite of all the difficulties and obstacles.

The archival research of Nikolay Voskresenskiy started in 1923 in the Senate Archive (Leningrad), as mentioned by the scientist himself in his autobiography of 1943. In 1926, he also began working in the Moscow archives [Диссертационное дело, л. 91].

At the center of Voskresenskiy's attention were the documents connected to Peter the Great's legislative work. He was specifically interested in the original documents containing the legislative acts, authored and written by Peter himself. Voskresenskiy made it his priority to locate these documents, scattered within dozens of archival funds. To this end, Voskresenskiy searched through hundreds of archival cases in six major archives of Moscow and Leningrad, and in the process, he managed to decipher the notoriously illegible handwriting of Peter I.

Documents authored by Peter I were not the only thing of interest to Voskresenskiy during his archival research. He discovered a much wider range of materials – mainly, a massive amount of documents reflecting various stages of the legislative process in Russia in 1700–1725, ranging from legislative initiatives to published finalized normative acts. Drafts of certain laws passed during Peter's reign were of particular interest to him.

Nikolay Voskresenskiy was not merely discovering and meticulously studying the documents, however; his aim was to publish them. He developed a specific method for publishing the normative acts of the first quarter of the 18th century and their drafts, and gave a speech on this topic at the

meeting of Archaeographic Commission of the Academy of Sciences on 29 December 1925 [Летопись, с. 61–62].

Towards the end of the 1920s, N. A. Voskresenskiy prepared for print two volumes of the normative documents, entitled “Законодательные акты Петра Великого” (“The Normative Acts of Peter the Great”). Voskresenskiy conducted his research in his own free time, while simultaneously teaching, and the volume of his archival research and the number of the manuscripts, prepared for print, seems therefore truly astonishing. A true enthusiast, he carried out an amount of work.

Voskresenskiy encountered serious obstacles while researching early 18th century legal history. In the 1920s–1930s he was not affiliated to any research institution, working in the archives as a private person. For years, Voskresenskiy also lacked any support from the Academy, both the pre-revolutionary specialists, and the newly established ‘red professors.’

Subsequently, Nikolay Voskresenskiy wrote with great bitterness: “From 1929 to 1939, the hardest thing of all was [my] scientific solitude as an author... and the total indifference [of the scientific community] to my work” [ОР РНБ, ф. 1003, кн. 14, л. 14]. At any rate, before 1929, his situation was no better. Alongside the above mentioned speech to the Archaeographic Commission in 1925, Voskresenskiy made another public appearance in front of the same Commission on the 8th of February 1927 with a paper entitled “К постановке вопроса о характере и степени заимствований иностранных законодательств в эпоху Петра I” (“On the Nature and Extent of Borrowing from Foreign Legislation in the Epoch of Peter I”) [Федосеева, с. 228]. Unfortunately, the Commission presided by the famous historian and academician Sergey Platonov, gave no support to the researcher. Voskresenskiy was not invited to work in any of the numerous scientific organizations headed by Platonov, and neither were any plans made to publish his work.

Nevertheless, even a brief positive review by the famous academician who mentioned an unknown ‘enthusiastic’ researcher in 1927, was considered an extraordinary event by Nikolay Voskresenskiy [ОР РНБ, ф. 1003, кн. 14, л. 14–15]. One depressing paradox of the Soviet era was that this quite limited interest in his research, expressed by the Archaeographic Commission in mid-1920s, apparently saved Voskresenskiy from prosecution by the state. Had Nikolay Alekseevich entered the influential circles of S. F. Platonov, he may well have been destroyed as part of the OGPU-inspired “Academic Case” of the 1929–1931.

The prolonged refusal to acknowledge Voskresenskiy’s work was certainly connected to the general situation in the scientific community of Soviet historians in the second half of the 1920s and the first half of the 1930s. Mikhail Pokrovskiy and his followers, with their primitive sociology-bound approach, were considered the leading historic school at the time. Their approach had a devastating effect on high school teaching – a particularly bitter fact for Nikolay Voskresenskiy who was an undoubtedly talented pedagogue.

This is why Voskresenskiy, abidingly indifferent to political and ideological trends, never citing neither obligatory Marxist-Leninist classics, nor Stalin himself (!) in his works, decided to quote a hefty officious 2-volume publication “Против исторической концепции М. Н. Покровского” (“Against The Historical Conception of M. N. Pokrovskiy”), 1939, in the Preface to his monograph, prepared for print in 1945 [ОР РНБ, ф. 1003, кн. 14, л. 14]. One can easily see that he had in mind Anna Pankratova’s article, “On the development of the historical views of M. N. Pokrovskiy.” The page, contained in the footnote, probably attracted Voskresenskiy’s attention with Pankratova’s words that “history in schools was replaced by a schematic form of sociology with elements of political literacy,” that “[school] programs on history <...> disoriented the students,” that “studying specific, factual history was replaced by study according to the formations and problems” [Панкратова, 1939, с. 6]⁷.

Yet all of this came later. During the 1920s and 1930s the only assistant and true acolyte of Nikolay Voskresenskiy was his wife, Zinaida Andreevna. Her admiringly clear ‘teacher’s’ handwriting appears on thousands (!) of pages, prepared by her husband for print (18th century documents and his research.) Zinaida Voskresenskaya offered genuine spiritual support to Nikolay Alekseevich.

Despite all his difficulties, Voskresenskiy continued his work, and at the beginning of the 1940s prepared three extensive volumes of “The Legislative Acts of Peter the Great” for print. The first volume contained, as formulated by Nikolay Voskresenskiy, “acts on the highest state decisions,” the second volume (in two parts) – acts “on society classes,” and the third (in two parts) – acts “on industry and trade.” There was also a fourth (unfinished) volume that contained acts on “the constitution of the army and navy” [Диссертационное дело, л. 74].

In the beginning of 1941, Voskresenskiy also compiled two impressive volumes of photocopies of the legislative acts and their drafts that were signed by Peter I. Attached were the transcriptions and the special tables of the appearances of every letter, hand-written by the Tsar reformer. The volumes were entitled “Peter the Great as Legislator” [ОР РНБ, ф. 1003, кн. 17 (Вып. 1); кн. 19 (Вып. 2)]. Voskresenskiy himself paid for these expensive photocopies from his modest teacher’s salary [Там же, кн. 14, л. 14]. Being essentially paleographic albums, these volumes served as massive illustrative material to “The Legislative Acts of Peter the Great.”

At the beginning of the 1940s, N.A. Voskresenskiy’s destiny took an unexpected turn for the better. It was not entirely connected to the process of the denunciation of ‘M. N. Pokrovskiy’s school,’ which resulted in a partial return to academic traditions in the historical sciences. A more important

⁷ Who knows what emotions did Nikolay Alekseevich experience, reading on the same page the vindictive discourse of the ex-conspirator from Odessa and the graduate of the Institute of Red Professors Anna Pankratova on “pest ‘work’ of the enemies of the people in the field of historic science,” on “rascals from the spy-pest gang of pseudo-historians?” Was he horrified? Was he satisfied? Was he not impressed at all by the lines with the rhetoric so ordinary for his time?

event for Voskresenskiy personally was his meeting with Boris Syromiatnikov. It is possible that their acquaintance happened in 1939, in the walls of the State Feudal and Serfdom Epoch Archive (now РГАДА, The Russian State Archives for Ancient Acts, Moscow.)

The son of a district doctor and a native-born Muscovite, Boris Syromiatnikov was 15 years Voskresenskiy's senior. Upon graduating from the Law Department of the Imperial Moscow University in 1899, Boris Ivanovich was invited to the Cathedra of Russian Legal History for entry into the professorship. He interned in the universities of Paris, Dijon, and Berlin. Upon returning to Russia, he taught and was engaged in public and social work; he published widely in the liberal media.⁸

A dedicated ideologist of the Constituent Assembly, Boris Syromiatnikov initially did not accept the October Revolution of the 1917. He chose not to emigrate, but for a long time could not adapt to Soviet reality. He worked in various educational institutions in Moscow, Ivanovo-Voznesensk and Kazan; for a few years, he was director of the library of the Central Research Institute for Textile. Finally, in 1938 he managed to obtain a position as junior research assistant in the USSR Academy of Sciences Institute of Law (now The Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences.) By his education and experience, B. I. Syromiatnikov was a superbly trained law historian, capable of judging the scientific significance of N. A. Voskresenskiy's work on the history of the legislative process in Russia of the first quarter of the 18th century.

Boris Syromiatnikov could fully appreciate the scale and the quality of Voskresenskiy's research. Syromiatnikov was the first person to provide organizational support to the historian. Thanks to his efforts, in 1940 the Institute of Law approved the first two of the three volumes of the "Legislative Acts of Peter the Great" – "Acts on the Highest State Decisions" and the "Acts on Society Classes" [Диссертационное дело, л. 93]. Syromiatnikov became the executive editor of the edition and prepared an ample introduction for it [Сыромятников, 1945]. Additionally, Boris Ivanovich published a lengthy positive review of the as yet unpublished manuscript of the first volume in the November 1940 issue of the journal "Soviet State and Law" [Сыромятников, 1940].

Thus, in 1940 destiny brought Nikolay Voskresenskiy into close proximity with the Institute of Law of the USSR Academy of Sciences.⁹ From 1937 to 1941, the director's chair was occupied by Andrey Vyshinskiy. The dangerous Chief Prosecutor of the USSR during the Great Terror, personally accountable for countless crimes, Vyshinskiy was an ambiguous person. He was an educated lawyer and an outstanding

⁸ The most detailed, although not exactly systematic, biographical data on B. I. Syromiatnikov, see [Дурновцев, Тихонов, с. 7–9, 28–37].

⁹ The Institute of Law that got its new name in March 1938, was founded in 1925 as the Institute of Soviet Building at the Communist Academy.

court speaker,¹⁰ as well as a serious scientist, and author of original works on criminal law. Acting as a head of the Institute of Law, Vyshinsky tried to turn it as much as possible into an authoritative academic institution at that time.

The recruiting policy of the director was to attract capable law researchers of the Soviet generation, who showed inclination to intellectual work, along with scientists of the older generation, familiar with pre-revolutionary scientific traditions (if, and only if, their loyalty was beyond doubt.) Moreover, in Vyshinskiy's time, the Institute commenced extensive research in legal history. In 1938 the Cabinet for the History of State and Law was created; in 1940–1941 the Group for the History of State and Law followed, and shortly after came the Sector with the same name [Советская историко-правовая наука, с. 66].

It is highly improbable that A.Ya.Vyshinskiy, who combined, starting in May 1939, his directorship with the post of the Deputy Chairman of the Council of People's Commissars, was personally capable to go into the details of every research and publishing project conducted by members of the Institute. Therefore, it is highly likely that the question of the approval of Nikolay Voskresenskiy's work for print was not specifically discussed with the Director. Whatever the truth of the matter, the inclusion of the "Acts of the 1st quarter of the 18th century" in the Institute's publishing plans became possible due to the changes in the Institute initiated by Vyshinskiy.

The publication of the first volume of the "Legislative Acts of Peter the Great" was commissioned to the First Typography of the USSR Academy of Sciences Publishing House in Leningrad. The edition was prepared in 1941 [Диссертационное дело, л. 91 об.]. Further printing, however, was put on hold. The WWII came to the USSR, and the Blockade of Leningrad had begun.

N. A. Voskresenskiy and his wife did not evacuate and continued to work. They endured all the hardships of living in a city under siege. Unbelievably, during the Blockade, Voskresenskiy and Zinaida Andreevna prepared for print almost 1,760 additional pages of the documents from the first quarter of the 18th century. Some of the documents, copied by hand, contain Zinaida Voskresenskaya's marginalia in graphite pencil: "Copied during the artillery fire... 17/VII 43," "Strong artillery fire 3/IX," "Written under artillery fire 14/IX 43." [цит. по: Федосеева, с. 228].

Nikolay Voskresenskiy also continued teaching economic geography in high school. For his teaching work during the Blockade, Nikolay Alekseevich was awarded a military medal "For the Defense of Leningrad" on February 15, 1944 [Диссертационное дело, л. 70].

Voskresenskiy's work finally received the approval of established historians. An official collection of historic works "25 Years of the Historical Sciences in the USSR," 1942, contained a few lines praising Voskresenskiy.

¹⁰ The details of Vyshinskiy's pre-war biography, and especially his prosecutor activities, see, mainly [Звягинцев, Орлов, с. 7–92].

Corresponding member of the USSR Academy of Sciences, Anna Pankratova, wrote: “N. A. Voskresenskiy undertook incredibly vigorous archival research, and discovered several papers from the Petrine era, including papers signed by the tsar himself, previously not seen by anyone.” It would seem, however, that Anna Pankratova did not personally see the publication, which is why she exaggerated the number of volumes of the “Legislative Acts of Peter the Great” prepared for print, mentioning an “eight-volume (!) edition of the documents on Peter’s state-building activity” [Панкратова, 1942, с. 30].¹¹

This review, albeit long-awaited, did not bring any changes to Nikolay Voskresenskiy’s life under the Blockade. The next year, however, brought some improvements. The reason was not that the Blockade was broken in January 1943, and from 23 February 1943, food rations in Leningrad increased. Neither was it the fact that on 1 June 1943 Voskresenskiy was included in the Commission for publication of the “Letters and papers of Peter the Great” in the USSR Academy of Sciences Institute of History [Диссертационное дело, л. 88 об.; Новые публикации документов].

The decisive factor was that during the third year of war in the USSR, the 54-year-old Nikolay Voskresenskiy finally became, with the help of Boris Syromiatnikov, a full-time member of a scientific institution.

The question of N. A. Voskresenskiy’s employment in the USSR Academy of Sciences Institute of Law was possibly discussed back in 1940–1941. It is probable that in 1941 Boris Syromiatnikov could have reached an agreement on Voskresenskiy’s candidacy with the leadership of the Institute. This protection was obviously renewed in the summer of 1943, immediately upon Syromiatnikov’s return from evacuation in Tashkent. Based on his recommendation, on 1 September 1943 Nikolay Voskresenskiy was hired as a Senior Research Assistant for a permanent position in the Institute of Law, with the right to live in Leningrad [Диссертационное дело, л. 88 об.; Федосеева, с. 222].

N. A. Voskresenskiy’s employment raised the question of his defending a dissertation. According to the Report by Serafim Pokrovskiy, staff member of the History of State and Law section from 3 October 1943, the initial plan was Voskresenskiy’s Doctorate defense [Диссертационное дело, л. 87–87 об.]. It becomes clear from that Report that the three volumes

¹¹ A. M. Pankratova’s compliments to N. A. Voskresenskiy’s work (including the phrase about the eight volumes) were subsequently copied almost word-by-word by S.N. Valk in his article from 1944. [Валк, 1944, с. 95.] This allows us to assume that Valk either told Anna Pankratova about the works of Voskresenskiy, or was himself the author of a related fragment from her article. This assumption appears yet more plausible, considering that Sigismund Valk not only took part in the preparation of the “25 Years of the Historical Science in the USSR” edition, but also was, during its compilation, in evacuation in Central Asia, along with Anna Pankratova. Valk, who had been working from 1918 to 1941 in various scientific, archival and educational institutions in Petrograd/Leningrad, was undoubtedly acquainted with the research of Nikolay Voskresenskiy. From where could Valk have obtained information about the “eight-volume edition of the documents of Peter the Great”? Was this mistake a mere echo of Voskresenskiy’s pre-war publishing plans that he had shared with Valk? Is it possible that Voskresenskiy ultimately planned to publish an eight-volume edition?

of “The Legislative Acts of Peter the Great” (by that time renamed as “The Legislative Acts of Peter I”) were planned to be submitted as a dissertation for the degree of Doctor of Law.

In his report, Pokrovskiy spoke out in support of Nikolay Voskresenskiy and suggested to grant him not just a Doctor of Law degree, but also to assign Voskresenskiy the rank of Professor “for his course on ‘History of the State and Law in the USSR’” [Там же, л. 87 об.]. However, soon the situation had changed.

The Institute leadership, having reasonably considered that the publication of three volumes of documents could not qualify as a bona fide dissertation, proposed Voskresenskiy defend a ‘Candidate of Science’ dissertation. Since N. A. Voskresenskiy had not prepared a finalized dissertation text at that time, he was allowed to present the first volume of the “Legislative Acts,” already prepared for print in 1941.

Boris Syromiatnikov and Alexander Andreev, the Senior Research Assistant at the USSR Academy of Sciences Institute of History, were invited as the opponents for the defense.

By 1944, Alexander Andreev had experienced a considerable amount of hardships himself.¹² Voskresenskiy’s senior by two years, a native of St. Petersburg, Alexander Ignatievich came from a poor family. Andreev joined the History and Philology Department of The Imperial St. Petersburg University in 1907, but, being constantly short of funds, graduated from the course formally only in 1916.

His financial difficulties by no means affected the quality of his education. He trained under the supervision of A. S. Lappo-Danilevskiy and A. E. Presniakov, and in 1913 took part in the multivolume edition of the «Грамота Коллегии экономии» (“Economy Collegium Charter”). From 1921, A. I. Andreev began acting as Permanent Academic Secretary to the Archaeographic Commission of the Academy of Sciences. The young scientist has been publishing extensively, and gained scientific acknowledgment rather early, entering the circles of Sergey Platonov.

His career came to a halt on 24 October 1929 when Andreev was arrested, following the investigation on the “Academic case.” On 8 August 1931, he was sentenced to five years’ exile in Siberian Eniseisk of Krasnoyarsk Region [Брачев, с. 116]. He returned from exile in April 1935. In spite of all his difficulties, including problems relating to registering his address, and finding himself in a vulnerable position as a recently repressed person, Alexander Ignatievich resumed active scientific life. He worked in the Institute of the Peoples of the North, the Institute of Ethnography, and in the Leningrad branch of the Institute of History. In 1940 he successfully defended his doctoral dissertation entitled “Essays on the Study of Siberian Historical Sources of the 17th and the 18th centuries.”

Andreev also lived for a while in Leningrad under the Siege. In 1942, he was evacuated from the city and lived first in Kazan and then in Tash-

¹² On A. I. Andreev see [Сербина].

kent. While still in Tashkent, he was invited to join the Institute of History in Moscow. Being an experienced sources researcher and archaeographer himself, A. I. Andreev was well placed to appreciate the work of Nikolay Voskresenskiy.

The dissertation defense of Senior Research Assistant N. A. Voskresenskiy was scheduled at 18.00 on 21 July 1944 in the Institute of Law. At the scheduled time, Voskresenskiy stood facing the members of the Scientific Council of the USSR Academy of Sciences Institute of Law (separate Dissertation councils did not exist at that time.) What were the people to decide on Voskresenskiy's scientific destiny?

According to the Dissertation case materials, 13 out of 18 members of the Scientific Council of the Institute were present at the defense [Диссертационное дело, л. 73]. Acknowledging the wide variety of these people's destinies, we can roughly divide them into two groups. On the one side, there were the scientists of the senior generation, educated in Russian Imperial universities, whose scientific views had been formed in the milieu of pre-revolutionary academic traditions. On the other hand, there were younger law researchers trained in the Soviet system. Of the former group (all born between 1873–1890), M. M. Agarkov, V. N. Durdenevskiy, S. F. Kechekyan, N. N. Polianskiy, S. M. Potapov and B. I. Syromiatnikov were present at the defense; from the latter group (born between 1900–1905), there were N. D. Durmanov, M. P. Kareva, I. D. Levin, B. S. Mankovskiy and S. A. Pokrovskiy.

Although, strictly speaking, of all the 'senior generation' members of the Academic Council in 1944, only B. Syromiatnikov and S. Kechekyan were specialists in the History of State and Law, this did not change anything for Voskresenskiy. Despite the differences in their research specializations, all the 'senior' members of the Council had received both fundamental legal and generalist humanitarian training, thanks to their studies in pre-revolutionary Gymnasiums and Universities. Thus, the individuals present at the Council meeting on July 21, 1944, were able to fully appreciate the scientific level of Voskresenskiy's work.

The situation concerning the junior members of the Council was more complicated. They had received their education in the 1920s, in the difficult context of the deliberate destruction of pre-revolutionary academic traditions in the humanities; they had difficulty differentiating between science and propaganda, true research and populism. Moreover, many of them were distinctively more successful in writing propaganda texts than research.

An example of this are publications by Serafim Pokrovskiy (born 1905)¹³ – two brochures which appeared in 1927, entitled "Questions of the Chinese Revolution" and "Trotskyism Then and Now." Subsequently he prepared an immense (353 p.) work entitled "A Theory of the Proletarian Revolution" that was printed in 1930–1931 in Leningrad and ran to three editions with a total circulation of 40,000 (!) copies. Publications of that sort

¹³ On S. A. Pokrovskiy's biography (mainly pre-WWII period) see [Киселева].

had not saved Pokrovskiy from state prosecution. In January 1934, when he was acting head of the Cathedra of Leninism in Leningrad Institute of Textile, Serafim Pokrovskiy was arrested and charged with organizing an underground anti-communist circle. On March 3 1934, a Special Commission of the USSR Joint State Political Directorate (OGPU) sentenced him to three years' exile in Ufa and expulsion from the Communist Party.

One's career had almost no chance of a new start after events of such scale and character. Serafim Pokrovskiy, however, succeeded in this respect. In 1941, he found himself a member of the Law Institute's full-time staff. Without being officially rehabilitated, he also managed to regain his Communist Party membership. At that time, this was only possible with the help of a powerful person or institution. In this case, the institution in question was the OGPU.

Serafim Pokrovskiy paid back in full those who did him the favor of giving him a job and restoring him to the party ranks – not merely by being an OGPU informer. At the beginning of the 1950s, he played a fatal role in the destiny of Valentin Livshits, an Institute of Law graduate student.

Professor Pokrovskiy managed to gain the confidence of his younger colleague and to provoke him into making some harsh statements about Stalin. However, in his zeal to expose the next 'enemy of the people' (this time in line with the struggle against 'cosmopolitanism,') Serafim Pokrovskiy went for direct falsification of evidence. Regularly visiting the apartment of Valentin Livshits, he typed an anti-Soviet letter on Livshits' typewriter on behalf of the graduate student¹⁴.

As a result, Livshits was arrested on October 3, 1952. The investigation was very brief. On December 27, 1952 Valentin Yakovlevich, charged with counter-revolutionary and terrorist activity by the Court-Martial of Moscow Military District, was sentenced to death by firing squad. On February 6, 1953 the sentence was carried out [Расстрельные списки, с. 273]¹⁵.

However, all of this came later. In 1943–1944 Serafim Pokrovskiy, then a fellow in the Section of State and Law, was invariably acting in favor of N. A. Voskresenskiy.

It seems unlikely that Serafim Pokrovskiy was harboring any provocative plans towards Voskresenskiy. Nikolay Voskresenskiy was at that time utterly unknown and very apolitical. It is more likely that S. A. Pokrovskiy was either complying with a request by Boris Syromiatnikov, or looking forward to further collaboration with Nikolay Alekseevich on an indefinite research project studying the History of State and Law in Russia of the 18th century, using Voskresenskiy's unique materials.

Unlike the senior generation, not all junior colleagues of the Academic Council were able to evaluate adequately the scientific significance of

¹⁴ The details of this utterly gruesome story can be found in [Каминская, с. 54–58]. The activity of Serafim Pokrovskiy was revealed to the author of this article by one of the senior fellows of the Academy of Sciences Institute of State and Law, E. A. Skripilev (now deceased.)

¹⁵ V. Ya. Livshits was rehabilitated posthumously by the Military Collegium of the Supreme Court of the USSR on October 15, 1959 [Там же].

Voskresenskiy's work. On the other hand, they were accustomed to Soviet 'production discipline', and if the leadership of the Institute approved the defense of Senior Researcher Nikolay Voskresenskiy, there was no reason for 'throwing black balls'.

A dissertation defense in 1944 was conducted very much as it is today. There were the opening remarks by the Chairman of the Council, the reading out of personal information on candidate, the presentation of the dissertation, the speeches of the official opponents, the free debate, the candidate's answers on the comments made, and then the secret vote and the announcing of its results. According to the verbatim record, Nikolay spoke briefly, outlining twelve 'theses' in his work [Диссертационное дело, л. 75–76], and then came the moment for Syromiatnikov and Andreev to speak.

The most critical review of the dissertation was given by A. I. Andreev¹⁶. His remarks can be divided into four groups. A. I. Andreev criticized Nikolay Voskresenskiy, firstly, for not using materials from the 'Menshikov Archive', and secondly, for never referring to earlier publications of the Acts identified in the research, and for ignoring the works of previous authors.

The third mistake, according to Andreev, was that the author of the dissertation had observed erroneous rules for the publication of historical documents. Finally, the opponent identified mistakes in the rendering of the texts of certain documents texts in the First volume of the "Legislative Acts." Despite of copious critique, A. I. Andreev spoke in favor of awarding the Degree of the Candidate of Law to Voskresenskiy.

The members of the Scientific Council of the Institute of Law voted unanimously in favor (21 votes) [Там же, л. 71]. Thus, by a weird twist of fate, Nikolay Voskresenskiy who has been rejected by the historians for a long time, was much more willingly accepted into the Legal Sciences community.

The life of Nikolay Alekseevich had finally been normalized. He had acquired the long-awaited status of a scientist; his work had begun to receive recognition, even if limited. He had new plans for his scientific research. In the Information Paper of the Institute of Law, published in September 1944, the Section of State and Law reported the forthcoming completion of a Doctoral dissertation "Peter I as a Legislator" by the Senior Research Assistant N. A. Voskresenskiy [Покровский, с. 109].

In the victorious year of 1945, the epic story of the editing of the first volume of "Legislative Acts of Peter I" came to an end. Three thousand copies of this work were finally published. Nikolay Alekseevich now had to take the second volume to print, as well as to complete his doctoral dissertation.

¹⁶ See "Отзыв о трудах Н. А. Воскресенского, представленных в Институт права Академии наук СССР для получения ученой степени кандидата юридических наук" from 14 April 1944. This review was not included into the Verbatim Record, but only attached to it [Диссертационное дело, л. 82–86]. At the defense, A. I. Andreev came forward with extended additions to this Review, and those were reflected in the Verbatim Record [Там же, л. 8–15].

Evidently, Voskresenskiy continued working on the final version of his doctoral dissertation throughout 1945; he was not distracted by teaching at school any more. The result of more than twenty years of scientific research by Nikolay Voskresenskiy were 719 pages entitled “Петр Великий как законодатель: исследование законодательного процесса в России в эпоху реформ первой четверти XVIII века” (“Peter the Great as a Legislator: A Study of the Legislative Process in Russia in the Epoch of the Reforms in the First Quarter of the 18th Century”). The final draft was hand-copied by Voskresenskiy’s faithful assistant Zinaida Andreevna [ОР РНБ, ф. 1003, кн. 14].

It was a competent research text in twelve chapters, equally suitable both for being presented as a doctoral dissertation, and for publication in the form of a monograph. There is no doubt that the manuscript of “Peter the Great as a Legislator” was meant for publication.

Nevertheless, neither this publication, nor publication of the Second and the Third volumes of “Legislative Acts of Peter I” took place. N.A. Voskresenskiy expressed concern about the publication of the Second volume as early as 12 August 1946, in his letter to B.I. Syromiatnikov: “I continuously request your benevolent support <...> without it “Le[gal] Acts of Peter I” <...> will not gain further advancement” [цит. по: Киселев, с. 260]. His concern proved well-founded. A lengthy negative review of the First volume of “The Legislative Acts of Peter I” written by A. I. Andreev appeared in the journal “Voprosy istorii” in 1946 (N 2–3).

This review differed little from the opponent’s comments during Voskresenskiy’s defense in 1944. However, its tone was noticeably harsher. No longer restrained by the ethical conventions governing doctoral dissertation opponents, Alexander Ignatievich completely refuted the scientific relevance of the 602-page work.

How can one explain Andreev’s persistent and severe criticism of the “Legislative Acts of Peter I” and, generally, of all Voskresenskiy’s published work? Of course, Voskresenskiy’s edition had a number of flaws: the absence of information about the previous publications of the Acts; errors in the reproduction of the texts of the Acts; and a rather complicated methodology for the publication of interim drafts of the normative acts.

Considering all of the above and given the enormous amount of work carried out by Voskresenskiy, such ‘flaws’ were either inevitable minor errors, or alternative archaeographic methods that were quite acceptable under the research conditions of the Soviet Russia of the 1920s and 1930s. Moreover, does the absence of reference to the previous edition generally devalue the publication of a given Act if it was accurately reproduced according to the archival manuscript? And it is unlikely that the methodology for the publication of interim drafts of the normative acts invented by Voskresenskiy would have posed problems for anybody other than first-year students.

As for the ‘Menshikov archive’ (St. Petersburg Branch of the Russian Academy of Sciences, Institute of History Archive f. 83; РГАДА, f. 198), it does indeed contain a lot of interesting documents on the history of Peter the Great. Even so, only isolated legislative documents of little importance

to Peter's legislative activity can be found there. Thus, from an archaeological point of view, N. A. Voskresenskiy's work could certainly not be considered improper.

S. N. Valk who was as an authoritative source researcher as Alexander Andreev, did not find anything archaeographically wrong with Voskresenskiy's publications. On the contrary, in his book of 1948 Valk described Voskresenskiy's edition as 'rather remarkable' [Валк, 1948, с. 171].

It would appear that Andreev's harsh and contentious critique of Voskresenskiy had deep private implications – namely, total resentment of Voskresenskiy as an archaeographer. Rather obviously, this resentment had begun to emerge before 1944.

By the time Alexander Andreev and Nikolay Voskresenskiy became acquainted in the early 1920s¹⁷, the former was already a fairly recognized researcher with a splendid scientific schooling, while the latter was an unknown recent graduate of a provincial pedagogical institution who did not have the slightest idea about archaeography but was passionate about studying the legislative activity of Peter I. If Voskresenskiy, initially so unprepared for any publishing activity, had then become Andreev's student – or, for that matter, any 'archaeographically enlightened' Petrograd scholar – this would have been normal.

Yet, the Nezhinsk History and Philology Institute graduate had not just omitted archaeological studentship; he had even dared suggesting his own rules for the publication of historical documents! He had also defended those rules and prepared his own editions in accordance with them, having been blatantly overlooked by the ageing Sergey Platonov.

It is evident that in such circumstances, Alexander Andreev, who himself was an ardent student of the prominent archaeographer A. S. Lappo-Danilevskiy, considered Voskresenskiy a presumptuous dilettante and neophyte who persisted in his archaeological ignorance. In his eyes, Voskresenskiy was an obnoxious and untrustworthy 'stranger' in the guild of archaeographers who were the ardent keepers of academic traditions. Alexander Ignatievich persisted in this belief throughout the subsequent decades – even through his mistreatment at the hands of the OGPU, his exile in Krasnoyarsk and the Blockade.

Andreev made an interesting reference to the 'isolated character' of Voskresenskiy's work. In his review of Voskresenskiy's dissertation, Andreev gently complained that Nikolay Alekseevich worked 'outside of the continuous and invariably fruitful communication within the team of historians from our academic institutions' [Диссертационное дело, л. 82 об.]. In his review, Andreev also directly accused N. A. Voskresenskiy in putting himself 'in an isolated position with respect to our long-standing archaeological institutions and traditions' [Андреев, с. 142].

¹⁷ In his response during his dissertation defense in 1944, N. A. Voskresenskiy had mentioned that he had been communicating with A. I. Andreev for "more than 20 years." Alexander Ignatievich, in his turn, recalled a few details from Voskresenskiy's address at the meeting of the Archaeographic Commission in 1925 [Диссертационное дело, л. 10, 43].

Yet, was it not the other way around? Perhaps it might be more accurate to say that it was not Voskresenskiy who had put himself in ‘an isolated position,’ but rather that he was put in this position by the high-brow archaeographers from the ‘long-standing archaeographic institutions’? Perhaps, Voskresenskiy’s burdening ‘scientific solitude’ was not of his own making.

Could it have been Andreev all along who during all these years (except during his arrest and exile) has been intentionally blocking Voskresenskiy’s attempts at publishing the “Legislative Acts of Peter I”? Subsequently, while Andreev was arrested and in prison, and then during his Krasnoyarsk exile, this blocking activity may have been continued by the followers of M. N. Pokrovskiy who, albeit for very different reasons, have ‘restricted Voskresenskiy’s oxygen supply’ during the first half of the 1930s. In the Introduction to “Peter the Great as a Legislator,” Nikolay Voskresenskiy quoted one derogatory remark, which he had heard addressed to himself before the war in one of the corridors of the renowned ‘academic institutions’: “Your opinions have not been examined and found eligible by science” [ОР РНБ, ф. 1003, кн. 14, л. 14]. This remark sounds perfectly in line with Alexander Andreev’s criticisms expressed to Voskresenskiy in 1944 and in 1946.

Was there a real chance for Voskresenskiy to reach agreement with Andreev, to work out a compromise concerning the methodology for publishing historical documents? We think there was. Yet for this chance to materialize, a dialogue between these two great academicians was necessary; Andreev had to find the logic behind the archaeographic method of Voskresenskiy, which were neither absurd nor anti-scientific but differed from the publication canons of the 1900s and 1910s.

Andreev, nonetheless, chose to behave in a dogmatic fashion and refused to consider an alternative viewpoint. Blinded by his rejection of the archaeographic method of Voskresenskiy, Andreev, himself a typical scientific enthusiast and a profound expert on the Petrine epoch, could not even begin to appreciate the scientific significance of Voskresenskiy’s work. Moreover, Alexander Andreev very nearly destroyed the results of Voskresenskiy’s titanic research.

If not for Boris Syromiatnikov and his position in the powerful Institute of Law, it would have been impossible for the First volume of the “Legislative Acts of Peter I” to see the light. It is highly unlikely that A. I. Andreev could have tolerated the publication of such a ‘heretical’ book. The whole body of Voskresenskiy’s work could have been totally submerged in historiographic oblivion.

All the same, having failed to prevent the publication of the First volume of “The Legislative Acts of Peter I,” Alexander Ignatievich, apparently acted out his ‘revenge’ on the Second volume. It is no accident that after the war this volume remained – in manuscript form – in the Library of the Institute of History (where it is stored even today) [ОРФ Института российской истории РАН, ф. «А», оп. 1, кн. 90].

Alexander Andreev did not miss the opportunity to deal Voskresenskiy yet another blow. Andreev acted as executive editor of the “Peter the Great”

collection, prepared by the Institute of History and published in 1947. For the first time since 1917, the life and activities of a Russian monarch had found their way into a separate collection of articles – moreover, an academically significant collection, without the usual propaganda or denunciation. Quite remarkably, in the 433-page collection, there were only six references to Stalin's works (all of them in the article by B. B. Kafengauz [Кафенгауз, с. 337, 349, 351, 365]) – highly anomalous for those years.

Editing a collection with such an ideologically ambiguous topic, Andreev had to demonstrate not only considerable effort but also remarkable resilience, especially because he still had the conviction connected to the famous “Academic Case” hanging over his head. Andreev published three of his articles in the collection [Петр Великий, с. 63–103, 284–333, 424–432], but he could find no place for a single article by Voskresenskiy, even though by that time Voskresenskiy had already prepared his monograph “Peter the Great as a Legislator,” many fragments of which could have been printed as independent articles. In Voskresenskiy's list of works from 1 October 1943, one can find such titles as “Research on the Legislative Acts of Peter [the Great],” “Foreigners in the Staff of Peter I: Heinrich Fick, An. Chr. Luberus, Cornelius Cruys and Vilim Henning” – those pieces were cited as being ready for publication [Диссертационное дело, л. 93–93 об.].

It is not entirely clear why Nikolay Voskresenskiy was not allowed to contribute to the collection, whether this has always been Andreev's intention, or whether instead, Andreev had proposed but then rejected Voskresenskiy's article. Naturally, considering that the collection was entirely devoted to Peter I who was practically worshipped by Voskresenskiy, the impossibility of publishing even a small article on his icon came as a bitter blow for Nikolay Voskresenskiy.

1947 brought a further setback for Voskresenskiy. On January 12, 1947, Boris Syromiatnikov died, aged 73 [Сыромятников, 1947, с. 87]. Nikolay Voskresenskiy was left without anyone to provide him with the moral and organizational help he so desperately needed.

Those were the last blows of destiny that Voskresenskiy had to endure. In 1947, he was still trying to work, and had finished preparing the third, revised edition of the Third volume of the “Legislative Acts of Peter I” [Федосеева, с. 226]. Alas, he had very little strength left. On January 28, 1948, Nikolay Voskresenskiy died. He was not yet 59.

His ever-faithful spouse, Zinaida Andreevna, saved his manuscripts from otherwise inevitable loss. In 1954, she managed to pass the entire scientific archive of her deceased husband to the Manuscript Department of the State Public Library of Saltykov-Shchedrin (now Российская национальная библиотека (Russian National Library) [Там же, с. 223]. Nothing better could have been done in order to preserve Nikolay Voskresenskiy's memory. It was only due to Zinaida Voskresenskaya's efforts that the main body of the unpublished work of N. A. Voskresenskiy has survived.

What should we say in conclusion? Nikolay Voskresenskiy had a difficult and painfully dramatic life. He was passionate about scientific research, and

in a very complex historical context he became a sincere admirer of the state-building activities of Peter I, completing an incredible amount of archival research. He was neither rewarded with the recognition he so deserved, nor did he see most of the results of his research in print. Unfairly rejected and fatally misunderstood by members of the academic historical community, N.A. Voskresenskiy nevertheless managed to realize a document-publishing project on the history of the legislative process in Russia in the first quarter of the 18th century that was larger in scope than anything published in the previous 180 years. There is an old Latin saying: *Litera scripta manet* («The written word remains»). We would indeed like to hope that all the works once written by Nikolay Voskresenskiy will one day find their readers.

Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб. : Дмитрий Буланин, 1997. 331 с. [Anisimov E. V. Gosudarstvennyye preobrazovaniya i samodержavie Petra Velikogo v pervoy chetverti XVIII veka. SPb. : Dmitriy Bulanin, 1997. 331 s.]

Берлявский Л. Г. Кризисный период развития отечественного образования (1917–1920 гг.) // Юридическое образование и наука. 2010. № 4. С. 17–20. [Berlyavskij L. G. Krizisnyj period razvitiya otechestvennogo obrazovaniya (1917–1920 gg.) // Yuridicheskoe obrazovanie i nauka. 2010. N 4. S. 17–20.]

Брачев В. С. «Дело историков» (1929–1931 гг.). 2-е изд., доп. СПб. : Нестор, 1998. 113 с. [Brachev V. S. «Delo istorikov» (1929–1931 gg.). 2-e izd., dop. SPb. : Nestor, 1998. 113 s.]

В Институте права Академии наук СССР // Вечерняя Москва. 1944. 11 июля. [V Institute prava Akademii nauk SSSR // Vechernyaya Moskva. 1944. 11 iyulya.]

Валк С. Н. Советская археография. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 289 с. [Valk S. N. Sovetskaya arkhеografiya. M. ; L. : Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1948. 289 s.]

Валк С. Н. Советские издания документов по истории СССР до XIX века // Ист. журн. 1944. № 4. С. 89–96. [Valk S. N. Sovetskie izdaniya dokumentov po istorii SSSR do XIX veka // Ist. zhurn. 1944. N 4. S. 89–96.]

Весь Петроград. Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1923 год. Петроград : Отд. упр. Петрогубисполкома, 1923. 1231 с. [Ves' Petrograd. Adresnaya i spravochnaya kniga g. Petrograda na 1923 god. Petrograd : Otd. upr. Petrogubispolkoma, 1923. 1231 s.]

Диссертационное дело Н. А. Воскресенского 1944 г. Архив Института государства и права РАН. [Dissertatsionnoe delo N. A. Voskresenskogo 1944 g. Arkhiv Instituta gosudarstva i prava RAN.]

Дурновцев В. И., Тихонов В. В. Жизнь и труды историка Б. И. Сыромятникова. М. : Канон РООИ «Реабилитация», 2012. 480 с. [Durnovtsev V. I., Tikhonov V. V. Zhizn' i trudy istorika B. I. Syromyatnikova. M. : Kanon ROOI «Reabilitatsiya», 2012. 480 s.]

Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Приговоренные временем. Российские и советские прокуроры. XX век. 1937–1953 гг. М. : РОССПЭН, 2001. 536 с. [Zvyagintsev A. G., Orlov Yu. G. Prigovorennyye vremenem. Rossijskie i sovetskie prokurory. XX vek. 1937–1953 gg. M. : ROSSPEN, 2001. 536 s.]

Каминская Д. И. Записки адвоката. М. : Новое изд-во, 2009. 412 с. [Kaminskaya D. I. Zapiski advokata. M. : Novoe izd-vo, 2009. 412 s.]

Картотека по пожарному законодательству, промышленному и коммунальному СССР и РСФСР / сост. Н. А. Воскресенский. Л., 1932. [Kartoteka po pozharному zakonodatel'stvu, promyshlennomu i kommunal'nomu SSSR i RSFSR / sost. N. A. Voskresenskij, L., 1932.]

Кафенгауз Б. Б. Эпоха Петра Великого в освещении советской исторической науки // Петр Великий : сб. ст. / под ред. А. И. Андреева. М. ; Л., 1947. С. 334–390. [Kafengauz B. B. Epokha Petra Velikogo v osveschenii sovetskoj istoricheskoy nauki // Petr Velikij : sb. st. / pod red. A. I. Andreeva. M. ; L., 1947. S. 334–390.]

Киселев М. А. Н. А. Воскресенский: историк вне корпорации // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII–XXI вв. : сб. ст. /

под ред. Н. Н. Алеврас, Н. В. Гришиной, Ю. В. Красновой. Челябинск : Энциклопедия, 2011. [Kiselev M. A. N. A. Voskresenskiy: istorik vne korporatsii // Istoriya i istoriki v prostranstve natsional'noj i mirovoj kul'tury XVIII–XXI vv. : sb. st. / pod red. N. N. Alevras, N. V. Grishinoj, Yu. V. Krasnoj. Chelyabinsk : Entsiklopediya, 2011.]

Киселева Г. Б. Покровский Серафим Александрович [Электронный ресурс] // Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры. Биографический словарь. URL: www.nrl.ru/nlr_history/persons/ (дата обращения: 12.01.2014). [Kiseleva G. B. Pokrovskij Serafim Aleksandrovich [Elektronnyi resurs] // Sotrudniki RNB – deyateli nauki i kul'tury. Biograficheskij slovar'. URL: www.nrl.ru/nlr_history/persons/ (data obrascheniya: 12.01.2014).]

Козлова Н. В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII веке (20-е – начало 60-х годов). М. : Археографический центр, 1999. 382 с. [Kozlova N. V. Rossijskij absolyutizm i kupechestvo v XVIII veke (20-e – nachalo 60-kh godov). M. : Arkheograficheskij tsentr, 1999. 382 s.]

Летопись занятий Археографической комиссии за 1923–1925 годы. Л., 1926. Вып. 33. [Letopis' zanyatij Arkheograficheskoi komissii za 1923–1925 gody. L., 1926. Vyp. 33.]

Новицкая Т. Е. Табель о рангах. Введение // Российское законодательство X–XX вв. / под ред. А. Г. Манькова. М. : Юрид. лит., 1986. Т. 4. [Novitskaya T. E. Tabel' o rangakh. Vvedenie // Rossijskoe zakonodatel'stvo XH–KHKH vv. / pod red. A. G. Man'kova. M. : Yurid. lit., 1986. T. 4.]

Новые публикации документов о Петре I // Известия. 1943. 3 июня. [Novye publikatsii dokumentov o Petre I // Izvestiya. 1943. 3 iyunya.]

Отчет о состоянии Историко-филологического института князя Безбородко за 1910–11 академический год. Нежин, 1912. [Otchet o sostoyanii Istoriko-filogicheskogo instituta knyazya Bezborodko za 1910–11 akademicheskij god. Nezhin, 1912.]

Панкратова А. М. Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского : сб. ст. М. ; Л., 1939. Т. 1. [Pankratova A. M. Razvitiye istoricheskikh vzglyadov M. N. Pokrovskogo // Protiv istoricheskoi kontseptsii M. N. Pokrovskogo : sb. st. M. ; L., 1939. T. 1.]

Панкратова А. М. Советская историческая наука за 25 лет и задачи историков в условиях Великой Отечественной войны // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1942. [Pankratova A. M. Sovetskaya istoricheskaya nauka za 25 let i zadachi istorikov v usloviyakh Velikoi Otechestvennoj vojny // Dvadsat' ryat' let istoricheskoi nauki v SSSR. M. ; L. : Izd-vo AN SSSR, 1942.]

Петр Великий : сб. ст. / под ред. А. И. Андреева. М. ; Л. : АН СССР, 1947. 434 с. [Petr Velikij : sb. st. / pod red. A. I. Andreeva. M. ; L. : AN SSSR, 1947. 434 s.]

Покровский С. А. В секции истории государства и права Института права АН СССР // Ист. журн. 1944. № 9. [Pokrovskij S. A. V sekcii istorii gosudarstva i prava Instituta prava AN SSSR // Ist. zhurn. 1944. N 9.]

Прокопович Феофан. Соч. / под ред. И. П. Еремина. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. 503 с. [Prokopovich Feofan. Soch. / pod red. I. P. Eremina. M. ; L. : Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1961. 503 s.]

Расстрельные списки. Москва. 1935–1953. Донское кладбище / под ред. Л. С. Ереминой, А. Б. Рогинского. М. : Мемориал : Звенья, 2005. 596 с. [Rasstrel'nye spiski. Moskva. 1935–1953. Donskoe kladbische / pod red. L. S. Ereminoj, A. B. Roginskogo. M. : Memorial : Zven'ya, 2005. 596 s.]

Сербина К. Н. А. И. Андреев – ученый и педагог: из воспоминаний об учителе // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1985. Т. 17. С. 357–363. [Serbina K. N. A. I. Andreev – uchenyj i pedagog: iz vospominanij ob uchitele // Vspomogatel'nye istoricheskie distsipliny. L., 1985. T. 17. S. 357–363.]

Советская историко-правовая наука: очерки становления и развития / под ред. В. М. Курицына. М. : Наука, 1978. 352 с. [Sovetskaya istoriko-pravovaya nauka: ocherki stanovleniya i razvitiya / pod red. V. M. Kuritsyna. M. : Nauka, 1978. 352 s.]

Сыромятников Борис Иванович [Некролог] // Советское государство и право. 1947. № 2. [Syromyatnikov Boris Ivanovich [Nekrolog] // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1947. N 2.]

Сыромятников Б. И. От редактора // Законодательные акты Петра I / сост. Н. А. Воскресенский ; под ред. Б. И. Сыромятникова. М. ; Л. : Изд-во АН СССР. 1945. Т. 1. С. XXXIII–XLIV. [Syromyatnikov B. I. Ot redaktora // Zakonodatel'nye акты Petra I / sost. N. A. Voskresenskiy ; pod red. B. I. Syromyatnikova. M. ; L. : Izd-vo AN SSSR. 1945. T. 1. S. XXXIII–XLIV.]

Сыромятников Б. И. [Рец. на кн.:] Н. А. Воскресенский. Законодательные акты Петра Великого. Том 1 (рукопись) // Советское государство и право. 1940. № 11. С. 121–129. [Syromyatnikov B. I. [Rets. na kn.:] N. A. Voskresenskij. Zakonodatel'nye akty Petra Velikogo. Tom 1 (rukopis') // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1940. N 11. S. 121–129.]

Федосеева Е. П. Документальные материалы Н. А. Воскресенского в хранилищах Ленинграда и Москвы // Археографический ежегодник за 1976 год. М. : Наука, 1977. С. 221–229. [Fedoseeva E. P. Dokumental'nye materialy N. A. Voskresenskogo v khranilishchakh Leningrada i Moskvy // Arkheograficheskij ezhegodnik za 1976 god. M. : Nauka, 1977. S. 221–229.]

Translated by Anna Dergacheva

The article was submitted on 10.12.2013

Дмитрий Олегович Серов, д. и. н.
Россия
Новосибирский государственный
университет экономики
и управления
serov1313@mail.ru

Dmitry Serov, dr.
Russia
Novosibirsk State University
of Economics and Management
serov1313@mail.ru

**БУДАПЕШТСКАЯ ШКОЛА РОССИЕВЕДЕНИЯ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**THE BUDAPEST SCHOOL OF RUSSIAN STUDIES:
RESULTS AND PROSPECTS**

Представлена история возникновения будапештской школы русистики и анализ ее современного состояния. Очерчиваются научные направления ведущих венгерских русистов в различных сферах гуманитаристики (Дёрдь Ранки, Эмиль Нидерхаузер, Миклош Кун, Марта Фонт, Тамаш Краус), рассматриваются линии связи с советской и постсоветской наукой, приводятся примеры продуктивных личных отношений исследователей различных национальных научных школ. Статья сопровождается обширной библиографией и подробной информацией о конференциях, публикациях трудов и научных проектах венгерских русистов.

Ключевые слова: Будапештская школа россиеведения; научные связи; славистика за рубежом; конференции славистов.

The article describes the history of the Budapest School of Russian Studies and analyzes its present-day state. The author outlines the main directions of research carried out by the leading Hungarian scholars of Russia in different spheres of the humanities (György Ránki, Emil Niederhauser, Miklós Kun, Márta Font, Tamás Krausz, etc.) and examines the connections Hungarian scholars have with Soviet and post-Soviet academic schools, as well as speaks about personal contacts among international scholars that have turned out to be beneficial for research. The article is accompanied by a substantial bibliography and detailed information on conferences and publications released by both Russian and Hungarian scholars of Russia.

Keywords: Budapest School of Russian Studies; academic connections; Slavonic Studies abroad; conferences of Slavicists.

Все три слова в названии статьи неоднозначны и нуждаются в комментариях. Прежде всего необходимо объяснить само понятие «россиеведение», ведь в международной науке нет согласия относительно его содержания. 8–9 июня 2009 г. будапештским Центром русистики был проведен международный симпозиум «*Что такое россиеве-*

дение?», посвященный обсуждению этого термина, на котором мы пришли к выводу, что это понятие не может использоваться для обозначения научной дисциплины [Szvák, 2009b, о. 12]. Немало споров в исторической науке вызвало и понятие «школа» [см.: Szvák, 2011b, о. 69–70], и еще больше объяснений требует поставленный перед ним эпитет «будапештская».

С филологической точки зрения мы были бы по-настоящему точны в том случае, если бы поставили в кавычки и первые два слова названия статьи, причем даже не столько из-за связанных с ними сомнений, сколько потому, что именно в такой форме словосочетание «будапештская школа россиеведения» употребил академик В. В. Алексеев еще в 2006 г. в заключительном слове на конференции «Региональные школы русской историографии» [Regional'nye shkoly..., s. 7–8]. По существу, к такому же выводу пришел и глава англосаксонской русистики профессор Филипп Лонгворт, который во вступительном докладе на той же конференции подчеркнул, что организованные нами конференции играют роль «моста» между западной и российской русистикой [Ibid., s. 9]. Подобные лестные для нас оценки нашей деятельности мы слышали и читали и позже, одна из них вышла из-под пера А. Н. Медушевского, который в то время был главным редактором авторитетного журнала «Российская история» [см.: Медушевский]. Одним словом, отвлекаясь от вопроса, что нужно поставить в кавычки, а что не нужно, ниже мы представим читателю научную лабораторию, которая известна представителям нашей профессии как Центр русистики при Будапештском университете им. Лоранда Этвёша.

Как обычно бывает в случае терминологически неопределенных явлений, приходится сталкиваться и с хронологическими неясностями. Как датировать возникновение Центра русистики? По традиции мы датируем его 1995 г., когда на факультете гуманитарных наук Будапештского университета было принято решение о создании Центра, который, однако, начал работать лишь в следующем году. С другой стороны, еще в 1990 г. был основан духовный предшественник Центра, Венгерский институт русистики, автономное объединение венгерских русистов, которое функционировало на общественных началах и физически находилось в здании университета, а юридически было частью Венгерского общества русистики. В другом месте я уже вспоминал [см.: Свак, 2013] об этом начальном «героическом» периоде, о нашей работе, проходившей тогда в крайне неблагоприятной для нас общественной и политической атмосфере; наилучшей профессиональной референцией этой работы могут служить первые 12 томов начатой нами тогда серии «Советские», а позже – «Постсоветские тетради»¹. Несомненно, что с научной точки зрения начало нашей деятельности лучше датировать 1995 г., именно тогда была опубликована первая книга [см.: Zsidók

¹ Их список можно найти на последних страницах всех появившихся с тех пор «Постсоветских тетрадей» [см., напр.: Bíró, 2012].

Oroszországban 1900–1929] серии «Книги по русистике» (в основании этой серии, как и Института русистики, участвовал и эстет Акош Силади), до конца 2013 г. за ней последовало еще 36 томов. К их числу относятся и сборники материалов организуемых нами раз в два года конференций по русистике, первая из которых состоялась в 1998 г. (всего состоялось 8 конференций, материалы которых опубликованы в 8 сборниках). В целом за последние 15 лет наш Центр организовал 36 конференций, симпозиумов и бесед за круглым столом, причем не только в Будапеште, но – благодаря помощи наших коллег – и в Москве, Санкт-Петербурге, Брюсселе, Пизе, а также в несколько экзотическом университете г. Сассари на острове Сардиния.

Следующая важная дата – 2003 г., когда при Центре русистики в рамках сотрудничества между Венгерской академией наук и Будапештским университетом была создана совместная Исследовательская группа по исторической русистике, за 9 лет деятельности которой были выпущены 51 книга (в том числе четыре диссертации PhD) и 133 статьи. Значительная часть всех этих работ была написана в 2007–2011 гг. в рамках исследовательской программы «Государство и нация: русские и восточноевропейские властные доктрины X–XX вв. в контексте национально-культурного своеобразия (источники и историография)». (Нужно отметить, что эта группа состояла всего из двух «статистических лиц», которым была выделена минимально возможная бюджетная поддержка. Конечно, в группе работали и многие другие, к концу срока всего 15 человек, включая и меня, руководителя группы, но только на общественных началах, из любви к науке.)

Еще одной определяющей датой в жизни Центра стал 2010 г., именно тогда, после многолетних попыток, удалось запустить в Будапештском университете магистратуру по русистоведению, которая получила название «магистратура по русистике» и стала первой в нашей стране и в нашем регионе магистерской специальностью с подобным учебным планом. Позже, в 2013 г., был аккредитован и «двойной», международный, основанный на сотрудничестве с российскими университетами вариант этой специальности, дающий выпускникам совместные дипломы. В том же 2010 г. мы приняли первых аспирантов докторантуры PhD, которые могли поступать на самостоятельную программу по русистике в рамках докторантуры по истории Будапештского университета им. Лоранда Этвёша. Таким образом, если термин «русистоведение» и вызывает сомнения в качестве названия особой научной дисциплины, то, учитывая двойной – научный и образовательный – профиль Центра русистики, мы считаем это название легитимным, поскольку в нашем университете есть соответствующая специальность, которая доказала право на существование.

Посмотрим, что же скрывается за цифрами и датами, каково реальное содержание деятельности Центра русистики. Прежде всего необходимо отметить, что она имеет определенные предпосылки в венгерской исторической науке.

В одной из прежних статей я уже проанализировал этот вопрос, поэтому здесь лишь повторяю ее наиболее важные положения. В Венгрии историческая русистика не располагает настоящими традициями. В нашей исторической науке практически до 40-х гг. XX в. легитимной областью исследования считалась лишь отечественная история, которая сохранила свое доминирующее положение до самого последнего времени. В медленно складывавшемся изучении всемирной истории утвердился сравнительно-исторический метод, что, между прочим, соответствовало международным научным тенденциям того времени. Особое внимание уделялось истории Западной Европы, за которой следовало компаративное исследование истории центральноевропейского региона. В конце концов, уже после Второй мировой войны по геополитическим причинам на этой основе началось изучение более широкого, восточноевропейского региона, в который уже входила и Россия. Таким образом, до последнего времени в Венгрии отдельно не велось институционально организованных исследований российской истории, проблемы исторического развития России затрагивались лишь в крупных обобщающих работах по истории Восточной Европы. <...>

Конечно, мы не собираемся утверждать, что в венгерской историографии совсем не было исследований по конкретным проблемам российской истории, однако темы этих исследований были не менее тесно связаны и с венгерской историей, поскольку затрагивали достаточно традиционную в исторической науке область дипломатических и культурных контактов [см.: Szvák, 2006, о. 162–163]. Значительные изменения произошли начиная со второй половины 1970-х, когда представители молодого поколения венгерских историков выбрали для специализации именно историю России как таковую. На выбор конкретных тем тогда еще влияли легитимные и наиболее поощрявшиеся темы советской исторической науки, например, начинавший тогда свою деятельность Миклош Кун опубликовал множество работ о русских революционерах XIX в., в которых, между прочим, использовал новые, ранее неизвестные источники. Ласло В. Мольнар распространил на XVIII в. традиционное изучение двухсторонних культурных контактов, а Марта Фонт занималась прежде всего исследованием династических, внешнеполитических связей между ранним венгерским государством и Киевской Русью. Тамаш Краус, а также и я, правда, изучая разные периоды российской истории, практически одинаково, в рамках привычного жанра историографии, критически проанализировали политическую детерминированность советской исторической науки.

Десятилетие смены режима принесло с собой перелом прежде всего в области организации научных исследований. Возник Институт русистики, а затем был создан Центр русистики. Он стал первым в венгерской исторической науке учреждением, специализирующимся только на изучении истории России. Из-за относительной отста-

лости этой области исследований в Венгрии первые задачи были связаны с созданием организационной и интеллектуальной инфраструктуры, что, естественно, определяющим образом повлияло и на направленность научной активности. Опираясь на университетское преподавание, мы начали подготовку нового поколения исследователей-русистов, создали возможности для публикаций, основали серии «Постсоветские тетради» и «Книги по русистике», заложили основы для международных научных связей, стремясь в то же время выполнять своего рода координирующую функцию в рамках венгерской русистики.

Т. к. отставание было велико, понятно, что мы строили нашу деятельность на фундаменте лучших традиций российской исторической науки. Это означало, что для Центра русистики 1990-е гг. были не годами научного кризиса, а периодом поступательного развития. В области тематики, исторических концепций и методики исследований наш Центр в основном вел диалог с российской исторической наукой. <...>

За эти более чем десять лет венгерская русистика обогатилась множеством репрезентативных трудов: коллективом венгерских авторов была написана «История России», первая работа такого рода, созданная в Венгрии после 1945 г. [ср.: Font, Krausz, Niederhauser et al., 1997; 2001], была подготовлена обобщающая монография о доме Романовых [Niederhauser, Szvák, 2002], а также созданы фундаментальные труды о ГУЛАГе [см.: GULAG], быте людей советского времени [A sztálinizmus hétköznapijai]. Эта деятельность продолжалась и в 2000-е гг.: целым рядом публикаций источников мы стремились обеспечить условия для качественного университетского обучения. Кроме того, большое внимание уделялось изучению роли судьбоносных, структуропорождающих исторических личностей, были созданы важные труды об Иване IV [Szvák, 2001], Петре I [Szvák, 1989] и Сталине [Krausz, 2003b].

Все эти труды, обобщавшие новейшие результаты международных научных исследований и знакомившие венгерских ученых с ранее неизвестными им источниками, так или иначе можно отнести к числу крупных нарративов [см.: Szvák, 2006, с. 163–165].

1990-е гг. обычно считаются новым, переходным периодом не только в восточноевропейском регионе, но и во всем мире. Вряд ли можно спорить с тем, что указанное десятилетие резко всколыхнуло стоячую воду исторической науки. В борьбу за право на существование вступило множество новых подходов, тем, жанров, концепций и исследовательских методов.

Эта общая оценка справедлива и в отношении исторической русистики, однако с существенными оговорками. В работах по российской истории крупные жанры сохранили свои позиции. Это в значительной степени связано с сильной пропитанностью советской исторической науки политическими и идеологическими мотивами:

после смены режима некоторые историки считали своей основной задачей смену оценочных знаков, таким образом, крупные жанры повествования сохранили свою роль, но теперь они были снабжены другой терминологией и историко-философской амуницией. Однако на рубеже тысячелетий и в российской исторической науке распространились популярные среди постмодернистов жанры и методы или, по крайней мере, окреп скептицизм, побудивший российских русистов искать новые пути. В сложившейся ситуации венгерская историография, несомненно, относится к числу традиционных научных школ. В ней и в прошедшее десятилетие сохранили свое доминирующее положение привычные историографические направления – история государства и политическая история, базирующиеся на восходящих в конечном итоге к Ранке методах критики источников [см.: Szvák, 2006, о. 160].

Я не считаю исключением и нас самих, ведь историко-ориентированный подход был завещан нам еще до смены режима нашими учителями, которыми для Тамаша Крауса были прежде всего академики Дёрдь Ранки и Эмиль Нидерхаузер [см.: Krausz, 1994; 2003a], а для меня – профессора Йожеф Перени и Р. Г. Скрынников [см.: Szvák, 2013a; на рус. яз.: Свак, 2012]. Правда, верно и то, что уже в книге «История России» мы сделали попытку комплексного изображения истории, в значительной степени следуя марксистской методологии и историческому подходу школы «Анналов». В этом смысле мы вышли за рамки истории государства и политической истории и, не отказываясь от поисков макроответов, поставили в центр своих разысканий и публикаций историографические исследования на основе источников.

Научная и теоретическая деятельность Тамаша Крауса за последние 40 лет велась (и ведется) по существу в пяти с половиной направлениях, причем его интерес ко всем изучаемым темам неизменно сохраняется до сих пор. Главным образом благодаря достигнутым им результатам удалось перевести отечественную советологию на новую основу. С одной стороны, были преодолены прежние консервативные схемы, а с другой стороны, были отвергнуты кажущиеся новыми русофобские интерпретации истории, служащие легитимационной идеологией новых национальных государств.

Тамаша Крауса всегда интересовала история советской исторической науки, прежде всего изменяющиеся в различные эпохи оценки и научное содержание своеобразия российской истории [см.: Krausz, 1991]. Предметами его интересов являются также идейная история предсталинской эпохи советского марксизма, российская революция и национальный вопрос, а также историческая интерпретация революции. В первой половине 1990-х гг. он занимался прежде всего духовными предпосылками сталинского поворота (написанная им книга «Советский термидор» (1996) была опубликована и в Токио на японском языке). Другой важнейший труд Т. Крауса, опубли-

кованный десять лет спустя, посвящен анализу наследия Ленина. В 2011 г. он вышел в свет на русском языке [Краус], а в 2014 г. будет опубликован и в США [Krausz, 2014]. Т. Краус по сей день занимается проблематикой истории социализма и теоретических дискуссий о социализме.

Зато наиболее «чувствительная» тема, которой занимается историк, является для него новой, это тема военных преступлений, совершенных венгерскими оккупационными войсками на советских территориях, участия венгерских военнослужащих в нацистском геноциде (включая холокост), которая уже вызвала оживленные отклики [см.: Krausz, 2013]. К предыстории интереса к этой теме относится книга Т. Крауса о рецепции восточноевропейского антисемитизма и холокоста, опубликованная в Америке [см.: Krausz, 2006].

Важной инициативой Т. Крауса и его венгерских коллег-русистов было изучение и теоретическая интерпретация смены режима в СССР и Восточной Европе от перестройки до «ельцинщины» [Перестройка и смена собственности...; Jelcin és a Jelcinizmus]. Интерес историка к социальным последствиям смены режима и воскресению этнического национализма проявился во многих книгах и статьях [Az új nemzetállamok és az etnikai...]. В конечном итоге именно с этой последней тематикой связана и кажущаяся несколько курьезной «половина направления» исследований Т. Крауса: анализ упадка венгерского и восточноевропейского футбола, осуществленный в историческом контексте смены режима [A játék hatalma].

Что касается меня, то своим вышедшим в 2006 г. сборником статей «Место России в Евразии», многие статьи которого вошли и в мою опубликованную на русском языке книгу «Русская парадигма. Русофобские записки русофила» [Свак, 2010в], я завершил свои историографические и методологические исследования, в ходе которых искал ответы на «давние», «вечные» вопросы русской исторической мысли, касающиеся «своеобразия истории России». Результаты следующих пяти лет я обобщил в опубликованном в 2013 г. сборнике статей «Klió, a csalfa széptevő – Klió, a néptanító» («Клио, ветренная оболыстительница») [Szvák, Kvász], в котором можно найти опыт историографического обобщения, микроисториографические эксперименты, основанные на архивных исследованиях, наброски в области истории идей, общества и менталитета, портретные зарисовки.

В отношении публикаций последние пять лет были самым продуктивным периодом в моей жизни, за это время появилось 30 % всех моих публикаций. Не могу сказать, что это был и период моих наиболее важных исследований (я гораздо выше ценю совместные результаты коллектива нашего Центра: за это время я был редактором примерно двух дюжин наших совместных сборников), но все же упомяну несколько своих работ, которые могут вызвать интерес.

Поскольку настоящим мериллом успеха в нашей научной дисциплине является присутствие в международной науке, прежде всего

стóбит вспомнить о выходе в свет в России моей книги «Русская парадигма», а также о том, что мне выпала честь написать раздел об истории русской исторической науки долгого XIX в. для пятитомного обобщающего труда по историографии, выпущенного издательством «Oxford University Press» [см.: *The Golden Age of Russian Historical Writing*, p. 303–325].

Свои историографические исследования я стремился расширить в нескольких направлениях. Я проанализировал давно интересовавшую меня новейшую литературу по русскому самодержавию и противостоявшей ему идеологии самозванчества [см.: Szvák, 2009a; на рус. яз.: Свак, 2010a], сделав при этом методологические выводы и вызвав международные дискуссии. По-прежнему слежу и за историографической судьбой термина «русский феодализм», также спровоцировавшего множество дискуссий [*The Place of Russia in Europe and Asia*], а также за историческими изменениями образа России [Свак, 2010b]. Я люблю называть выбранный мною род исследований «микроисториографией», и, быть может, это название действительно подходит к некоторым моим работам. К их числу я отношу, например, сборник статей и статьи, посвященные деятельности моего бывшего научного руководителя Р. Г. Скрынникова [Свак, 2011a; Szvák, 2013b]. Однако наиболее характерным для этих пяти лет я считаю то, что, не отказавшись от прежних нарративов, я сумел ввести в свои исследования новые темы и подходы и оказать тем самым инспирирующее влияние на моих коллег и студентов. Важнейшими примерами поиска новых путей стали мои работы о границах «неограниченной» власти в России [Szvák, 2010], о «перемене мест» легитимного и нелегитимного царя и о международном мошеннике Тимофее Анкундинове [Szvák, 2011a; на рус. яз.: Свак, 2011b]. Последняя является одновременно и публикацией источников, в которой реконструируется произошедший на русской почве случай, напоминающий события, описанные в книге Натали Земон Дэвис «Возвращение Мартина Герра».

Теперь я должен рассказать о своих учениках, которые ныне уже стали моими коллегами и членами Центра русистики.

В своей пока единственной монографии Шандор Сили, чьим научным руководителем был и Р. Г. Скрынников, рассматривает процесс складывания исторических концепций на основе работ советских историков о завоевании Сибири и показывает парадигматический характер смены этих концепций [Szili, 2005b, o. 239]. Среди его историографических работ выделяется статья о возникновении и источниках теории «колонизации» С. М. Соловьева [Сили, 2002]. В аналитических эссе он рассмотрел специфические черты деятельности известных русских и советских историков [см., например: Сили, 1999; 2010; 2011; 2012].

Другое характерное направление его исследований связано со спорными вопросами истории Киевской Руси. Он первым в международной русистике разработал последовательную интерпретацию

системы символов булл Изяслава Ярославича, опираясь на филологические аргументы, обосновал вероятность использования слова «каган» в титулатуре киевских князей, по-новому интерпретировал программу изображений миниатюр Codex Gertrudianus и уточнил дату возникновения рукописи [Szili, 2010; 2013; 2011].

Загравивая эпоху Московской Руси, историк реконструировал ее малоизученные эпизоды и обнаружил неизвестные факты из истории венгерско-русских отношений [Szili, 2003; 2009b].

Ш. Сили перевел на венгерский язык и снабдил комментариями важнейшие источники по истории средневековой Руси, в том числе так называемую «Пространную Правду», «Слово о законе и благодати митрополита Иллариона», отрывки из «Повести временных лет», постановления Стоглавого собора и т. д. [Szili, 2005a; 2009a]. В переводе Ш. Сили венгерская публика может познакомиться с вышедшими в свет в Венгрии книгами Р. Г. Скрынникова [Szkrynnyikov, 1997; 2000].

Сергей Филиппов ведет в магистратуре по русистике занятия по истории русской православной церкви, истории и истории культуры России XIX в., поэтому не случайно, что за последние полтора десятилетия его публикации также связаны с этими темами. Первоначально он занимался религиозной борьбой в России XVII в., посвятив этой тематике ряд статей и книгу «Религиозная борьба и кризис традиционализма в России XVII века» [см.: Филиппов, 2007б; 1998; 2000; 2003а; 2005а; 2005б; 2007а]. «Побочным» продуктом его занятий древнерусской историей и книжностью были опыты новой интерпретации летописного повествования о княгине Ольге и «Повести о Горе-Злочасти» [см.: Филиппов, 2003б; 2001б; 2004].

Позже в центре его интересов оказалась проблематика европеизации России в XIX в., судьба европейских идеологических концепций на русской почве [Филиппов, 2001б; Filippov; Филиппов, 2005в; 2009]. Органической частью его преподавательских задач было составление сборника источников по истории России XVIII и XIX веков [Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII; Az újkori orosz történelem forrásai. XIX], а в 2012 г. вышел написанный им университетский учебник «Az „orosz eszme” alakváltozásai. Az orosz konzervativizmus, liberalizmus és radikalizmus» («Метаморфозы “русской идеи”. Российский консерватизм, либерализм и радикализм»).

Краткое изложение деятельности С. Филиппова было бы неполным, если бы мы не упомянули о том, что с его именем связана значительная часть переведенных на русский язык изданий Центра русистики, благодаря ему наши работы становятся доступными в аутентичной форме и для русистов других стран.

Габор Дьёни защитил кандидатскую диссертацию в 2007 г. в Екатеринбурге. В своей диссертации он показал эволюцию представлений венгерских ученых о прародине венгров². Он является

² С определенными изменениями эта диссертация была опубликована в форме книги [см.: Дьёни, Овчинникова].

автором множества публикаций по ранней истории венгров на русском, венгерском и английском языках. Г. Дьёни обобщил мнения уральских ученых о считающихся венгерскими топонимах на территории Башкирии и Среднего Урала [Gyóni, 2008], а также с помощью не принятых до сих пор во внимание аргументов, взятых из текста средневековых восточнославянских летописей, подтвердил, что монах Юлиан в 1235 г. обнаружил венгров вблизи Биляра [Дьёни, 2012б].

Еще будучи аспирантом, Г. Дьёни начал интересоваться историей средневекового Новгорода и проблематикой ее различных интерпретаций, им было написано несколько важных статей по этой теме [см.: Дьёни, 2011а; 2013]. В своих рецензиях он обратил внимание читателей на новые результаты, достигнутые российской исторической наукой и международной русистикой [например: Gyóni, 2010; 2011b; 2012а; 2012б].

Научные интересы Г. Дьёни распространяются и на изменения этнического состава населения России. Поначалу он занимался историей финно-угорских (уральских) народов [Дьёни, 2012а] и венгерскими интерпретациями национальной политики в России [см., например: Дьёни, 2011б], а позже, осознав общее значение этой проблемы, обобщил этнические и языковые показатели российских (советских) переписей населения в форме сборника статистических данных [Gyóni, 2011а].

С 2010 г. Г. Дьёни в качестве редактора информационного сайта oroszvilag.hu играет важную роль в распространении в Венгрии достоверной информации о постсоветском регионе.

С самого основания Центра русистики и его «предков» и до сих пор к числу наших сотрудников принадлежат еще два опытных исследователя.

Золтан С. Биро ранее опубликовал заслуживающие внимания статьи о русском либерализме и об идейно-исторических аспектах исторического своеобразия России [Bíró, 1998; 1995], и его интерес ко второй половине XIX – началу XX в. сохраняется до сих пор, о чем свидетельствует его готовящаяся к печати монография «Az elmaradt alkotmányozás: Oroszország a XIX. század második felében» («Несостоявшаяся конституция: Россия во второй половине XIX века»). Другой издавна занимающий его исторический период начинается с 1970-х гг. и продолжается до наших дней. Исследования этого периода З. С. Биро попытался обобщить в двух пространственных статьях [Bíró, 2003; 2013а].

Ныне Золтан С. Биро уже известен прежде всего как эксперт, причем ведущий венгерский эксперт по России, которым он смог стать именно благодаря глубокой исторической обоснованности его анализа современности. Его статьи затрагивают как вопросы внешней, энергетической политики и политики в области безопасности, так и тенденции, наблюдающиеся в российской экономике, а также их влияние на политические процессы. Первый комплекс проблем

занимал центральное место в опубликованном в 2008 г. сборнике статей «Oroszország visszatérése» («Возвращение России»), а в следующем сборнике – «Oroszország: válságos évek» («Россия: годы кризиса»), увидевшем свет в 2012 г., – определяющую роль играют две статьи, в которых анализируются влияние и последствия поднявшейся в 2008 г. волны глобального экономического кризиса. При этом З. С. Биро сохранил верность и изучению прошлого, что хорошо видно из его новейшей статьи, посвященной так называемому «идейному коллаборационизму» на оккупированных советских территориях во время Второй мировой войны [Bíró, 2013b].

Ласло В. Мольнар – кандидат исторических наук, главной областью его исследований является история венгерско-русских культурных связей XVIII–XIX вв. Его монографии по этой тематике, основанные на широкой базе архивных источников, считаются фундаментальными трудами [Molnár, 2000; 2004a; 2010; 2011]. Изучению этой проблематики он посвятил несколько теоретико-методологических работ [Molnár, 2001b; 2003; 2004b; 2005] и множество статей. Среди последних особого внимания заслуживает описание деятельности венгерских врачей [Molnár, 2001a] и педагогов в России [Мольнар, 2004; 2001a]. Помимо этого, Л. В. Мольнар описал сходные черты деятельности и результаты профессионального сотрудничества между Самуэлем Тешшедиком и Андреем Самборским, двумя известными специалистами-агрономами, пастором и педагогом [Molnár, 2002], реконструировал изменение образа Венгрии в дневниковых записях русских путешественников [Molnár, 1999], опубликовал интересные данные о деятельности токайской Русской комиссии по закупке вин [Molnár, 1998].

Излюбленной эпохой Л. В. Мольнара является XVIII в., а именно – царствование императрицы Екатерины II [Molnár, 2007; 2009b; 2012]. Благодаря увлечению этой эпохой, ему удалось пластично нарисовать портреты многих выдающихся деятелей этого столетия [Мольнар, 2001б; 2006; Molnár, 2009a; 2013].

Мы можем сказать, что в интеллектуальную орбиту Центра русистики вовлечено еще много русистов, выступающих в качестве лекторов или внешних специалистов. Здесь нет места для подробного описания их деятельности. Простым перечислением названий их монографий, опубликованных в книжной серии «Книги по русистике», которую выпускает наш Центр, мы хотели бы показать, что Центр русистики можно считать местом и одновременно стимулятором исследований по самым различным темам российской истории и истории культуры. Средневековью и раннему Новому времени были посвящены работы Клары Радноти «Európa Moszkóvia-képe a XV–XVI. században» («Образ Московии в Европе XV–XVI вв.», 2002), Тимеа Ботор «A tatár függéstől az önálló uralkodóig. A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336–1462) tükrében» («От татарской зависимости

до самостоятельного правления. История Московского княжества в свете княжеских духовных грамот (1336–1462)», 2011) и Агнеш Кризы «A középkori orosz képvédő irodalom» («Средневековые русские тексты в защиту икон», 2011). Важные вопросы истории XX в. послужили темами для монографий Дёрдя Бебешы «A Feketeszázak. Az orosz szélsőjobb kialakulása a századelőn» («Черная сотня. Формирование и история крайних правых сил в России в начале XX в.», 1999), Золтана Це «A GULAG mint gazdasági jelenség» («ГУЛАГ как экономическое явление», 2003), Ивана Халаса «A tábornokok diktatúrái – a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917–1920» («Диктатуры генералов – генералы диктатур. Белогвардейские режимы во время гражданской войны в России», 2005) и Евы Марии Варги «Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956) az oroszországi levéltári források tükrében» («Венгерские военнопленные в Советском Союзе (1941–1956) в свете российских архивных источников», 2009). Авторами важных монографий по отдельным вопросам истории советской культуры стали Жужанна Димеши «Andrej Platonov prózája és Pavel Filonov festészete» («Проза Андрея Платонова и живопись Павла Филонова», 2010) и Иван Форгач «Filmtörténetek olvadása. Az 1950-es évek második felének szovjet-orosz filmművészete» («Русское советское киноискусство второй половины 1950-х гг.», 2011).

Конечно, будапештский Центр русистики функционирует не в пустом пространстве. В одной из своих прежних статей я уже писал о том, что важные исследования в области русистики велись и в Пече, Дебрецене, Эгере, Ниредьхазе, Сегеде, Сомбатхее и даже в Бекешчабе [подробнее см: Свак, 2005], эти исследования продолжались и в прошедшие более чем десять лет. Ссылкой на некоторые труды, созданные в этих городах, я лишь хотел бы показать, в какой значительной степени обогатили венгерскую историческую русистику за последние полтора десятилетия Марта Фонт [Font], Эндре Шашхалми [Sashalmi], Аттила Колонтари [Kolontári], Эржебет Боднар [Bodnár], Шандор Гебеи [Гебеи], Янош Макаи [Макаи], Иштван Цёвек [Czövek], Беата Варга [Varga], Магдольна Агоштон [Агоштон] и Енё Курунцы [Курунцы]. К ним можно по праву причислить и Магдольну Барат [Baráth] и Аттилу Шереша [Seres], работающих в Будапеште, но в других учреждениях. Перечисленные выше исследователи являются и членами Венгерского отделения Венгеро-русской смешанной комиссии историков, которое с 2006 г. работает в новом составе (председатель: Дюла Свак, сопредседатель: Тамаш Краус, заместители председателя: Марта Фонт, Шандор Гебеи, секретарь: Габор Дьёни). Их плодотворное сотрудничество служит хорошим примером того, что историческая наука той или иной нации может достичь по-настоящему крупных успехов, лишь опираясь на общие усилия максимального количества ученых. Под этим, конечно, понимается и укорененность в международной почве, на что нам ни в

кчем случае не приходится жаловаться, ведь наши совместные с зарубежными, прежде всего российскими, коллегами конференции и книги, большое количество рецензионных откликов на них за рубежом, а также участие в редколлегиях различных изданий составляют прочный фундамент нашего творческого присутствия в мировой русистике.

Любая научная лаборатория имеет свои научные результаты и свое место в историографии. Однако все это уже часть ее прошлого. Ее будущее зависит от подрастающей смены. Наша эпоха не благоприятствует гуманитарным наукам нигде в нашем регионе, не является исключением и Венгрия. Завоеванные профессиональные позиции трудно даже просто удержать, не говоря уже о дальнейшем развитии. И все же источником оптимизма для нас могут стать докторанты PhD, которые выбрали программу по русистике и темы, проливающие свет на направленность исследовательской деятельности Центра русистики в настоящее время. Четверо из них (Габор Кечкемети, Жолт Кёсеги, Сабольч Шухайда и Ференц Гемеш) изучают образ русских в Венгрии с начала XVII до конца XX в., причем их темы хронологически дополняют друг друга³. Две аспирантки (Оршоя Санисло и Сильвия Надь) занимаются историей женщин в XVIII–XIX вв., а Эстер Йони – историей советского феминизма. Три докторанта (Ласло Салаи, Дора Пёле и Ибоя Сомборовски) анализируют различные аспекты советской эпохи (идеологическую историю советского патриотизма, историографию и интерпретацию голода на Украине, историю преподавания истории в СССР). Многие докторанты затрагивают различные важные вопросы российской и советской истории в рамках тесного сотрудничества с докторантурой по истории Восточной Европы.

Я – историк, занимающийся изучением прошлого. Именно поэтому у меня нет готовых рецептов на будущее. Я знаю, что в 2015 г. исполнится 25 лет нашему «предку», Институту русистики, и 20 лет Центру русистики. Четверть столетия назад в Будапеште не было научного учреждения, занимающегося «россиеведением», а ныне оно не только существует, но и пользуется международной известностью. Будем надеяться, что так будет и в следующие 25 лет.

Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г. К истории формирования русской государственной символики. М. : Древлехранилище, 2005. [Agoshton M. Velikoknyazheskaya pečat' 1497 g. K istorii formirovaniya russkoj gosudarstvennoj simvoliki. M. : Drevlekhranilische, 2005.]

Гебеи Ш. Одна дипломатическая иллюзия: судьба союза Трансильванского княжества и Запорожского войска // 350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008) / ed. T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski. Warszawa : Wydawn. DiG, 2008. S. 507–530. [Gebei Sh. Odnа diplomatičeskaja illyuziya: sud'ba soyuza Transil'vanskogo knyazhestva

³ С первыми результатами этого изучения можно познакомиться в сборнике [Образы России с XVII по XXI вв.].

i Zaporozhskogo vojska // 350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008) / ed. T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski. Warszawa : Wydawn. DiG, 2008. S. 507–530.]

Дьёни Г. Великий Новгород в российской историографии с середины 80-х годов XX века // Роль государства в историческом развитии России / ред. Д. Свак. Будапешт : Russica Pannonicana, 2011a. (Книги по русистике XXII). С. 52–61. [D'yoni G. Velikij Novgorod v rossijskoj istoriografii s serediny 80-kh godov XX veka // Rol' gosudarstva v istoricheskom razvitii Rossii / red. D. Svak. Budapesht : Russica Pannonicana, 2011a. (Knigi po rusistike XXII). S. 52–61.]

Дьёни Г. Динамика численности уральских народов в России // Историческая уралистика и русистика на Урале и в Будапеште / [ред. Г. Дьёни]. Будапешт : Russica Pannonicana, 2011b. С. 77–105. [D'yoni G. Dinamika chislennosti ural'skikh narodov v Rossii // Istoricheskaya uralistika i rusisitika na Urale i v Budapeshte / [red. G. D'yoni]. Budapesht : Russica Pannonicana, 2011b. S. 77–105.]

Дьёни Г. Ранние контакты финно-угорских народов с восточными славянами // Историческая уралистика и русистика на Урале и в Будапеште / [ред. Г. Дьёни]. Будапешт : Russica Pannonicana, 2012a. С. 42–54. [D'yoni G. Rannie kontakty finno-ugorskikh narodov s vostochnymi slavyanami // Istoricheskaya uralistika i rusistika na Urale i v Budapeshte / [red. G. D'yoni]. Budapesht : Russica Pannonicana, 2012a. S. 42–54.]

Дьёни Г. Экспедиции венгерских доминиканцев на Восток в XIII веке // Историк и мир – мир историка. Материалы междунар. науч. конф. будапештского Центра Русистики от 21–22 мая 2012 г. / ред. Д. Свак. Будапешт : Russica Pannonicana, 2012b. (Книги по русистике XXXVI). С. 51–60. [D'yoni G. Ekspeditsii vengerskikh dominikantsev na Vostok v XIII veke // Istoriik i mir – mir istorika. Materialy mezhdunar. nauch. konf. budapeshtskogo Tsentra Rusistiki ot 21–22 maya 2012 g. / red. D. Svak. Budapesht : Russica Pannonicana, 2012b. (Knigi po rusistike XXXVI). S. 51–60.]

Дьёни Г. Р. П. Г. Скрынников и Великий Новгород // Canadian-American Slavic Studies. 2013. No 47. P. 386–398. [D'yoni G. R. G. Skrynnikov i Velikij Novgorod // Canadian-American Slavic Studies. 2013. No 47. P. 386–398.]

Дьёни Г., Овчинникова Б. Протоверенгры на Урале в трудах венгерских и российских ученых. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2008. 196 с. [D'yoni G., Ovchinnikova B. Protovengry na Urale v trudakh vengerskikh i rossijskikh uchenykh. Ekaterinburg : Bank kul'turnoj informatsii, 2008. 196 s.]

Краус Т. Ленин: Социально-теоретическая реконструкция. М. : Наука, 2011. [Kraus T. Lenin: Sotsial'no-teoreticheskaya rekonstruktsiya. M. : Nauka, 2011.]

Курунцы Е. Региональность и укладность (социально-экономические отношения) в крестьянских хозяйствах по отдельным статистическим данным (1861–1914 гг.) // Региональные школы русской историографии = Regional Schools of Russian Historiography / ed. Gy. Svak. Budapest : Russica Pannonicana, 2007. P. 168–174. [Kuruntsi E. Regional'nost' i ukladnost' (sotsial'no-ekonomicheskie otnosheniya) v krest'yanskikh khozyajstvakh po otde'nym statisticheskim dannym (1861–1914 gg.) // Regional'nye shkoly russkoj istoriografii = Regional Schools of Russian Historiography / ed. Gy. Svak. Budapest : Russica Pannonicana, 2007. P. 168–174.]

Макаш Я. Проблематика единства древнерусского государства // Государственность, дипломатия, культура в Центральной и Восточной Европе XI–XVIII веков / ред. кол.: Т. М. Исламов, Н. М. Рогожин, О. В. Хаванова (отв. ред.). М. : Ин-т славяноведения РАН, 2005. (Центральноевропейские исследования. Вып. 3). С. 21–37. [Makai Ya. Problematika edinstva drevnerusskogo gosudarstva // Gosudarstvennost', diplomatiya, kul'tura v Tsentral'noj i Vostochnoj Evrope XI–XVIII vekov / red. kol.: T. M. Islamov, N. M. Rogozhin, O. V. KHavanova (otv. red.). M. : In-t slavyanovedeniya RAN, 2005. (Tsentral'noevropejskie issledovaniya. Vyp. 3). S. 21–37.]

Медушевский А. Н. «Русская парадигма» и ее переосмысление в историографии стран Центральной и Восточной Европы: к 15-летию Центра русистики Будапештского университета им. Лоранда Этвеша // Российская история. 2011. № 3. С. 168–174. [Medushevskij A. N. «Russkaya paradigma» i ee pereosmyslenie v istoriografii stran Tsentral'noj i Vostochnoj Evropy: k 15-letiyu Tsentra rusistiki Budapeshtskogo universiteta im. Loranda Etvesha // Rossijskaya istoriya. 2011. N 3. S. 168–174.]

Мольнар Л. В. Медик и педагог Янош Орлаи (1770–1829) в России // Specimina Nova (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve) / ed. Gy. Bebesi. Pécs, 2001a. O. 198–216. [Mol'nar L. V. Medik i pedagog Yanosh Orlai (1770–1829) v Rossii // Specimina Nova (A Pcsi Tudomnyegyetem Trtneti Tanszkeinekvyknyve) / ed. Gy. Bebesi. Pécs, 2001. O. 198–216.]

Мольнар Л. В. Немецкие ученые в Петербургской академии (1725–1800) // Место России в Евразии / The Place of Russia in Eurasia / ed. Gy. Szvák. Budapest : Russica Pannonicana, 2001b. (Ruszsiztikai Könyvek IX). P. 266–274. [Mol'nar L. V. Nemetskie uchyonye v Peterburgskoj akademii (1725–1800) // Mesto Rossii v Evrazii / The Place of Russia in Eurasia / ed. Gy. Szvák. Budapest : Russica Pannonicana, 2001. (Ruszsiztikai Könyvek IX). P. 266–274.]

Мольнар Л. В. Деятельность педагогов-выходцев из Венгрии в России (1703–1848) // Studia Slavica. 2004. № 3–4. С. 315–339. [Mol'nar L. V. Deyatel'nost' pedagogov-vykhodtsev iz Vengrii v Rossii (1703–1848) // Studia Slavica. 2004. N 3–4. С. 315–339.]

Мольнар Л. В. Михаил Ломоносов, чье имя носит Московский университет // Studia Slavica. 2006. № 1–2 (51). С. 123–139. [Mol'nar L. V. Mikhail Lomonosov, ch'è imya nosit Moskovskij universitet // Studia Slavica. 2006. N 1–2 (51). S. 123–139.]

Образы России с XVII по XXI вв. / ред. Д. Свак. Будапешт : Russica Pannonicana, 2013. [Obrazy Rossii s XVII po XXI vv. / red. D. Svak. Budapesht : Russica Pannonicana, 2013.]

Перестройка и смена собственности: Политические концепции и историческая реальность / под ред. Т. Крауса. М., 2009. [Perestrojka i smena sobstvennosti: Politicheskie kontseptsii i istoricheskaya real'nost' / pod red. T. Krausa. M., 2009.]

Свак Д. Венгерская русистика в десятилетие смены режима // Новые направления и результаты в русистике / New Directions and Results in Russistics / под ред. Д. Свака. Вурапест : Russica Pannonicana, 2005. P. 14–17. [Svak D. Vengerskaya rusistika v desyatiletie smeny rezhima // Novye napravleniya i rezul'taty v rusistike / New Directions and Results in Russistics / pod red. D. Svaka. Vurapest : Russica Pannonicana, 2005. P. 14–17.]

Свак Д. Несколько методологических и историографических замечаний о «самозванчестве» // Самозванцы и самозванчество в Московии / ред. Д. Свак. Будапешт : Russica Pannonicana, 2010a. С. 38–65. [Svak D. Neskol'ko metodologicheskikh i istoriograficheskikh zamechanij o «samozvanchestve» // Samozvantsy i samozvanchestvo v Moskovii / red. D. Svak. Budapesht : Russica Pannonicana, 2010. S. 38–65.]

Свак Д. Россия и ее имидж // Образ России с центрально-европейским акцентом : сб. ст. и материалов / под ред. Д. Свака, И. Кишш. Будапешт : Russica Pannonicana, 2010b. С. 9–15. [Svak D. Rossiya i ee imidzh // Obraz Rossii s tsentral'no-evropejskim aktsentom : sb. st. i materialov / pod red. D. Svaka, I. Kishsh. Budapesht : Russica Pannonicana, 2010. S. 9–15.]

Свак Д. Русская парадигма. Русофобские заметки русофила. СПб. : Алетейя, 2010в. 178 с. [Svak D. Russkaya paradigma. Rusofobskie zametki rusofila. SPb. : Aletejya, 2010v. 178 s.]

Свак Д. Р. Г. Скрынников: историк и мир – мир историка. (Опыт реконструкции) // Русистика Руслана Скрынникова : сб. ст. памяти профессора Р. Г. Скрынникова, в честь его 80-летия / под ред. Д. Свака, И. О. Тюменцева. Budapest : Russica Pannonicana, 2011a. (Книги по русистике XXX). С. 9–21. [Svak D. P. G. Skrynnikov: istorik i mir – mir istorika. (Opyt rekonstruktsii) // Rusistika Ruslana Skrynnikova : sb. st. pamyati professora R. G. Skrynnikova, v chest' ego 80-letiya / pod red. D. Svaka, I. O. Tyumentseva. Budapest : Russica Pannonicana, 2011. (Knigi po rusistike XXX). С. 9–21.]

Свак Д. Европейский авантюрист из Московии // Az Ankungyinov-ügy: Egy európai kalandor Moszkóviából / ed. Gy. Szvák. Будапешт : Russica Pannonicana, 2011b. С. 11–25. [Svak D. Evropejskij avanyurist iz Moskovii // Az Ankungyinov-ügy: Egy európai kalandor Moszkóviából / ed. Gy. Szvák. Budapesht : Russica Pannonicana, 2011. S. 11–25.]

Свак Д. Параллельные биографии – судьба историка в Советском Союзе и Венгрии. Штрихи к портрету Руслана Скрынникова и Йозефа Перени // Историк и мир – мир историка в России и Центрально-Восточной Европе / гл. ред. Д. Свак. Будапешт, 2012. (Книги по русистике XXXVI). С. 15–26. [Svak D. Parallel'nye biografii – sud'ba istorika v Sovetskom Soyuze i Vengrii. SHtrikhi k portretu Ruslana Skrynnikova i Jozhefa Pereni // Istorik i mir – mir istorika v Rossii i Tsentral'no-Vostochnoj Evrope / gl. red. D. Svak. Budapesht, 2012. (Knigi po rusistike XXXVI). S. 15–26.]

Свак Д. Россиеведение в Венгрии, или Откуда есть пошла русистика, кто въ Будапеште нача первее учити? // Гуманитарные чтения РГГУ – 2012 / под ред. Е. И. Пивовар. М. : РГГУ, 2013. С. 76–85. [Svak D. Rossievedenie v Vengrii, ili Otkuda est' poshla rusistika, kto v' Budapeshte nacha pervee uchiti? // Gumanitarnye chteniya RGGU – 2012 / pod red. E. I. Pivovar. M. : RGGU, 2013. S. 76–85.]

Сили Ш. К вопросу об истоках евразийской идеи. Влияние «физико-антропологической теории А. П. Щапова на формирование взглядов евразийцев» //

Место России в Европе = The Place of Russia in Europe : материалы междунар. конф. / ред. Д. Свак. Budapest, 1999. (Ruszsiztikai Könyvek V. Magyar Ruszsiztikai Intézet). С. 263–269. [Sili Sh. K voprosu ob istokakh evrazijskoj idei. Vliyanie «fiziko–antropologicheskoy teorii A. P. Schapova na formirovanie vzglyadov evraziytsev» // Mesto Rossii v Evrope = The Place of Russia in Europe : materialy mezhdunar. konf. / red. D. Svak. Budapest, 1999. (Ruszsiztikai Könyvek V. Magyar Ruszsiztikai Intézet). С. 263–269.]

Сили Ш. Возникновение и источники теории «колонизации» С. М. Соловьёва // Вopr. истории. 2002. № 6. С. 150–154. [Sili Sh. Vozniknovenie i istochniki teorii «kolonizatsii» S. M. Solov'yova // Vopr. istorii. 2002. N 6. С. 150–154.]

Сили Ш. С. В. Бахрушин и разработка вопросов истории Сибири XVI–XVII вв. // Место России в Европе и Азии : сб. науч. тр. / ред. Д. Свак. Будапешт : Центр Русистики ; М. : ИНИОН РАН, 2010. С. 231–240. [Sili Sh. S. V. Bakhrushin i razrabotka voprosov istorii Sibiri XVI–XVII vv. // Mesto Rossii v Evrope i Azii : sb. nauch. tr. / red. D. Svak. Budapest : Tsentr Rusistiki ; M. : INION RAN, 2010. С. 231–240.]

Сили Ш. Р. Г. Скрынников и концептуальная проблема присоединения Сибирского ханства к России. Опыт дискуссии в поздней советской исторической науке // Русистика Руслана Скрынникова : сб. ст. памяти проф. Р. Г. Скрынникова в честь его 80-летия / под ред. Д. Свака, И. О. Тюменцева. Будапешт ; Волгоград : [б. и.], 2011. С. 22–41. (Книги по русистике XXX.) [Sili Sh. R. G. Skrynnikov i kontseptual'naya problema prisoedineniya Sibirskogo khanstva k Rossii. Opyt diskussii v pozdnej sovetskoj istoricheskoy nauke // Rusistika Ruslana Skrynnikova : sb. st. pamyati prof. R. G. Skrynnikova v ches't ego 80-letiya / pod red. D. Svaka, I. O. Tyumentseva. Budapest ; Volgograd : [b. i.], 2011. С. 22–41. (Knigi po rusistike XXX.)]

Сили Ш. В. А. Александров как историк Сибири и десталинизация исторической науки в СССР // Историк и мир — мир историка в России и Центрально-Восточной Европе = Historians and the World — The World of Historians in Russia and Central and Eastern Europe / под ред. Д. Свака. Budapest, 2012. (Ruszsiztikai Könyvek XXXVI). С. 229–238. [Sili Sh. V. A. Aleksandrov kak istorik Sibiri i destalinizatsiya istoricheskoy nauki v SSSR // Istorik i mir — mir istorika v Rossii i Tsentral'no-Vostochnoj Evrope = Historians and the World — The World of Historians in Russia and Central and Eastern Europe / pod red. D. Svaka. Budapest, 2012. (Ruszsiztikai Könyvek XXXVI). S. 229–238.]

Филиппов С. Б. О метафоре «симфонии» применительно к русской истории // Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest, 1998. С. 133–139. [Filippov S. B. O metafore «simfonii» primenitel'no k russkoj istorii // Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest, 1998. С. 133–139.]

Филиппов С. Б. Раскол в русской церкви и юго-западнорусская ученость. Доклад на конференции «Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: миграция слов, выражений и идей». Будапешт, 6–7 апреля 2000 г. // Studia Russica, XVIII. Budapest, 2000. С. 65–70. [Filippov S. B. Ras-kol v russkoj tserkvi i yugo-zapadnorusskaya uchenost'. Doklad na konferentsii «Yazyki v Velikom knyazhestve Litovskom i stranakh sovremennoj Tsentral'noj i Vostochnoj Evropu: migratsiya slov, vyrazhenij i idej». Budapest, 6–7 aprelya 2000 g. // Studia Russica, XVIII. Budapest, 2000. S. 65–70.]

Филиппов С. Б. Образ Московской Руси в спорах между самобытниками и европеистами в XIX веке. (Карамзин, Чаадаев, славянофилы) // Место России в Евразии = The Place of Russia in Eurasia / ed. Gy. Szvák. Budapest, 2001a. С. 274–282. [Filippov S. B. Obraz Moskovskoj Rusi v sporakh mezhd samobytnikami i evropеistami v XIX veke. (Karamzin, SChaadaev, slavyanofily) // Mesto Rossii v Evrazii = The Place of Russia in Eurasia / ed. Gy. Szvák. Budapest, 2001a. S. 274–282.]

Филиппов С. Б. Христианская святость и языческая магия в летописном повествовании о княгине Ольге. (Христианская мудрость и языческая хитрость) // Studia Slavica Hung. 46. 20016. [Filippov S. B. Khristianskaya svyatost' i yazycheskaya magiya v letopisnom povestvovanii o knyagine Ol'ge. (Khristianskaya mudrost' i yazycheskaya khitrost') // Studia Slavica Hung. 46. 2001.]

Филиппов С. Б. Был ли патриарх Никон «папистом»? // Studia Russica. XX. Budapest, 2003a. С. 109–116. [Filippov S. B. Byl li patriarkh Nikon «papistom»? // Studia Russica. XX. Budapest, 2003a. S. 109–116.]

Филиппов С. Б. Княгиня Ольга как паломница // Jews and Slavs. Vol. 10 : Semiotics of Pilgrimage / ed. by W. Moskovich, S. Schwarzband. Jerusalem, 2003b. P. 33–42. [Filippov S. B. Knyaginya Ol'ga kak palomnitsa // Jews and Slavs. Vol. 10 : Semiotics of Pilgrimage / ed. by W. Moskovich, S. Schwarzband. Jerusalem, 2003b. P. 33–42.]

Филиппов С. Б. Злая судьба доброго человека // *A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére.* Budapest, 2004. O. 13–20. [Filippov S. B. Zlaja sud'ba dobrogo cheloveka // *A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére.* Budapest, 2004. O. 13–20.]

Филиппов С. Б. Обрядовое как историческая проблема // *Новые направления и результаты в русистике = New Directions and Results in Russistics.* Budapest, 2005a. С. 98–104. [Filippov S. B. Obryadoverie kak istoricheskaya problema // *Novye napravleniya i rezul'taty v rusistike = New Directions and Results in Russistics.* Budapest, 2005. S. 98–104.]

Филиппов С. Б. Религиозная борьба в России середины XVII в. и кризис традиционной культуры // *Russica Hungarica. Исследования по русской литературе и культуре: Русистика в Будапештском университете имени Этвеша Лоранда.* Budapest ; M. : 2005б. С. 24–42. [Filippov S. B. Religioznaya bor'ba v Rossii serediny XVII v. i krizis traditsionnoj kul'tury // *Russica Hungarica. Issledovaniya po russkoj literature i kul'ture: Rusistika v Budapeshtskom universitete imeni Etvesha Loranda.* Budapest ; M. 2005. S. 24–42.]

Филиппов С. Б. «Эпистолярный поединок». Пушкин и Чаадаев о церкви, государстве и европейской цивилизации // *Sub Rosa. Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére.* Budapest, 2005в. С. 161–173. [Filippov S. B. «Epistoljarnyj poedinok». Pushkin i Chaadaev o tserkvi, gosudarstve i evropejskoj tsivilizatsii // *Sub Rosa. Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére.* Budapest, 2005. S. 161–173.]

Филиппов С. Б. Зарождение основных интерпретаций раскола в русской церкви // *Региональные школы русской историографии / ed. Gy. Szvák.* Budapest, 2007a. С. 130–139. [Filippov S. B. Zarozhdenie osnovnykh interpretatsij raskola v russkoj tserkvi // *Regional'nye shkoly russkoj istoriografii / ed. Gy. Szvk.* Budapest, 2007. С. 130–139.]

Филиппов С. Б. Религиозная борьба и кризис традиционализма в России XVII века. Будапешт : *Russica Pannonicana*, 2007б. (Книги по русистике XIX). [Filippov S. B. Religioznaya bor'ba i krizis traditsionalizma v Rossii XVII veka. Budapesht : *Russica Pannonicana*, 2007. (Knigi po rusistike XIX).]

Филиппов С. Б. Первые российские консерваторы и проблема модернизации России (первая половина XIX века) // *Государство и нация в России и Центрально-Восточной Европе / ed. Gy. Szvák.* Budapest, 2009. С. 207–213. [Filippov S. B. Pervye rossijskie konservatory i problema modernizatsii Rossii (pervaya polovina XIX veka) // *Gosudarstvo i natsiya v Rossii i Tsentral'no-Vostochnoj Evrope / ed. Gy. Szvák.* Budapest, 2009. S. 207–213.]

A játék hatalma: Futball – pénz – politika / ed. T. Krausz, M. Mitrovits. Budapest : L'Harmattan – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2008.

A sztálinizmus hétköznapijai / ed. T. Krausz. Budapest, 2003.

Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után / ed. J. Juhasz, T. Krausz. Budapest : L'Harmattan – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2009.

Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII. század / ed. S. Filippov. Budapest, 2006.

Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század / ed. S. Filippov. Budapest, 2007.

Baráth – Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953–1956. Kiszelyov és Andropov titkos jelentései / ed. M. Baráth. Budapest, 2002.

Bíró Z. Sz. Az orosz történelmi fejlődés különössége: rivális koncepciók és az önreflexió hagyományai // *Replika.* 1995. December.

Bíró Z. Sz. Liberalizmus a századelő Oroszországában // *Múltunk.* 1998. 3–4.

Bíró Z. Sz. Politikátörténeti vázlat a késői Szovjetunióról // *Peresztrojka és tulajdonát-helyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985–1991) / ed. T. Krausz, Sz. Z. Bíró.* Budapest, 2003. (Ruszisztikai Könyvek XII). O. 11–51.

Bíró Z. Sz. Oroszország: válságos évek. Budapest, 2012.

Bíró Z. Sz. A szovjet végjáték // *Megroppant a világrend. 1989–1991. Célok, szereplők, következmények.* Budapest, 2013a. O. 21–49.

Bíró Z. Sz. Gondolatok egy orosz dokumentumkötet kapcsán // *Világtörténet.* 2013b. 4.

Bodnár E. A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a 19. század első felében (tanulmányok). Budapest, 2008.

Czövek I. Magyarország és Ausztria az orosz sajtó tükrében. Nyíregyháza, 2006.

Filippov S. A politikai gondolkodás kezdetei Oroszországban. Karamzin a régi és új Oroszországról // *AETAS.* 2003. № 1. O. 5–32.

Font M. Völker – Kultur – Beziehungen. Zur Entstehung der Regionen in der Mitte des mittelalterlichen Europa. Hamburg, 2013.

- Font M., Krausz T., Niederhauser E. et al. Oroszország története / ed. Gy. Szvák. Budapest, 1997; 2001.
- GULAG. A szovjet táborrendszer története / ed. T. Krausz. Budapest, 2001.
- Gyóni G. Hungarian Traces in Place-Names in Bashkiria // Acta Ethnographica Hungarica 53. 2008. P. 279–305.
- Gyóni G. Szvák Gyula: Az orosz paradigma // Klió. 2010. № 3. O. 26–30.
- Gyóni G. A történelmi Oroszország népei. Adattár. Budapest, 2011a.
- Gyóni G. Andrej Vlagyimirovics Golovnyov: A mozgás antropológiája // Klió. 2011b. № 1. O. 18–24.
- Gyóni G. Az Ankungyinov-ügy. Egy európai kalandor Moszkóviából // Klió. 2012a. № 3. O. 48–50.
- Gyóni G. Jurij Pivovarov – Szvák Gyula: Oroszország helye Európában és Ázsiában // Klió. 2012b. O. 30–35.
- Jelcin és a Jelcinizmus / ed. T. Krausz. Budapest : Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
- Kolontári A. Magyar-szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok 1920–1941. Budapest, 2009.
- Krausz T. Pártviták és történettudomány: Viták „az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól”, különös tekintettel az 1920-as évekre. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1991.
- Krausz T. Niederhauser Emil Kelet-Európa koncepciójáról. A történész 70. születésnapjára // Krausz T. Megélt rendszerváltás. Budapest : Cégér Kiadó, 1994. O. 177–198.
- Krausz T. Kutatás közben. Megjegyzések a Lenin-tematikához az „új” dokumentumok fényében // Krausz T. Lenintől Putyinig. Tanulmányok és cikkek 1994–2003. Budapest : La Ventana, 2003a. O. 15–27.
- Krausz T. Sztálin élete és kora. Budapest, 2003b.
- Krausz T. The Soviet and Hungarian Holocausts: A Comparative Essay. New York : Columbia Univ. Press, 2006.
- Krausz T. A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947. Budapest : L'Harmattan, 2013.
- Krausz T. Reconstructing Len // An Intellectual Biography. New York : Monthly Review Press, 2014.
- Molnár L. V. Tokaji borok a cárok asztalán // Világtörténet. 1998. tavasz – nyár. O. 37–44.
- Molnár L. V. Orosz utazók feljegyzései Magyarországról a 17. század végétől 1815-ig // Hungarológia. 1999. № 1–2. O. 50–83.
- Molnár L. V. Magyar–oroszk kulturális kapcsolatok (1750–1815). Piliscsaba, 2000.
- Molnár L. V. Magyar orvosok II. Katalin Oroszországában. (Kapcsolattörténeti portrévázlatok) // A Kárpát-medence vonzásában. (Tanulmánykötet Polányi Imre emlékére). Pécs, 2001a. O. 543–566.
- Molnár L. V. Magyar-oroszk kulturális kapcsolatok a XVIII. században // Valóság. 2001b. № 3. O. 63–70.
- Molnár L. V. Életutak találkozása – Tessedik és Szamborszkij. (Kapcsolattörténeti adalékok két polihisztor tevékenységéhez) // Valóság. 2002. № 8. O. 22–32.
- Molnár L. V. Kulturális kontaktológia és történelemtanítás // Történelem (Módszertani lap). 2003. № 1. O. 1–11.
- Molnár L. V. Életutak találkozása 1703–1848 (Érdekes fejezetek a tudományos kapcsolatok történetéből) . Piliscsaba, 2004a.
- Molnár L. V. Szomszédok — egymás között, egymásról. A 18. századi magyar–oroszk kulturális érintkezések problémátörténeti vázlata // Világtörténet. 2004b, tavasz–nyár. O. 44–52.
- Molnár L. V. Magyarok és oroszok a kapcsolattörténet tükrében (A XVIII. századi kulturális érintkezések tanulságai) // A Magyar-oroszk kapcsolatok tizenkét évszázada / ed. Gy. Szvák. Budapest, 2005. O. 39–44.
- Molnár L. V. II. Katalin és a török félhold // Valóság. 2007. № 4. O. 27–38.
- Molnár L. V. Alekszandr Vasziljevics Szuovorov (1730–1800) // A tizenkét legnagyobb orosz / ed. Gy. Szvák. Budapest, 2009a. O. 157–176.
- Molnár L. V. II. Katalin (1762–1796) // A tizenkét legnagyobb orosz / ed. Gy. Szvák. Budapest, 2009b. O. 217–235.
- Molnár L. V. Magyarok és oroszok a kulturális kapcsolattörténet tükrében (1711–1825). Keszthely, 2010.
- Molnár L. V. Utak egymás felé (Magyar–oroszk kapcsolattörténeti adalékok 1711–1848). Keszthely, 2011.

- Molnár L. V. II. Katalin és a francia „métely” // *Valóság*. 2012. № 5. O. 16–26.
- Molnár L. V. Oroszország megmentője, Napóleon legyőzője (Mihail Kutuzov tábornagy, 1745–1813) // *Valóság*. 2013. № 8. O. 10–13.
- Niederhauser E., Szvák Gy. A Romanovok. Budapest, 2002.
- Regional'nye shkoly russkoi istoriografii / Regional Schools of Russian Historiography* / ed. Gy. Szvák. Budapest : Russica Pannonicana, 2007.
- Sashalmi E. Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején – az írott források és az ikonográfia tükrében. Pécs : Kronosz Kiadó, 2013.
- Seres A. Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 1920–1941. Budapest, 2010.
- Szili S. Magyar vitézek cári zsoldban a 16. század végén – 17. század első felében // *Találkozások Oroszországgal. Szláv Történeti és Filológiai Társaság. „Oroszország népeinek története” sorozat*. 9. köt. Berzsenyi Dániel Főiskola. Szombathely, 2003. O. 97–108.
- Szili, 2005a – A középkori orosz történelem forrásai. Egyetemi segédkönyv / ed. S. Szili. Budapest : Pannonica, 2005a. 318 o.
- Szili S. Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban. Budapest : Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005b. (Ruszisztikai Könyvek XIV).
- Szili, 2009a – A normannkérdés az orosz történelemben. I. Források / ed. S. Szili. Budapest : Russica Pannonicana, 2009a. 327 o.
- Szili S. Hunyadi Mátyás szövetsége és a „magyarkérdés” az orosz diplomáciában a 15–16. század fordulóján // *Századok* 143. 2009b. № 4. O. 773–800.
- Szili S. Izjaszlav Jaroszlavics kijevi fejedelem bulláinak léteprendszere. (A rózsza mint keresztény szimbólum a 11. századi keleti szláv történelemben: I.) // *Századok* 144. 2010. № 2. O. 373–394.
- Szili S. A Codex Gertrudianus datálása. (A rózsza mint keresztény szimbólum a 11. századi keleti szláv történelemben: II.) // *Századok* 145. 2011. № 2. O. 419–455.
- Szili S. Kagan — A Ruler's Title in Early Eleventh-Century Kievan Rus? Ilarion's "On Law and Grace" as a Historical Source // *Canadian-American Slavic Studies*. Vol. 47. 2013. Issue 4. P. 373–385.
- Szkrinnnyikov R. Az Orosz Birodalom születése. Budapest : Maecenas, 1997. 323 o.
- Szkrinnnyikov R. Puskin halála. Budapest : Pannonica, 2000. 278 o.
- Szvák Gy. Furkósbottal Európába. I. Péter: érvek – ellenérvek. Budapest, 1989.
- Szvák Gy. IV. Iván és I. Péter utóélete. Budapest, 2001.
- Szvák Gy. A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája // *Szvák Gy. Oroszország helye Euráziában*. Budapest : Pannonica, 2006. O. 162–165.
- Szvák Gy. A legitím és illegitím cár helycseréje Moszkóviában (Néhány módszertani és historiográfiai megjegyzés) // *Századok*. 2009a. № 4. O. 981–996.
- Szvák Gy. Mit is értünk „oroszságismeret” alatt // *Orosz Negyed / Russkiy Kvartal*. Budapest, 2009b, nyár-ősz.
- Szvák Gy. A „korlátlan” cári hatalom korlátai Moszkóviában // 2000. 2010. № 1. O. 65–69.
- Szvák Gy. Egy európai szélhámos Moszkóviából // *Az Ankungyinov-ügy: Egy európai kalandor Moszkóviából* / ed. Gy. Szvák. Budapest : Russica Pannonicana, 2011a. O. 9–21.
- Szvák Gy. Kis magyar ruszisztika. Budapest : Russica Pannonicana, 2011b.
- Szvák Gy. Párhuzamos sorsok. Történésznek lenni a Szovjetunióban és Magyarországon (Ruszlán Szkrinnnyikov és Perényi József portréjához) // *Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára* / ch. ed. G. Erdődy. Budapest, 2013a. O. 516–521.
- Szvák Gy. R. G. Skrynnikov: The Historian and the World – the World of the Historian (An Attempt at Reconstruction) // *Essays in Honor of Ruslan Grigor'evich Skrynnikov – part 1* / ed. Gy. Szvák, Ch. Dunning, I. Tiumentsev (Canadian-American Slavic Studies. 2013b. Vol. 47. No 3). P. 263–274.
- Szvák Gy., *Kvász I.* Klió, a család szépe – Klió, a néptanító. Budapest, 2013. (Ruszisztikai Könyvek XXXVII).
- The Golden Age of Russian Historical Writing: The Nineteenth Century* // *Oxford History of Historical Writing*. Vol. 4: 1800–1945 / red. S. Macintyre, J. Maigushca, A. Pók. Oxford : Oxford Univ. Press, 2011.
- The Place of Russia in Europe and Asia* / ed. by Gy. Szvák. New Jersey : Center for Hungarian Studies and Publications : Columbia Univ. Press, 2010. (CHSP Hungarian Author Series No. 5. East European Monographs. No. DCCLXIX).
- Varga B. Önállóság, autonómia vagy alávetettség? Ukrajna 1648–1709 között. Szeged, 2008.

Zsidók Oroszországban 1900–1929 / ed. T. Krausz. Budapest, 1995. (Ruszisztikai Könyvek I).

The article was submitted on 10.12.2013

Дюла Свак, проф.
Венгрия, Будапешт,
Университет им. Лоранда Этвёша
russistics@ludens.elte.hu

Gyula Szvák, prof.
Hungary, Budapest,
Eotvos Lorand University
russistics@ludens.elte.hu



Dialogus



УДК 94(470)“1917” + 355.01

Владимир Бабинцев,
Константин Бугров

**«РУССКИЙ ДНЕВНИК» П. ПАСКАЛЯ:
ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ ГЛАЗАМИ
ФРАНЦУЗСКОГО ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА***

**P. PASCAL'S RUSSIAN DIARY:
WAR AND REVOLUTION IN RUSSIA THROUGH THE EYES
OF A FRENCH MILITARY EXPERT**

Владимир Бабинцев, доцент Уральского федерального университета, хорошо известный многочисленными переводами французских научных трудов на русский язык (включая Жака Ле Гоффа и Эммануэля Ле Руа Ладюри среди прочих), представляет новый перевод. На этот раз речь идет об аутентичном источнике, а не о переводе исследования: первый том «Русского дневника», написанного Пьером Паскалем, членом французской военной миссии в России времен Первой мировой войны. В беседе с Константином Бугровым, научным сотрудником лаборатории эдиционной археографии Уральского федерального университета, Владимир Бабинцев касается различных аспектов дневника Паскаля, первый том которого охватывает 1916 и 1917 годы. Что Пьер Паскаль думал о войне, военной дисциплине и революции? Каков был его интерес к религии и «загадочной русской душе» – загадка, которую он решал в течение 17 лет, пока в 1933 году не покинул Советский Союз ради Франции. Хотя Паскаль стяжал себе во Франции репутацию «левого», первый том его «Дневника» в гораздо большей степени посвящен вопросам религии и национальной идентичности, а Владимир Соловьев упоминается чаще Владимира Ленина. Все эти аспекты, без сомнения, делают работу Паскаля интересной для широкого круга русских читателей.

Ключевые слова: Пьер Паскаль; революция в России; Первая мировая война; Владимир Соловьев; национальная идентичность.

* Статья подготовлена в рамках реализации гранта Правительства РФ по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации. (Лаборатория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор № 14.A12.31.0004 от 26.06.2013 г.

Vladimir Babintzev, a professor at Ural Federal University, well-known for translating numerous French, scholarly works into Russian (Jacques Le Hoffe and Emmanuel Le Roi Ladurie among others), will offer a new translation. This new translation will be of a primary source, instead of a scholarly work: i.e., the 1st volume of Russian Diary written by Pierre Pascal, a member of French military mission in Russia during the First World War. In a talk with Konstantin Bugrov, a researcher in the laboratory for studying primary sources at Ural Federal University, Babintzev discusses different aspects of Pascal's diary, the 1st volume of which covers years 1916 and 1917. What did Pierre Pascal think of war, discipline and revolution? What was his interest in religion and in the 'mysterious Russian soul': a riddle he sought to solve for 17 years, until he left the Soviet Union for France in 1933. And although he gained a reputation for being a 'leftist' in France, the 1st volume of his Russian Diary deals much more with religion and national identity. Indeed Vladimir Soloviev is mentioned much more often than Vladimir Lenin. All these aspects surely make this a pioneering translation of Pascal's work, which will attract the interest of a broad range of Russian readers.

Keywords: Pierre Pascal; revolution in Russia; The First World War; Vladimir Solovyov; national identity.

Константин Бугров: Сегодня нам предстоит беседа об интереснейшем переводе на русский язык интереснейшего источника (я не оговорился – и перевод, и источник действительно интересны в превосходной степени) по истории России на переломе 1916–1918 гг. Это «Русский дневник» Пьера Паскаля – специалиста французской военной миссии в России, после революции задержавшегося в республике Советов на десяток лет, а затем вернувшегося во Францию и ставшего одним из виднейших французских русистов.

Ученый? Военный? Мыслитель? Я очень консервативно охарактеризовал «Дневник» как источник по истории России. С такой же легкостью можно его считать источником по истории... в России – истории француза в России, европейца в России, верующего католика в России на крутом повороте в судьбе страны. А еще я бы сказал, что «Дневник» – это отличный источник по истории парадоксов; исторической науке, которая еще вчера была озабочена в основном «железными закономерностями», неплохо было бы открыть сегодня и такое направление.

Предваряя беседу, необходимо сделать небольшой экскурс. Владимир Алексеевич Бабинцев – доцент кафедры новой и новейшей истории Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета, научный сотрудник вновь созданной лаборатории эдиционной археографии ИГНИ УрФУ, переводчик-исследователь. Именно в переводе Владимира Бабинцева русский читатель познакомился за последнее десятилетие с классикой французской исторической мысли второй половины XX в.: «Монтайю» Эммануэля ле Руа Ладюри, с «Другим Средневековьем» Жака ле Гоффа, с «Цивилизацией классической Европы» Пьера Шоню...



Pierre Pascal, Moscou, 19 juin 1921.

Владимир Алексеевич, как полагается историкам, предлагаю начать с истории. Почему вы выбрали именно Пьера Паскаля? Почему именно «Русский дневник»? У вашего выбора есть, я думаю, собственная история?..

Владимир Бабинцев: Ситуации выбора не было. Было открытие. В годы горбачевской «перестройки», когда разворачивалось переосмысление советского периода отечественной истории, меня заинтересовал феномен западного «попутничества» большевизму. Принципиально важным представлялось понять причины временного соприкосновения с траекторией большевизма человеческих траекторий, практически и теоретически с ним несовместимых.

Например, в эволюции левого интеллектуала Виктора Сержа (В. Л. Кибальчича) от анархизма к большевизму и к разрыву с ним

через троцкизм не было ничего парадоксального. Парадоксальным выглядело «попутничество» его свояка – они были женаты на сестрах Русаковых – Пьера Паскаля (1890–1983), человека консервативных взглядов, глубоко верующего католика. В отличие от В. Сержа его не назовешь политическим деятелем. Пьер Паскаль вошел в анналы прежде всего как ученый, корифей французской славистики, автор классического перевода на французский язык памятника русской литературы XVII в. «Житие протопопа Аввакума» и нестареющей монографии «Аввакум и начала раскола» (1938). Этот труд с гигантским опозданием (2011) вышел на русском языке в московском издательстве «Знак» под спорным заглавием «Протопоп Аввакум и начало раскола». Стоит ознакомиться с предисловием Паскаля, чтобы понять авторский замысел и степень некорректности смены множественного числа на единственное число в русском переводе заглавия. Паскаля интересовали именно *начала*: истоки, причины, факторы церковного раскола, а не его событийная история, отмеченная переходом раскола после знаменитого Собора 1666 г. из процесса в состояние...



Впрочем, мы отклоняемся от поставленного вопроса. Итак, произошло открытие личности Паскаля и знакомство с швейцарским изданием его «Русского дневника 1916–1918» (1975). Это издание не подавалось как первый том (позднее в том же издательстве L'Age d'Homme выйдут три следующих тома – в 1977 и 1982 гг.). Книга показалась мне настолько интересной, что я потратил четверть века, добываясь издания «Русского дневника» на русском языке. И только в этом году, благодаря созданию лаборатории эдиционной археографии Института гуманитарных наук и искусств УрФУ в рамках мегапроекта под руководством профессора Мари-Пьер Рей, дело сдвинулось с мертвой точки.

Константин Бугров: А что собой представляет «Русский дневник» в жанровом отношении? Мы и впрямь можем считать его дневником? Или это все-таки «дневник», который на самом деле готовился к публикации и, таким образом, является в большей степени публицистическим сочинением?

Нельзя, конечно, сказать, что Пьер Паскаль стоит в одном ряду, например, с маркизом де Кюстином или Гербертом Уэллсом, которые создали публицистические сочинения по итогам своих визитов в Россию, но ведь это все-таки не совсем дневник? Там есть обширные авторские отступления, а в целом ряде мест автор с удовольствием распространяется о специфических свойствах «русского характера». Ваше мнение?

Владимир Бабинцев: Да, ваши соображения относительно неоднозначности самого жанра дневника абсолютно справедливы. У вышеупомянутого В. Сержа под титулом «Записные книжки» (1985) вышло сочинение в квазидневниковой форме, с указанием дня, месяца и года записи. Но при этом в дневник были занесены не текущие впечатления и сведения, а реминисценции, отделенные от дня фиксации порой десятком лет. Конечно, темой исследования могло бы стать выяснение того, что именно в тот или иной день побудило вспомнить прошлое, но это уже не документ эпохи, не дневник, а скорее сочинение мемуарного характера. Да, в форме дневника могут обнаруживаться сочинения публицистические, которые издавались постфактум после соответствующей обработки. Возможно искажение документов эпохи, если они намеренно готовились с прицелом на будущую публикацию.

Мне довелось как-то уехать работать в далекую экзотическую страну. Письма одного хорошего коллеги, вполне адекватного и прекрасно владеющего словом, вдруг сделались чудовищно глубокомысленными и манерными. На мой вопрос: «Что с тобой?» – он с обезоруживающей искренностью ответил: «Это на случай издания потомками нашего эпистолярного наследия»...

Паскаль начал вести свой «Русский дневник» «для себя», будучи молодым 25-летним лейтенантом, оказавшимся в России в 1916 г. в составе французской военной миссии. Он не страдал тогда ни манией величия, ни упованиями на будущую публикацию. Он просто стремился понять страну пребывания, проникнуть в тонкости души ее народа, разобраться в текущих событиях и зафиксировать все это для памяти. Опыт пребывания в России (1916–1933) оказался настолько неоднозначным, что Паскаль около полувека не касался своих русских записок и вообще не любил говорить на тему своего «попутничества» большевизму. Можно предполагать, что в первой половине 70-х гг. XX в. решение заняться публикацией «Русского дневника» стимулировали два фактора: интеллектуальный толчок «красного мая» 1968 г., побуждавший поделиться личным опытом

осмысления причин и следствий радикальных разрывов в истории XX в., а также присутствие в окружении Пьера Паскаля (к тому времени уже профессора Сорбонны) Антуанетты Коклен – ей он посвятил издание «Русского дневника» 1975 г. Она была единственной, способной расшифровать тронутую временем скоропись Мастера, не случайно после ее смерти издание дневников пресеклось на 1927 г.

Вы говорите: «Не совсем дневник»? Не соглашусь. «Русский дневник» Паскаля – это полное и честное («тогда я думал так, но не стыжусь») воспроизведение записей. Хороший издательский прием: курсивом выделены не дневниковые дополнения: газетные вырезки того времени, письма родных и духовно близких людей. В целом, это великолепно организованное издание документа эпохи личного происхождения.

Константин Бугров: Как мне кажется, сегодня мы не испытываем недостатка в источниках личного происхождения о последних годах императорской России и первых шагах России советской. Ясно, что любой исторический источник обладает самоудовлетворяющей ценностью, и все же – чем выделяется Пьер Паскаль на фоне многочисленных записок и мемуаров об этом времени? Верно ли сказать, что интерес запискам придает главным образом колоритная личность их автора? (Субъективное, быть может, мнение, но – представьте дневник Николая II в ситуации, когда мы не знали бы ничего о его авторе; какой будет его ценность?..) Или, если стереть имя автора с обложки, книга будет сохранять свою специфическую ценность – но тогда в чем она?

Владимир Бабинцев: Готов согласиться, что на фоне катастрофической нехватки свидетельств участников Ливонской войны и Куликовской битвы последние дни Российской империи и утверждение советской власти выглядят достаточно обеспеченными мемуарными источниками. Но когда речь идет об источниковой базе исторического исследования, то принципиально важна не видимость достаточности, а максимальная полнота привлечения всех возможных источников.

К тому же «Русский дневник» Паскаля это не мемуары, это документ эпохи, в которой он день за днем создавался. Мемуарист, восстанавливая свои впечатления по прошествии времени, подвержен прихотливым aberrациям памяти и наслоению полученных позднее сведений. Сослуживец Паскаля по Французской военной миссии Анри Оливари оставил мемуары «Командировка французского криптолога в Россию. 1916». Если без должной критичности принять описание его первой встречи с нашим лейтенантом на борту идущего вокруг Скандинавии французского крейсера «Шампань», то можно только поразиться пронизательности подполковника Оливари: он сразу разглядел в Паскале будущего изменника, который перейдет на сторону большевиков

(оба тогда, в апреле 1916 г., про большевиков ничего не слышали!), он не упустил случая поиронизировать над недалеким начальством, которое доверяет такой личности – анархист и глубоко верующий католик, а потому из самой опасной по причине искренности категории – руководство французской пропагандой в России. Но лейтенант Паскаль – и это беспристрастно подтверждают фонды Французской военной миссии, хранящиеся в архиве Министерства обороны Франции, – направлялся в Россию в качестве сотрудника вспомогательного отдела 2-го бюро миссии с конкретной задачей: обеспечивать дипломатическую переписку с Бухарестом. Только в июне 1916 г. де Шевийи, которому МИД поручил заниматься в Петрограде «пропагандой», затребовал в помощники лейтенанта Паскаля. Можно ли поверить в то, что подполковник Оливари разглядел все это, приметив на борту «Шампани» в группе резерва переводчиков молодецкого офицера «с туманным взором и в большом пенсне»?

Я бы вовсе не советовал объединять дневники и мемуары в одну группу источников. «Русский дневник» Паскаля – это источник для исследований историко-антропологических, для исследований по интеллектуальной и ментальной истории. Записи Паскаля не так много способны добавить к накопленным на сегодняшний день знаниям о событийной истории периода, о политических и стратегических замыслах сторон, о крупных акторах эпохи. Особняком, разумеется, стоит тема деятельности французской военной миссии в России.

Зато они бесценны, когда сквозь них улавливаются ментальные сдвиги в толще народных масс, когда прослеживается интеллектуальная эволюция автора, свидетеля эпохи. Было бы крайне интересно дополнить это просопографическим исследованием отношения к событиям в России, допустим, «нормальенов» – выпускников Эколь Нормаль – и «политехников», окончивших Эколь Политехник. И те, и другие были представлены в различных французских представительствах в России, но события войны и революции воспринимали по-разному.

Историко-антропологический подход исключает саму идею стереть имя автора с обложки. Это же не статистический сборник!

«Приемлемое перестает быть приемлемым»

Константин Бугров: Честно говоря, когда я читал Паскаля, у меня не возникло ощущения, что пишет военный и посреди самой ужасной войны, которую до этого знало человечество. Есть некоторое количество упоминаний об ужасах войны – я осмелюсь их назвать шаблонными... Что показалось мне более интересным, так это рефлексия Паскаля о военном положении на Восточном фронте. Он время от времени принимается рассуждать о боеспособности

русской армии и, в частности, о том, как революция влияет на эту боеспособность. Война – дисциплина – долг – бунт; тема того, как «приемлемое перестает быть приемлемым», является, на мой взгляд, одной из основных в дневнике Паскаля. Вот, например:

Полковник Лавернь понимает психологию революции как я. В прошлом году встретил он прапорщика 40 лет, образование высшее, и тот сообщил ему личный факт. Он командовал занятыми на тыловых работах рядовыми лет по 40 и старше, не имеющими никакой военной подготовки кроме непонятных сборов, вооруженных старыми винтовками. Однажды он получил приказ занять позицию на фронте в очень опасном секторе. Со всеми обычными предосторожностями он пришел объявить это своим «дядям». Они не возмутились. Спросили: «Артиллерия нас поддержит?» – «Нет, не могу вам этого обещать». – «Тогда пойдем с голыми руками». – «А ваши винтовки?» – «Ох, винтовки, их можно погрузить в телеги и отправить вперед нас к немцам». (Офицер был уже уверен, что они не умеют с ними обращаться.) Наконец они подытожили: «Ладно, раз надо, пойдем». У них было 50 % потерь, но позицию отстояли. Бились иной раз палками. Бытовало основанное на фактах ощущение, что пехота – это всего лишь пушечное мясо. Ощущение укоренилось. В один прекрасный день прозвучало: «Хватит!» и это кончилось. Вся накопившаяся злопамятность взорвалась, как только приемлемое перестало быть приемлемым.

К чему бы этот эпизод? На самом деле, Паскаль рассуждает о развале Восточного фронта, о дезертирстве и о том, как ситуация революции способна поддержать гибнущую дисциплину. Упомянутый выше случай подводит его к следующему развитию мысли:

Итак, сейчас происходит то же самое. Значит, надо снова вызывать, провоцировать подобный психологический разрыв: «Хватит». Применение смертной казни, такое, чтобы каждый дезертир знал, что он мертв, где бы он ни был, может вызвать подобную революцию в сознании. К несчастью, это необходимо. А прапорщик рассуждал, какая противоестественная вещь война, она требует принуждения, коллективного гипноза. Его брат, полковник, командует полком, принимал участие в восемнадцати рукопашных боях. Когда он спросил его о впечатлениях, тот схватился за голову руками, закрыл глаза и произнес: «Нет, не могу вспоминать». В сущности и в абсолюте, так ли уж неправ русский солдат?

Владимир Бабинцев: Стало быть, читая «Русский дневник» Пьера Паскаля, вы воспринимаете его вполне адекватно, и это неплохо рекомендует читателя. Действительно, мы имеем дело с записками не кадрового военного, «военной косточки»; не было у Паскаля специализированного военного образования. лейтенант Паскаль был

призывником военного времени, получившим опыт бойца передовой линии (Дарданеллы, 1915), но не утратившим рефлексию штатского интеллектуала. Чтобы прочувствовать разницу, достаточно обратиться к многочисленным публикациям записок кадровых офицеров Первой мировой войны, где за каждой записью чувствуется классическое: уяснить задачу, оценить обстановку, принять решение и обеспечить его выполнение...

Относительно вашего замечания о том, что в дневнике Паскаля маловато упоминаний об ужасах войны, а те, что есть, скорее представляют собой клише. Но это же общая черта ветеранов любой войны! Я понял это по своему отцу, его друзьям, моим преподавателям-фронтовикам: они не любили вспоминать, а тем более распространяться на эту тему. Не случайно Жан-Ноэль Жаннелей о своем учителе по Сорбонне Пьере Ренувене в «Размышлениях о столетии» (2013) вспоминает так: «На собственном теле он носил боли пережитой им войны – ампутация одной руки и пальцев другой, глуховатый голос травленного газом, – и тем не менее история, которую он нам преподавал прекрасно, концентрировалась на дипломатических процессах и действиях армий. Что касается непостижимых страданий бойцов, то об этом мы от него почти ничего не слышали».

Вы отмечаете, что вам более интересна рефлексия Паскаля о «военном положении России на Восточном фронте». Строго говоря, у него в «Русском дневнике» об этом практически ничего. Он побывал в войсках фронта как пропагандист... И вся его рефлексия скорее о моральном состоянии русских войск, о боеспособности в прямой связи с наметившимся в русском народе ментальным сдвигом по формуле «приемлемое становится неприемлемым». Кстати, фигура упомянутого полковника Лаверня и его роль во французской военной миссии в России 1916–1918 гг. заслуживают отдельного исследования.

«Бешеный баран» и загадочная русская душа

Константин Бугров: Война и дисциплина – это одна тема. Но в еще большей степени Паскаля – опять же, на мой взгляд, – волнует «русская душа». Ай да французский военный!

Так, например, в записи от 31 августа 1916 г. Паскаль перечисляет характерные «черты русского характера»:

Некоторые черты русского характера, которые делают его совершенно отличным от нашего:

Способность выпутаться, когда обстоятельства кажутся непреодолимыми и забавляться игрой с огнем.

Недостаток организаторского таланта.

Непокорность.

Любовь к неожиданным ситуациям (война на Кавказе; разведчики).
 Чрезвычайная скорость, когда работа нравится (Мурманская дорога, по сравнению с медленностью Канадской на северном участке).

Кочевничество: с завода в деревню и обратно.

Невероятное хладнокровие: и в наступлении, и в отступлении.

Но русский при внешнем спокойствии пылок: это энтузиаст кратковременных вспышек.

Повышенное внимание к деталям, равно как и к сути (качества снаряда хотят больше, чем количества...)

Начальник штаба все делает самолично...

Интерес к мелким любопытным находкам.

Боязнь дискуссии или противоречий: изображают согласие или вскипают, чтобы закрыть вопрос.

Далее, в записи от 27 октября 1917 г. есть фрагмент, озаглавленный «Русская душа глазами латинянина»; речь идет о выступлении Паскаля во Французском институте в Петрограде. Что же «латинянин» считает главными чертами «русской души»? Это «солидарность – вольнолюбие – стремление к абсолюту».

Паскаль их расшифровывает так:

СОЛИДАРНОСТЬ

«Соборы», образ святой множественности.

Непрерывные вереницы повозок на улицах Петрограда.

Поведение людей в очередях.

Голосование чохом, целым полком.

Вкус к артелям, кооперативам и их объединениям.

Обращения: «товарищ», «Ну, православные!»

В философии и религии теория «соборности» или единения всех верующих.

Чувство коллективной ответственности, как в момент отступления 1915 г.

Как следствие такого коллективного духа – недостаток гордости. Русский смирен; подозрителен к личностям, которые высовываются – русский народ демократичен; власть была наложена на него как крышка.

ВОЛЬНОЛЮБИЕ

Отвращение к строгому соблюдению правил, к подчинению, принуждению.

Важность, придаваемая отмене обязательного отдания воинской чести.

Русский не делает карьеру; он берется за многое одновременно и меняет профессии.

Беспечность к сбережениям и отвращение к расчету.

Пренебрежение логикой.

Презрение к тому, что традиционно.

Странствования и бродяжничество.

Как следствие такого характера, Россия подчиняется не столько закону, сколько влиянию того, кто сумеет победить ее недоверие.

Сентиментальный патриотизм без примеси национализма.

Религиозность без догматизма.

Интуитивная мораль без фиксированных правил.

Легкость разводов.

Обычай воздержания, перемежаемого пьянством.

Все эти проявления резюмируются словом «воля», что не равнозначно понятию «сила воли».

ТЯГА К АБСОЛЮТУ

Потребность по любому вопросу начинать от сотворения мира.

Полное воплощение принципов (напр. толстовская мораль).

Отвращение к смертной казни и войне.

Непонимание разницы между моралью индивидуальной и моралью государственной.

На Западе следуют максиме: «Своя рубашка ближе к телу». Русский душу отдаст ради спасения других.

В политике – большевизм.

В философии – малое значение, придаваемое объективной реальности.

В практической жизни любое средство становится нежелательным, если в нем вскрывается малейшее несовершенство.

Как следствие такой характерной черты, меланхолия и склонность к отчаянию, к моральной капитуляции; будучи не в силах достигнуть абсолютного блага, бросаются в абсолютное зло.

И, наконец, в заключение: ниже Паскаль передает слова одного из своих собеседников о русском человеке («товарище») во время революции: «Он добр, спокоен; но сейчас это бешеный баран».

Итак, «Русский дневник» – это поиск отгадок на загадки русской души? Или?..

Владимир Бабинцев: Действительно, для Пьера Паскаля на протяжении всей его жизни, начиная со школьных лет, когда он случайно попал в класс с изучением русского языка, было характерно стремление понять «русскую душу», русский характер, русский менталитет. С его выводами можно спорить. Мы редко принимаем все, что думают о нас другие. Хорошо уже то, что пытаются понять.

Не помню, кому принадлежат эти слова: «Никто не может вполне знать другого, можно только догадываться, если любишь». Паскаль любил Россию и русских. Поэтому разглядел очень многое. Честно говоря, следовало бы издать на русском языке его книги «Русская религия» (1975) и «Великие течения русской мысли» (2010).

«Революционный, потому что христианский»

Константин Бугров: Итак, Паскаля и впрямь интересовало, как для «русской души» возникает ситуация, в которой «приемлемое перестает быть приемлемым». А из его биографии мы знаем, что он испытывал симпатии к большевикам и прожил в Советской России до самого 1933 г.? Но при чтении дневника вовсе не видна какая бы то ни было «левизна» Паскаля. По крайней мере, российскими социалистами он вовсе не интересовался, и мы практически не встречаем имен лидеров российского социализма. Оборончество? Советы? Циммервальд? Я понимаю, что не все записки о войне и революции должны быть выдержаны в духе записок Н. Н. Суханова, но, как мне кажется, Паскаль и впрямь слабо разбирался в тонкостях «левого» движения последних лет императорской России. Вот деталь: в примечании к первому упоминанию И. Церетели он охарактеризовал его так: «Грузинский меньшевик, член 2-й Думы, министр почт и телеграфов». Как видим, характеристика игнорирует тот факт, что Церетели был еще и членом исполкома Петросовета, одним из наиболее видных его ораторов, и эта позиция – опять-таки, в парадигме «левых» текстов того времени – была куда более важной и значимой, чем второстепенное министерство.

Зато мы в обилии встречаем Розанова или Вл. Соловьева, а также – что еще более характерно – повторяющиеся, точные описания православных служб, которые посетил Паскаль. Не менее любопытно, что в предисловии к запискам Паскаль сам себя называл «последователем Боссюэ» (это особенно забавно, если учесть, что Боссюэ обычно ассоциируется с абсолютизмом). Как же Паскаль пришел к большевизму?

Сопровождая свою запись от 30 апреля 1918 г. примечанием о визите к «левым эсерам» (уточняя: «Я питал к ним слабость, они были за революцию, совсем как большевики, но без их материализма, напротив, с гуманизмом»), Паскаль упоминает о покупке томика Блока и заключает:

Для меня это был великий день. Я открыл Блока, отвечающего моим чувствам и мыслям: красногвардейцы, пусть недостойные и не желающие того, действующие ради Христа: союзники, взыскующие приобщения к миру скифов. Поэты со мной! В восторге я почти тотчас заучил наизусть обе поэмы.

Несколько ниже, говоря о пасхе 1918 г., описывая собрание в московской церкви, Паскаль отмечает:

Всё это святая Русь, самозабвенно устремленная в будущее (Блок был не прав, представляя Двенадцать, палящих в святую Русь). Один

солдат вполголоса окликает сослуживца, чтобы уйти вместе: «Товарищ!» Буржуазии, иной раз во имя религии хулящей большевиков, здесь нет: религия – для народа. А народ революционный, потому что христианский. Одни и те же солдаты отпраздновали первое мая, а теперь со свечками в руках поют псалмы.

Владимир Бабинцев: Вывод о радикальном сдвиге, который совершается в «русской душе» в ситуации, когда «приемлемое становится неприемлемым», – это одно из самых блестящих озарений Паскаля. В нем Паскаль видел объяснение отношения русского народа к Первой мировой войне и революции.

Ваша формула «симпатизировал большевизму» вполне допустима применительно к Паскалю с добавлением «одно время». Паскаль, даже будучи какое-то время членом большевистской партии, так и остался только «попутчиком». Это бросается в глаза. Ученик Паскаля Жорж Нива в своем «Возвращении в Европу», оценивая мировоззренческую позицию своего учителя как «христианского большевика» – марксистом он был и, в известном смысле, остался, – тут же, фактически, опровергает ее следующей репликой самого Паскаля: «Марксизм состоит из двух частей. К экономической части у меня серьезных возражений нет, я просто считаю ее спорной. Есть и философская часть, материализм – с ним я не согласен совершенно». Можно ли заподозрить в большевизме человека, способного на такое признание?

В записях 1916–1918 гг. у Паскаля действительно невозможно обнаружить никаких признаков «левизны». Том завершается поразительной сценой: организатор выезда французской военной миссии из России майор Шапуйи 22 октября 1918 г. ставит перед лейтенантом Паскалем вопрос об отъезде во Францию ребром, демонстративно выложив на стол револьвер. «Не знаю, – пишет Паскаль, – что бы я ответил, не будь подобной попытки запугать... Но этого оказалось достаточно, чтобы исключить мои малейшие колебания. Я сказал: Нет!» Но в голове у Паскаля – он отметил это во втором томе «Русского дневника» – была тогда, по выражению Ленина, «хорошенькая каша». Много позже, в 1953 г. («Русская мысль», 05.06.1953), он сделает четкое признание: «С советской властью можно было мириться вначале».

Константин Бугров: «Революционный, потому что христианский», – определение не то чтобы сногшибательное (мне вообще сложно представить себе какое-то определение революционных событий, которое сегодня могло бы удивить читателя), но уж точно примечательное.

Итак, неужели Паскаль считал русскую революцию своеобразным триумфом русской духовности? А если так, постигло ли его разочарование – и выплеснулось ли оно на страницы последующих томов «Записок»?

Владимир Бабинцев: Не могу согласиться с формулой осознания Паскалем русской революции как уникального проявления «русской души». Скорее, он считал, что Октябрьская революция была предъявлена «русской душе». «Она была делом активного меньшинства при молчаливом согласии большинства», – писал он 30 мая 1920 г. в письме Марселю Мартине (т. 2, с. 163).

Паскаль принял революцию вместе с «молчаливо согласным большинством», которое связывало с новой властью свои разнообразные и достаточно туманные ожидания. Китеж-града в конечном счете не обрели ни «молчаливо согласное большинство», ни Пьер Паскаль. С ним в душе и уехал в 1933 г. в Париж Петр Карлович Паскаль, «не возвращаясь в Европу», оставив русский народ с большевистской властью в ожидании ситуации, когда «приемлемое становится неприемлемым».

Владимир Алексеевич Бабинцев,
к. и. н.
Россия, Екатеринбург
Уральский федеральный университет
hist@usu.ru

Vladimir Babintzev, dr.
Russia, Yekaterinburg,
Ural Federal University
hist@usu.ru

Константин Дмитриевич Бугров,
к. и. н.
Россия, Екатеринбург
Уральский федеральный университет
k.d.bugrov@gmail.com

Konstantin Bugrov, dr.
Russia, Yekaterinburg,
Ural Federal University
k.d.bugrov@gmail.com



Miscellanea



Miscellanea

**«В ПОЛКУ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО...»: ИСТОРИЯ
МИССИОНЕРСКОЙ ПОХОДНОЙ ЦЕРКВИ****“THE REGIMENT IS DOING FINE ...”: THE HISTORY
OF THE MISSIONARY CHURCH TENT**

В статье рассматривается история появления на Урале походной миссионерской церкви, которая была предназначена для утверждения православия среди манси – «язычников» Северного Урала, а в годы Первой мировой войны была передана в действующую армию и оказалась во Франции – на линии фронта. На основании материалов Комитета православного миссионерского общества и отчетов миссионеров, опубликованных в «Екатеринбургских епархиальных ведомостях», удалось установить, что автором усовершенствованной походной церкви-палатки был священник-миссионер самого северного из приходов Екатеринбургской епархии, Аркадий Гаряев, трагически погибший во время гражданской войны и канонизированный Русской православной церковью. Спроектированная им походная церковь-палатка, с престолом, иконостасом и всей утварью, весила 70 кг, легко складывалась и перевозилась на оленьей упряжке, позволяя миссионерам добираться в самые отдаленные стойбища, поражая воображение оленеводов. Эти качества были по достоинству оценены полковым священником, солдатами и многочисленными гостями Восточного фронта в 1916 г.

Ключевые слова: походная миссионерская церковь; русская армия; Первая мировая война; Православное миссионерское общество; священник-миссионер; религии народов Урала.

The article is devoted to the phenomenon of mobile churches. It examines the history of the mobile missionary church tent, which was established to promote Christianity among the Mansi people – indigenous reindeer herders in the Northern Urals. During World War I this mobile little missionary church was conveyed to the infantry regiment formed in the Urals and sent to the front line in France. From the missionaries' reports and the documents of the Russian Orthodox Church Missionary Society published in Yekaterinburg Diocese's newsletter, it was found that the original project of the mobile missionary church tent was suggested by Arkadii Garyaev. He was a missionary priest in the northernmost parish of Yekaterinburg Diocese. Arkadii Garyaev tragically

died during the Civil War and was canonized by the Russian Orthodox Church. The missionary church tent fully equipped with ecclesiastical throne and iconostasis weighed only 70 kg and when folded could be transported on a sledge pulled by reindeers, allowing missionaries to reach the most remote settlements of the nomadic Mansi. These qualities of the little church tent were appreciated both by the regiment's priest, soldiers and numerous guests in frontline France during World War I.

Key words: mobile missionary church; Russian army; World War I; Orthodox Missionary Society; missionary priest; religions of the peoples of the Urals.

В 1917 г. в одном из последних выпусков газеты «Екатеринбургские епархиальные ведомости» в разделе «Хроника» было опубликовано сообщение под заголовком «Вести издалека», в котором содержался пересказ письма с фронта, полученного Епископом Екатеринбургским Серафимом от полкового священника о. Николая Введенского осенью 1916 г. Полковой батюшка писал: «В полку все благополучно, и все шлют свой сыновний привет Вам. Рад, что имею возможность прислать Вам фотографический снимок нашей походной церкви, великолепию которой мы всецело обязаны Вам. Церковь находится в 3-х верстах (около 3 км. – Е. Г.) от немцев, снаряды их легких пушек частенько свистят над ней. Для нас это не страшно: привыкли. Церковь походная всегда служит большим интересом для всех гостей фронта, а их здесь не мало» [Епархиальная хроника, с. 133–134].

К сожалению, нам не известно, где хранится, если он сохранился, снимок «великолепной» походной церкви, развернутой в 1916 г. где-то во Франции, в нескольких километрах от линии фронта, и что за гости интересовались ей. А вот что она собой представляла и почему была отправлена на фронт из далекого, самого северного прихода Екатеринбургской епархии – известно доподлинно.

История ее появления связана с завершением православной колонизации Урала, большинство народов которого, в том числе и олениводы-манси, были крещены и приняли православие в той или иной степени к концу XIX в. Оставшиеся переселились в северные, труднодоступные для церкви районы и продолжали совершать жертвоприношения своим многочисленным богам-покровителям, почитать шаманов и хозяина тайги – медведя [Главацкая, с. 109]. Оживление миссионерской деятельности Русской православной церкви в конце XIX в. активизировало и пастырско-миссионерскую работу в среде кочевников-манси, относившихся к самому северному в Екатеринбургской епархии Никито-Ивдельскому приходу, священники которого должны были объезжать стойбища олениводов, проводить таинства и привлекать в церковь новых членов [см.: Главацкая, Беспойконых, с. 47–55].

Согласно наблюдениям священника-миссионера Александра Сильвестрова, манси его прихода раз в год приплывали в Никито-

Ивдель для исполнения таинств: крещения, покаяния и евхаристии, но исполняли их «не осознавая важности». Кроме того, они продолжали совершать ритуальные действия в рамках своей традиционной религиозности. Так, в 1893 г. манси закупили 7 лошадей, несколько цветных платков, отрезки тканей и принесли все это в жертву своему божеству [Сильвестров, с. 320].

По мнению священника, разового визита манси в церковь было недостаточно, а поскольку сами они чаще приезжать в церковь не собирались, священник предложил отправлять к ним для проведения службы специальную походную церковь, которая вместе с миссионером-священником кочевала бы от одного оленеводческого стойбища к другому [Там же, с. 321]. В марте 1898 г. Комитет православного миссионерского общества передал священникам-миссионерам походную церковь [Отчет, 1898, с. 272]. Однако и это не решило проблемы проведения полноценных богослужений. Установить иконостас, престол и жертвенник внутри небольших по размеру жилищ манси было сложно. Сама церковь была тяжелым (около 300 кг) и чрезвычайно громоздким грузом, что осложняло и без того нелегкое передвижение в условиях Северного Урала [Гаряев, с. 656].

Назначенный в 1907 г. на место священника-миссионера Аркадий Гаряев предложил вместо разборной деревянной походной церкви изготовить портативную церковь-палатку, легкую (до 70 кг), с которой можно было проникнуть «в самые глухие уголки северных дубрей». Он даже и чертеж приготовил [Там же, с. 663]. Походная церковь-палатка была изготовлена в мастерской Н. Старикова в 1909 г. и продемонстрирована на собрании Комитета Православного миссионерского общества. Она была «довольно изящной», крытой брезентом, с разборным столиком-престолом и столиком-жертвенником. Иконостас, также легко разбиравшийся, состоял из трех высоких рам, в которые вставлялись полотняные иконы Спасителя, Богородицы и Царские врата с легкой занавеской. На противоположной стороне устанавливались полотняные иконы Спасителя, святителя Николая и святого праведного Симеона Верхотурского. Вся церковь легко укладывалась в ящик, который можно было перевезти тройкой оленей на одной нарте [Собрание, с. 1152].

Сменивший А. Н. Гаряева на посту священника походной церкви Василий Варушкин в отчете о результатах поездки к манси в 1913 г. писал, что они «...в общем, религиозны и соблюдают обряды православной церкви... строго». У всех посещенных им манси имелось по несколько икон, все носили крестики, все подходили к священнику для благословения и относились к нему с «видимым почитанием», молились по три раза в день, «вполне правильно полагая крестное знамение» [Отчет, 1914, с. 14].

Традиционные формы ритуальной практики манси в соединении с православием привели к развитию специфических вариантов культуры. Оленеводы, как и положено, молились Спасителю, Богородице

и Николаю Чудотворцу в расчете, что те обеспечат удачную охоту и рыбалку и приумножат стада оленей. Следуя веками сложившейся практике, манси приносили им в жертву лошадей: Спасителю – обязательно белой масти, Николаю Чудотворцу – пятнистых, Богородице – любой [Там же, с. 16]. Случайно или нет, но поездки миссионеров с походной церковью к кочевникам-манси закончились в год начала Первой мировой войны 1914 г. Причт походной церкви практически занялся обслуживанием религиозных нужд русского населения [Отчет, 1917, с. 102].

Автор плана походной церкви-палатки священник Аркадий Николаевич Гаряев был захвачен «красными» прямо во время богослужения и жестоко убит в самом начале июля 1918 г. В 2002 г. Синод Русской православной церкви причислил о. Аркадия Гаряева к лику Святых Новомучеников и Исповедников Российских [Смирнова, Главацкая, с. 22].

Миссионерская походная церковь-палатка в 1916 г. была передана «на временное пользование» в полк, который направлялся из Екатеринбурга на фронт. Полк был только-только сформирован, и назначенный в него полковой священник Николай Введенский обратился к епископу екатеринбургскому Серафиму с просьбой снарядить его для служения в армии. Полк получил походную миссионерскую церковь-палатку, все необходимое для богослужения, благословение епископа, и был отправлен на фронт [Епархиальная хроника, с. 133].

Походная церковь-палатка на Урал уже не вернулась, ждали ли ее оленеводы-манси – не известно. Но она наверняка давала утешение и надежду российским воинам, оказавшимся в 1916 г. где-то во Франции. Ее необычный вид вызывал естественное любопытство, и в минуты затишья священник Николай, возможно, занимал солдат и многочисленных гостей фронта удивительными рассказами: о язычниках-манси, шаманах и миссионерах-священниках, которые в нартах на оленьих упряжках кочевали по заснеженным просторам Приполярного Урала от стойбища к стойбищу, преодолевая все тяготы походной жизни ради великой цели.

Гаряев А. Н. Меры к поднятию успешности инородческой миссии на Севере Екатеринбургской епархии // Екатеринбург. епарх. ведомости. 1910. Неофициальный отдел. № 31. С. 655–663. [Garyaev A. N. Mery k podnyatiyu uspehnosti inorodcheskoj missii na Severe Ekaterinburgskoj eparkhii // Ekaterinburg. eparkh. vedomosti. 1910. Neofitsial'nyj otdel. N 31. S. 655–663.]

Главацкая Е. М. Православная колонизация и изменение религиозного ландшафта Урала в XVIII в. // Урал. ист. вестник. 2009. № 2 (23). С. 101–109. [Glavatskaya E. M. Pravoslav'naya kolonizatsiya i izmenenie religioznogo landshafta Urala v XVIII v. // Ural. ist. vestnik. 2009. N 2 (23). S. 101–109.]

Главацкая Е. М., Беспкойных А. В. Православие и традиционная религиозность манси в конце XIX — начале XX вв.: перекрестки культурного взаимодействия // Урал. ист. вестник. 2013. № 2 (39). С. 47–55. [Glavatskaya E. M., Bespokojnykh A. V. Pravoslavie i traditsionnaya religioznost' mansi v kontse XIX — nachale XX vv.: perekrestki kul'turnogo vzaimodejstviya // Ural. ist. vestnik. 2013. N 2 (39). S. 47–55.]

Епархиальная хроника // Екатеринбург. епарх. ведомости. 1917. Неофициальный отдел. № 15. С. 133–134. [Eparkhial'naya khronika // Ekaterinburg. eparkh. vedomosti. 1917. Neofitsial'nyj otdel. N 15. S. 133–134.]

Отчет о деятельности Екатеринбургского епархиального Комитета Православного миссионерского общества за 1897 г. // Екатеринбург. епарх. ведомости. 1898. Официальный отдел. № 11. С. 259–291. [Otchet o deyatel'nosti Ekaterinburgskogo eparkhial'nogo Komiteta Pravoslavnogo missionerskogo obschestva za 1897 g. // Ekaterinburg. eparkh. vedomosti. 1898. Ofitsial'nyj otdel. N 11. S. 259–291.]

Отчет Екатеринбургского епархиального Комитета Православного миссионерского общества за 1913 г. // Екатеринбург. епарх. ведомости. 1914. Неофициальный отдел. № 35. С. 1–16. [Otchet Ekaterinburgskogo eparkhial'nogo Komiteta Pravoslavnogo missionerskogo obschestva za 1913 g. // Ekaterinburg. eparkh. vedomosti. 1914. Neofitsial'nyj otdel. N 35. S. 1–16.]

Отчет Екатеринбургского епархиального Комитета Православного миссионерского общества за 1915 г. // Екатеринбург. епарх. ведомости. 1917. Официальный отдел. № 17. С. 98–112. [Otchet Ekaterinburgskogo eparkhial'nogo Komiteta Pravoslavnogo missionerskogo obschestva za 1915 g. // Ekaterinburg. eparkh. vedomosti. 1917. Ofitsial'nyj otdel. N 17. S. 98–112.]

Сильвестров А. Отчет никито-ивдельского священника Александра Сильвестрова о поездках к вогулам, кочующим по рекам: Вижаю, Тошемке и Лозье в течение 1893 года // Екатеринбург. епарх. ведомости. 1894. Официальный отдел. № 13. С. 317–321. [Sil'vestrov A. Otchet nikito-ivdel'skogo svyaschennika Aleksandra Sil'vestrova o poezd-kakh k vogulam, kochuyuschim po rekam: Vizhayu, Toshemke i Loz've v techenie 1893 goda // Ekaterinburg. eparkh. vedomosti. 1894. Ofitsial'nyj otdel. N 13. S. 317–321.]

Смирнова И. В., Главацкая Е. М. Церковь Святых апостолов Петра и Павла в Североуральске: страницы истории храма. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. 104 с. [Smirnova I. V., Glavatskaya E. M. Tserkov' Svyatykh apostolov Petra i Pavla v Severoural'ske: stranitsy istorii khrama. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 2014. 104 s.]

Собрание Комитета Миссионерского общества // Екатеринбург. епарх. ведомости. 1910. Неофициальный отдел. № 50. С. 1151–1152. [Sobranie Komiteta Missionerskogo obschestva // Ekaterinburg. eparkh. vedomosti. 1910. Neofitsial'nyj otdel. N 50. S. 1151–1152.]

The article was submitted on 10.01.2014

Елена Михайловна Главацкая,
проф.
Россия, Екатеринбург
Уральский федеральный
университет
elena.glavatskaya@usu.ru

Elena Glavatskaya, prof.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
elena.glavatskaya@usu.ru



Critica



УДК 94(470)“16/18” +
929АлександрI(470) + 930(44)

Владимир Земцов

**АЛЕКСАНДР БЛАГОСЛОВЕННЫЙ:
ВЗГЛЯД С БЕРЕГОВ СЕНЫ**

Рец. на: Рэй М.-П. Александр I. – М. : Росспэн, 2013. – 495 с.

**ALEXANDER THE BLESSED: A VIEW FROM THE SEINE
Review of: Rey M.-P. Alexander I. – М. : Rosspen, 2013. – 495 p.**

Публикация представляет собой рецензию на книгу известного французского историка М.-П. Рэй, посвященную российскому императору Александру I. Автор рецензии отмечает широту источниковой основы исследования, великолепное знание Рэй русских исторических реалий. Достаточно критично оценивая результаты александровского царствования во внутренней сфере, Рэй убедительно отмечает позитивные перемены, достигнутые Российской империей на общеевропейском поприще. Автору книги удалось на обновленной документальной базе представить ряд оригинальных сюжетов, уточняющих и даже меняющих прежние представления применительно к внешней политике русского императора (к этому числу можно, в частности, отнести шаги Александра I по воссоединению трех ветвей христианства). Исследование Рэй представляет собой оригинальное произведение, значительно расширяющее прежние представления о смысле, сущности и движущих импульсах процессов развития Российской империи и Европы конца XVIII – первой четверти XIX в.

Ключевые слова: Александр I; Российская империя; конец XVIII – I-я четверть XIX века; проекты объединения Европы; французский историк М.-П. Рэй.

Reviewing a book by a renowned French historian, M.-P. Rey, about Russian Emperor Alexander I, the author appreciates Rey's extensive sources and his exceptional knowledge of Russia's history. Rey critiques the results of Alexander I's national policies, but also notes the positive changes that the Russian Empire brought about in Europe. The historian traces several original plots that elucidate and even modify former ideas of the Russian Emperor's policy (among which are Alexander I's attempts to reunify the three main branches of Christianity). Drawing from previously unexamined sources, Rey's research is an original work that gives a broader idea of the meaning, essence and driving

force of not only the Russian Empire's but also Europe's development in the late 18th – early 19th centuries.

Keywords: Alexander I; Russian Empire; the late 18th – first quarter of the 19th century; European integration projects; French historian M.-P. Rey.

Книга М.-П. Рэй, профессора русской и советской истории, директора Центра исследований истории славян Университета Париж I Пантеон-Сорбонна, удивляет и восхищает. Удивляет, прежде всего, самим фактом своего появления. За два столетия, прошедшие с «дней Александровых», вышло такое количество работ, посвященных Александру I, включая замечательные труды М. И. Богдановича, Н. К. Шильдера, вел. кн. Николая Михайловича, а из зарубежных исследований – К. Грюнвальда, А. Валлотона и Дж. Хартли, что появление нового оригинального исследования казалось невозможным. Причем, работы последних десятилетий, посвященные этой теме (А. Н. Сахарова, А. Н. Архангельского и др.), не лишены интереса, но не менявшие общих представлений об эпохе и ее герое, кажется, только подтверждали эту истину. Ситуация усугублялась тем, что в кругах отечественных историков, занимавшихся первой четвертью XIX в., преобладало мнение о невозможности сколь бы то ни было серьезного расширения источниковой базы подобной темы.

Тем большее восхищение вызвала книга М.-П. Рэй, выявившая не только новые грани, сюжеты и повороты в биографии Александра и его времени, но и решительно опровергнувшая убежденность историков в источниковой исчерпанности темы, введя в научный оборот целый комплекс ранее неизвестных документов. И все же самым поразительным стало то, что Рэй, будучи французским историком, продемонстрировала виртуозное знание не только событий и фактов истории России, но и тонкое ощущение самой сути российской истории и российских реалий. Как ей это удалось?

М.-П. Рэй принадлежит к тому новому поколению зарубежных русистов, которые пытаются изучать «предмет своего научного интереса» не из «прекрасного далёка», питаются устоявшимися стереотипами, будь они российского или зарубежного происхождения, и ограничиваясь компиляциями из работ своих предшественников, но решительно ломая те, кажется, невидимые, но весьма прочные, можно даже сказать, непреодолимые барьеры, существующие между различными национальными культурами. Начиная с 15 лет, когда Мари-Пьер оказалась в пионерлагере «Артек», она стала посещать Советский Союз, а затем постсоветскую Россию, изучать русский язык, зачитываться Гоголем и Достоевским. Позже именно русская история становится жизненным выбором ученого. В первой половине 1990-х гг. выходят две ее серьезные книги о франко-советских отношениях периода Разрядки и о формировании, развитии и упадке российско-советской империи в XV–XX вв. [Rey, 1991; 1994].

В 2002 г. вышла еще одна ее обобщающая работа «Русская дилемма: Россия и Западная Европа от Ивана Грозного до Бориса Ельцина» [Rey, 2002]

Но подлинным шедевром, по нашему глубокому убеждению, явилась биография Александра I, впервые опубликованная во Франции в 2009 г. [Rey, 2009]

В кратком и изящном введении Рэй сразу обозначила принципиальное отличие своей книги от работ, посвященных Александру I и вышедших в последние 100 лет: ее труд основан не на доверчивом воспроизведении стереотипов и мифов, но на критическом анализе первоисточников, значительная часть которых все еще не введена в научный оборот и продолжает пребывать в архивах. Будучи чрезвычайно настойчивым исследователем, Рэй смогла познакомиться со многими фондами, напрямую или косвенно связанными с жизнью русского императора и находящимися как в российских (ГАРФ, РГДА, ОР РНБ), так и в зарубежных (Архив МИД Франции, Архив Ватикана, Архив ордена иезуитов в Ванве, Лионе и Риме, Архив герцога Ришелье, Отдел рукописей библиотеки Сорбонны в Париже, и др.) архивах и библиотеках. Излишне говорить, что для многих отечественных авторов, даже тех, которые имеют возможность подолгу работать за рубежом, выявить, а тем более, внимательно познакомиться с таким объемом разнообразной документации, отложившейся в архивохранилищах различных стран Европы, просто невозможно.

Очень важно, что Рэй отдала предпочтение таким материалам, которые, как она сама пишет, могли бы «дать читателю возможность услышать голос Александра I». Но, ясно осознавая, сколь непростым оказался труд, на исполнение которого она решилась, Рэй замечает, что это позволило ей только «слегка приподнять завесу тайны, окутывающую личность русского императора». В завершении введения Рэй приводит на первый взгляд обескураживающее читателя заявление Наполеона, сделанное им на о. Св. Елены: «Если я здесь умру, – сказал поверженный император, – он (Александр I. – В. З.) станет моим истинным преемником в Европе» [Рэй, с. 12]. Что имел в виду Наполеон?

Ответ на эту более чем интригующую фразу, настоящую загадку эпохи, автор дает далеко не сразу, но постепенно – от главы к главе, от сюжета к сюжету, разворачивая перед читателем, иногда день за днем, жизнь того, кого называли «Северным Сфинксом», вплетая эту жизнь в контекст времени и связывая ее с жизнями десятков и сотен других исторических персонажей великой эпохи.

Книга Рэй построена на принципах хорошего драматического произведения – с изначально заданной интригой, основной сюжетной линией, постепенным нарастанием напряженности происходящих коллизий, с конфликтом сознания и совести главного героя. Есть в этой книге пролог (убийство Павла I) и эпилог (тайна Федора Кузьмича, своего рода «жизнь после смерти»).

Уже в прологе Рэй спешит прояснить некоторые исторические сюжеты, по сию пору остающиеся дискуссионными, прежде всего – вопрос об «английском следе» в событии, произошедшем в Михайловском замке в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Обратившись к публикации Дж. Кенней, практически неизвестной отечественным авторам, Рэй приходит к выводу, что английские деньги определенно сыграли значительную роль в устранении русского императора. Что же до личности главного героя – Александра, то автор заключает, что «время так и не смогло унять чувство совершенной непоправимой ошибки: отце- и цареубийство – и то, и другое было смертельным грехом перед лицом Господа» [Рэй, с. 20].

Первая глава книги, посвященная детству и юности Александра, начинается с беглой, но вполне убедительной характеристики Российской империи конца XVIII в. Автор приходит к важному выводу: процесс модернизации России тех лет усугублялся тем обстоятельством, что на культурной сцене Европы страна играла роль «пария».

Детские годы Александра, осененные деятельностью великого ученого и педагога Ф. Лагарпа, сыграли важнейшую роль в становлении личности нашего героя. По мнению Рэй, воспитательная система Лагарпа должна была выполнить двойную задачу – образовательную и политическую одновременно. Однако система имела важный изъян, а именно – «грешила недостаточным вниманием к российским реалиям». В целом, автор весьма критически (мы все же полагаем, что чересчур критически) оценила результаты воспитательных усилий великого швейцарца, возложив долю ответственности за это и на бабушку – Екатерину II.

Последовательно, стараясь не упустить из виду чего-либо важного, Рэй анализирует характер взаимоотношений юного Александра с отцом и бабушкой, подчеркивая, что сильнейшая перемена в личности будущего императора произошла в период «тирании Павла I». Не останавливается автор и перед тем, чтобы воспроизвести обстоятельства интимной жизни Александра и Елизаветы Алексеевны, вполне резонно полагая, что эта сторона не менее важна, чем какая-либо другая для становления и развития любого человека. Благодаря столь разностороннему взгляду на своего героя, Рэй прослеживает два параллельных процесса: развитие личности самого Александра вначале в эпоху «гатчины», а затем царствования отца, и одновременно – рост оппозиционных настроений в годы «тирании Павла». Благодаря этому конечный вывод по 1-й главе оказался весьма убедительным: заговор против государя стал восприниматься многими, и Александром в том числе, как действие, направленное на спасение Отечества, да еще к тому же, по примеру героев-тираноубийц античного мира, овеянное духом жертвенности.

Вторая глава, обращающая читателей к периоду 1801–1807 гг., начинается с еще одного обзора Российской империи, теперь уже начала XIX в. Несмотря на ряд неудачных оборотов (как, например, заявление,

что «13 млн государственных крестьян, работавших на императора на его сельско-хозяйственных угодьях и мануфактурах, в частности, на уральских металлургических заводах» [Рэй, с. 101]), материал, представленный автором, весьма убедительно вводит нас в российский общеисторический контекст начала правления Александра.

Применительно к «дням Александровым прекрасного начала» вполне можно согласиться с Рэй и в том, что предпринятые в те годы императором «реформы не соответствовали первоначальному ожиданию», но вместе с тем «стали важным этапом» на длительном «пути к отмене крепостничества» [Рэй, с. 140].

Переходя к характеристике внешней политики Александра первых лет, автор констатирует его «пацифизм в Европе», в особенности пристально прослеживая эволюцию европейских проектов русского императора, и «экспансионизм на юге». Эти проекты, в отличие от тех, которые предлагались Наполеоном, демонстрировали, по мнению Рэй, уважение «к правам народов и отдельных людей» и знаменовали своего рода революцию в международных отношениях. Но, хотя подобные проекты и идеи смогут найти свое воплощение в полной мере только в XX в., Александр I уже с 1804 г. больше не ставил перед собой задачу подчеркивать европейскую сущность Российской империи – настолько очевидным становился сам факт этого. На органичности европейскости России и будет в дальнейшем зиждиться предложенный Александром I глобальный проект объединенной Европы.

Третья глава посвящена эпохе наполеоновских войн (1805–1815), оказавших огромное влияние на судьбы России и на судьбу самого Александра I. Русский император вышел из череды военных испытаний не только победителем, но и глубоко изменившимся человеком. Бегло охарактеризовав ход событий в 1805–1807 гг. (собственно, анализ военных и дипломатических обстоятельств этого периода не входил в задачу автора), Рэй делает интересный вывод о том, что кампания 1806 г. явилась своего рода «генеральной репетицией 1812 г.» [Рэй, с. 199].

В ходе подготовки и подписания Тильзитского мира Александр, по мнению автора, умело используя тщеславие Наполеона, сохранял полную ясность ума, однако, как она замечает, «не сумел отстоять интересы Пруссии» [Рэй, с. 207]. Здесь мы должны заметить, что, собственно говоря, сам факт сохранения Пруссии как государства в эпоху Тильзита уже можно считать большим успехом русского царя. Не можем также согласиться с полным игнорированием автором такого важного момента, как раздраженность Александра уклончивой позицией Великобритании, что во многом и подтолкнуло русского императора к сближению с Наполеоном. В целом, в плане учета британского фактора в российской внешней политике стоило бы обратиться к интересным исследованиям А. А. Орлова [Орлов], который наиболее убедительно показал перипетии британско-русских отношений в начале XIX в. В то же время неоднократные ссылки Рэй

на книгу Андрэ Рачинского [Ratchinski], которая отличается не только спорностью подходов, но и напрямую граничит с тем, что добросовестный историк обычно называет «антинаучной макулатурой», не может не удивлять.

Описывая движение российско-французских отношений от Тильзита к войне 1812 г., Рэй делает несколько важных и, как нам кажется, справедливых наблюдений. Так, останавливаясь на неудачном сватовстве Наполеона к великой княжне Анне Павловне, автор замечает, что Александр явно не хотел усиливать связи с Францией за счет семейных уз, что впоследствии могло бы помешать России в проведении самостоятельной политики. Очень удачно, на наш взгляд, показана постепенность вызревания самой «идеи войны», а также планов наступательных действий, которые вынашивал Александр. В отношении последнего момента заметим, что во французской историографии этот сюжет уже был в свое время наиболее убедительно разработан в труде А. Вандаля «Наполеон и Александр I» [Vandal].

Периоду войны 1812 г. М.-П. Рэй посвятила специальную работу [Rey, 2012b], которая уже получила заслуженное признание в кругах специалистов [Бабинцев; Чудинов; Iskyul]. Что же касается сюжета, помещенного в биографии «Александр I», то мы не можем не согласиться с его ключевыми моментами. Так, мы солидарны с мнением Рэй, что в начале кампании Александр I не сразу определился, какой именно стратегической линии он будет придерживаться. Убедительно рассмотрено и само поведение императора в период военных действий на территории России, а также характер давления, оказанного на него сторонниками мира с Наполеоном. Впечатляют и убеждают слова автора о том, что «из пепла и развалин, оставленных Великой Армией, вышел новый, глубоко преображенный Александр I» [Рэй, с. 285]. Рэй виртуозно прослеживает сложный процесс кристаллизации в душе и уме Александра идеи «европейского единства», прежде всего, в плане создания Священного союза. Впрочем, должны заметить, что первым, кто убедительно осветил перемены, произошедшие в Александре в результате войны 1812 г. и повлиявшие на его последующие планы создания Священного союза, был В. К. Надлер, 5-томный труд которого вышел еще в конце XIX в. [Надлер]

С искренней симпатией и восхищением описывает Рэй дни пребывания русского императора в Париже, а затем в 1814–1815 гг. в Вене. Кажется, автор в этом плане не упустила ни одного важного сюжета или важной детали, упомянув даже о щекотливой истории «сватовства» А. Чарторыйского к императрице Елизавете Алексеевне в период пребывания в австрийской столице, а также о замыслах создания прочного мира в Европе, изложенных в записке императора для И. А. Каподистрии. В отношении последнего момента автор вполне резонно напоминает о том, что впервые идея всеобщего мира с сильной религиозной составляющей прозвучала в разговоре Александра с графиней С. Шуазэль-Гуфье еще в декабре 1812 г.

Четвертая глава, охватывающая последний период царствования императора (1815–1825) начинается с интересного предположения: «Восприняв борьбу с Наполеоном как свое, полностью личное дело, он (император. – В. З.) не смог, добившись победы, превратить Отечественную войну в предмет национальной гордости, в устойчивую память, которая накрепко спаяла бы нацию с царем» [Рэй, с. 328]. Сам факт прохладного, а нередко и достаточно безразличного отношения Александра к памяти о войне 1812 г. не раз отмечался отечественными авторами, но, как ни странно, никто из них не попытался ответить на ключевой вопрос о причинах этого. Мы не уверены, что исчерпывающим образом это удалось сделать и французской исследовательнице, тем не менее, она все же, по крайней мере, предложила свой, достаточно оригинальный вариант решения проблемы, связав его с религиозными аспектами личности Александра I. В любом случае, вполне можно согласиться с утверждением автора о том, что «в 1815 г. в империю вернулся глубоко изменившийся царь» [Рэй, с. 341], что и предопределило контраст последнего десятилетия его правления с предшествующими периодами царствования.

Четвертая глава, как и предыдущие, насыщена интересными, интригующими сюжетами и оригинальными вариантами их интерпретации. Так, к примеру, весьма неожиданно, но от этого не менее убедительно, звучит утверждение автора о том, что знаменитая «доктрина Монро» реально была обозначена не в 1823 г., как принято считать, а еще в феврале 1822 г. в виде записки госсекретаря Дж. К. Адамса, в которой правительство США отказывало России в праве владеть какими-либо территориями на американском континенте.

Внешнюю политику Российской империи последнего десятилетия царствования Александра Рэй убедительно разделяет на два периода: на эпоху 1815–1818 гг., когда российская дипломатия «непрерывно колебалась между идеализмом и прагматизмом», изыскивая в том числе возможность снизить свои расходы на оборону путем создания системы «безопасности и равновесия в Европе», и на период 1818–1825 гг., прошедший под знаком консерватизма и гонений на либералов любых мастей. Резкий поворот во внешнеполитических действиях России Рэй связывает не только с изменениями общеевропейского фона, но и с переломом в личности Александра, который стал проявлять параноидальные опасения на предмет «революционных антихристианских бедствий» [Рэй, с. 373].

Наиболее интересным и по-настоящему интригующим сюжетом в этой главе стал материал о попытках Александра I, осуществленных незадолго до смерти, предпринять решительные шаги по воссоединению трех ветвей христианства. В этом плане Рэй приложила немалые усилия к тому, чтобы выяснить обстоятельства миссии генерала А. Ф. Мишо де Боретура к папе Льву XII. Полагаем, что усилия автора оказались вполне успешными, а изложение обстоятельств самого начального поиска поистине захватывающим.

На протяжении всего повествования Рэй виртуозно прослеживает взаимосвязь внутренних и внешнеполитических сфер: Александр был вынужден постоянно отвлекаться от реализации внутренних реформ и сосредотачиваться на дипломатической сфере. Помимо вызовов внешнего характера, это было предопределено фактом того, что император, в сущности, не имел явных точек опоры в самом российском обществе. Достаточно критично оценивая достижения александровского царствования во внутренней сфере, Рэй вместе с тем убедительно отмечает глубокие и позитивные перемены, достигнутые Александром на общеевропейском поприще. Причем, превращение России в важного игрока на международной арене произошло отнюдь не только вследствие военных побед, «но и по причине постоянного интереса русского монарха к европейским вопросам» [Рэй, с. 415].

Завершая чтение книги Рэй, не можешь не ощутить созвучности обстоятельств 200-летней давности с сегодняшним днем, когда вновь оказывается обозначенным вопрос о степени европейскости России. Блестящее исследование французского историка, предложившего масштабную, разноплановую и яркую картину эпохи Александра I, убеждает читателя, что Россия является не просто частью Европы, но что сама Европа, в сущности, не может существовать без России.

Есть ли в книге Рэй недостатки? Есть. Помимо тех моментов, на которые мы уже указали выше, и которые можно отнести, скорее, к особенностям подходов разных национальных исследовательских традиций, имеются и явные огрехи, впрочем, вполне естественные для любого, тем более столь масштабного научного труда. Многих из них можно было бы избежать, если бы издательство «РОССПЭН», наряду с переводом книги на русский язык, обеспечило бы квалифицированное научное редактирование текста со стороны отечественного специалиста по эпохе начала XIX в. Остается только надеяться, что это удастся осуществить при подготовке второго русского издания замечательного труда М.-П. Рэй.

Бабинцев В. А. Rey M.-P. L'effroyable tragedie. une nouvelle histoire de la campagne de Russie. P.: Flammarion, 2012. 320 p. // Урал. ист. вестник. 2012. Вып. 1. С. 147–149. [Babintsev V. A. Rey M.-P. L'effroyable tragedie. une nouvelle histoire de la campagne de Russie. P.: Flammarion, 2012. 320 p. // Ural. ist. vestnik. 2012. Vyp. 1. S. 147–149.]

Надлер В. К. Император Александр I и идея Священного союза : в 5 т. Рига : Киммель, 1886–1892. [Nadler V. K. Imperator Aleksandr I i ideya Svyaschennogo soyuza : v 5 t. Riga : Kimmel', 1886–1892.]

Орлов А. А. Союз Петербурга и Лондона. Российско-британские отношения в эпоху наполеоновских войн. М. : Прогресс-традиция, 2005. 368 с. [Orlov A. A. Soyuz Peterburga i Londona. Rossijsko-britanskie otnosheniya v epokhu napoleonovskikh vojn. M. : Progress-traditsiya, 2005. 368 s.]

Рэй М.-П. Александр I. М. : Росспэн, 2013. 495 с. [Rej M.-P. Aleksandr I. M. : Rosспен, 2013. 495 s.]

Чудинов А. В. О «глобализации» в историографии войны 1812 года (Размышления над книгой М.-П. Рей) // Французский ежегодник. 2013. М., 2013. С. 61–74. [Chudinov A. V. O «globalizatsii» v istoriografii vojny 1812 goda (Razмышleniya nad knigoy M.-P. Rej) // Frantsuzskij ezhegodnik. 2013. M., 2013. S. 61–74.]

-
- Iskyl S. Rey M.-P. L'effroyable tragedie. une nouvelle histoire de la campagne de Russie. P.: Flammarion, 2012. 320 p. // Cahiers du Monde Russe. 2011. 52/4. P. 682–686.*
- Ratchinski A. Napoléon et Alexandre Ier: la guerre des idées. Paris : B. Giovanangoli, 2002. 403 p.*
- Rey M.-P. La tentation du rapprochement, France et URSS à l'heure de la détente, 1964–1974. Paris : Publications de la Sorbonne, 1991. 355 p.*
- Rey M.-P. De la Russie à l'Union soviétique, la construction de l'empire, 1462–1953. Paris : Hachette : Carre Histoire, 1994. 253 p.*
- Rey M.-P. Le dilemme russe, la Russie et l'Europe occidentale d'Ivan le Terrible à Boris Eltsine. Paris : Flammarion, 2002. 354 p.*
- Rey M.-P. Alexandre Ier. Paris, 2009. 592 p.*
- Rey M.-P. Alexandre I: The Tsar Who Defeated Napoleon. DeKalb (Illinois) : Northern Illinois Univ. Press, 2012a. 439 p.*
- Rey M.-P. L'effroyable tragédie, une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris : Flammarion, 2012b. 390 p.*
- Vandal A. Napoléon et Alexandre Ier. T. 3. La rupture. Paris : Plon, 1896. 607 p.*

The article was submitted on 25.12.2013

Владимир Николаевич Земцов,
проф.
Россия, Екатеринбург
Уральский государственный
педагогический университет
vladimirzemtsov@yandex.ru

Vladimir Zemtsov, prof.
Russia, Yekaterinburg
Ural State Pedagogical University
vladimirzemtsov@yandex.ru

УДК 94(520) + 355.123.1(520) +
355.123.1(470) + 325.2

Сергей Смирнов

**РУССКИЕ СОЛДАТЫ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ:
МИФ О «РУССКИХ САМУРАЯХ»**

**Рец. на: Яковкин Е. В. Русские солдаты Квантунской армии. –
М. : Вече, 2014. – 320 с.**

**RUSSIAN SOLDIERS OF THE KWANTUNG ARMY:
A MYTH OF RUSSIAN SAMURAI**

**Review of: *Yakovkin E. V. Russian soldiers of the Kwantung army. –
M. : Veche, 2014. – 320 p.***

В рецензии, посвященной книге Е. В. Яковкина «Русские солдаты Квантунской армии» (М. : Вече, 2014), оценивается актуальность и малоизученность темы в российской историографии, но при этом высказываются многочисленные критические замечания. По мнению рецензента, монографии присущи вторичность, недостаточность источниковой базы, необоснованность выводов и предвзятость исследовательской позиции, особенно странная для современной исторической науки.

Ключевые слова: Квантунская армия; Маньчжоу-го; Японская империя; отряд Асано; российская эмиграция; Е. В. Яковкин.

The article reviews the book by E. V. Yakovkin *Russian Soldiers of the Kwantung Army* (Moscow : Veche, 2014) noting the timely character of the book on this little-studied subject, but is on many occasions critical of the work. According to the reviewer, the book in question makes an impression of a secondary one, and lacks sources; the author makes ungrounded conclusions and has a biased research approach, which is inappropriate for present-day historical studies.

Keywords: Kwantung Army; Manchukuo; Japanese Empire; Asano Brigade; Russian emigration; E. V. Yakovkin.

В последние годы в публикациях, посвященных Второй мировой войне, актуализировалась проблема службы выходцев с территории России (не только русских по национальности) в армиях воевавших с Советским Союзом государств, нередко узко понимаемая как про-

блема коллаборационизма. Между тем, истоки этой проблемы нужно искать в событиях российской революции 1917 г., расколовшей страну на непримиримые лагеря, в контексте чего Вторая мировая война иногда представляется как продолжение войны Гражданской. Многоаспектность, неоднозначность и острая актуальность проблемы не допускает ее рассмотрения в рамках единственного концептуального подхода в духе «анатомии предательства» или героики антибольшевистского сопротивления. Тем не менее, обращение к проблеме участия выходцев с территории России в вооруженной борьбе против СССР в составе армий государств ее противников зачастую грешит односторонностью и тенденциозностью. Ярким примером этого служит вышедшая в серии «Военные тайны XX века» монография Е. В. Яковкина «Русские солдаты Квантунской армии» (М. : Вече, 2014).

Монография посвящена созданию и деятельности русских воинских формирований в государстве Маньчжоу-го (Северо-Восточный Китай) во второй половине 1930-х – 1945 гг. как части антибольшевистского сопротивления, консолидированного под эгидой Японии. Задуманные как орудие в вероятной вооруженной борьбе с Советским Союзом, эти формирования не оправдали возложенных на них японским руководством надежд, не выступив на стороне Японии в военных действиях в августе 1945 г. в Маньчжурии.

Сразу хотелось бы отметить, что название монографии не более чем издательская уловка – стремление привлечь внимание читателя именем «грозного противника» СССР на дальневосточных рубежах – Квантунской армии. Даже с чисто формальной точки зрения, российские эмигранты, волей судеб оказавшиеся в Северо-Восточном Китае, где в 1932–1945 гг. существовало самостоятельное государство Маньчжоу-го, служили в 1938–1945 гг. в армии этого государства, а не в японской Квантунской армии. Сам автор, отмечая, что работа посвящена сотрудничеству русской эмиграции с японскими военными, представляет предмет исследования не столь определенно, как это следует из названия. Другой уловкой стоит считать утверждение автора о том, что изучению воинских формирований из русских эмигрантов в Маньчжоу-го не уделено должного внимания. Сам Яковкин неоднократно ссылается на монографию С. В. Смирнова «Отряд Асано: русские воинские формирования в Маньчжоу-го, 1938–1945 гг.» (2012) [Смирнов], где эта тема подробно освещается. Но обратимся к содержанию книги.

В первой главе дается характеристика русской военной эмиграции в Китае. Остановившись коротко на исходе русских в годы Гражданской войны в Китай, автор основное внимание уделяет военно-политическим организациям и идейным воззрениям русской военной эмиграции. По не совсем понятным причинам к перечню военно-политических организаций эмиграции, помимо Русского Обще-Воинского Союза (РОВС), Корпуса Императорской Армии и Флота (КИАФ), Братства русской правды (БРП), Яковкин относит также

Всероссийскую фашистскую партию и Союз мушкетеров, которые лишь с большой натяжкой могут быть причислены к военно-политическим организациям, а также структуры совсем иного плана, как, например, Бюро российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ), Антикоминтерновский комитет – эмигрантские административные органы в Маньчжоу-го и Северном Китае – и даже официальную общественную организацию Маньчжоу-го – Киовакай.

Идейные воззрения русской военной эмиграции в Китае сведены Яковкиным к трем основным направлениям – идеология РОВСа, монархизм и фашизм. Если монархизм и фашизм как идейные направления эмиграции бесспорны (хотя и здесь говорить о единой монархической идеологии нельзя), то, что такое идеология РОВСа вне существовавших в эмигрантской среде идейных направлений, остается совершенно непонятно.

Как указывает автор, большую роль в жизни русской эмиграции после создания в 1932 г. государства Маньчжоу-го играла идеология, сформированная на основе японской идеи «общего дома», активно внедряемая через политические и общественные организации, школу, СМИ и т. п. Тем не менее, в годы Второй мировой войны для российской эмиграции был характерен патриотический подъем, сделавший ее, несмотря на все усилия японцев, потенциальным союзником СССР, в связи с чем Яковкин сокрушенно замечает: «несмотря на все усилия японских властей, значительная часть русской эмиграции не оказала какого-либо сопротивления вторгнувшимся советским войскам в августе 1945 г. Более того, многие пошли по пути сотрудничества с советской властью. Это объясняется плохой работой ГБРЭМ и лидеров эмиграции в отношении пропаганды и разъяснения целей войны...» [Яковкин, с. 90]. Для автора политический, антибольшевистский характер эмиграции задан априори, он даже не пытается разобраться в мотивах поступков эмигрантов и причинах, которые привели к «советизации» эмиграции, начавшейся задолго до 1941 г. Так же, как в свое время советские историки, Яковкин совершенно однозначен, хотя и диаметрально противоположен им в своих выводах. Он парадоксально навешивает ярлык «предательства» на эмигрантов, не выступивших на стороне Японии в военных действиях в Маньчжурии в августе 1945 г.

Во второй главе автор обращается к отряду Асано, первому и наиболее известному из русских воинских формирований в Маньчжоу-го, в начальный период его существования (1938–1943). Желая показать особую роль Японии в организации отряда Асано, автор в первом параграфе останавливается на очень важной проблеме – взаимоотношениях между российской эмиграцией и Японией на протяжении 1922–1945 гг. Основное внимание уделяется антибольшевистскому сопротивлению в эмигрантской среде, деятельности японской разведки и созданию русских охранно-полицейских структур. При этом автор в один ряд с подразделениями, создававшимися на тер-

ритории Маньчжоу-го (Северо-Восточный Китай), государства-сателлита Японии, ставит и созданный в 1927 г. в Шанхае русский отряд (в дальнейшем Русский полк) в составе Шанхайского волонтерского корпуса, охранявшего порядок на Международном сеттльменте. Это подразделение не имело никакого отношения к японцам, было создано властями Международного сеттльмента и подчинялось им. Только с началом Тихоокеанской войны сокращенный и реорганизованный в полицейское подразделение Русский полк попал под руководство японской администрации, впрочем, никакого отношения к Квантунской армии не имевшего.

Вообще, поражает профессиональная небрежность автора, его вольное жонглирование фактами при очень слабой ко всему прочему источниковой базе.

Недостаточность источниковой базы исследования особенно рельефно проявляется при описании истории отряда Асано. Автор в ходе исследования не обращался ни к одному архиву (!), где отложились крупные массивы документов, связанные с изучаемыми автором проблемами. Это Центральный архив ФСБ РФ, архивы ФСБ по Омской области и Приморскому краю, Государственный архив Хабаровского края, Государственный архив Приморского края, Государственный архив административных органов Свердловской области. Не говоря уже о том, что некоторую интересную информацию можно почерпнуть и за рубежом – в частности, в архиве Музея русской культуры в Сан-Франциско. Основные сведения об отряде Асано, которые Яковкин приводит в своей монографии, заимствованы из работ других исследователей без использования должного критического подхода и сравнительно-сопоставительного анализа.

Заявив во введении, что его исследование призвано устранить существующие упущения и мифы, сложившиеся вокруг отряда Асано, автор, тем не менее, остается в рамках мифов, сформированных прежними десятилетиями и связанными, прежде всего, с именами американского историка Джона Стефана, одного из крупнейших исследователей русского фашизма, и Анатолия Кайгороды, писателя, краеведа, большого знатока казачьего Трехречья и активного антибольшевика.

Одним из главных мифов, кочующих из работы в работу и утвердившихся в виртуальной сети, является миф об активном участии отряда Асано в открытой вооруженной борьбе против СССР и особенно в событиях 1939 г. на Халхин-Голе. Яковкин так же, как и некоторые его предшественники, выводит в бой на Халхин-Голе несуществующий эскадрон асановцев, который станет конным в только 1940 г., под командованием забайкальского (на самом деле оренбургского) казака, есаула (в это время всего лишь прапорщика) Василия Тырсина, который, якобы, в жестокой и короткой схватке вырубает подразделение монгольских конников-цириков. По-видимому, именно этот несуществующий бой автор относит к тем подвигам, которые совершили русские бойцы бригады Асано на Халхин-Голе [Там же, с. 135].

В реальности на Халхин-Голе было не более десятка асановцев, которые в основном работали в качестве связистов и не участвовали непосредственно в боях. Хотя даже в этом случае избежать жертв эмигрантам не удалось. В одном из налетов советской авиации погиб ефрейтор Натаров, позднее погребенный с воинскими почестями в Харбине в ограде Николаевского кафедрального собора.

Последняя глава монографии посвящена деятельности русских воинских отрядов (именно так они стали именоваться с января 1944 г.) в 1944–1945 гг. В главе сложно найти что-то новое, еще неизвестное о жизни РВО в этот период. Удивляет приводимая автором сильно завышенная цифра русских военнослужащих, что не подкреплено никакими документальными свидетельствами, а только стремлением показать, что эмиграция составляла грозную военную силу, которую можно было бы использовать в борьбе против СССР. Яковкин заявляет, что «в начале 1944 г. генерал-лейтенант Г. М. Семенов возглавил объединенные русские воинские отряды на территории Маньчжоу-Ди-Го (6 тысяч человек)...» [Там же, с. 164]. Однако формально объявленный японцами главой русской эмиграции на Дальнем Востоке атаман Г. М. Семенов непосредственно не возглавлял русские воинские отряды, которые находились в подчинении командования военных округов Маньчжоу-го, на территории которых эти отряды располагались. Что касается численности русских отрядов, она в совокупности личного состава всех трех РВО (Сунгарийский, Ханьдаохэцзийский и Хайларский) составляла не более 700 человек. И даже вместе с резервистами их численность не могла превысить 2,5 тысяч человек.

В период советско-японской войны августа 1945 г., как считает Яковкин, большая часть асановцев пошла по пути предательства [Там же, с. 184]. Они не поддержали японские войска в борьбе против Красной армии, а, наоборот, оказали помощь советской стороне в ликвидации Квантунской армии.

Несчастные эмигранты, зажатые между серпом и молотом, с одной стороны, и цветком вишни – с другой, для всех оказались предателями. По мнению автора, для которого акт предательства эмигрантов состоял в поддержке их, казалось бы, главного врага – СССР, возмездие для «предателей» наступило очень скоро и со стороны тех, кого они так искренне поддерживали. После окончательного разгрома японцев большая часть бывших асановцев были арестованы советской контрразведкой и вывезены в советские лагеря.

Нельзя не упомянуть об обширном приложении, в качестве которого автор поместил хорошо известные биографии крупных деятелей российской эмиграции в Маньчжурии и руководителей Японской военной миссии, курировавшей деятельность РВО. Но, к сожалению, в приложении нет ни одной биографии русских военнослужащих отряда Асано. Представленный в приложении фотоматериал также практически не содержит фотографий русских асановцев, а надписи к некоторым фотографиям либо ни о чем не говорят, либо

не соответствуют изображению. Например, фотография из коллекции М. Ю. Блинова, на которой якобы изображен один из командиров русских отрядов и его переводчик, не сообщает ни кто этот человек, ни командиром какого отряда он являлся. Имея в своем распоряжении фотографии всех командиров и большей части русского командного состава РВО, могу сказать с уверенностью, к РВО отношения он не имел. Фотография якобы школы отряда Асано на самом деле является снимком восьмого выпуска Военно-полицейского училища на станции Ханьдаохэцзы (1940), готовившего кадры для русских отрядов горно-лесной полиции Маньчжоу-го, независимой от РВО структуры. Можно продолжать и далее.

Подводя итог всему вышесказанному, мы не станем с прискорбием констатировать факт научной бесполезности и даже вреда подобного рода работ (предложение формирует существующий спрос на современном рынке исторической литературы), а также призывать усилить бдительность структур по противодействию попыткам фальсификации истории. Важную роль в строгом следовании критериям научности в осуществлении исторического исследования должно играть сообщество профессиональных историков, опирающееся на своего рода категорический императив, как нельзя лучше выраженный в словах крупного британского историка А. Тэйлора: «...историкам часто не нравится то, что произошло, и хочется, чтобы это произошло по-другому. Но делать нечего. Они должны излагать правду, как они ее видят, и не беспокоиться, разрушает ли это существующие пред-рассудки или укрепляет их» [Taylor, p. 7].

Смирнов С. В. Отряд Асано: русские воинские формирования в Маньчжоу-го, 1938–1945 гг. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. 156 с. [Smirnov S. V. Otryad Asano: russkie voinskie formirovaniya v Man'-chzhou-go, 1938–1945 gg. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 2012. 156 s.]

Яковкин Е. В. Русские солдаты Квантунской армии. М. : Вече, 2014. 320 с. [Yakovkin E. V. Russkie soldaty Kvantunskoj armii. M. : Veche, 2014. 320 s.]

Taylor A. J. P. The Origins of the Second World War. London : Penguin Books, 1964. 357 p.

The article was submitted on 04.12.2013

Сергей Викторович Смирнов,
к. и. н.
Россия, Екатеринбург
Уральский федеральный
университет
smirnov_sergei@mail.ru

Sergei Smirnov, dr.
Russia, Yekaterinburg,
Ural Federal University
smirnov_sergei@mail.ru

Сокращения

АКСП – Адрес-Календарь Санкт-Петербурга

AKSP – Adres-Kalendar' Sankt-Peterburga

ГАКО – Государственный архив Курганской области

GAKO – Gosudarstvennyj arkhiv Kurganskoj oblasti

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

GARF – Gosudarstvennyj arkhiv Rossijskoj Federatsii

ГАСО – Государственный архив Свердловской области

GASO – Gosudarstvennyj arkhiv Sverdlovskoj oblasti

ГАТ – Государственный архив г. Тобольска

GAT – Gosudarstvennyj arkhiv g. Tobol'ska

ГИМ – Государственный исторический музей

GIM – Gosudarstvennyj istoricheskij muzej

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки

OR RNB – Otdel rukopisej Rossijskoj natsional'noj biblioteki

ОРФ – Институт российской истории РАН

ORF – Institut rossijskoj istorii RAN

ПСЗ-1 – Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1

PSZ-1 – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobr. 1

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

RGADA – Rossijskij gosudarstvennyj arkhiv drevnikh aktov

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив

RGVIA – Rossijskij gosudarstvennyj voenno-istoricheskij arkhiv

РГИА – Российский государственный исторический архив

RGIA – Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arkhiv

РНБ – Российская национальная библиотека

RNB – Rossijskaya natsional'naya biblioteka

ЦИАМ – Центральный государственный архив г. Москвы

TSIAM – Tsentral'nyj gosudarstvennyj arkhiv g. Moskvy

HStA Stuttgart – Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart